



Редьярд
Киплинг

От моря
до моря

Редъярд
Киплинг



*От моря
до моря*



Джозеф Редъярд
Киплинг
1865—1936

Редьярд
Киплинг

*От моря
до моря*



Москва «Мысль» 1983

ББК 26.8г
К42

From Sea to Sea (Letters of Travel)

by Rudyard Kipling

New York
Doubleday and McClure
Company 1899

Редакции
географической литературы

Перевод с английского
с некоторыми сокращениями
В. Н. Кондракова

Поэтические переводы
Н. В. Димчевского

Вступительная статья
Д. М. Урнова

Художник
В. А. Крючков

Книга иллюстрирована
гравюрами 90-х годов
прошлого века

К 1905020000-115 141-82
004(01)-83

© Вступительная статья, предисловие пере-
водчика, перевод на русский язык, примечания,
оформление. Издательство «Мысль». 1983
OCR и вычитка - Александр Продан, 2009
alex.pro@thebat.net. **Not for sale**

Дальние странствия Маленького Пилигрима

Читатель открывает книгу, которая не оставит его равнодушным. Автор книги называет себя Маленьким Пилигримом—по внешности, в силу небольшого роста. Однако претензии у Маленького Пилигрима были совершенно непомерными—он, странствуя, рассматривал мир как площадку для действий своих соотечественников, «слуг Британской империи». Сама история опровергла эти претензии, однако неокOLONиализм и сейчас поднимает голову. Вот почему читателю, всматривающемуся со вниманием в политическую карту современного мира, целесообразно познакомиться с этой книгой.

«Писатель, чьи слова вошли в наш язык»—так значение Киплинга было однажды определено его соотечественником. Оценка эта прозвучала уже в ходе дискуссии — после его смерти, — когда в отношении Маленького Пилигрима высказывались наиболее важные доводы «за» и «против». Приведенная фраза была произнесена критиком, который в целом выступал как раз «против», признавая силу Киплинга.

Его слова вошли в повседневный язык, его строки стали крылатыми выражениями, те же слова и те же строки люди до сих пор произносят, не зная, что цитируют Киплинга. Он не просто писатель, он—современный мифотворец, создатель фигур, которые вышли за пределы переплета и в свою очередь стали типами нарицательными. Правда, как в пределах переплета, так и за его пределами эти фигуры передвигаются в основном не на двух, а на четырех ногах. Как известно, за исключением Маугли, это главным образом звери. Зато какие звери! Кот, который гулял сам по себе, черзмерно Любопытный Слоненок, неустрашимый мангуст Рикки-Тикки-Тави, Волчица-мать и Волк-отец, старый вожак волчьей стаи Акела, медведь Балу и большая черная кошка пантера Багира—своеобразный фольклор, который тоже существует уже самостоятельно, помимо воли своего создателя.

А индийские джунгли? Или пустыни Африки и австралийские степи? Многим читателям дальние и никогда не виденные края на всю жизнь запомнились благодаря страницам Киплинга. Многие, напротив, повидали те же края именно потому, что когда-то читали Киплинга и отправились в путь, влекомые силой читательского впечатления. Определяя значение Киплинга в том серьезном споре, о нем говорили так, причем говорили в один голос все, и те, кто был «за», и те, кто был «против»: создавал он не только книги, он создавал людей, формировал характеры, и это — из поколения в поколение. Чего же о нем тогда спорить?

Дело в том, что за пределами стран, которые когда-то составляли Британскую империю, Киплинг очень часто воспринимается вне всякой злобы дня, как писатель или поэт, который говорит о мужестве, чести, стойкости и силе. Англичане смотрят на это иначе. История сделала у них в памяти зарубки, которые связаны с Киплингом:

...Если ты способен все, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Все проиграть и вновь начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел,
И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: «Держись!»...

Перевод С. Я. Маршака

Какие слова! А между тем многие соотечественники Киплинга слышать не могут этих стихов без скрежета зубного. «На деле это означало, что нужно служить безропотной задницей, когда тебя пинками гонят в пекло» — так другой английский писатель, Ричард Олдингтон, рассказывал о том, чем для него самого и его сверстников, на Киплинге, так сказать, воспитанных, обернулись киплингские призывы «Держись!» и «Будь мужчиной!». Большой спор о Киплинге разгорелся после того, как прозвучало одно авторитетное литературное мнение, в силу которого все это в Киплинге за давностью лет следует расценивать как-нибудь иначе или же вовсе не замечать. Действительно, дети этого не замечают. Но даже чудесные сказки, перечитанные зрелым взглядом, подтверждают, насколько Киплинг в принципе везде остается верен себе, учит все тому же — уважать право сильного и получать пинки не рассуждая. Вот почему, когда влиятельный литературный авторитет попробовал Киплинга в этом плане просто обелить, ему сразу возразили: «Простите, но мы тоже читали Киплинга. Не нужно нам говорить, будто жестокость изображает он с позиции беспристрастного наблюдателя. Давайте лучше разберемся, почему, несмотря на всю демагогическую браваду, он все-таки не забыт и сохраняет серьезное значение».

* * *

Редьярд Киплинг (1865—1936) родился в Индии, в Бомбее, в районе старого вокзала. Его отец Джон Локвуд Киплинг, художник, руководил там школой прикладного искусства. Такие школы разбросаны по всей Индии: изделия художественного ремесла — широко распространенный предмет индийской торговли, внутренней и на вывоз, национальная промышленность своего рода. То было единственное производство, которое англичане решили поощрять в индийских колониях. Вот почему помимо чиновников и солдат среди колонизаторов оказался и художник. Но ведь это искусство традиционно, почему же надо было индийцев учить? Нет ясного ответа на этот вопрос, как нет ясности в ответе на куда более общий вопрос: почему англичане чувствовали себя в Индии полновластными хозяевами?

Колонизацию Индии начали португальцы, которые в числе первых стали осваивать и так называемую Западную Индию — Америку. За ними последовали голландцы.

Когда англичане окрепли как морская держава, они тоже двинулись сюда по следам своих европейских соперников. В самом начале XVII в., в шекспировскую эпоху, королева Елизавета санкционировала основание Ост-Индской (Восточно-Индийской) торговой компании. На исходе того же века, во времена Дефо, английский король Чарлз II получил Бомбей в приданое за женой, португальской принцессой, получил и — сдал в аренду все той же компании. Движущую силу этой компании составляли пираты, но, как говорят историки, в ту пору провести границу между предприимчивостью и разбоем было очень трудно. Даже Дефо, который сам был пайщиком во владении торговым кораблем, считал, что если всех пиратов переловить, то, пожалуй, торговля прекратится. Свое вторжение в Индию англичане оправдывали для себя выгодой — в результате вывоза чая, пряностей, шелка и прочих товаров, а в глазах всего света — необходимостью наведения там порядка. Англичане ставят себе в заслугу упразднение в Индии рабства и некоторых диких обрядов, вроде самосжигания вдов, которые, по древнему обычаю, должны были следовать на тот свет за своими покойными мужьями. Но если число сгоревших вдов сравнить с количеством уничтоженных колонизаторами местных жителей, при этом уничтоженных — ради устрашения — наиболее зверскими методами, то пропорция получится не в пользу «порядка». Англичане ставят себе в заслугу прекращение междоусобных раздоров между индийскими магараджами. Однако

эти раздоры прекращались путем проведения политики «разделяй и властвуй»: одни раздоры прекращались, другие, напротив, разжигались... На исходе XVIII в. из-за внутрипарламентской политической борьбы всплыли чудовищные злоупотребления английского губернатора в Индии Уоррена Хейстингса. Знаменитый драматург и выдающийся оратор Шеридан произнес тогда в парламенте многочасовую разоблачительную речь, которая вошла в историю как знаменательное событие английской общественной жизни. Шеридан был неотразим в своем красноречии — Уоррен Хейстингс был полностью изобличен, однако мелким шрифтом в примечаниях к этой исторической речи указывается, что он остался безнаказанным, хотя и был смещен со своей должности. Губернатор-злодей был смещен, но в сущности все пошло по-прежнему. Еще один довод англичан в пользу британского владычества — защита Индии от иноземных вторжений. Хотя защита была опять-таки своеобразной: она проводилась на основе убеждения, которое разделял и Киплинг, а именно, что англичане особенно хорошо умеют управлять другими народами. Но ради чего это делалось? «Ради наживы кучки капиталистов буржуазные правительства вели бесконечные войны, морили полки солдат в нездоровых тропических странах, бросали миллионы собранных с народа денег, доводили население до отчаянных восстаний и до голодной смерти. Вспомните восстания индийских туземцев против Англии...»¹ В Индии за десять лет до рождения Киплинга англичанами было подавлено крупное национальное восстание, подавлено, по обыкновению, такими методами, которые превосходили жестокостью самые дикие древние обряды. Индийских повстанцев привязывали к жерлам пушек и — выстреливали.

За семь лет до рождения Киплинга в Индии был провозглашен первый английский вице-король — страна официально стала частью Британской империи. Скончался Киплинг за десять лет до обретения Индией независимости. Таким образом, его судьба совпадает с вековым периодом британского господства в Индии. Его творчество отражает острейшие конфликты того времени. Позиция «железного Редьярда» отличалась одной существенной особенностью: в отличие от различных «гуманных» краснобаев он предпочитал говорить открыто, называя насилие насилием. Автор обладал незаурядным литературным дарованием и стремился опозитизировать силу, грубую, беспринципную силу, вернее, силу, признающую только один принцип — «пользу Империи», и там, где читатели привыкли к замалчиванию или к уклончивым формулировкам, они слышали от Киплинга резкую, жесткую речь.

Литературный путь Киплинг начал в англо-индийской колониальной периодической печати, и в течение семи лет, которые им с особым чувством на страницах этой книги упоминаются, он заставил к себе прислушаться. О нем услышали и в Лондоне, куда он попал, надо сказать, не сразу, а после того, как совершил описанное здесь путешествие. Читающая публика британской метрополии также к нему прислушалась, в нем признали талант крупнейшие писатели-современники. Правда, те же авторитеты говорили: «Еще посмотрим, в какую сторону этот талант разовьется». Но в принципе ситуация определилась как-то сразу, и если говорили «Еще посмотрим...», то лишь потому, что он был молод. Как показало время, все действительно определилось рано, в дальнейшем лишь повторяясь с некоторыми вариациями, с новым накалом. Своим постоянством Киплинг стал даже надоедать читателям, но прежде всего он поразил их. Первый сборник рассказов Киплинга, увидевший свет в 1888 г., назывался «Простые рассказы с гор». Если учесть, что слово «простые» может по-английски означать «ровные», «равнинные», то станет ясно, что здесь — намеренное противопоставление равнины и гор, простоты и сложности. «Про-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 379—380.

стые рассказы о сложных вещах» — таков внутренний смысл этого заглавия. И конечно, в рассказах проявился подлинный писатель, способный именно так и говорить — просто о сложном, как бывает в самой жизни.

Первым признаком кипплинговской простоты была краткость, которой он научился в газете, местной газете, сначала в Лахоре, затем в Аллахабаде. Второй особенностью была непосредственность рассказа — словно это не литературное произведение, не рассказ и даже не репортаж, а просто кусок живой речи. Теперь этот прием называется «сказовым», он вошел в литературный оборот, им пользуются многие писатели, причем пользуются ради той же цели — чтобы не рассказывать о человеке, но предоставить ему возможность рассказать о себе. В некоторых случаях Киплинг устранял даже наиболее привычные литературные условности, например какую-либо вводную часть, обозначение времени, места. Читателя как бы захватывали совершенно врасплох, останавливали на улице и обращались к нему с просьбой: «Возьмите меня к себе на службу, саиб, возьмите»... Ошеломленный читатель «останавливается», вслушиваясь в сбивчивую речь, может быть, не все сразу понимает, но вскоре ему становится ясно и кто с ним говорит, и где это происходит, и в чем суть дела. При этом автор в дело вроде бы не вмешивается. Вместо автора перед читателем выступает сам персонаж.

Первое впечатление от кипплинговских рассказов таким и было — хлынул на книжные страницы поток жизни, причем читателям-профессионалам было ясно, что это, конечно, не само собой так получается: жизнь и все, — нет, это умело созданное впечатление жизненности.

Впечатление от кипплинговских рассказов было вдвойне сильным, потому что оно было двойственным, сложно-простым, обычным и необычайным. Индия, «страна чудес», предстала перед читателями в бытовых подробностях, мелочах жизни, повседневных заботах, которыми были заняты как индийцы, так и англичане. Заботы, понятно, разные. Для индийцев это были заботы о лишнем гроше, о том, как бы не умереть с голоду. Англичан-колонистов занимали продвижение по службе, ожидание очередного отпуска, какая-нибудь интрижка. Один из рассказов, который назывался достаточно громко: «История Мухаммед Дина», был по контрасту особенно кратким — в три странички — и особенно драматичным: о том, как, между прочим, по недосмотру врача, умер ребенок, индийский ребенок.

Непростым было в этих рассказах изображение англичан, или, как их называли, англоиндусов, граждан Британской империи, родившихся и живших в Индии. Киплинг сам принадлежал к этой категории людей и все их переживания знал доподлинно. Общую сагу Киплинга о своих соотечественниках можно бы озаглавить «Гордость, униженность и ущемленность». Эта сага о «слугах Империи», на плечах которых лежит бремя государственной ответственности. Они по своему положению вроде бы герои, в то же время они просто люди, даже людишки, одним словом, дрянь, а все же — молодцы!

«Никогда еще никто так не писал о наших людях в Индии», — сразу признали рецензенты. Вот характерный сюжет из второй книги рассказов Киплинга, которая называлась «Три солдата». Офицер издевается над подчиненными. А те тоже не сахар, прямо сказать — подлецы. Ведь что надумали: офицера сообщая ухлопать, а на одного, непричастного, все свалить! Но не было счастья, так несчастье помогло. Этот один, сержант Мулвени, напился в стельку, потом проспался и случайно разговор своих друзей-предателей подслушал. Вида не подал и так все подстроил, что один из разговорщиков сам же тяжело пострадал: морду ему затвором разворотило. А офицер остался жив. Потом, правда, того офицера все же пристрелили. И за дело! Форменный был изверг. Однако не отыметь — смелый был человек, умел смерти прямо в глаза смотреть.

Еще один человеческий тип, которого Киплинг, дегероизируя, все же героизировал, — это шпион, лазутчик, разведчик. В ранних рассказах это был некто Стрикленд, позднее Киплинг написал о таком человеке целый роман, который назывался по имени главного персонажа — «Ким». В принципе это поэтизация двоедушия, которое становится уже не только службой, ролью, но второй натурой согладата. Этот «слуга Империи» даже не служит, не долг он исполняет, а неукоснительно, органически следует внутреннему закону своей предательски-преданной природы. «Такими людьми мы и держимся», — хотел сказать своим читателям Киплинг.

А вот авторитетное свидетельство современника о том, как творчество Киплинга воспринималось: «Весьма нелегко, конечно, вернуться к чувствам того периода, к тому же с тех пор над Киплингом безжалостно и властно смеялись, критиковали его и разносили в щепки. Пожалуй, никто еще не был столь иступленно вознесен поначалу, а затем, с собственной помощью, так неумолимо низвергнут. Но в середине 90-х годов прошлого века этот небольшого роста человек в очках, с усами и массивным подбородком, энергично жестикулирующий, с мальчишеским энтузиазмом что-то выкрикивающий и призывающий действовать силой, лирически упивающийся цветами, красками и ароматами Империи, совершивший удивительное открытие в литературе различных механизмов, всевозможных отбросов, нижних чинов, инженерии и жаргона в качестве поэтического языка, сделался почти общенациональным символом. Он поразительно подчинил нас себе, он вбил нам в головы звенящие и неотступные строки, заставил многих — и меня самого в их числе, хотя я безуспешно, — подражать себе, он дал особую окраску нашему повседневному языку». Это вспоминает Герберт Уэллс, который был всего на несколько лет моложе Киплинга, но в литературу вступил на десятилетие позже, поэтому рассматривал его как старшего и в литературе, и на общественной сцене. Этот отзыв, если и пристрастен до известной степени, все же верно передает динамику впечатления от Киплинга — безусловная и немалая талантливость, тут же дешевая патетика; желание и умение открыть нелепые истины одновременно с намерением, упрямым намерением, доказать недоказуемое.

Присматриваясь к сюжетам и персонажам Киплинга, в частности к повести «Ловкач и компания» — об английской военной школе, книге автобиографической, где, как в упомянутом выше «солдатском» рассказе, все в общем-то насильники и проходимцы, но все же надежные ребята, Уэллс делает вывод: «И такое положение вещей для Киплинга выглядит в высшей мере приемлемым. Здесь мы и находим ключ к наиболее уродливой, самой отсталой и в конечном счете убийственной идее современного империализма — идее негласного сговора между законом и беззаконным насилием».

Правда, есть у Киплинга произведения, где подобной идеи нет, но в таком случае там и никакая замены ей не просматривается, там открывается истинная растерянность, отчаяние — черная бездна. Таков, например, рассказ «В конце пути» из сборника «Жизнь фюры не дает». Действительно, Киплинг не дает здесь спуска ни самому себе, ни своим героям, все тем же «слугам Империи». Пулю в лоб себе пускает инженер, герой названного рассказа. То ли сам себе пускает, то ли ружье не так сработало — это не проясняется. Но ясно во всяком случае одно: дошел человек до конца, до предела, и дальше дорога для него только к смерти. Если угодно, это прямо антикиплинговский рассказ, подрывающий демагогический энтузиазм, бодрячество, которые обычно оказывались в его вещах преобладающей в итоге нотой.

Однако тут же Киплинг пишет сугубо по-киплинговски: на исходе века публикует он стихотворение, ставшее наиболее известным. Оно поистине было вбито в головы, вошло в язык, хотя и с недоброй славой. Это — «Бремя белого человека». «Несите бремя белых — не разгибать спины!» — призыв, не разгибая

спины, стиснув зубы, помалкивая, служить имперским интересам. Была бы в свою очередь доказательством недоказуемого попытка отрицать силу этих стихов, хотя люди, которым их сначала вбивали в головы и которых потом пинками гнали исполнять преподанный в них наказ, слышать их тоже не могут. Здесь Киплинг «говорит уже не от имени рядового носителя «бремени белого человека», а от имени руководящих групп Империи. Он обращается не с самокритикой к начальству и сослуживцам (как это было в ранних стихах и рассказах. — Д. У.), а с пропагандой к будущим низовым кадрам империализма, к тому юношеству, из которого требуется воспитать верных собак капитализма на окраинах, к тем, которыми надо будет кормить неприятельские пушки...»¹. И это мнение авторитетное, не из вторых рук: оно принадлежит нашему литератору, долго жившему в Англии, так сказать, в киплингские времена, непосредственно наблюдавшему за колебаниями в отношении англичан к «железному Редьярду».

В XX в. репутация Киплинга как бы раздваивается, причем с его собственной помощью, если воспользоваться словами Уэллса. Ряд его выше уже названных книг становятся или остаются настольным чтением, прежде всего для детей. Это не принижает достижений Киплинга, ибо, по известному выражению, писать для детей следует так же, как для взрослых, только еще лучше, и с выполнением этого правила Киплинг успешно справился, выступив истинным мифотворцем, создателем персонажей настолько живых и самостоятельных, что они вышли и за пределы переплета, и за пределы Англии и до сих пор гуляют по всему свету. Среди зрелых читателей Киплинга никто в свою очередь не откажется назвать несколько вещей, прозаических или стихотворных, однажды поразивших воображение, в то же время множество читателей отказываются воспринимать Киплинга по-взрослому, всерьез, по мере того как он все упорнее твердит свое, выступая трубадуром бесславной англо-бурской войны, первой мировой войны. Он воспринимается как анахронизм, представитель ушедшей эпохи. И «помогает» он себе только в одном — в нанесении ущерба своей репутации незаурядного литературного таланта.

На похоронах Киплинга, которым придали официальный характер, не было заметно писателей. Его останки сопровождали премьер-министр, генерал, адмирал и несколько семейных друзей — «люди дела», как выражается биограф. Не было видно даже тех его собратьев по перу, которые вскоре сделали попытку «воскресить» Киплинга. Да, о «неувядающем гении Редьярда Киплинга» заговорили вновь, но заговорили так, что это сразу же вызвало и возражения. Заглавием одной из полемических статей служил вопрос: «В пользу Киплинга?» Разумеется, дело не в том, что в его пользу нечего было сказать, а в том, что и как говорили его тенденциозные защитники. «Подобными похвалами, — отмечал автор статьи, — можно вызвать только отвращение к нему». Действительно, защита велась по принципу доказательства недоказуемого, то была превратная переоценка, когда, как нарочно, сильнейшими объявлялись слабейшие киплингские страницы. Такая «защита», такое «возрождение» только вредят Киплингу — как «помогал» он сам заживо хоронить себя. «Большой талант, как у Киплинга», — сказал Эрнест Хемингуэй, а реальное значение писателя может быть определено только на основе созданий, в которых этот талант проявляет себя.

«Тишина в нашей жизни стоит полнейшая», — писал Киплинг из Лахора в Аллахабад некоей миссис Хилл. Лахор — на севере Индии, в Пенджабе; здесь, как и в Бомбее, отец Киплинга заведовал художественной школой, а также

¹ *Мирский Д.* Поэзия Редьярда Киплинга, 1935. — В кн.: Литературно-критические статьи. М., 1978, с. 311—312.

музеем индийского искусства. Сам Киплинг сотрудничал в местной «Гражданско-военной газете» и в аллахабадском «Пионере». Описанные им покой и тишина прерывались визитами туристов, желавших осмотреть музей. Одним из посетителей оказался мистер Кук. Какой Кук? Знакомый и нам, хотя бы по стихотворению нашего поэта: «Есть за границей контора Кука... Горы и недра, Север и Юг, пальмы и кедры покажет вам Кук». Именно этот Кук — один из семейства всемогущих Куков — и посетил Лахорский музей. После этого посещения Киплинг отправился в свое полукругосветное путешествие.

Были и некоторые другие причины, побудившие его странствовать. Местное предание говорит о том, что Киплинг задел в газете одного офицера, тот явился в редакцию свести счеты с автором, однако был выброшен на улицу. Офицер возбудил против газеты судебное дело. И было решено, что Киплингу, хотя и не он расправился с офицером, от присутствия на суде лучше уклониться. Но это, конечно, был только повод, ускоривший сборы в путь. По существу Киплинга заставляла думать об отъезде его упрочившаяся литературная репутация. Его читали все англичане в Индии, тем более что рассказы его печатались помимо всего еще и маленькими брошюрками, которые распространялись на железной дороге. Киплинг мечтал выйти в большой литературный мир. Контора Кука могла предложить, разумеется, любой из маршрутов. Не Север, не Юг, не Запад, а Восток Киплинг выбрал по сугубо личным соображениям. В своих путевых очерках Киплинг описывает в качестве попутчика какого-то чудака профессора, но это лицо фиктивное или, безусловно, полуфиктивное. В действительности Киплинг последовал за миссис Хилл, которая покидала Индию вместе с тяжело больным мужем. Деловой основой поездки служила договоренность с редакцией «Пионера» о дорожных корреспонденциях.

Так сложилась эта книга. Как на ранних этапах его творческого пути было с рассказами, так поначалу Киплинг не придавал особенного значения и своим очеркам, не имел отчетливого замысла, что на первых страницах книги сказывается. Он разбрасывается, несколько позирует, не всегда уместно и не всегда понятно острит. Но страница за страницей стиль крепнет, взгляд наблюдателя, в принципе очень зоркого, становится все более целенаправленным, и возникают, как в рассказах, живые словесные картины: люди, города, самые разнообразные виды природы.

Чрезмерные защитники Киплинга иногда ставят его в ряд с двумя великими соотечественниками-предшественниками — Дефо и Диккенсом. Сравнение в масштабе не выдержано, однако в некоторых отношениях оно возможно. В частности, творчество Киплинга, как это было с творчеством автора «Робинзона» и с творчеством автора «Пиквикского клуба», выросло из журнализма, оно всегда укоренено в злобе дня. Как когда-то Дефо объехал всю Англию (или же создал впечатление, будто объехал) и написал репортерски-деловой справочник по стране, указывая, где выгодно торговать, где строить, где прокладывать дороги, так и Киплинг не был путешественником праздным. В его путевых очерках выражается позиция незаурядно умного, достаточно дальновидного и всегда крайне заинтересованного «работника Империи», который все время внушает своим соотечественникам: если уж создавать Империю, то как следует! Поэтому прежде всего, с порога, Киплинг отбрасывает туристически-поверхностные рекомендации так называемого «глоб-троттера», всесветного бегуна, заезжего наблюдателя, который приехал, посмотрел и, думает, все понял. И по сравнению с кабинетными экспертами, теми, которые сидят где-то в министерствах, полагая, что исправно «несут бремя белых», служат «во славу британской миссии», Киплинг оказывается неизмеримо более практичен и прозорлив. «Агрессивный альтруизм» — так характеризует он позицию англичан в колонизируемых странах, разумеется иронически. «Альтруизм» — вынужденный. «Англичанин строит для других», — говорит Киплинг, имея в

виду, разумеется, не реальную пользу для других народов, а лишь тот факт, что англичанам никак не удастся выкачать из других стран столько, сколько им хотелось бы, вот поневоле и получается вроде бы «для других». Идеи колониализма «железный Редьярд» не ставил под сомнение, но постоянный объект для атаки, презрения и, наконец, обличения со стороны Киплинга — это сам колонизатор. Приехал понажить, однако понятия не имеет, как, собственно, это делается, и не знает страны, вообще не хочет потрудиться, урывает кусками то, что под руку попало, и не думает о будущем. Одним словом, по сравнению с Киплингом или, вернее, тем своеобразным идеалом, который он себе рисует, это недалёковидная, своекорыстная скотина, наживающаяся под флагом «патриотизма» и не желающая понять, что если будет так продолжаться еще одно-два поколения, то — вышибут. А позицию, занимаемую самим Киплингом, в те времена было принято называть «здоровым» или «умным» империализмом¹. Но логика, положенная в основу этой позиции, не могла оказаться «умнее» самой истории, даже если на место слабых и глупых послать (как представлялось Киплингу) сильных и умных.

Впрочем, мысли об этом чем дальше, тем все чаще посещали Киплинга, и он выражал их если не публично, то приватно. Об этом свидетельствует, например, его многолетняя переписка еще с одним сторонником «здорового» империализма, тоже известным писателем — Райдером Хаггардом, который биографически, творчески и идеологически находился по отношению к Африке в таком же положении, как Киплинг — к Индии и странам Дальнего Востока. Они сошлись на многих общих убеждениях, которые у обоих на глазах прошли проверку на практике, объективно-исторической практике. Проверка, от результатов которой они все же не могли отвернуться, привела их к пессимизму. В своем дневнике Райдер Хаггард записывает, что Киплинг задумал пьесу «Падение Британской империи», которая была оставлена не только потому, что драматургия оказалась областью, не отвечающей особенностям дарования Киплинга, но и потому, что разработка подобной темы была чересчур тягостна для него. В том же дневнике Райдер Хаггард записал после посещения Киплинга в январе 1922 г.: «Он придерживается самых безотрадных взглядов на положение дел в Ирландии, Египте и Индии и заходит так далеко, что говорит: похоже, Империя разлетается вдребезги. Единственную надежду он видит в молодых людях, которые могут явиться. Но когда я спросил его, откуда они явятся, он отвечал, что ему это не известно. Все же он полагает, что они могут явиться под давлением обстоятельств. И я тоже так думаю, но пока подобных молодых людей что-то не вижу». А еще два-три года спустя Киплинг писал Хаггарду: «Каждый человек, я считаю, смотрит с разбитым сердцем на неудачу во всем, что он пытался осуществить всю свою жизнь. Если бы было иначе, мы были бы просто как боги, между тем, судя по всем имеющимся у меня данным, мы таковыми не являемся». Но это пишет Киплинг выходя, что называется, на последнюю прямую своего жизненного пути. Очерковая книга «От моря до моря» написана в другое время, другим человеком, который, каким-то богом или демоном внушаем, судит о других странах и народах с позиции историко-государственного превосходства, высказывается решительно и дает советы так, словно от его мнений земная ось несколько сдвинется и ход истории пойдет по другому руслу. Так он держится даже в тех случаях, когда одобряет, хвалит, находит нечто достойное зависти и подражания, когда он добр к местным детям и галантен с туземными дамами; он все время судит, чувствуя за собой право судить; он ведет себя как «самый

¹ Этот термин употреблялся буржуазными историками и экономистами, в частности Гибсоном, книги которого были законспектированы В. И. Лениным в «Тетрадах по империализму» (М., 1935).

яркий представитель той Англии, которая железными руками опоясала весь земной шар и давит его во имя своей славы, богатства и могущества»¹.

Путевой маршрут Киплинга начинается в Индии, идет дальше на Восток и заканчивается—в пределах книги—в Америке (сам Киплинг проследовал дальше, в Англию). Индия—Бирма—Сингапур—Китай—Гонконг—Япония—США—таким образом Киплинг охватил одну из горячих областей современной политической карты. Тогда это было иначе: некоторые из этих стран и народов только еще выходили на арену большой международной политики. Япония, например, тогда лишь устанавливала связи с Европой, и Киплинг рассматривает эту страну с чувством первопроходца. В отличие от еще немногих тогда европейских посетителей Японии, обращавших в Стране восходящего солнца внимание прежде всего на экзотику, Киплинг, не упуская из виду сугубо местных красок, обычаев и нравов, в то же время очень зорко усматривает умелую переимчивость японцев, их желание и умение учиться постороннему полезному опыту, и некоторые его японские страницы звучат прямо-таки пророчески, предвосхищая нынешнее положение вещей, когда Япония соперничает на мировом рынке с ведущими капиталистическими странами.

В отдельных людях и целых народах, которые встречаются ему на пути, Киплинг в первую очередь ищет черты, обеспечивающие жизнеспособность. Это очень важный и привлекательный оттенок его позиции. «Он первым, — писал о Киплинге один критик, — наметил тот взгляд, который потом стали называть «антропологическим», т. е. мысль о том, что «представления другого человека о достоинстве и чести могут в корне отличаться от нами принятых и в то же время заслуживать уважения». Потом, правда, тот же «антропологический» взгляд был доведен до крайнего релятивизма, до полной относительности в представлениях о человеческих ценностях, когда и топор, и костер в качестве средств правосудия оказались тоже достойными уважения. Но изначальный толчок, благодаря которому стойкие, застарелые предубеждения были растапаны, сыграл роль действительно благотворную. Киплинг не был, конечно, ни первым, ни единственным, кто это сделал, но все же он был среди первых, постаравшихся понять истинно другую точку зрения, из другого мира. И его повествовательный, «сказочный» прием, позволявший персонажу самовывявиться, устремлен был к той же цели. И его любимый герой-лазутчик успешно выполнял свою задачу, потому что умел вжиться в чужой мир. Как Маленький Пилигрим, Киплинг при всем немалом высокомерии в свою очередь прежде всего внимателен, он готов отнестись с уважением к трудолюбию, стойкости, к определенному нравственному укладу, в каком бы национальном обличье все это ни выступало. Конечно, нужно помнить, что у Киплинга не какое-то отвлеченное человеколюбие. Он высматривает подходящих, перспективных подопечных, подчиненных или по меньшей мере зависимых партнеров. Он нигде не говорит: «Этот народ и без нас обойдется». Скорее его идея такова: «Если без нас здесь обойдутся, то тем хуже для нас». Характерно рассуждает он в Гонконге, предлагая вывести особую породу туземных англичан, которые и не думали бы отсюда уезжать, а пустили бы корни, вросли бы в почву и тем самым укрепили бы здесь британские позиции. И он говорит об этом без иронии, без тени улыбки, хотя сам еще находится во власти комплекса англо-индийской «второсортности» и униженности. Таким образом, его обостренное и часто очень верное понимание других нацелено не на то, чтобы этих других предоставить самим себе, а на то, как эффективнее их подчинить, присоединить, присвоить. Так рассуждает он о Бирме, обо всем Дальнем Востоке. Однако тут в самом деле нужно ввести меру относительную. Перед нами гражданин «первой державы мира» — таков был тогда престиж Англии. В своей

¹ Кутрин А. И. Собр. соч. в 9-ти томах. Т. 9. М., 1964, с. 480.

статье о Киплинге Куприн написал об этом: «Страна, делающая лучшую в мире сталь, варящая лучший в мире эль, изготавливающая лучшие бифштексы, выводящая лучших лошадей...» Этот список можно было бы еще и расширить за счет ассортимента разнообразных изделий и предметов, которые являлись английскими и считались лучшими. Вот по этой шкале, где «английское» и «лучшее» значились на одном и том же делении, самочувствие Маленького Пилигрима несколько занижено, содержит заметную дозу самокритики.

По этой линии путевые впечатления Киплинга поучительно сопоставить с впечатлениями его русского современника, который в ту же пору двинулся тем же маршрутом, только в противоположном направлении. Это — Чехов. По тем же местам он проехал примерно на год позднее, но если принять во внимание масштабы времени и места, то можно считать, что они едва разминулись. Во всяком случае, одни и те же места они видели в одном и том же состоянии. В Японии Чехову помешала побывать эпидемия холеры, однако он посетил Гонконг. Они с Киплингом входили в один и тот же порт, швартовались у того же причала, ходили по одним и тем же улицам, пользовались одной и той же канатной дорогой, взбирались на одну и ту же гору, видели одно и то же торгово-деловое оживление — их некоторые впечатления просто совпадают. Но даже при совпадениях их впечатления имеют разную подоплеку, разную окраску. Буржуазную, коммерческую деловитость Чехов наблюдает, вспоминая о только что им виденной у себя феодальной давности бюрократии и солдатчине. Не строя никаких иллюзий, он все же отдает себе отчет в том, что и этого уровня нужно еще достигнуть¹. А Киплинг тут же включается в дело, выпрашивая, кто торгует, чем, на какой основе? Ревниво отмечает он между прочим, что одевают Гонконг американцы — не англичане. В самом деле, подобно Дефо, он с тревогой всматривается в биржевую горячку, он понимает, что это преуспевание — «бумажное», за которым столь же внезапно, как возник бум, может последовать крах.

На каждую из увиденных им стран Киплинг смотрит в плане перспективы, дальнейшего движения. Это здоровое зерно его «здорового» империализма — наиболее динамичного в то время способа развития, но здесь нельзя не заметить и внутренней двойственности. Считая пагубным одностороннее потребительское хищничество, с которым он на каждом шагу сталкивается в действиях своих соотечественников, симпатизируя местной деловитости и развитию, Киплинг в то же время не приемлет вполне логики этого развития. Тоскливое ощущение, что рано или поздно все же каждую страну придется предоставить ее собственной судьбе, не покидает Киплинга в итоге каждого из посещений. Одним словом, пусть страна развивается, но как бы не развилась она чересчур сильно!

У Киплинга, например, в отношении той же Японии проскальзывают ноты консервативного утопизма, по логике которого каждую страну хорошо бы и несколько развить, и несколько подморозить, оставить в состоянии приятной для стороннего взгляда живописной патриархальности.

С особыми чувствами Киплинг подходил к американским берегам. Между прочим, отметим: когда он высаживался в порту Сан-Франциско, где-то здесь подрабатывал крепкий парень, будущий его читатель и отчасти последователь, хорошо нам знакомый Джек Лондон. Упомянем и такой факт, ускользнувший от внимания биографов Киплинга, однако сохранившийся в литературной хронике Сан-Франциско: Киплинг предложил местному журналу свой роман «Свет погас» и — рукопись не была принята. Надо отметить, что тот же роман, неоднократно переработанный, не имел особенного успеха и в Англии: большая форма вообще не давалась Киплингу, оставшемуся признанным мастером

рассказа. Как считают летописцы литературного Сан-Франциско, этот отказ сказался на состоянии духа писателя и на его общем впечатлении от города. Но прежде всего, конечно, надо учесть, что, принимаясь писать об Америке, Маленький Пилигрим следовал уже достаточно большой, сложившейся английской традиции, в основном критической, подчас, можно даже сказать, высокомерно-критической. Паломники из Старого Света приезжали в Новый, чтобы посмотреть да посравнить, и почти неизменно делали вывод, что дома как-то уютнее, спокойнее, порядка больше¹. А что сообщит соотечественникам Маленький Пилигрим? Когда он удивляется тому, что к нему пристают с расспросами незнакомые люди, что в гостинице служащий, вместо того чтобы заниматься им, гостем, занимается собой, во всех этих случаях Киплинг как бы ставит и свою подпись подо всем тем, что описал еще посетивший Америку Диккенс, а следом за ним целый ряд литературных, дипломатических, военных и религиозных путешественников. А капитан Фредерик Марриет, известный писатель, критиковал даже рабовладельческую систему, но как критиковал? С точки зрения собственной выгоды, вернее, той выгоды, которой он лишился вместе с отпадением американских колоний, а был он с материнской стороны, уехавшей в Америку, потомком владельцев обширных плантаций. Ему просто обидно было видеть, что те же плантации принадлежат другим. Но в этом пункте Маленький Пилигрим своей подписи как раз не ставит. Вернее, он ставит подпись под мнением самих американцев, тех американцев, которые гораздо честнее и серьезнее критиковали рабство, и не только критиковали, но и боролись с ним до отмены. Для Киплинга, судя по некоторым его замечаниям, этот вопрос тоже решен раз и навсегда, хотя вместе с тем он ясно видит нерешенность острейших расовых проблем. С умением, достойным опытного и зоркого репортера, намеренно сохраняя репортерски-наблюдательскую позицию и не вмешиваясь, не углубляясь, Киплинг фиксирует развертывающиеся возле него внутриамериканские споры, обличающие коррупцию, бесцеремонное вмешательство бизнеса в политику, непринципиальность партийных разногласий между республиканцами и демократами, которые любыми средствами добиваются влияния и власти. В то же время Маленький Пилигрим показывает себя убежденным сторонником технических завоеваний американцев. В отличие от многих путешественников, роптавших на неустроенность заокеанских железных дорог, Киплинг спокойно переносит и пыль, и дым, и копоть; его даже не особенно страшит, что может развалиться мост, по которому идет поезд. Тут сказывается Киплинг, который первым в литературе живописал паровоз, словно живое существо, который одним из первых приобрел автомобиль, хотя и не смог с ним самостоятельно справиться. Читая американские страницы книги Киплинга, нельзя вместе с тем не учитывать и довольно скоро совершившейся перемены в его мнениях, в частности о прямолинейной, доходящей до грубости простоте нравов. Дело в том, что через несколько лет, после женитьбы на американке, Киплинг сам решит обосноваться на восточном побережье Америки, в штате Вермонт. Тут Киплинг попал в положение несколько парадоксальное, потому что вел себя чересчур просто, на взгляд самих американцев, жителей восточного побережья, державшихся пуританских традиций. Они не могли понять, как уважающий себя джентльмен разъезжает по всей округе на велосипеде, вместо того чтобы пользоваться коляской, и хорошо бы с кучером. Каково же было удивление тех соседей, которые попадали к этому чудаку в дом и обнаруживали там

¹ О том, насколько распространенным и устойчивым, достаточно европейски общим было это впечатление, говорят и путевые заметки русского путешественника той же эпохи. См. *Огородников П.* От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Россию. СПб., 1872. Эта книга была хорошо известна Достоевскому, который опирался на нее в некоторых своих выводах относительно буржуазной демократии.

совершенную чопорность, включавшую, например, специальное переодевание к обеду.

Гораздо более глубокий парадокс кипплинговской судьбы открывается в том факте, что «железный Редьярд», считавшийся несгибаемым патриотом, фактически был человеком без родины. Отправляясь в описанное здесь дальнее путешествие, он навсегда покидал Индию, потому что, за исключением одного очень короткого визита, он в этой стране больше не был. И не только не был, но и уклонялся от приглашений приехать, считая, видимо, все связи порванными. Его американский опыт, начавшийся в целом удачно и даже счастливо, оборвался трагически — смертью маленькой дочери и дошедшей до суда ссорой с родственниками жены.

Англия тоже не сразу приняла, не сразу усвоила Кипплинга, так что он даже подумывал перебраться в Южную Африку, но в итоге сделал ее только своей летней резиденцией. В конце концов он приобрел дом в графстве Сассекс, на юге Англии, где и дожил до конца своих дней. «Мой дом — моя крепость» — эту традиционную английскую поговорку повторял всякий, кто посещал кипплинговский дом, который напоминал крепость прежде всего толщиной стен и мрачностью обстановки, царившей там особенно в поздние годы. С внешней стороны эти переезды могут показаться просто прихотью. Разве не мог себе этого позволить прославленный писатель, который, что называется, жил как хотел? В том-то и дело, что ему не удавалось жить так, как он того хотел! Он мечтал осесть на какой-нибудь земле, именно врасти корнями, а ему, куда бы он ни приезжал, так или иначе давали понять, что человек он тут приезжий, временный. И никакие годы не позволяли забыть об этой временности, никакие стены не защищали от внутреннего непокоя. Истинной причиной непокоя была изначальная придуманность кипплинговской идиллии, насильственность, с которой он и в творчестве проводил свою идею, проводил, твердил свое, даже если этому прямо в лоб противоречили факты.

Но, необходимо подчеркнуть, это упрямство росло в нем с годами. На страницах этой путевой книги мы встречаемся в самом деле с еще молодым человеком, чья позиция только определяется. Определяется здесь же и его тенденциозность, но все же он следует живым впечатлениям, настоящему художественному чутью, он прислушивается к голосам самой жизни. Натура человека сказывается и в отношении к тем книгам, которым он отдает предпочтение, и, надо признать, литературный вкус Кипплинга был сколь стойким, столь же и разборчивым. От своего школьного учителя, побывавшего в России уже после Крымской войны, Кипплинг услышал имена Пушкина и Лермонтова. Он испытывал глубокое уважение к Толстому и в начале XX в. возглавил английский юбилейный Толстовский комитет.

Конечно, трудно представить себе позиции более несхожие, особенно в ту пору! Но непоколебимая мужественность Толстого, проявляющаяся в описаниях того, «как умирают русские солдаты», не могла не импонировать Кипплингу. Ему так и не удалось совершить одно литературное паломничество, о котором он мечтал, именно посетить Стивенсона, жившего в далекой Океании, на островах Самоа. Зато в этой книге он описывает, как ему удалось совершить другое литературное паломничество — к Марку Твену. А Калифорнию он рассматривает как бы сквозь страницы Брета Гарта.

Замечательно удается Кипплингу описание различных ремесел, рукоделья, например, в Бирме, в Японии, и это не случайно. Кипплинг вышел из среды так называемых «прафаэлитов», группы художников и поэтов, стремившихся возродить средневековые, еще дорафаэлевские кустарные промыслы. Доктрину «прафаэлитов» Кипплинг не разделял, считая ее надуманной, чисто эстетской, но воспринял от них любовь к хорошей ручной работе, ладно сделанному предмету. В этом отношении он многое воспринял от отца, прекрасного рисовальщика. Они

даже сотрудничали, причем Джон Локвуд Киплинг испытал со стороны сына обратное воздействие, которое сказывается в его интересной, к сожалению совсем забытой, книге «Человек и зверь в Индии». Это, собственно, совместная книга: в ней стихи Киплинга-младшего, проза и рисунки Киплинга-старшего; а в целом книга проникнута духом специфической киплингской достоверности, подлинности в изображении человека и его близкой связи с природой.

Иногда Киплинга упрекали за «журнализм» в худшем смысле, имея в виду поверхностность, недостаточность знания того, о чем он пишет. Здесь, конечно, необходимы критические разграничения, разборчивость. Уверенный голос Киплинга срывается, давал фальшивые ноты, если пытался он доказать то, чего невозможно было доказать даже на основе ему известного. И тогда его подводила излюбленная им позиция «знатока», «участника», «непосредственного свидетеля». Это касается, например, войны или проблем экономики, политики. Но кто поверит, что Киплинг не видел своими глазами тех мест, которые он сделал местом действия рассказов о Маугли? ¹ Не видел холмов Сеоне и реки Вайнгунги, но видел другие холмы и другие реки, а то, что он видел, он схватывал с необычайной цепкостью, благодаря чему и создавалось впечатление причастности, непосредственного проникновения в предмет. Это умение сразу за ним признали и по достоинству оценили собраты-писатели. А один маленький мальчик — мнение его попало на страницы журнала Киплингского общества — так и сказал: «Понимаешь, мама, все пишут обычно снаружи, а этот Киплинг — изнутри». Символом этого киплингского умения как бы проникать в предмет, будь то слон или паровоз, может послужить глаз кита. Пароход, на котором Киплинг пересекал Атлантику, наскочил на морского великана. «Он посмотрел на меня, — вспоминал Киплинг, — маленьким красным глазком величиной с бычий глаз». И вот на почве мимолетного впечатления в киплингских сказках возникает Кит, у которого узкое горло, — в натуральную величину, живой, рассуждающий зверь. А в основе — маленький красный глазок. В этих путевых очерках та же цепкость проявляется в пейзажных описаниях, в рассказах о памятниках старины, в картинах различных городов и отдельных улиц. Нет никакого сомнения в том, что человек, прочитавший эту книгу Киплинга, а потом вдруг попавший в тот же город, на ту же улицу, подумает: вроде бы он все это уже однажды видел...

«От моря до моря» — эти слова широко известны, только не всегда осознается, что это — из Киплинга, что это одна из тех фраз, которые он отчеканил и которые вошли в язык. В некотором смысле это символ его судьбы. «Влияние его было огромно», — отметил Константин Паустовский на правах современника и собрата по перу. Действительно, это влияние, формировавшее не только стиль других писателей, но самих людей, хотя, как мы слышали, многие из них были не особенно признательны Киплингу за такое влияние. Перестала существовать Империя, нет больше Англо-Индии, но именно потому, что Британской империи больше нет и пафос «железного Редьярда» ушел в прошлое, некоторые его лучшие книги, в том числе собрание этих путевых очерков, представляют собой исторический урок, поучительное чтение.

Д. Урнов

¹ А он действительно не видел этих мест, что удостоверено в биографии Киплинга, прошедшей самую строгую фактическую проверку родственников писателя. См. *Carrington Ch. Rudyard Kipling. His Life and work* (1955). Harmond-Swirth. 1970, p. 260.

Предисловие переводчика

Предлагаемая книга Р. Киплинга не является, строго говоря, путевым дневником. Это собранные под общим названием очерки, предназначавшиеся для англо-индийской газеты «Пионер», издававшейся в Аллахабаде.

В 1889 году писатель, тогда еще молодой человек, распрощался с Индией после семи лет непрерывной службы на поприще журналистики в «Сивил энд Милитари Газетт» (Лахор, Пенджаб) и «Пионере». Он возвращался в Англию через Бирму, Китай, Японию и Америку, обязавшись еженедельно поставлять в «Пионер» статью с дорожными впечатлениями.

К тому времени Киплинг завоевал в Индии прочную репутацию маститого журналиста и подающего большие надежды писателя, но был почти не известен в Англии. Путевые заметки «От моря до моря» адресовались узкому, «домашнему» миру Англо-Индии, и Киплинг не предполагал, что когда-нибудь они будут «поданы к большому столу». Он даже не позаботился об авторском праве.

В течение семи долгих лет Киплинг был прикован к Англо-Индии, для него не существовало «иной жизни», поэтому очерки, особенно первые, изобилуют реминисценциями, обращениями к англо-индийцам и прочими отступлениями. Однако по мере удаления от Индии, по мере того как перед Киплингом открывался новый мир (особенно США), его «вторая родина» постепенно словно отходит в тень, превращаясь в конце концов в «рыхлое облако на далеком горизонте».

В те годы жизнь Англо-Индии «словно дверь на петлях вращалась» вокруг Симлы — небольшого поселения на северо-западе Индии в предгорьях Гималаев, где в течение 6—7 месяцев в году (апрель—октябрь), когда на равнине царил жара, держал свой походный штаб вице-король.

Вслед за вице-королем в Симлу тянулся длинный кортеж высокопоставленных и мелких чиновников, военных, их семей, искателей приключений и пр. Жизнь в Симле носила двойственный характер: с одной стороны, деловая обстановка правительственной резиденции, с другой — атмосфера летнего курорта с его развлечениями и своеобразным стилем светской жизни. Последнее было слишком хорошо известно Киплингу для того, чтобы не оставить следа в его творчестве. Отсюда и характер очерков, их тон — «тон курительного салона, внезапная завязка и остановка повествования, прослоенного отвлечениями и циничными комментариями». Так характеризует Чарльз Каррингтон — биограф Киплинга первые произведения писателя.

Само путешествие оказалось довольно скоротечным. Киплинг покинул Калькутту 9 марта 1889 года, 14-го прибыл в Рангун, 24-го — в Сингапур, 1 апреля был в Гонконге, 15-го — в Нагасаки и отплыл из Японии в Сан-Франциско 11 мая. После двадцатидневного морского перехода он высадился в Америке, а 5 октября был уже в Ливерпуле.

Тем не менее, касаясь политических оценок, которыми насыщены очерки, следует сказать, что писатель предварительно уже прошел большую школу в Индии, где постоянно занимался иностранной корреспонденцией (в частности, русской), сопровождал вице-короля в важных дипломатических миссиях (например, встреча на границе с афганским эмиром) и помимо индийских дел был, по-видимому, отлично осведомлен в вопросах мировой политики. Поэтому едва ли можно согласиться с биографом Киплинга, когда он пишет, что зрелыми являются лишь мнения писателя относительно политики и экономики в Пенджабе. Достаточно обратить внимание на следующие слова Киплинга: «...я утешаю себя тем, что пишу не для читателей в Англии. Иначе мне пришлось бы удариться в притворный экстаз по поводу чудо-прогресса в Чикаго... и вообще пресмыкаться перед золотым тельцом».

Книга представляет большой интерес с точки зрения географии и этнографии, а ряд оценок, содержащихся в ней, позволяет современному читателю глубже уяснить некоторые процессы, подмеченные автором и получившие затем развитие в исторической перспективе.

Глава первая

О свободе и необходимости ее использования; побуждение и проект, которые ни к чему не приведут; изыскание на тему об отчужденности от окружающего и муках проклятого

Когда весь мир так юн, брат,
И зелен полог леса,
И каждый гусь, брат, — лебедь,
Все девушки — принцессы,
Тогда, брат, ногу в стремя,
Мир обскакать не лень,
Кровь юная зовет, брат,
И праздник — каждый день.

Когда минуло семь лет*, Необходимость, которой все мы служим, соблаговолила обратиться ко мне: «Вот теперь можешь совсем ничего не делать. Поживи в свое удовольствие. На один год я снимаю ярмо рабства с твоей шеи. Как ты распорядишься моим подарком?» Рассмотрев вопрос с разных сторон, я захотел было заняться перевоспитанием общества, но, поразмыслив, решил, что на такое дело уйдет больше года и в конце концов общество едва ли будет благодарно мне за это. Тогда я подумал: а не впасть ли в запой? Но тут же сообразил, что выдержу от силы месяца три, а головная боль после этого продлится все девять.

И вдруг явился глоб-троттер*, этот турист-обыватель, самая ненавистная мне личность. Развалившись в моем кресле, он с нескрываемым высокомерием, которое приобрел на пять недель вместе с билетом конторы Кука*, начал поносить Индию. Ведь он прибыл из Англии и, следовательно, перестал соблюдать приличия еще в Суэце.

«Я уверяю вас, — сказал посетитель, — здесь вы слишком приблизились к действительности и поэтому не можете правильно оценить ее. Вы стоите к ней вплотную. А вот я...» — и, скромно вздохнув, покинул меня, чтобы я сам в одиночестве завершил его мысль.

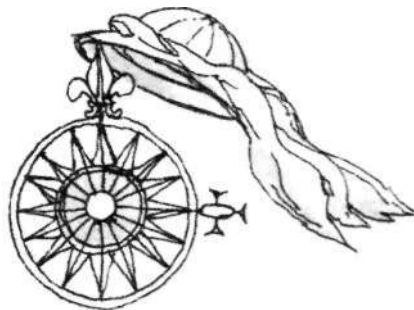
Однако я успел рассмотреть собеседника (от новенького шлема на голове до сандалий на ногах) и пришел к выводу, что передо мной

самая обыденная, заурядно мыслящая личность. Затем подумал об оклеветанной, молчаливой Индии, которая отдана на поприще таким злонамеренным типам, об Индии, где люди слишком заняты, чтобы отвечать на поклепы в их адрес. Я чувствовал себя так, словно сама судьба повелевала мне отомстить за Индию чуть ли не трем четвертям человечества.

Я понимал, что исполнение этого замысла потребует немалых и мучительных жертв, потому что мне самому предстоит стать глоб-троттером в шлеме и сандалиях. Но ради нашего крохотного мирка, нашей Англо-Индии*, я готов стерпеть и не такое. Я тоже буду «день-деньской» поставлять нашей публике «скандальные суждения» по любому ничтожному поводу, не стыдясь этого. Я двинусь навстречу Солнцу и буду идти до тех пор, пока не достигну Сердца Мира*, чтобы снова вдохнуть воздух, пропахший лондонским асфальтом.

Индийское общество не поручало мне ничего подобного, но я сам взвалил себе на плечи эту задачу, назвавшись Главным уполномоченным милого нашим сердцам мирка.

И тогда лик жизни переменялся на моих глазах. Я уподобился умирающему, который



И вдруг явился
глоб-троттер, этот
турист-обыватель,
самая
ненавистная мне
личность.

*Я словно
перестал
существовать
и смотрел
на прежнюю жизнь
с равнодушием
мертвеца ...*



в свое последнее утро не узнает собственной комнаты и понимает, что видит ее в последний раз. Я намеренно шагнул в сторону от потока нашей привычной жизни и уже не разделял ее интересов.

Между тем все шло своим чередом. На равнине распускались персиковые деревья; поговаривали, что благодаря обилию снегов в Гималаях жара продержится недолго... Мне было безразлично все это. На верандах появились опахала и опахальщики, а в окнах общественных зданий — крыльчатые вентиляторы. В весеннем саду распевал медник, и ранняя оса с низким гудением летала вокруг дверной ручки. И медник, и оса — оба — предсказывали наступление жаркой погоды. И это тоже не касалось меня. Я словно перестал существовать и смотрел на прежнюю жизнь с равнодушием мертвеца.

Странно было мое состояние. Я даже не мог точно сказать, сутки минули или семь лет. Одно было безусловно: я мог наблюдать, как люди отправляются на службу, а сам нежился в роскошной постели; мог выходить на улицу в любое время суток; мог просиживать допоздна с полной уверенностью, что утро не принесет мне новых трудов. Я узнал, с каким чувством заключенный, отбывший срок, оглядывается на тюрьму, которую

только что покинул... То есть я постиг переживания, прежде мне недоступные, а кроме того, понял, насколько глубок эгоизм безответственного человека.

Ходили слухи, что наступающий год будет голодным и принесет множество бед из-за обильных дождей. Это опечалило меня: я испугался, что дожди размоют железнодорожную колею, ведущую к морю, и таким образом отсрочат мой отъезд.

Кое-кто предвещал эпидемии, и я вообразил, что Необходимость пожалеет о сделанном мне подарке и немедля шутки ради одним махом сметет меня с лица земли, поверхность которой я собирался рассмотреть.

На афганской границе было неспокойно * — возможно, армейские корпуса поднимутся по тревоге, многие люди погибнут, а другие в горных поселениях станут оплакивать их. Я ужасно боялся этого, потому что тогда между Иокогамой и Сан-Франциско русский крейсер обязательно перехватит пароход, который понесет мою драгоценную персону.

«Да будет отсрочена катастрофа, да не сбудется Армагедон *», — молил я, — не сбудется ради меня, чтобы ничто не помешало мне предаваться удовольствиям! Война, голод, эпидемии обернутся слишком большими неудобствами». И я стал унижаться перед этим великим божеством — Необходимостью, нарочито громко повторяя: «Чур меня! Чур! Забудь обо мне в моих странствиях!» Воистину, мы добродетельны лишь тогда, когда зарабатываем на хлеб насущный.

Итак, я посмотрел на людей другими глазами, и мне стало жаль их. Они трудились. Им приходилось трудиться. А я превратился в аристократа: навещал их в любое время, спрашивал, для чего они трудятся и как часто это делают. Те ворчали в ответ, и зависть в их глазах доставляла мне удовольствие. Однако я не осмеливался насмеяться слишком открыто, опасаясь, как бы Необходимости не пришлось в голову схватить меня за шиворот и водворить обратно на мое собственное, не успевшее остыть местечко рядом с ними.

Когда стало ясно, что моя персона внушает отвращение всем знакомым, я удрал в Калькутту, которая, как это ни больно, продолжала считаться городом. Там даже занимались коммерцией, несмотря на то что год назад я официально, в прессе, проклял эту зловонную столицу. Повторяя проклятие, надеюсь, что она все же потерпит крах. Подумать только — подъезжая к городу, приходится закуривать еще на мосту Хаура*, потому что лучше заработать головную боль от никотина, чем отравиться миазмами Калькутты.

Некий калькуттец, в общем-то вполне порядочный человек, несмотря на то что работает руками и головой, спросил меня, почему ежегодно попустительствуют сезонному переносу столицы, этому скандальному «Исходу»* в Симлу*. Я ответил: «Оттого, что ваша Калькутта, эта сточная канава, непригодна

для обитания. Потому что все в этом городе: вы сами, ваши памятники, купцы и прочее — гигантская ошибка. Мне приятно сознавать, что десятки лак* истрачены на строительство общественных зданий в другой столице, в местечке под названием Симла, а другие десятки лак пойдут на сооружение линии Дели—Калка, чтобы цивилизованные люди ездили в Симлу с комфортом. С открытием этой линии ваш огромный город умрет; он будет похоронен, разложится, и с ним будет покончено. Это послужит вам уроком, сэр».

Тогда он сказал: «Когда здесь идут дожди, покойники превращаются в желе на пятые сутки после погребения. Видите ли, они подвержены омылению». Я ответил: «В таком случае идите и сами подвергайтесь этому. Ненавижу Калькутту».

Я чувствовал себя больным и несчастным; он поклялся, что мой сплин — результат «взгляда на жизнь с точки зрения Симлы», просил не отправляться в путешествие столь предубежденным и пригласил пройтись с ним в местный парк, который называется «Сады Эдема»...

Каждый, кто живет в Англо-Индии, что-нибудь да слышал о «Садах Эдема». Более того, провинциалы думают, что эти сады олицетворяют блеск метрополии. На самом деле там ужасно скучно. Местный цвет публики является туда в сюртуках и цилиндрах и с меланхолическим видом расхаживает



*В конце концов
моряки с Хуши,
всего-навсего
любовь.*



по лужайке в ослепительном сиянии мигающих электрических лампочек. Уж лучше бы эти господа сидели дома, угощая жен охлажденным пивом...

Между тем опустилась удушливая мартовская ночь. Мой друг облачился в предписанные одеяния и сказал снисходительно: «Можете надеть мягкую шляпу, но боже вас упаси появиться в сандалиях или курить на Красной Дороге. Ведь там собираются все».

Те, кто считали себя Людьми (таких было большинство), сидели и общались между собой в экипажах за оградой сада. Там пахло лошадыми, находящимися в периоде течки, сбруей и лаком. Остальные же под звуки оркестра по двое, по трое до изнеможения маршировали по истоптанной зеленой траве.

«И это все, чем вы здесь занимаетесь?» — спросил я. «Да, — ответил мой провожатый. — А в чем дело? Вам что-то не нравится? Здесь мы гуляем, тут место наших встреч. Правда, мы видимся только с теми, кто не в экипажах».

Я огляделся. Над головой простиралось теплое, словно шерстяное, небо; под ногами шуршала трава, и отовсюду апатичный бриз нес на своих крыльях легкое напоминание о сточных канавах. Вокруг громоздились экипажи, а электрическое сияние вызывало боль в переносице. Странное, завораживающее зрелище.

Я наблюдал, как прогуливаются обреченные. Они делали это не переставая, потому что стоило одному из них хотя на мгновение исчезнуть во мраке, испещренном точечками далеких уличных фонарей, как двадцать других тут же занимали освободившееся место. Здесь, в этой духоте и зловонии, были все: моряки торгового флота, армянские купцы, чиновники-бенгалцы, продавцы и продавщицы из магазинов, евреи, парфяне и месопотамцы.

«Так мы развлекаемся, — сказал мой друг. — Тут можно увидеть ливреи с вензелем вице-короля и даже саму леди Лэнсдаун». Он словно зачитывал правительственный список

попавших в рай. Я призадумался: ведь всем этим трезвым, обескровленным, покрытым пылью с головы до ног страдальцам суждено расхаживать здесь до самой смерти.

И все-таки я ошибался. Калькутта имеет такое же отношение к Англо-Индии, как и Вест-Бромптон*. Калькуттское общество (как, впрочем, и бомбейское) достигло определенного интеллектуального уровня, и его взгляды на несколько десятилетий опередили взгляды, бытующие в провинции, то есть в Индии сырых, грубых фактов. Например, рассуждая в общем о положении в Индийской империи, некий ответственный финансист (человек очень разумный) воскликнул: «Для чего нам такая большая армия? Посмотрите вокруг!» Думаю, что он совсем не представлял себе, что находится за пределами Окружной дороги, или, во всяком случае, видел страну не далее Раниганджа*.

Тем не менее когда-нибудь голоса этих непонятливых господ из Бомбея и Калькутты достигнут Лондона — к ним прислушаются, и тогда случится беда. После первой поездки в Калькутту я не мог объяснить себе кислый тон и ограниченность мнений провинциальных окружных газет. Теперь стало ясно, что их опекают из Бомбея или Калькутты и к ним нужно относиться соответственно.

Вы, кто остался трудиться на этой земле, только вообразите: в надлежащее время я сел на пароход и, хотя мне некуда было торопиться, улизнул из Калькутты, воспользовавшись услугами так называемой Бараньей Почтовой компании, которая занимается доставкой овец и почты в Рангун. Казалось, половина Пенджаба* ехала с нами, чтобы послужить королеве в Бирманской военной полиции. И снова грубоватый, резкий говор внутренней Индии ласкал слух среди невнятного бормотания бирманцев или бенгальцев.

Итак, в Рангун на борту «Мадурь».

Дорогие читатели, отправимся-ка вместе со мной вниз по Хугли* и попытаемся вникнуть в жизнь лоцманов, этих странных людей, которые знают о существовании суши только потому, что им приходится видеть ее с середины реки.

— Вот и застряли ниже северной подводной гряды. Под килем шесть дюймов. И это при юго-западном муссоне! Наверное, только на небесах знали, куда я иду... — гудел чей-то бас.

— Чего вы хотите? — вторил другой. —

Затмевающиеся огни* там не годятся. Дайте мне красный с двумя проблесками, хотя бы на внешней отмели. В мире нет реки хуже, чем Хугли. В прошлом году мористее Нижнего Гаспера...

— Подумать только, как обращается с вами правительство!..

В конце концов лоцман с Хугли всего-навсего человек. При исполнении служебных обязанностей он волен говорить хоть по-гречески, но когда дело доходит до критики правительства, ругает его так основательно, словно он — гражданское лицо, не связанное контрактом. У лоцмана нелегкая жизнь, зато он знает много занимательных историй и, коли с ним обращаются уважительно, может поделиться некоторыми из них.

Если лоцман прослужил на реке «шенком» лет шесть, остался в живых и не износился, то, полагаю, он зарабатывает до пятидесяти рупий, гоня по речным плёсам двухтысячтонные суда с сотнями пассажиров. Но вот он перелезает через борт, унося ваши последние любовные послания, и бродит на своем буксирчике в устье, пока не встретит другой пароход, чтобы ввести его в реку. Для утешения лоцману требуется не слишком много.

Где-то в открытом море несколько дней спустя.

Я решил не писать. Не могу, оттого что меня неумолимо клонит ко сну. Меня обуяла великолепная лень. Журналистика — плутовство. То же самое — литература и искусство. Индия скрылась из виду еще вчера, и двухмачтовое лоцманское суденышко, качавшееся у Сэндхеда, уносило мое прощальное письмо в тюрьму, которую я покинул. Мы достигли границы синей воды (растопленные сапфиры), и легкий бриз колышет парусину тента. Утром заметили трех летающих рыбок. Чай на *chotahazri** не слишком хорош, зато капитан превосходен. Устраивает вас такой бюджет новостей или же сообщить вам по секрету о профессоре* и буссоли? Позже вы еще не раз услышите о нем, если, конечно, я вновь возьмусь за перо. В Индии профессор работал по девять часов в сутки, а сегодня в полдень проявил отрешенный интерес к циклонам и прочему. Он даже подумывал спуститься в каюту, чтобы принести буссоль и некую книгу по метеорологии, двинулся было с места, но, вспомнив о выпивке, заколебался.

— Буссоль лежит в ящике, — сказал он сонным голосом, — и все дело в том, что придется вытаскивать ящик из-под койки. Если хорошенько подумать — овчинка выделки не стоит.

Затем он принялся слоняться по палубе, а сейчас, полагаю, крепко спит. В его голосе не слышалось ни малейших угрызений совести.

Я хотел упрекнуть его, но язык не повиновался мне. Я чувствовал себя еще более виноватым.

— Профессор, — молвил я, — в Аллахабаде * выходит глупая газетенка под названием «Пионер» *. Предположим, нужно написать туда статью... Написать собственными руками! Ты когда-нибудь слышал что-нибудь более нелепое?..

— Интересно, пойдет ли ангостурская горькая с виски? — откликнулся профессор, поигрывая бутылкой.

Индии и дневной газеты «Пионер» не существовало. Это был дурной сон. Единственно реальные вещи в мире — кристально чистое море, добела вымытая палуба, мягкие ковры, жгучее солнце, соленый воздух и безмерная, тягучая лень.

*Глава
Стоял*

Река Сгинувших душ и золотая тайна, покоящаяся на ее берегу; зло Иордана; глава рассказывает, как можно пойти в пагоду Шви-Дагон * и ничего не увидеть, а затем отправиться в клуб «Пегу» и чего только не наслышаться; диссертация на тему о смешанных напитках

Я — часть всего, что встретил на пути.
Но опыт наш — лишь призрачная арка
Над миром неизведанных дорог,
Что отступает вдаль по мере приближенья.

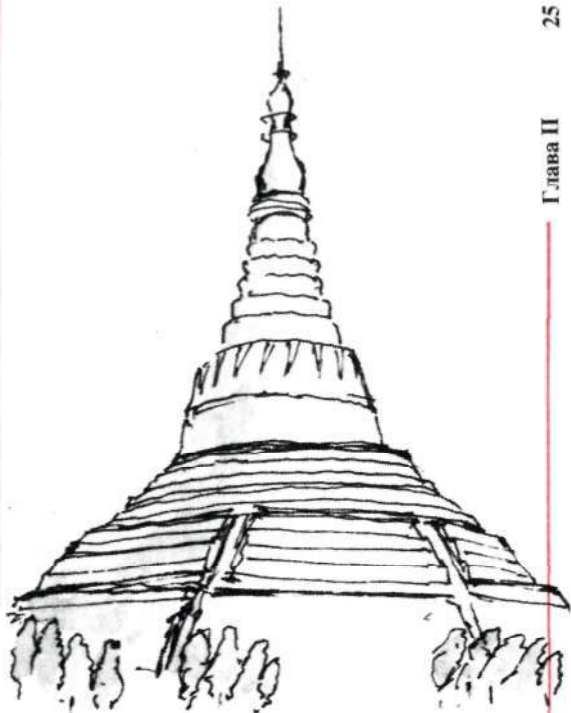
Вот река, бар, лоцман и невероятно сложное искусство навигации. Капитан сказал, что плавание подходит к концу и через несколько часов мы будем в Рангуне. Сама река ничем не примечательна. Ее низкие берега покрыты зарослями и затянута илом. Когда мы оставили за кормой несколько лодчонок, которые прыгали на волнах, мне пришло в голову, что передо мной расстилается река Сгинувших душ — дорога, которой за последние три года прошли многие знакомые мне люди, прошли, чтобы никогда не вернуться. Один прошел, чтобы открыть Верхнюю Бирму, где в безжалостных джунглях под Минлой его подстерегла смерть; второй — чтобы править этой землей именем королевы, а сам не сумел справиться с лошадьёю и был унесен вместе с ней горным потоком. Этого застрелил слуга, другого за обедом настигла пуля бандита. Ужасающе длинный список людей, которые нашли в малярийных джунглях смерть — единственную награду за «тяготы и лишения, неизбежно связанные с исполнением служебных обязанностей», как гласит устав Бенгальской армии. Я припомнил с полдюжины имен: полицейских чинов, младших офицеров, молодых штатских, служащих крупных торговых фирм и авантюристов. Все они отправились вверх по реке и погибли.

Рядом со мной на палубе стоял один из работников Новой Бирмы, который возвращался к месту службы в Рангун. Он рассказал

о бесконечных погонях за неуловимыми бандитами, о маршах и переходах, которые кончились ничем, о благородной, равно как и печальной, смерти в дикой глуши.

Затем над горизонтом возникла «золотая тайна» — великолепное мерцающее чудо, горящее на солнце. Сооружение возвышалось над зеленым холмом и не походило ни на магометанский купол, ни на буддийский шпиль. Ниже тянулись склады, сараи и мельницы. «Под каким новым богом ходим сейчас мы, неукротимые англичане?» — подумал я.

«Вот и старая знакомая — пагода Шви-Дагон! — воскликнул мой новый знакомый. — Будь она неладна!» Однако эта пагода не заслужила таких нелестных слов. Во-первых, ради обладания ею мы взяли Рангун. Во-вторых, благодаря ей мы захотели узнать, какие еще редкости и богатства скрывает эта земля, и стали продвигаться вперед. До тех пор, пока я не увидел пагоду своими глазами, мне было непонятно, чем эта страна отличается



*Вот и старая
знакомая —
пагода Шви-Дагон!*



ся от Сундарбана *, но золотой купол словно шептал: «Здесь Бирма, и она не похожа на другие земли».

«Это знаменитая древняя пагода, — продолжал мой спутник. — Теперь, когда открыли линию Тунг-Хо — Мандалай, тысячи паломников едут взглянуть на нее. Землетрясение повредило большую золотую маковку, которую называют 'htee, и ее укрыли бамбуковыми щитами. Право же, вам стоило бы посмотреть на пагоду, когда уберут щиты. Сейчас там восстанавливают позолоту».

Почему, когда впервые разглядываешь одно из чудес света, кто-то из стоящих рядом обязательно встрянет со своей подсказкой: «Вам стоит посмотреть на...»? Выпусти такого из могилы в Судный день минут на двадцать пораньше — он тут же примется опекать обнаженные души, которые в отблесках жертвенного пламени пронесутся мимо, и говорить им: «Вам стоило бы взглянуть на все это, когда раздался трубный глас Гавриила!»

Я не стану распространяться о Шви-Дагон, а книги, написанные о ней историками и археологами, меня не касаются. Глядя на пагоду, которая словно бы свысока поглядывала на все окружающее, я понял многое: ради чего парни умирают на севере Бирмы, почему на улицах так много солдат, а рейд, словно черными чайками, усеян пароходами флотилии Иравади *.

Затем мы сошли на эту незнакомую землю, и первое, что я услышал от одного из ее постоянных обитателей, было: «Тут вам не Индия. Здесь следовало бы учредить колонию короны *».

Если говорить об Империи серьезно, стараясь выделить главное, videlicet * — ее запахи, то мой собеседник был прав. Калькутта смердит по-своему, Бомбей — по-иному, самый острый аромат источает Пенджаб, и все же индийские запахи родственны, а вот Бирма пахнет совсем иначе. Во всяком случае, ощущаешь, что находишься не в Китае, а тем более не в Индии.

— Что такое? — спросил я, потянув носом.

Нарі, — ответил собеседник.

Нарі — это маринованная рыба, которую давным-давно следовало бы закопать в землю. Если говорить языком путешевителя, «она потребляется в пищу в чрезмерном количестве», и каждый, кому доводилось находиться в пределах ветерка, приносящего запахи-

Рангуна, знает, что такое нарі, а те, которые не знают, не поймут этого.

Да, то была иная земля, земля, где люди понимают толк в красках; прекрасная, безмятежная страна, полная прелестных девушек и очень скверных сигар.

Хуже всего то, что англоиндеец здесь иностранец и его не принимают всерьез. Он не знает бирманского языка, что в общем-то для него небольшая потеря, и мадрасец упорно обращается к нему по-английски.

Кстати сказать, в этих краях мадрасец — важная персона. Он занимает место бирманца, который уступает ему работу, и через несколько лет возвращается домой с перстнями на пальцах и колокольцами на башмаках. Результат очевиден. Мадрасец требует и получает огромные деньги и начинает понимать, что он незаменим. Бирманец же живет в свое удовольствие, а его чада женского пола выходят замуж за мадрасца или китайца, которые содержат их в довольстве и добре.

Когда бирманец хочет поработать, то нанимает мадрасца вместо себя. Где он находит деньги, чтобы расплатиться с ним, неизвестно, но окружающие единодушно утверждают, что ни под каким видом бирманец не станет гнуть горб. Впрочем, если щедрое Провидение раздело бы вас в пурпурные, зеленые, бордовые или янтарного цвета юбки, набросило на вашу голову нежно-розовый шарф-тюбан и поместило в приятную страну с влажным климатом, где рис растет сам по себе, а рыба сама всплывает, для того чтобы оказаться пойманной и замаринованной, стали бы вы работать? Не предпочли бы вы сами взять в зубы черут * и слоняться по улице? Если бы две трети ваших девушек (добродушных крошек) мило улыбались, а остальные были несомненно прелестны, разве вы не стали бы увлекаться любовью?

Бирманец наслаждается тем и другим, а англичанин, который изнуряет себя работой, нелестно отзываясь о нем. Сам я люблю бирманцев слепой любовью, рожденной первым впечатлением. После смерти я обязательно превращусь в бирманца — оберну тело двадцатью ярдами настоящего королевского шелка, изготовленного в Мандалае, и буду курить сигареты одну за другой. Я буду размахивать сигаретой, чтобы сделать выразительнее свою речь, пересыпанную шутками и остротами, и гулять с девушкой цвета миндаля, которая тоже будет смеяться и



Я обязательно превращусь
 в бирманца —
 оберну
 тело
 двадцатую
 тысячу
 настоящих
 королевского
 шелка,
 и побегу в Мандаляе,
 и буду курить
 сигареты
 одну за
 другой.



шутить, как всякая молоденькая женщина. Моя подруга не станет прятать лицо, ей незачем будет скрывать соблазнительные глаза под сари, когда на нее смотрит мужчина. На дороге ей не придется держаться позади меня — своего господина. Все это — обычай Индии. Нет, она глянет миру прямо в глаза, открыто и дружелюбно. И я научу ее вдыхать аромат лучших египетских сигарет, а не осквернять свой прелестный ротик рубленным табаком, завернутым в капустный лист.

Вполне серьезно — бирманские девушки исключительно привлекательны, и, глядя на них, я понял многое из того, что говорят, ну, скажем... о поведении наших солдат во Фландрии.

Провидение действительно приходит на помощь тем, кто не помогает себе сам. Я шел по улице, не зная ее названия, и упивался беспечными красками. Раджпутана и Южная Индия тоже выставляют напоказ свои краски, любой праздник в низинной Индии — это полная палитра грубоватых тонов; однако Бирма расцвечена совсем иначе. У женщин шарф, юбка и кофточка выделяются тремя броскими пятнами, у мужчин — яркие путсо* и головные повязки. Итак, перед вами картина: сочные мазки на темном фоне деревянных домов, обрамленных зеленой листвой.

В искусстве не существует канонов, и каждая система расцветки зависит от интенсивности солнечного освещения. Вот почему в лондонских туманах люди до сих пор предпочитают бледно-зеленое и тускло-красное. А по мне сиреневые, розовые, алые, голубые, словно кипящие, кроваво-красные краски, которые играют под неистовым солнцем, смягчая и преобразуя все окружающее. Я только что открыл это. А когда возчик нелепой, крохот-

ной повозки, которая была под стать упитанной бирманской лошадке, вызвался повозить меня по городу, я заметил еще, что местные жители ласково обращаются с домашними животными.

Мы отправились в английский квартал, где саибы живут в изящных домиках, построенных из дощечек от сигарных ящиков. Кажется, эти жилища можно развалить ударом ноги, и (уж поверьте всезнайке — глоб-троттеру, который мгновенно обоснует теоретически все что угодно), чтобы этого не произошло, они поставлены на ножи.

Поселение не похоже на военный городок, а неровный ландшафт и дороги, покрытые красноватой пылью, не навевают воспоминаний о какой-либо местности в Индии, кроме, может быть, Утакаманда *.

Лошадка забрела в сад, усеянный прелестными озерцами. Там, среди многочисленных островков, сидели в лодках саибы, одетые во фланель. За парком возвышались небольшие монастыри, населенные чисто выбритыми джентльменами в золотистых, словно янтарных, одеяниях. Сердито щебеча между собой, они учили отречению от мира, плоти и дьявольских искушений. На каждом углу стояли по три девчужки-школьницы. Они выглядели так, будто их только что отпустили с подмостков Савоя * после заключительного акта «Микадо» *.

И еще вот что поразило меня: все люди вокруг смеялись. Так по крайней мере казалось. Смеялись оттого, что небо над головой сверкало синевой и солнце склонялось к горизонту, смеялись друг над другом и, вероятно, просто от нечего делать. Пухлый мальчуган хохотал громче всех, хотя курил настоящий черут, который, как ни удивительно, не вызывал у него тошноты.

Мы приближались к Шви-Дагон. Она поражала великолепием и таинственностью, как и тогда, когда мы впервые увидели ее с парохода. Правда, она словно изменила форму. Оказалось, что со всех сторон ее обступали сотни небольших пагод.

Потом на склоне холма мы увидели двух колоссальных алебастровых тигров, изваянных по местным канонам. Они словно охраняли величайшую святыню Бирмы. Вокруг них шелестела толпа счастливых людей в праздничных одеяниях: все направлялись к широкой каменной лестнице, которая вела от этих чудищ по крутому склону холма. Архитекту-

ра лестницы была необычной. Ступеньки терялись в туннеле, а может быть, это была крытая колоннада, потому что впереди, в полумраке, виднелись массивные позолоченные столбы.

Когда мы приблизились к туннелю, уже смеркалось, и я увидел, что предстоит подниматься длинными пологими пролетами лестниц, которые ведут к самой пагоде.

Раза два в жизни мне довелось наблюдать, как глоб-троттер чуть ли не задыхался от досады, увидев, что Индия намного обширнее и прекраснее, чем он предполагал, а у него было только три месяца для ее изучения. Мы же зашли в Рангун всего на несколько часов, поэтому простительно нетерпение, которое я проявил, приподнявшись на цыпочки в толпе у подножия лестницы, оттого что не мог сразу, с первого взгляда понять смысл всего, что мне открывалось. Например, мне были неясны назначение тигров-хранителей, духовная сущность самой Шви-Дагон и окружающих ее небольших пагод. Я мог только гадать, для чего прелестные девушки с черутом во рту продавали какие-то палочки и разноцветные свечки, которые, вероятно, были предназначены для священнодействия перед изваянием Будды. Все было непонятно, и никто не мог ничего объяснить. Я знал только, что через несколько дней большая золотая 'htee, поврежденная землетрясением, будет установлена на место при всеобщем ликовании и песнопении, и половина Верхней Бирмы съезжалась сюда, чтобы присутствовать на представлении.

Затем я прошел между чудищами и, миновав какую-то, словно покрытую побелкой, площадку, оказался перед прямоугольным проемом, охраняемым хромыми, слепыми, прокаженными и горбатыми, которые с визгом и воплями вцепились в мою одежду. Однако люди, которые потоком вливались под своды по пологой лестнице, не обратили на нас внимания. Тогда я вступил под сумрачные своды длинного коридора, мощенного камнем, до блеска вытертым ногами людей. Справа и слева вдоль стен пестрели киоски. В дальнем конце коридора распахивалось необозримое вечернее небо, и там начинался второй пролет лестниц, которые круто вели к самой Шви-Дагон. Каскад пестрых красок ниспадал вдоль этих лестниц, однако мое внимание привлекла великолепная арка в бирманском стиле, украшенная китайскими



Передо мной
расстучается река
сширших дум —
дорога, которой
прошли мноше
знающие мне
люди,
прошли, тобы
никогда
не вернуться

иероглифами, и я остановился, поскольку по собственной глупости решил, что не стоит идти дальше. И вообще меня больше интересовали люди. Я хотел понять, отчего они становятся бандитами, о которых пишут газеты.

Итак, я остановился, потому что богатые сведения можно собрать, так сказать, «сидя у края дороги».

Затем я увидел Лицо, которое многое мне объяснило. Подбородок, шея, губы были абсолютно точно скопированы с физиономий самых безобразных римских императриц (дорожные бабы в развязных позах), которых воспевают Суйнберн *, а мы иногда видим на живописных полотнах. Над этим совершенством тучных форм сидели монголоидный нос, узкий лоб и сверкающие глазки. Я пристально всматривался в этого человека, а тот отвечал удивительно высокомерным взглядом; у него даже дернулся презрительно уголок рта.

Затем бирманец вразвалку прошел вперед, а я расширил свои познания в области физиогномики * и понял еще кое-что. «Надо будет порасспросить в клубе, — подумал я. — Похоже, из такого может получиться бандит. Он сможет и распясть при случае».

Потом появился коричневый младенец, сидевший на руках у матери. Мне захотелось потрепать его за ручонку, и я улыбнулся. Мать протянула мне его крохотную мягкую лапку и тоже засмеялась. Ребенок продолжал смеяться, и мы смеялись вместе, потому что это было, по-видимому, обычаям страны. Десятки людей, которые возвращались теперь уже по темному коридору, где перемигивались фонарики владельцев ларьков, присоединились к нашему веселью. Эти бирманцы, должно быть, добродушная нация, потому что не боятся оставлять трехлетних детей под присмотром глиняных кукол или в зверинце игрушечных тигров.

Я так и не вошел в Шви-Дагон, но чувствовал себя таким же счастливым, как если бы мне это удалось.

В клубе «Пегу» я встретил приятеля-пенджабца, кинулся на его широкую грудь и потребовал пищи и развлечений. Недавно он принимал специального уполномоченного из Пешавара * (вообще принимал всех со всего света), и вывести его из равновесия неожиданным появлением было не так-то легко. Он страшно опустил, а ведь всего несколько

лет назад на Черном Севере разговаривал на тамошнем диалекте (как на нем полагается говорить) и был одним из нас.

— Даниель, сколько носков хозяин иметь?

Недопитая рюмка коньяку с содовой выпала у меня из рук.

— Боже правый! — воскликнул я. — И ты... ты разговариваешь с нукером на этом отвратительном жаргоне? Одного этого достаточно, чтобы пустить слезу. Ты ведешь себя не лучше бомбейского разносчика.

— Я мадрасец, — спокойно ответил он. — Все здесь говорят с боями по-английски. Недурно? А теперь пойдем-ка в «Джимкану», а сюда вернемся пообедать. Даниель, шляпу и трость хозяин иметь!

Должно быть, всего несколько сот человек стоят за кулисами бирманской войны. Это одно из наших малоизвестных и непопулярных небольших дел. Казалось, клуб был переполнен людьми, которые спешили «туда» или «обратно», и разговоры звучали эхом борьбы на далеком севере.

— Видишь того человека? На днях его саданули по голове под Зунг-Лунг-Го. Крепкий мужчина. А тот, что сидит рядом, охотился за бандитами около года. Он разгромил банду Бо Манго и поймал самого Бо на рисовом поле. Другой едет домой после ранения. Заработал кусок железа в «систему». Отведай нашей баранины. Клуб — единственное место в Рангуне, где можно найти баранину. Послушай, не надо обращаться к боям на туземном: «Эй, бой! Принести хозяин немного лед». Они все из Бомбея или мадрасцы. Там, на передовой, встречаются слуги-бирманцы, но истинный бирманец предпочитает не работать, а быть обыкновенным маленьким даку.

— Как ты сказал?

— Нашим дорогим бандитом-дакойтом. Мы зовем их короче — dakus. Это их ласкательное прозвище. А вот и рыбное. Я совсем забыл: вы не слишком-то избалованы рыбой. Да, у Рангуна есть свои преимущества. Тут расплачиваешься по-королевски. Возьмем, к примеру, стоимость обзаведения для женатого человека. Домишко с мебелью — сто пятьдесят рупий. Слуге платишь двести двадцать — двести пятьдесят. Это уже четыре сотни. Дорогой мой, уборщик не берет меньше двенадцати-тринадцати в месяц, да и то продолжает работать в других домах. Это похуже Кветты *. Тот, кто едет в Нижнюю

Бирму, думая прожить на жалованье, просто дурак.

Голос с дальнего конца стола: «Конечно, дурак. Вот Верхняя Бирма — совсем другое дело. Там получаешь настоящую должность и командировочные».

Обрывок из другого разговора: «Это не попало в газеты — овладеть фортом оказалось не так-то просто, не то что пишут... Видите ли, Бо Гуи устроил настоящую западню, и, когда мы сомкнули линию, они высыпали нам спереди и сзади. Бой в джунглях — чертовски жестокое дело. Немного льда, пожалуйста».

Затем мне рассказали о смерти старого школьного друга под стенами редута Минлы. Кто-нибудь помнит дело под Минлой, с которого начался третий бирманский бал? *

— Я находился рядом, — встрял чей-то голос. — Он умер на руках у А., хотя точно не помню. По крайней мере, знаю, что он не мучился. Добрый был малый.

— Благодарю Вас. Думаю, мне пора, — сказал я и вышел в душную ночь.

Голова гудела от рассказов о сражениях, убийствах, внезапных смертях. Я дотронулся до кромки покрывала, скрывающего Верхнюю Бирму, и отдал бы многое за то, чтобы самому подняться вверх по реке и повидать старых друзей — измотанных джунглями бойцов.

В эту ночь мне снились бесконечные лестницы, по которым устремлялись вниз тысячи прелестных девушек, одетых так пестро, что у меня заболели глаза. Наверху висел огромный золотой колокол, а внизу, лицом к небу, лежал бедняга Д., умерший под Минлой, и небритые оборванцы в хаки стояли над ним в карауле.

Город слонов, которым управляет великое божество Лениности, живущее на вершине горы; история трех великих открытий и непослушных детей Икике *

Я для души моей воздвиг дворец прекрасный,
Чтоб в неге вечной поселилась в нем.
Сказал я: «О душа, пируй, ликуй сейчасно,
Прекрасен мир, нам хорошо вдвоем!»

Вот что значит заранее составить расписание путешествия! В первой статье я сообщал, что из Рангуна поеду напрямиком в Пинанг *, однако в настоящее время нахожусь мористее Моулмейна * на другом пароходе, который плывет вообще неизвестно куда... Можно только гадать, почему мы направляемся в Моулмейн. Однако недовольных нет, потому что все пассажиры на борту — такие же бездельники, как и я. Представьте себе пароход полный народа, который совсем не дорожит временем. У этих людей одна забота — посещать судовой ресторан три раза в сутки, и разве что появление таракана способно вызвать у них эмоции.

Моулмейн расположен выше устья реки, которой следовало бы протекать по Южной Америке; всякого рода беспутные туземные суденышки, похоже, чувствуют себя в ее водах как дома. Мычание безобразных грузовых пароходов (знатоки называют их трампами-«джорди» *) разносится среди живописных прибрежных холмов, а на плёсах, словно буйволы в лужах, барахтаются пузатые лайнеры из Британской Индии. Любопытствующие редко заглядывают сюда, так редко, что кроме грузовых сампанов с берега к нам соизволили подойти всего несколько лодчонок.

Строго по секрету скажу, что Моулмейн вообще не просто город. Если помните, Синдбад-мореход посетил его однажды во время достопамятного путешествия, когда открыл кладбище слонов.

По мере того как пароход поднимался вверх по реке, сначала мы заметили одного слона, а чуть позже — другого. Они трудились на

лесных складах у самой воды. Ограниченные люди с биноклями в руках сказали, что на спинах слонов сидят погонщики. Это еще нужно доказать. Предпочитаю верить тому, что видел своими глазами, а видел я сонный городишко, домики которого в одну ниточку тянулись вдоль живописного потока. Город населяли медлительные, важные слоны, воровавшие бревна только ради развлечения. В воздухе стоял сильный запах свежеспиленного тика (правда, мы не заметили, чтобы слоны пилили деревья), и время от времени тишина нарушалась шумом падающих стволов.

Нагуляв изрядный аппетит, слоны побрели парами в свой клуб. Они забыли поздороваться с нами и не вручили последнюю почту.

Мы были весьма разочарованы, но воспрянули духом, когда увидели на холме высокую белую пагоду, окруженную десятками других. «Вот куда стоит совершить экскурсию!» — воскликнули мы в один голос и тут же содрогнулись от отвращения, потому что меньше всего на свете хотели походить на вульгарных туристов.

В Моулмейне наемные повозки по своим габаритам втрое меньше, чем в Рангуне, потому что местные лошади ростом с овцу. Возчики гоняют их рысью вверх и вниз по склону горы, и, поскольку повозки очень тесны, а дороги далеки от совершенства, такая прогулка освежает. Здешние возчики тоже мадрасцы.

Вероятно, мне удалось бы припомнить больше подробностей о той пагоде, не влюбись я по уши в девушку-бирманку, которую встретил у подножия первого пролета лестниц, поднимаясь вверх. Увы, пароход отходил на следующий день в полдень, и это помешало мне остаться в Моулмейне навсегда и стать владельцем пары слонов. Слоны здесь — обычное явление, и я не сомневаюсь, что любого можно заполучить за стебель сахарного тростника.

Покинув не в меру прелестную девицу, я прошел несколько ярдов вверх по лестнице. Затем, повернувшись, окинул взором морской простор, остров, речную ширь, чудесные пастбища, леса, которые опоясывали их, и возликовал оттого, что живу на свете.

Склон горы вокруг меня словно пылал золотистыми и ярко-красными пагодами, а одна была из серого камня тончайших оттенков. Ее возвели в честь известного монаха, который недавно скончался в Мандалае.

Высоко над головой слышалось слабое теньканье (словно звенели золотые колокольчики) и шептание бриза в пальмовых кронах.

Я поднимался все выше и выше, пока не добрался до площадки, где царила мирная тишина, а меня со всех сторон обступили опрятные бирманские идолы. Время от времени здесь останавливались для молитвы женщины. Они склоняли головы, беззвучно шевелили губами. Я держал в руке черный зонтик, у меня на ногах были сандалии, на голове — шлем. Я не молился, а проклинал себя за то, что был глоб-троттером, который слишком плохо владеет языком бирманцев. Я был не в состоянии извиниться перед этими женщинами и объяснить, что не могу обнажить голову из-за жгучего солнца. Глоб-троттер — грубое животное. Бродя вокруг пагоды, я чувствовал себя так неловко, что покраснел. Надеюсь, когда-нибудь мне зачтется моя совесть.

Однако я не постеснялся бесцеремонно разглядывать золотой и пурпурный боковой храм с золоченым Буддой, мрачные статуи в нишах у основания главной пагоды, пальмочки, которые пробивались между плитами на полу дворика, пальмы, растущие выше по склону, бронзовые колокола, которые стояли на каждом углу и были подвешены так низко, чтобы женщины могли ударять по ним ветками папоротника. На одном красовалось изумительное трехстишие на английском языке, которое тридцать пять лет назад сочинил, вероятно, сам литейщик. Будем надеяться, что он уже достиг Ниббаны*.

Кто разрушит этот колокол,
Должен попасть в большой ад
И не сможет оттуда выйти.

Я проникся уважением к тому человеку, который не сумел написать слово «ад» без ошибки. Это говорит о том, что он воспитывался в духе религиозной добродетели. Прошу тех, кто придет в Моулмейн, уважить этот колокол и, чтобы не оскорблять чувства верующих, воздержаться от баловства. В нижней части пагода имела четыре камеры, где вдоль стен стояли колоссальные алебастровые статуи. Перед каждой горел светильник. Огоньки соперничали в яркости с потоком предвечерних солнечных лучей, которые проникали через окна, и бледно-желтый, словно неземной, свет заливал помещения. Изредка туда входила женщина, но большин-

ство молящихся толпились на дворике. Однако те, кто склонялись перед статуями внутри пагоды, молились жарче, и я догадался, что их одолевали горести посильнее.

О самом культе я знал меньше чем ничего. Дело в том, что в наших аккуратно переплетенных книжках мне не приходилось читать о соломинках с красными кончиками у золотого образа, не упоминается там и обычай ударять по краям колоколов, подобно тому как это проделывают верующие в индуистских храмах.

Наверное, это культ служения добру. Во всяком случае, обряды отправляются тихо, а храмы стоят в живописнейшей местности. Например, массивная белая пагода, которую я осматривал, устремлялась в голубое небо с западного склона горы, обнесенной стеной. С вершины горы на все четыре стороны открывалась великолепная панорама. Внизу под мной стоял пароход, слева расстилались серебристые, словно полированные, плёсы, справа — леса, а там, где земля уходила к горизонту, — крыши Моулмейна.

Когда временами стихали шелест одежд и приглушенный говор женщин, откуда-то издалека до меня доносилось позвякивание бесчисленных металлических листочков, свисающих с краев 'htee пагоды, которыми играл ветерок. Золотая статуя мерцала на солнце, крашенные истуканы уставились прямо перед собой поверх голов молящихся, а далеко внизу деревянный молоток и рубанок неторопливо трудились над сооружением очередной пагоды в честь Будды — господина этой земли.

Пока, к неописуемому ужасу каких-то юношей бирманцев, профессор носился со своим кошунственным фотоаппаратом вокруг пагоды, я присел поразмыслить над увиденным и, едва не заснув, сделал два замечательных открытия. Первое: господин сей земли — это лень, липкая упитанная лень со слабой примесью религии, которой ее подслащивают. Второе: пагода создана по подобию разбухшего ствола пальмы. Одна из таких пальм росла неподалеку. Она точно воспроизводила очертания небольшого здания из сероватого камня.

Однако третье открытие, самое важное, пришло гораздо позднее. Мимо пробежал чумазый постреленок в шелковом путсо великолепной работы. Именно такое я тщетно пытался приобрести в Рангуне. Прохожий

пояснил, что оно стоит сто десять рупий. Это на десять рупий дороже, чем просили в Рангуне. Тогда я неучтиво обошелся с прелестной девушкой-бирманкой, нагрубив ей, словно она была делийской разносчицей.

— Профессор, — сказал я, когда аппарат, словно паук, появился из-за угла, — с этим народом творится неладное. Они не утруждают себя работой, далеко не все они бандиты, ребяташки бегают в сторупиевых путсо, а их родители говорят только правду. Все-таки на что же они живут?

— Они живут великолепно, — отозвался профессор. — А я захватил только полдюжины пластинок. Придется прийти сюда завтра. Я не смел и мечтать о таком удачном месте.

Я сказал:

— Конечно, место превосходное, но не пойму, в чем же его очарование?

— В ужасающей ленисти, — отмахнулся профессор, улаковывая аппарат. Мы ушли неохотно, а в ушах стоял звон покачиваемых ветром колоколов.

Минут через десять мы увидели настоящую оркестровую эстраду, хибару с вывеской «Муниципальный совет», коллекцию бунгало, которые предлагает департамент общественных работ (они тщетно пытались испортить пейзаж), и военный оркестр мадрасцев. Никогда не видел солдат-мадрасцев. Они были одеты как Томми * и имели весьма приличный, подтянутый вид. Говорят, что они читают английские книжки и отлично разбираются в своих правах и привилегиях. За подробностями обращайтесь в клуб «Пегу» — второй столик в дальнем конце зала по правую руку от входа.

Видимо, в недобрый час я пытался оживить пошатнувшуюся торговлю в Моулмейне. Дело в том, что я заручился согласием одного из местных жителей доставить на пароход образцы бирманского шелка. Добраться на лодке до парохода было пятиминутным делом. Ему не надо было даже грести — пришлось бы просто посидеть на корме. Но... наступило утро, а он так и не появился. Лодки с превосходными арбузами тоже не подошли к борту. Должно быть, на нас наложили карантин.

Когда мы снялись на Пинанг и скользили вниз по течению, я снова увидел слонов, которые все так же торжественно поигрывали бревнами. Они составляют большинство местного населения и, мне кажется, даже управляют здешним краем. Своим летаргическим состо-

янием слоны словно заразили весь город, а когда профессор захотел сфотографировать их, они с презрением отвернулись.

Пароход торопился в Пинанг. Температура воздуха в каютах достигла 87° *, а на палубе — можете себе представить! Мы прочитали всю литературу, выпили двести стаканов лимонада, перепробовали около сорока карточных игр (в основном раскладывали пасьянсы), организовали импровизированную лотерею (если бы сбор составил тысячу вместо десяти рупий, я бы ничего не выиграл) и спали по семнадцать часов в сутки.

Совершенно неохота писать, но, может быть, вы окажетесь подготовленными морально, чтобы выслушать историю Дурного народа из Икике, которую, «раз вы ее не слышали, я сейчас расскажу». Мне поведал ее немец — охотник за орхидеями. Он побывал в отдаленнейших уголках земли и недавно чуть было не свернул себе шею в горах Лушай *.

Икике находится где-то в Южной Америке, сразу же за Бразилией, а возможно, и еще дальше. Однажды прямо из леса туда нагрянуло племя аборигенов. Они были настолько невинны, что не носили никаких одеяний. У них были какие-то неприятности, но не было одежды, и свои неприятности они принесли на суд Его Превосходительства губернатора Икике.

Однако слух о появлении дикарей и их наготы опередил события, и добродетельные испанские леди города решили, что прежде всего язычников необходимо приодеть; организовали срочный пошив в основном передников, кои и были вручены Дурному народу вместе с указаниями, как ими пользоваться. Едва ли можно было придумать что-нибудь лучшее. В этих передниках дикари предстали перед губернатором и всеми дамами города, которые выстроились на ступеньках собора.

Однако губернатор отклонил прошение. Знаете, что сделали эти дети природы? В мгновение ока сдернули с себя передники, обвязали их вокруг шеи и стали плясать в чем мать родила перед дамами, а те, закрывшись веерами, поспешили укрыться в соборе. Когда ступени опустели, Дурной народ с криками удалился, унося передники, потому что добротная материя — это ценность. Сознавая собственную силу, они расположились лагерем неподалеку от города.

Послать против них войска сочли невозможным, равно как нельзя было допустить, чтобы

они, снова появившись в городе, шокировали доний и сеньорит. Никто не знал, в какой час Дурному народу вздумается заполнить улицы. В силу сложившихся обстоятельств их просьбу удовлетворили, а Икике обрел покойствие. *Nuda est Veritas et prevalebit* *.

— Однако, — сказал я, — что же ужасного в обнаженных индейцах... даже если их двести? — Трук мой, — ответил немец, — это бильинтеец Южный Америк. Я говорил вам, они не умеют раздевать себя карашо.

Я прикрыл рот ладонью и отошел в сторону.

Глава четвертая

рассказывает о том, как я прибыл на остров хиромантов — резиденцию Поля и Виргинии * и уснул в саду

Иные о славе мирской, а другие вздыхают,
Согласно с ученьем пророка, о сладостном рае.
Эх, туже набей кошелек, позабудь про кредит.
Пусть бьют барабаны, их грохот тебя не смутит!

В англосаксонском характере кое-что явно не в порядке. Не успела «Африка» стать на якорь в проливе Пинанга, как двух наших пассажиров обуяло сумасшествие: они узнали, что другой пароход вот-вот отойдет на Сингапур. Если бы они смогли перескочить на него, то выиграли бы несколько дней. Одному небу известно, почему они так дорожили временем. Итак, эти двое бросились в свои каюты и принялись упаковывать чемоданы с таким рвением, будто от этого зависело спасение их душ, затем перепрыгнули через борт и, разгоряченные, но счастливые, отгребли от парохода на сампане. Они ведь путешествовали ради развлечения и сэкономили, пожалуй, три дня. Последнее и служило для них развлечением.

Вы помните описание острова хиромантов у Безанта * в его романах «Моя крошка» и «Неужели они стали супругами?»? Пинанг и есть остров хиромантов. Я понял это, когда разглядывал с палубы лесистые холмы, которые господствовали над городом, и полчища пальм в трех милях поодаль, где были берега провинции Уэлсли *. Сырой воздух словно отяжелел от лени, а под бортом толпились лодчонки, переполненные матрацами, которые были обильно увешаны драгоценностями. Безант описал этих людей совершенно точно.

Пронесся шквал, отчего скрылись из виду низкие домишки Пинанга под красными черепичными крышами, а вслед за штормом над миром спустились ночные тени.

Я сунул в карман двенадцатидюймовую линейку, которой собирался измерить весь мир,

и чуть было не расплакался от избытка нахлынувших чувств, когда, выбравшись на причал, наткнулся на сикха*, великолепного бородатого сикха с ружьем и в белых гамашах. Порой родное лицо подобно глотку прохладной воды в пустыне. Мой друг оказался родом из Джандиала в округе Умритсар. (Бывал ли я в Джандиале? Это я-то?) Я начал выкладывать новости, какие мог припомнить: об урожае и армии, о перемещениях «больших людей» на дальнем, далеком Севере.

Сикх сиял. Он служил в военной полиции, ему нравилась служба, но, как он выразился, «слишком уж далеко от дома». Работы было немного, а китайцы почти не доставляли хлопот. Они ссорятся между собой, но «с нами стараются вести себя благоразумно». Затем этот крупный, важный мужчина удалился вразвалку вместе со всем колыхавшимся в ногу полком Пионеров, а я воспрянул духом при мысли о том, что Индия (ведь я только притворялся, что ненавижу ее) в конце концов не так уж и далека.

Вам знакома наша неискоренимая привычка с недоверием относиться ко всему, что бы ни исходило из провинции? Например, в Калькутте изображают изумление, оттого что в Аллахабаде обзавелись приличным танцевальным залом; в Аллахабаде ахают: правда ли, что в Лахоре* есть фабрика, где производят лед? А в Лахоре, кажется, только делают вид, будто верят, что в Пешаваре все ложатся спать, не расставаясь с оружием.

Увидев в Рангуне паровой трамвай, я был приятно удивлен, а за Моулмейном вообще ожидал встретить задворки цивилизации. Я был наказан за собственное тщеславие и неведение, когда в Пинанге столкнулся лицом к лицу с деловой улицей из двухэтажных домов, которая пестрела вывесками, кишела наемными повозками, и прежде всего джинриксами*.

Вы, живущие в Индии, не знаете, что такое настоящая коляска рикши... В Пинанге их около двух тысяч, и ни одна не похожа на другую. Они украшены рельефными изображениями драконов, лошадей, птиц, бабочек и покрыты лаком. Их рукоятки изготовлены из черного дерева и отделаны каким-то белым металлом. Они настолько прочны, что кули садятся на них, когда поджидают седока. У каждой коляски только один рикша, но он выносливей шестерых скороходов. Он подвя-

зывает свой «хвост», потому что он наверняка из Кантона, а это большое неудобство для саибов, которые не говорят на языке тамиллов*, по-малайски или на кантонском наречии. Впрочем, рикшу можно погонять, как верблюда.

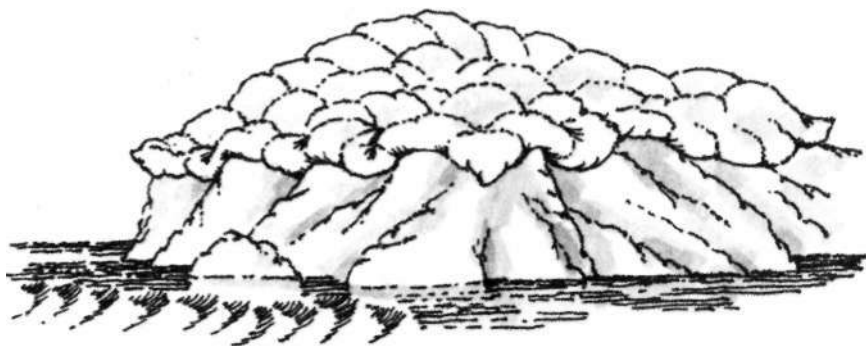
Рикши — народ терпеливый и многострадальный. Извозчик со зверской физиономией, который вез меня в экипаже к водопадам, что находятся в пяти милях от города, старался переехать колесами каждого встречного рикшу или нещадно стегать его кнутом.

Я ожидал, что здания быстро уступят место густым посадкам кокосовых пальм, однако они продолжали заполнять собой улицы, похожие на Парковую или Мидлтон в Калькутте. Домишки со ставнями на окнах (полукровки, нечто среднее между индийским бунгалом и рангунской лагучой, которая напоминает кроличью клетку) утопали в зелени разнообразных растений и кротонов*, которые достигают здесь высоты небольших деревьев. Время от времени у обочины пламенел фасад китайского дома (сплошная резьба, окрашенная киноварью, сажей и золотом) с неизменным шестифутовым фонарем над дверным проемом. За домом в ухоженных задних двориках мелькали странно подстриженные кусты.

Кое-где по обе стороны от дороги тянулись ряды туземных домишек на сваях; их затеняли вечнозеленые кокосовые пальмы, обремененные молодыми плодами. Горячий воздух словно пропитался благоуханием всевозможных растений, но все же это не был запах земли после дождя. Какая-то птичка подавала голос из чащи, а в холмах, к которым мы приближались, слышалось бормотание грома. Все вокруг дышало покоем, а пот струился по нашим лицам ручьями.

— Вам придется сойти и подняться пешком вон на ту гору, — сказал возчик, указав на невысокий барьер — ограждение ухоженного ботанического сада. — Экипажам дальше нельзя.

Мышцы словно налились свинцом, дышалось как в турецкой бане. Даже почва, казалось, трепетала от избытка тепла и влаги, а странные деревья (сонливость одолела меня, и я не стал читать таблички, написанные рукой оскорбительно деятельного человека) были влажными и теплыми тоже. Где-то журчала вода, но не хотелось ничего слышать, потому что жара сморила меня. Тучное



Тугное облако,
словно стеганое
одеяло на гагачьем
пуху, плотно
окутывало
вершину.

облако, словно стеганое одеяло на гагачьем пуху, плотно окутывало вершину.

К вечеру добрались они до страны,
Где, казалось, царил вечный день.

Я присел там, где стоял, потому что увидел тропу — грубые ступеньки, круто уходящие вверх, и на меня будто что-то нашло. Это было словно толкование сна: я находился у входа в неглубокое узкое ущелье, в том самом месте, где присаживались лотофаги *, когда заводили свои песни, и я узнал водопад. А воздух в ушах «дышал, подобно человеку в тяжелом забытии».

Я осмотрелся и понял, что не могу передать словами этот пейзаж. Как говорится, «я не играю на флейте, зато мой кузен играет на скрипке». Я знал человека, который сумел бы это сделать. Правда, поговаривали, что он не добивался необходимой точности, я же своим пером просто рискую оскорбить нравственность. Впрочем, в подобном климате это не имеет значения. В конце концов можно обратиться к страницам романов Золя и там прочитать описание оранжереи. Ведь в сущно-

сти здесь происходит то же самое. Летит время, но ни холод, ни испепеляющий зной не отмечают его течения.

И вдруг, словно ощутив острую боль, я понял, что обязан «сделать» водопад, и побрел вверх по ступенькам, хотя каждый встречный булыжник кричал мне: «Присядь! Отдохни!» Затем я увидел небольшой поток, который катился по лику скалы. По моему лицу струился другой, но значительно более обильный.

В конце концов нам захотелось позавтракать. Желудок заслуживает большего внимания, чем любые достопримечательности, и мы

Мэню.

BILL OF FARE.

Суп из ласточкиных гнезд.	Bird's nest soup.	菜燕
Рыба запеченная и отварная.	Fish, stewed & boiled.	魚目比炸魚 鱈粉
Плавники акулы.	Shark's fins.	翅魚
Говяжье филе с грибами.	Filet of beef with mushrooms.	片裡牛 菇磨
Юань-Инь пилата.	Yüan Yan chicken.	雞考管
Цыпленок (по европейски).	Chicken, (an European Dish.)	雞凍
Серебряные грибы.	Silver Fungus.	耳銀
Голубь.	Pigeon.	子鴿增玉完
Вареные моллюски.	Shell-fish, boiled.	貝干蓉芙蓉
Курдюк.	Sheep's tail.	尾羊燒
Утка, жареная и запеченная.	Duck, fried & stewed.	子鴨燒鍋
Вареная ветчина с индейкой.	Boiled Ham with Turkey.	雞火腿文
Китайские пирожки.	Chinese cakes.	心煎圓中
Паста из каштанов.	Chestnut paste.	糕子栗
Конфеты.	Sweets.	餅糖
Десерт и мороженое.	Dessert & Ice.	抹吉冰果水



оставили за поворотом дороги сад и его плещущие струи. С этим приключением было покончено. Кстати, приключения подобны черуту: сначала он не раскуривается, вкус его великолепен в середине, а окурок выбрасывается, чтобы никогда не подобрать.

Итак, его звали Джон, его коса (натуральный волос, а не какой-нибудь заплетенный шелк) достигала пяти футов в длину, он содержал придорожный ресторан и накормил нас цыпленком, чья невинная плоть была начинена луком и какими-то неведомыми овощами. Раньше мы боялись китайцев, особенно тех, что подают блюда, но теперь готовы съесть из их рук все, что угодно.

Обед завершили ананас стоимостью в полгинеи и сиеста. Последнее — нечто прекрасное. В Индии (хотя я уже не из Индии) мы и понятия не имеем, что это такое. Вообразите — вы спокойно лежите и наблюдаете, как течет время. Вы не чувствуете усталости и поэтому не засыпаете. Вас наполняет божественная дремота, совсем не похожая на тяжелую, тупую одурь, которая одолевает человека жарким воскресным днем. Это

совсем не то, что деловитый утренний отдых по-европейски.

Отныне я презираю романистов, которые расписывают сиесты в странах с умеренным климатом. Я-то знаю, что такое настоящая сиеста.

Пытался приобрести несколько сувениров: саронг (он может называться путсо или дхоти), трубку и нож — «проклятый малайский крис». Саронги поступают в основном из Германии, трубки — из закладных лавок; что касается крисов, то продаются какие-то зубочистки.

На пороге Дальнего Востока; обитатели этих мест; рассуждение о том, где можно использовать британского льва

Как создан мир для любого из нас,
Как принимаем и как познаем его мы?
В миг, по наитью, прозренье приходит подчас.
Нашей души откровенья бывают видны
В спелых плодах, что она порождала не раз.

— Уверяю вас, сэр, так жарко в Сингапуре не было уже много-много лет. Март вообще считается у нас самым жарким месяцем, но то, что происходит сейчас, совершенно ненормально.

Я нехотя ответил незнакомцу:

— Да, конечно. Где только не твердят эту ложь! Оставьте меня в покое. Позвольте уж истекать потом в одиночестве.

Жарко, как в оранжерее. Всюду преследует липкая, насыщенная испарениями духота, которая одинаково безжалостна и днем, и ночью. Сингапур — та же Калькутта, только еще хуже. Краины застраиваются дешевыми домишками, а в самом городе люди сидят друг на дружке и готовы запихать приезжего в собачью конуру. Таковы неумолимые признаки коммерческого процветания.

Индия осталась так далеко позади, что я уже не хочу говорить о местном населении. Это сплошь китайцы, если только не французы, голландцы или немцы. Непосвященные думают, что остров — владение Англии, однако все, что находится на нем, принадлежит Китаю или Континенту, в основном Китаю.

Я почувствовал, что прикоснулся к Поднебесной империи, когда насквозь пропитался затхлым запахом китайского табака — тонко нарезанной травы с жирным блеском. По сравнению с его зловонием аромат *huqa* на камбузе — благоухание магазина Риммеля.

Провидение вело меня вдоль берега (пять миль, сплошь забитых мачтами и пароходными трубами) к заведению под названием «Раффлз-отель», где кухня столь же превосходна, сколь безобразны номера. Да примут это к сведению путешественники. Питайтесь

в «Раффлз», а ночевать отправляйтесь в отель «Европа».

Я бы сам последовал этому совету, но меня заинтриговало видение — две дородные леди, одетые с большим вкусом... в ночные халаты. Они сидели положив ноги на стулья. Джозеф * хотел было удалиться, однако оказалось, что эти женщины — голландки из Батавии * в своих национальных костюмах.

— Поелику на них чулки и халаты, то не на что жаловаться. Обычно до пяти вечера они вообще ничего не носят, кроме ночной сорочки, — пробормотал человек, осведомленный в здешних обычаях.

Не знаю, довершил ли он правду, но я склонен в это поверить и теперь представляю себе, как выглядит «батавская грация», но не одобряю ее. Леди в халате будоражит воображение и мешает сосредоточиться на изучении политической жизни в Сингапуре. А между тем этот город в наши дни укреплен мощными фортами и с надеждой ожидает, когда придут их украшения — девятидюймовые орудия, заряжающиеся с казенной части.

В доверчивости и преданности наших колоний есть нечто патетическое, а ведь давным-давно они могли бы настроиться скептически или даже озлобиться. «Мы надеемся, что правительство в Англии сделает это, а возможно, сделает другое» — вот каков припев песни, и повсюду, где англичане не могут успешно размножаться, припев этот не должен изменяться.

Представьте себе, что Индия с ее климатом была бы пригодна для постоянного обитания нашего племени. Подумать только, чего бы только ни достигли мы, англоиндийцы, если бы лет пятьдесят назад обрубили концы, которые привязывали Индию к метрополии! Мы бы уже давным-давно проложили пятьдесят тысяч миль железнодорожного полотна, имели бы еще тысяч десять в перспективе и располагали бы годовым приростом бюджета. Ну не бунтарские ли мысли?!

Дело в том, что сейчас я разглядываю с веранды пароходы в гавани, улицы, которые кишат китайцами, апатичных англичан в белом, которые сидят развалившись на тростниковых стульях, и мне становится не по себе. Позже я попытаюсь доказать, что эти англичане вовсе не лентяи, но все же они любят слоняться без дела и, кажется, появляются в оффисе не раньше одиннадцати, а это плохо. Кроме того, они, будто оспаривая свое

законное право, неустанно твердят, что хотели бы почаще наведываться домой, в Англию. Я возвращаюсь к своей изначальной мысли. Если бы мы могли растить свое потомство в этих краях и наши дети и внуки уже не старались бы задать деру, Британская империя распалась бы, прежде чем какое-нибудь собрание, вроде комиссии Парнелла *, успело бы провести половину своих заседаний.

Зато позднее, когда образовавшиеся государства, подобно подросткам сыновьям, которые вырвались на свободу из родительского дома, наверняка пресытились бы этой свободой: опалили бы свои крылья в огне войны, доторговались бы до того, что залезли по уши в долги, и испытали бы многое другое, мы с вами стали бы свидетелями грандиознейшего воссоединения и пересмотра тарифов! Тогда все вместе эти государства охватили бы земной шар, словно широким железным поясом. В его пределах — свободная торговля, вне — жесткая покровительственная пошлина. Такое обширное осиное гнездо не посмела бы тронуть и пальцем любая коалиция. Этой мечте не суждено осуществиться еще долгие годы, но придет время, и мы добьемся чего-нибудь в этом роде. А пока что наши люди, эти перелетные птицы из Канады, Австралии, с Борнео (на этом острове пора покончить с неразберихой, чтобы не упускать всех возможностей), с сотен разрозненных островков, твердят в один голос: «Мы еще не окрепли, но придет день...»

О дорогие соотечественники, те, кто варится живьем в Индии и ругает любое правительство в Англии! Быть англичанином — это великолепно! «Нам выпал грешный жребий жить на прекрасной земле. Да, у нас обширное наследие».

Разверните карту, взгляните на ленту полуострова Малакка, который тянется на тысячу миль в южном направлении. Пинанг, Малакка, Сингапур скромно подчеркнуты красными чернилами. Теперь смотрите! Мы имеем своих резидентов в каждом более или менее заметном малайском государстве. Наше влияние распространяется от экватора до Кеды * и Сиамы *. Господь прежде вложил в эту землю золото и олово, а потом поместил туда англичанина, который создает компании, приобретает концессии и продвигается вперед. Например, одна из наших компаний внутри страны владеет концессией на территорию в две тысячи квадратных миль. Это

означает право на разработку полезных ископаемых, на несколько тысяч кули и на постоянную администрацию. Как у нас в Индии на угольных коях, где лица, возглавляющие шахты, — настоящие короли, облеченные почти неограниченной властью.

За компаниями потянутся железные дороги. Пока что местные газеты довольствуются тем, что не жалеют строк на разговоры о них, и до настоящего времени на полуострове, неподалеку от цивилизованного поселения Пайретс-Крик, проложили всего двадцать три либо двадцать четыре мили узкоколейки. Правда, султан Джохора * обещал или обещает концессию на строительство сквозной железной дороги в своем государстве, которая в конечном счете соединится с линией в Пайретс-Крике, а в Сингапуре давно уже заряются на строительство полуторамильного моста через пролив.

Итак, будет положено начало великой магистрали, о какой мечтал Кольхаун *. От Сингапура она пойдет через всевозможные мелкие государства и Сиам на соединение с великой железнодорожной системой Индии, и тогда заказывайте билеты отсюда непосредственно до Калькутты.

Что-то похожее на подробное описание подобных проектов, которые время от времени обсуждаются здесь, заняло бы по объему две таких статьи и было бы слишком сухим чтивом.

Надеюсь, вам хорошо известно содержание «профессиональных» дискуссий, которые разгораются в кругу наших инженеров, когда новая линия прокладывается в Индии. А ведь местность там отлично изучена, и ожидаемая прибыль может быть подсчитана до пенса. Здесь обсуждают те же проблемы, правда, собеседникам не известно, какая местность ждет изыскателей впереди и где, возможно, им придется остановиться. Это придает «проектам» некоторую легковесность, хотя смелость замыслов поражает тех, кто привык смотреть на все глазами человека из Индии. Например, поговаривают о «пробеге» по всему полуострову (учреждая пути сообщения, укрепляя влияние и еще боги знает что), однако умалчивают о том, что для обеспечения даже мелких операций необходимы войска. Может быть, прожектеры просто уверены в том, что правительство в Англии позаботится обо всем? И все же странно слышать, как хладнокровно обсасываются

такие планы. Ведь для их осуществления, то есть для того, чтобы все предприятие не попало в чужие руки, придется увеличивать вдвое численность наших гарнизонов.

Тем не менее купцы изъявляют желание продолжать начатое, и я думаю, что со временем мы одолжим где-нибудь трех рядовых и сержанта, когда все поймут, какой богатый подарок судьбы наши Стрейтс-Сетлментс. Предсказание ни к чему не обязывает — в недалеком будущем они превратятся в...

— ...придаток Китая, — вмешался профессор, заглянув мне через плечо, — еще одно поле деятельности для их дешевой рабочей силы. Когда в тысяча восемьсот пятнадцатом Голландии возвращали ее поселения — все эти окрестные островки, надо было отдать ей и эти края. Посмотри-ка! — Он кивнул в сторону китайцев, которые сновали под нами.

— Позволь уж мне домечтать, профессор. Через минуту я возьму шляпу и в мгновение ока разрешу проблему китайских иммигрантов.

Однако должен признаться, что улица являла удручающее зрелище. Ей следовало бы кишеть людьми из Бихара*, Мадраса, Конкана*, то есть людьми из нашей Индии.

Затем «Подъем!» и разговор с загорелым человеком, у которого было дело на Северном Борнео. Он владел какими-то пещерами в горах (они, если вам интересно, расположены на высоте девятисот футов), и их заполняли вековые отложения гуано. От его рассказов по телу ползли мурашки.

— Чтобы наладить дела, нам необходимы сотни тысяч рабочих, — сказал он размеренным голосом. — Миллион кули. Они нужны повсюду: на табачных плантациях Суматры, на Яве, но для Борнео, так сказать для провинции, необходим миллион кули.

Приятно потрафить незнакомцу, к тому же я чувствовал, что за моей спиной стоит вся Индия.

— Мы смогли бы предложить вам от двух до двадцати миллионов. Смотри каков спрос, — сказал я, проявляя щедрость.

— Ваши люди никуда не годятся, — ответил человек с Северного Борнео. — За индийцем тянется целая деревня, чтобы обслуживать его. Как поставщик рабочей силы Индия нас не устраивает. На Суматре говорят, что ваши кули либо не умеют, либо не хотят ухаживать

за табаком как полагается. Для того чтобы развиваться, нам нужны китайцы.

О Индия, страна моя! Вот что значит унаследовать высокую культуру и древний кастовый кодекс. Чужестранцы будут издеваться над твоими детьми, как над людьми бесполезными за пределами своих перенаселенных провинций. Здесь открывается возможность для применения рабочих рук — дверь, которая ведет к сытым желудкам, и через эту дверь десятками тысяч вливаются иные люди (желтые, с косицами-хвостами), тогда как в Бенгалии образованный туземный редактор вопит о «жестокости», стоит нам переселить несколько сот бенгальцев на несколько сот миль, в Ассам*.

О хорошо одетых островитянах Сингапура и их развлечениях; автор доказывает, что все английские поселения как две капли воды похожи друг на друга; рассказывает, как чикагский еврей и американский ребенок могут отравить самое безоблачное настроение

Мы неразделимы,
Мы одно: в усердии,
В вере и надежде
И в милосердии.

Когда приезжаешь в незнакомое английское поселение, в первую очередь необходимо нанести визит его обитателям. Я пренебрег этой обязанностью и предпочел общаться с китайцами вплоть до воскресенья. В воскресенье же я узнал, что весь Сингапур отправился в ботанический сад послушать светскую музыку.

Там собираются англичане, которые живут на острове. Ботанический сад был бы весьма кстати в Кью*. Однако, когда знаешь, что сад — единственное место отдыха, туда не слишком-то влечет.

Там собрана растительность всех тропических областей, а оранжерея с орхидеями покрыта тонкими деревянными планками, для того чтобы уберечь растения от прямого солнечного света. В оранжерее содержались белые, словно восковые красавицы с Филиппин и из Тропической Африки. Они были полуслизняками и, очевидно, добывали себе пропитание из собственных деревянных табличек. Внутри оранжереи и снаружи не ощущалось ни малейшей разницы температур. Тяжелый, спертый воздух был насыщен испарениями, и я не пожалел бы месячного оклада (давно не получаю месячного оклада) за добрый глоток удушливо-жаркого воздуха, приносимого ветром из песков Сирсы*, или за воздух пыльной бури в Пенджабе. Готов отдать в придачу все эти растения, покрытые испариной, и даже древовидный папоротник, который потел, издавая странные звуки. Когда я особенно остро ощутил то неизмери-

мое расстояние, которое отделяло меня от Индии, до экипажа донеслись тихие звуки музыки, и мы очутились в обыкновенном индийском поселении. Оно было меньше, чем в Аллахабаде, зато привлекательнее, чем в Лакхнау*, и господствовало над ботаническим садом, который раскинулся по склону горы и в низине. Административные здания утопали в зелени, столовая наводила на мысль о неторопливом времяпрепровождении за прохладительными напитками, неподалеку маршировал английский оркестр. Это и был наш милый мирок.

Среди прочих обращали на себя внимание красивая светловолосая мемсаиб* с блестящими манерами и другая, пухленькая мемсаиб, которая охотно заговаривает с незнакомцами и вообще держится со всеми на дружеской ноге. Там были старая дева, которая недавно вернулась из Англии, и отъездивший на бобах холеный субалтерн в легком френче и с фокстерьером. На скамейках сидели толстый полковник и тучный судья, жена инженера, купец и его семейство. Я где-то видел этих людей, и мужчин, и женщин, и, если бы не незначительное обстоятельство, что мы были совсем незнакомы, я бы приветствовал их как старых друзей. Я догадывался, о чем они говорили, заметил, как они украдкой разглядывали кто во что был одет, видел, как молодые люди сновали по площадке, стараясь оказаться рядом с девицами, и услышал: «Вы так думаете-с?» или «Не совсем так-с», что приличествует учтивому обхождению.

До чего неуютно сидеть в наемном экипаже и, наблюдая за соплеменниками, сознавать, что, как бы хорошо ни была знакома их жизнь, сам не имеешь к ней ни малейшего отношения.

Я только тень теперь — увы! увы! —
Что на задворках человечества ютится, —

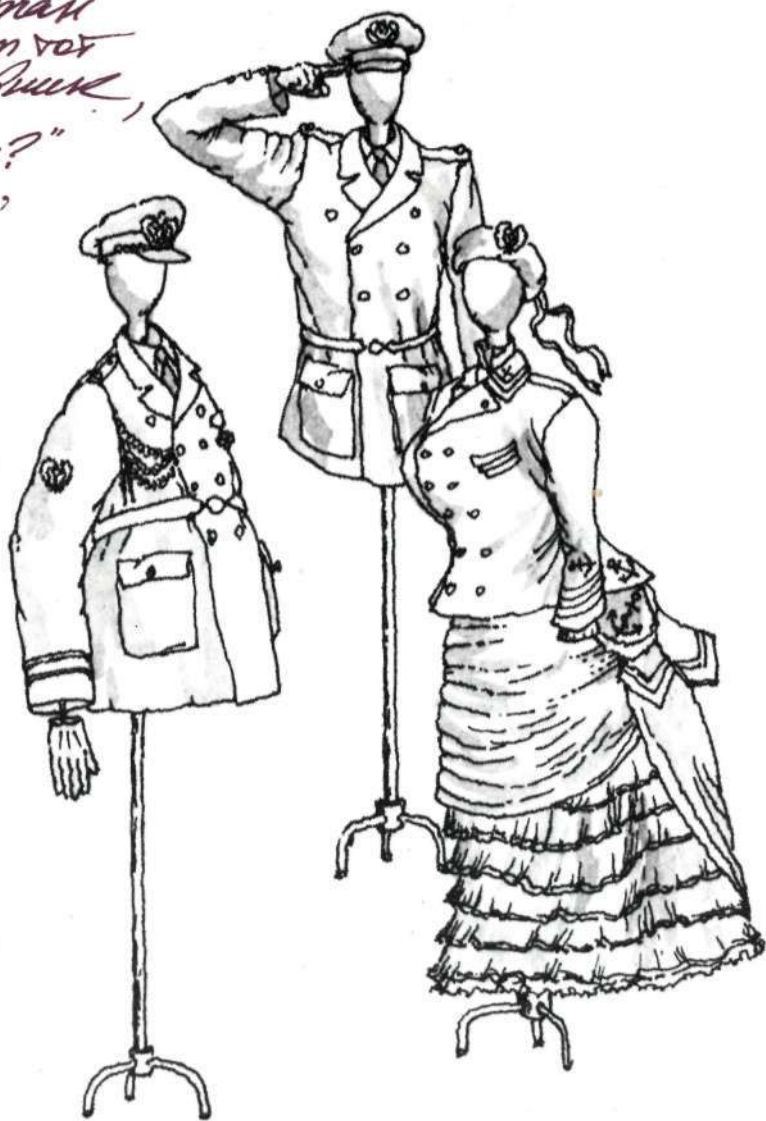
уныло продекламировал я профессору. Тот разглядывал миссис... а может быть, другую даму, похожую на нее.

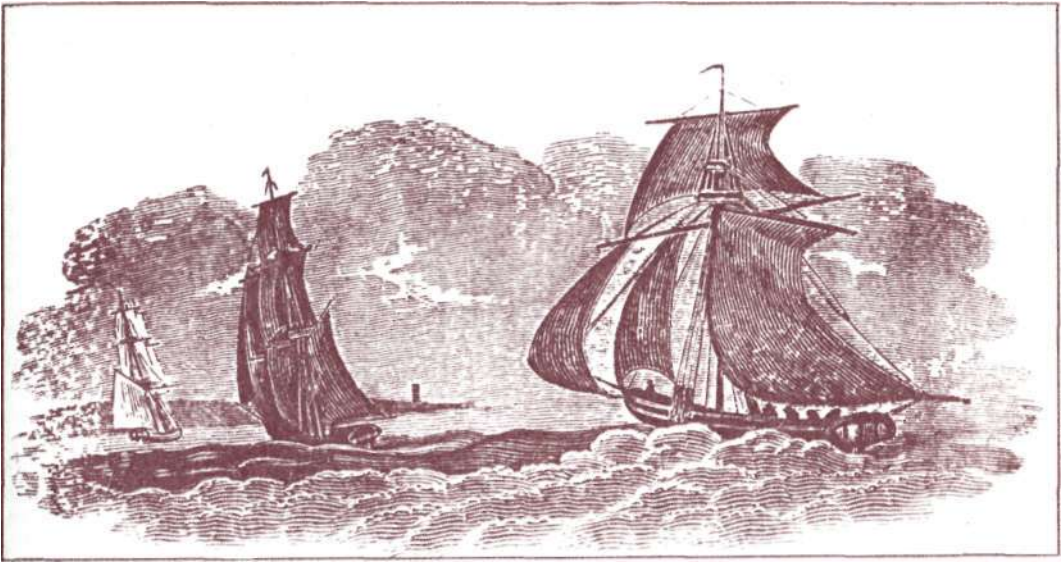
— Неужели я путешествую вокруг света ради того, чтобы встречаться с этими людьми? — сказал он. — Я же видел их прежде. Вот капитан такой-то, вот тот самый полковник, а мисс — как ее там? — необъятна, как сама жизнь, но вдвое бледнее обычного.

Профессор угодил в самую точку. В последнем и было все дело. Лица обитателей Сингапура покрыты мертвенной бледностью.

Написали я
путешествую
вокруг света,
чтобы встречаться
с этими людьми?
Я же видел их прежде.

Вот капитан
такой-то, вот вот
самый полковник,
а Мисс
"как ее там?"
необычна,
как сама
искусно, но
вовсе
бледнее
обычного





Они белы, как Нааман *, а вены на тыльной стороне их рук почти фиолетовые. Мы словно очутились в Индии, когда там только что миновал период дождей, а женщин почему-то не отпустили в горы.

Тем не менее в Сингапуре не принято говорить о нездоровом климате. Здесь живут весело и беспечно, пока человеку на самом деле не становится плохо. Затем чувствуют себя все хуже, потому что в этом климате не удастся взять себя в руки, и умирают. Как и у нас в Индии, калитку кладбища открывают здесь брюшной тиф и болезни печени.

Однако самый приятный предмет созерцания в сердце гражданского поселения (разумеется, оно расположено вдали от туземного города и состоит из небольших прелестных бунгалов), конечно же, мой дорогой Томас Аткинс. Он неисправим: ничего не стесняется, знает себе цену, ругается, курит. Он не прочь послушать музыку, побродить по базару и может наградить непечатным эпитетом пальму... В общем, он такой же, как в Миан-Мире *.

Здесь расквартирован 58-й Нортгемптонширский полк, так что, как видите, Сингапур находится в полной безопасности.

Никто так и не заговорил со мной, хотя я надеялся, что меня пригласят выпить. Пришлось ползти обратно в отель, чтобы отведать там шесть различных блюд с одним кэрри *.

Хочу домой! Хочу вернуться в Индию! Я чувствую себя несчастным. В это время года пароход «Наваб» должен пустовать, но мы имеем сотню пассажиров в первом классе и шестьдесят — во втором. Все красивые девушки едут во втором.

Вероятно, что-то случилось в Коломбо. По-видимому, там столкнулись два парохода, а мы пожинаем плоды катастрофы и переполнены, как зверинец. Капитан говорит, что ожидалось всего десятка полтора пассажиров, но, если бы предвидели такую толкучку, на линию вышел бы пароход повместительнее.

Лично я считаю, что добрую половину попутчиков стоит выбросить за борт. Ведь они путешествуют вокруг света ради развлечения и, занимаясь таким распутством, делают слишком скоропалительные выводы обо всем. Все-таки я предпочитаю нестесненную свободу, которая царствует (вместе с тараканами) на пароходах Британской Индии, где мы обедали даже на палубе и когда нам вздумается. Мы сами назначали время с помощью плебисцита и вообще чувствовали себя полными хозяевами.

Вам известны тюремные правила «Пи энд Оу»? * Вы должны обращаться к капитану стоя на голове, почтительно болтая ногами в воздухе; обязаны ползать на животе перед главным stewardом и называть его «Вашим



Всемогуществом — полоскателем бутылок); не должны курить у овечьих загонов и останавливаться на трапе; переодеваться, когда идете в судовую библиотеку; а самая вопиющая несправедливость — приходится заранее заказывать спиртное на тиффин* и обед. Возможно ли, чтобы человек, который накачался пльзенским пивом, был в состоянии проявить такую проницательность? Это говорит о людском невежестве. «Пи энд Оу» жаждет свободной конкуренции. Она называет своих капитанов командирами и ведет себя так, словно делает вам одолжение, позволив подняться на борт ее парохода. Нет, во все времена мне подавай свободу Британской Индии! К черту удобства «кулизов» с дворцовыми ценами!

На борту около тридцати женщин, и я с возмущением наблюдаю, как они дружно стараются прикончить хрупкую, миловидную стюардессу. Думаю, что они доведут дело до

*Ваш известны
второе правило
"P" & "Q"?
Вы должны
обращаться
к капитану, стоя
на голове, почтительно
болтая ногами
в воздухе.*

конца. Длина салона — девяносто футов, и ей приходится бегать по нему из конца в конец девять часов в сутки. В свободное время она разносит чашки с бульоном хилым сильфидам, которые не могут существовать без пищи с девяти утра до часу дня. Сегодня она подошла ко мне и спросила, будто это в порядке вещей: «Разрешите убрать вашу чашку, сэр?» И это говорила настоящая белая женщина, когда салон был забит неуклюжими полукровками-португалками. Молодой англичанин позволил ей убрать со стола, а сам даже не обернулся, когда передавал чашку. Это ужасно и лишний раз доказывает, как далеко я забрался. Она, женщина, разговаривает с мужчинами стоя, а те сидят!

Молва гласит, что в Индии мы плохо обращаемся со слугами. В таком случае покажите мне подметальщика, который выполняет у нас хотя бы половину той работы, какую эти дородные белые матроны и девицы навалили на свою сестру. Они заставляют ее носиться с их же нуждами и при этом забывают сказать «спасибо». У нее нет имени, и, если вам угодно промычать «Стюардесса!», она обязана предстать перед вами. И это не деградация?

Однако на самом деле мое желание вернуться вызвано кучкой чикагских евреев. Боюсь, что в дальнейшем мне предстоит увидеть их в еще большем количестве. Судно переполнено американцами, однако ужаснее всех американо-немецкие еврейские молодцы. У одного из них водятся деньги, и он бродит по палубе, приглашая незнакомого ему людей выпить вместе с ним, экспромтом устраивает лотереи и творит прочие зверства. Ходят слухи, что он

умирает, но, к сожалению, делает это недостаточно быстро.

Однако настоящий бич корабля — это подросток-американец. Официально ему восемь лет, он носит курточку в полоску и питается вместе с детьми, но я не считаю его мальчиком. У него внешность усталого обезьяньего детеныша: под глазами и в уголках рта даже появились морщины. Когда ему нечего делать, он отзывается на имя Альберт. Уже два года как страдалец в пути. Он провел месяц в Индии, видел Константинополь, Триполи, Испанию, тридцать дней и ночей жил в палатке и передвигался верхом на лошади. Он сам подробно информировал меня об этом. Он истощил запас земных радостей. На его костях не осталось плоти.

Практически Альберт живет в курительном салоне и ежедневно финансирует лотереи. Я избегал его, но он преследовал меня по пятам и ровным, невыразительным голосом рассказывал, как составляются лотереи. Когда я пытался протестовать, заявив, что в этом нет ничего нового, он продолжал говорить, не обращая внимания на то, что его перебили. В награду за мое терпение он вызвался перечислить мне имена всех пассажиров вместе с идиосинкразией * каждого. Затем он исчез через окно курительного салона, потому что высота двери была всего восемь футов и, следовательно, слишком узка для этой ненормально обширной массы житейского опыта. Кое в чем Альберт оказался осведомленнее меня, в остальном проявил безграничное неведение двухлетнего малыша. Его усталые глаза не меняли своего выражения. Они будут такими же, когда ему исполнится пятьдесят. Мне стало неописуемо жаль мальчика. Реми-нисценции юнца смешались. Например, свои приключения в Индии он переносил в Турцию или Испанию. Придет день, и школьный учитель попытается заняться его образованием, и мне очень хотелось бы знать, с какого конца он начнет. Голова мальчика и без того забита, а другого места для накопления знаний не существует. Думаю, что Альберт — заурядный американский ребенок. Он был для меня откровением.

Теперь мне хотелось бы познакомиться с американской девочкой, но не сию минуту, решительно не сию минуту. Моя нервная система и без того потрепана евреями и Альбертом, и, если не придет в порядок, я поверну назад в Йокогаме.

Глава седьмая

рассказывает о том, как я прибыл в Китай

Где голое невежество
Скандалные суждения поставляет день-деньской,
Нисколько не стыдясь...

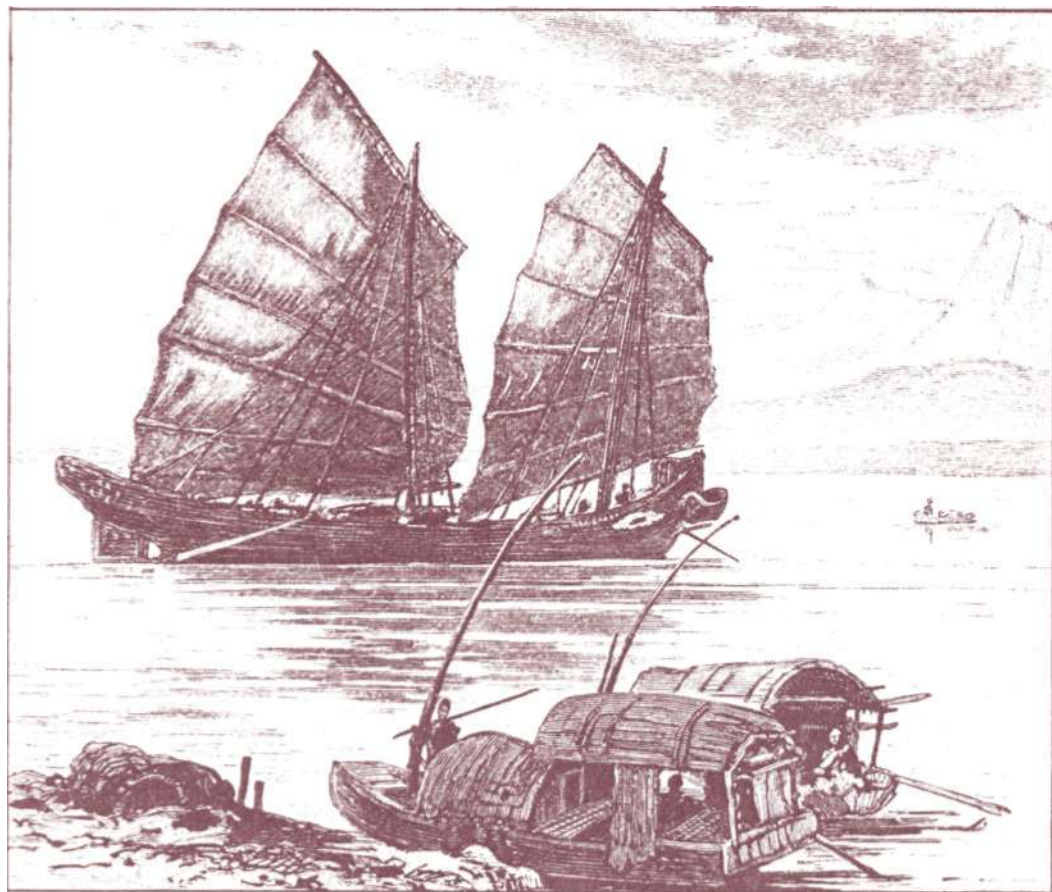
Последние дни на борту «Наваба» я провел среди новых и необычных людей. То были биржевые игроки из Южной Африки, финансисты из Англии (те вообще не говорили ни о чем, что стоило бы меньше сотни тысяч фунтов, и, боюсь, бессовестно блефовали), консулы отдаленных китайских портов и компаньоны китайских судоходных компаний. Они вынашивали такие планы и думали такие думы, которые отличались от наших настолько, насколько наш слэнг разнится от лондонского.

Едва ли вам доставит удовольствие рассказ о нашем грузе. Например, о практичном купце-шотландце со склонностью к спиритизму, который приставал ко мне с расспросами, интересуясь, есть ли что-нибудь стоящее в теософии * и правда ли, что в Тибете много возносящихся chelas *, как он сам тому верил. Другой пассажир, ограниченный помощник приходского священника из Лондона, проводил отпуск. Он повидал Индию, верил в успех миссионерства в наших краях и не сомневался, что деятельность «Си.Эм.Эс.» * всколыхнула религиозный энтузиазм масс и недалеко тот час, когда слово божье возобладает над всеми другими убеждениями. Ночами он бился над разрешением великих тайн жизни и смерти, повелевал ими и предвкушал земные труды до конца дней своих в кругу прихожан, в числе которых не будет ни одного богатого человека.

Когда попадете в китайское море, держите фланелевые вещи наготове. За какой-то час пароход переместился из зоны тропической жары (и тропического лишая) в область сплошных туманов, таких же сырых, как в Шотландии. Утро распахнуло перед нами новый мир — мы словно очутились между небом и землей. Поверхность моря напоминала матовое стекло. Нас обступали красновато-



бурые островки, покрытые шапками тумана, который парил футах в пятидесяти над нашими головами. Плоские паруса джонок на какое-то мгновение возникали из пелены, дрожали в воздухе, словно осенние листочки на ветру, и тут же исчезали из вида. Острова казались воздушными, и стекловидное море стелилось перед ними снежной равниной. Пароход стонал, выл и мычал, потому что ему было сыро и неудобно. Я тоже застонал, так как в путеводителе говорилось, что Гонконг располагает самой удобной гаванью в мире, а далее двухсот ярдов в любом направлении не было видно ни зги. Продвижение вслепую напоминало о чем-то призрачном, и это ощущение усилилось, когда легкое колебание воздуха приоткрыло на миг какой-то склад и стрелу крана (по-видимому, совсем близко от борта), а позади них — отрог скалы. Мы



прокладывали дорогу сквозь мириады тупоносых суденышек с весьма мускулистыми экипажами.

Джентльмены из офицерской столовой (те, что надевают на парад парусиновые кители), стоит вам с месячишко не увидеть ни одного патрульного или не услышать «клинк-клинк» шпор, как вы сразу поймете, почему гражданские лица всегда хотят видеть военных обязательно в мундире.

Могу заметить, что этот генерал был весьма неплохим военным. Насколько я понимаю, он почти ничего не знал об индийской армии и тактике джентльмена по имени Робертс *, зато сказал, что в ближайшее время лорд Уолсли собирается стать главнокомандующим, как того настоятельно требует положение в армии. Генерал стал для меня откровением, потому что говорил только о

военных проблемах Англии, а они заметно отличались от аналогичных забот у нас в Индии и имели прямое отношение к мировой политике.

Гонконг выставляет напоказ только набережную, все остальное скрывается в тумане. Грязная дорога, словно вечность, тянется вдоль ряда домов, которые напоминают о некоторых кварталах в Лондоне. Скажем, вы проживаете в одном из этих домов, а когда это надоест вам, пересекаете дорогу и плюхаетесь в море, если сумеете отыскать хотя бы квадратный фут свободной воды. Дело в том, что местные суденышки настолько многочисленны, их борта, которые трутся о набережную, покрыты таким толстым слоем грязи, что привилегированные обитатели подвешивают свои лодки на шлюпбалках поверх обыкновенных посуды, а те пляшут на



волнах, поднимаемых бесчисленными паровыми катерами.

Катерами здесь пользуются для прогулок либо держат их ради невинного удовольствия погудеть сиреной. Ими настолько не дорожат, что каждый отель владеет таким паровым катером, а многие катера вообще не имеют хозяев.

Еще дальше от берега стоят на якоре пароходы. Они не поддаются подсчету, и четыре из пяти принадлежат нам. Помню, как я возгордился, когда познакомился с состоянием судоходства в Сингапуре. Теперь же, когда я наблюдаю с балкона отеля «Виктория» за гонконгскими флотилиями, меня просто распирает от патриотизма. Отсюда, наверно, можно доплунуть до воды, но внизу стоят какие-то моряки, а это племя сильных. Какой эгоистичной, безалаберной личностью становится порой путешественник. На десять суток мы выбросили из головы все земные заботы и помнили только о наших чемоданах, но едва ли не первыми словами, которые мы услышали в отеле, были: «Джон Брайт * умер, а над Самоа пронесся ужасный ураган».

«Что? Да, очень печально. Послушайте, где, вы говорите, наши комнаты?» Дома подобные новости дали бы пищу для разговоров на полдня. Здесь же о них было забыто, не успели мы пройти половину длинного коридора. Некогда присесть, чтобы собраться с мыслями, когда за окнами шумит незнакомый мир — целый Китай.

Затем в холле послышались стук чемоданов, шелканье каблук — и явилось видение: усталого вида женщина гигантского роста, которая пыталась объяснить с маленьким слугой-мадрасцем...

«Да, я путишефстфофал фисде и буду путишефстфофать еще. Я ехал теперь Шанхай и Пекин. Я был Молдавия, Россия, Бейрут, вся Персия, Коломбо, Дели, Дакка, Бенар, Аллахабад, Пешавар, Али-Муджид, Малабар, Сингапур, Пинанг, здесь и ф город Кантон. Я кроатка * ис Афстрии, и я уфидеть Штаты Америки и, может быть, Ирландия. Я путишефстфофал фсегда. Я — как это у фас? — veuve, фдофа. Мой муж, он умирал. Я есть очень печален, я очень печален, унт зо я путишефстфофал. Я есть жиф, конечно, но я не есть жифу. Вы понимает? Фсегда печален. Скажи им имя корабль, куда они отправлять мой чемодан. Вы путишефстфофал для удо-

фольстфий? Я путишефстфофал, потому что я есть одинок и печален фсегда».

Чемоданы внезапно исчезли, захлопнулась дверь, каблуки застучали по коридору, и я остался в одиночестве, почесывая затылок. Как начался этот разговор, почему внезапно оборвался, в чем польза от встреч с чудаками, которые не могут объяснить толком? Я никогда не получу ответа на эти вопросы, но разговор этот, слово в слово, действительно состоялся. Теперь понятно, откуда черпают материал писатели, которые занимаются путевой литературой.

Отправившись прогуляться по улицам Гонконга, я влез в вязкую, почти лондонскую грязь, жижу такого сорта, которая словно проникает сквозь подошвы обуви и кусает вас за ноги холодом.

Стук бесчисленных колес на дороге напоминал грохотание лондонских кэбов. Шел холодный проливной дождь, и все саибы подзывали окриками рикш (здесь их зовут попросту «рик»), а ветер был еще холоднее дождя. После Калькутты это была первая встреча с погодой, которая чего-то стоила, и неудивительно, что при таком климате Гонконг раз в десять оживленнее Сингапура. Повсюду что-то строят, куда ни посмотри, возвышаются колоннады и купола, дома оборудованы газовыми рожками, а англичане ходят пешком так, как им и полагается ходить, — торопливо и глядя прямо перед собой. На главной улице почти все дома выходят на проезжую часть верандами, а европейские магазины словно хвастают огромными зеркальными витринами.

Нотабене. Не ходите в эти магазины. Все там стоит втридорога. Как и в Симле, покупателю приходится платить, так сказать, за эти стекла.

То самое провидение, которое заставляет реки протекать вблизи крупных городов, прокладывает главные магистрали этих городов поближе к большим отелям, и я прошелся по Квин-стрит, которая была более или менее ровной. Остальные улицы, где мне довелось побывать, состоят из ступенек (как в Клавли) и при ясной погоде могли бы отблагодарить профессора за посещение десятком удачных снимков. Пейзаж прятался в дожде и тумане. Улицы, которые вели вверх по склонам горы, скрывались в «молоке», а те, что сбегали вниз, ныряли в испарения гавани. Странное зрелище!

«Хи-йи-йоу!» — выкрикнул кули, прокатив коляску на одном колесе. Я выбрался из рикши и тут же увидел бородастого немца, затем трех подгулявших матросов с военного корабля, сержанта-сапера, потом парса *, двух арабов, американца, еврея и несколько тысяч китайцев, которые непременно несли что-нибудь, и, наконец, профессора.

— Мне сказали, что в Токио производят пластинки для моментального фотографирования. Что ты скажешь об этом? — спросил профессор. — В Индии их делают только в Топографическом департаменте. А тут — в Токио, подумать только!

Я давно должен профессору одну такую пластинку.

— Вот что меня поражает, — сказал я, — мы сильно переоценивали Индию. Например, считали, что создали там цивилизацию. Придется быть поскромней. По сравнению со всем окружающим Калькутта смотрится деревушкой.

Это правда, потому что Гонконг удивлял необычной чистотой, одинаковыми трехэтажными домами с верандами, тротуарами, вымощенными камнем. Мне попалась на глаза только одна лошадь. Ей было стыдно за самое себя. Она присматривала за телегой на приморской улице. Наверху единственными экипажами служили рикши.

Этот город убил во мне романтику джинрикиши. Их надо было оставить в распоряжение прекрасного пола, а вместо этого рикшами пользуются мужчины, которые спешат в оффис, офицеры при полном параде, матросы, которые пытаются втиснуться в коляску вдвоем, и, кроме того, мне довелось услышать в казармах, что порой на рикшах доставляют в комендатуру пьяных дебоширов. «Обычно они засыпают в ней, сэр, и с ними меньше возни».

Магазины предназначены для того, чтобы заманивать моряков и охотников за редкостями, и они великолепно преуспевают в этом. Прибыв в эти края, отнесите все деньги в банк и попросите управляющего не выдавать вам ни гроша, как бы вы ни просили. Только так можно уберечься от банкротства.

Мы с профессором совершили паломничество к Ки Сингу и побывали у Йи Кинга, который торговал битой птицей. Каждая лавка по-своему хороша. Неважно, что продается — обувь или молочные поросята, — фасад лавки непременно прельщает глаз тонкой резьбой

или позолотой, а любая вещь на прилавке необычна и привлекательна. Все превосходно: уродливый корень дерева, которому умело придали сходство с дьяволом, сидящим на корточках; темно-красная с позолотой створка двери или бамбуковая ширма и прочее. Сочленения, стыки и оплетка на изделиях поражали своей аккуратностью. Корзины кули имели приятную для глаза форму, а ротановые застежки, которыми их прикрепляют к бамбуковому полированному корытцу, аккуратно заделаны, чтобы не торчали концы оплетки. Я попробовал выдвигать ящички в коробе у торговца, который продает обеды для кули, ощупывал клапаны небольших деревянных насосов, что стоят в магазинах, — все было тщательно подогнано.

Я углубился в изучение этих вещей, а профессор копался в изделиях из слоновой кости и панциря черепахи, расшитых шелках, инкрустированных безделушках, филигрانی и еще бог знает в чем.

— Я уже не такого высокого мнения о нем, — сказал профессор (он имел в виду индийского ремесленника), извлекая из сети крошечную статуэтку из слоновой кости, изображающую маленького мальчика, который пытался выгнать из лужи буйвола.

Только вообразите — вырезать из твердой кости целый рассказ! Мы с профессором думали об одном и том же и раза два уже говорили на эту тему.

Над нашими головами, чуть слышно шурша промасленной бумагой, раскачивались большие пузатые фонари, но они не были расположены к разговору, а торговец в голубом тоже молчал.

— Твоя хотела покупай? Класивый весь есть, — сказал наконец он и набил трубку табаком из темно-зеленого мешочка, перехваченного браслетом из зеленого халцедона, а может быть, то был нефрит.

Он поиграл счетами из темного дерева; рядом лежала расходная книга, обернутая в промасленную бумагу, поднос с индийской тушью и кисточки на фарфоровых подставках. Торговец сделал запись в книге, изящно нарисовав выручку последней сделки. Конечно, китайцы продельвают это тысячетлетиями, однако жизнь и ее опыт то и дело поражают меня своей новизной, как когда-то Адама, поэтому я изумился.

*Табла
восьмиз*

О Дженни — «прости господи» и ее товарках; о том, как можно отпра-виться на поиски настоящей Жизни, а повстречаться со смертью; о блажен-стве кутилы Кэт; о женщине и холере

По мне: любя, любить ты позволяй,
Но, милая, с тобою мне не быть,
Я жив иль мертв — меня не призывай.
Good night! Good bye!

Я с головой окунулся в жизнь этого города, и тошнота — не то слово, которое может вырази-ть мои ощущения. Все началось с праздной реплики, оброненной в баре, а закончилось бог знает где. Нет чуда в том, что древнейшей профессией повсюду занимаются францу-женки, итальянки и немки, однако жителя Индии все же шокирует встреча с их сестрой-англичанкой.

Когда богатый папаша посылает своего сына и наследника вокруг света, с тем чтобы тот поумнел, хотелось бы знать, приходит ли в голову такому папаше, что существуют некие заведения, куда этого простака могут затащить его же, такие же, как и он, неопытные дружки. Думаю, что нет. Исходя из интересов такого родителя и ради удовлетворения соб-ственного неподдельного любопытства, я решил увидеть то, что некоторые называют Жизнь (с большой буквы), и совершил длительную прогулку по ночному Гонконгу. Очень рад, что сам не являюсь счастливым отцом блудного сына, думающего, что он знает все на свете.

Порок, наверно, одинаков всюду, но, чтобы увидеть его во всей красе, нужно приехать в Гонконг.

«Конечно, дело поставлено куда лучше во Фриско, — сказал мой гид, — но мы считаем так: для острова сойдет». А когда толстая личность в черном халате визгливым голосом потребовала ту самую гадость, которая называется «бутылкой вина», я стал постигать всю прелесть ситуации. Это и была Жизнь.

Жизнь — не шуточное дело. Ее атрибуты — глоток приторного шампанского, которое украдено у стюарда «Пи энд Оу», и всевоз-можные словечки. Последними необходимо

обмениваться с бледнолицыми потаскухами, которые готовы заливаться омерзительным смехом по любому поводу.

Арго настоящего чиппи, то есть «светского человека» — подвыпившего юноши в шляпе, сбитой на затылок, постичь трудно. Необходи-мо пройти обучение в Америке. Я был ошарашен богатством и глубиной американ-ского языка, так как мне была оказана честь познакомиться с его особым диалектом.

Тут были девицы, повидавшие виды в Ледвил-ле, Денвере и дебрях Дикого Запада, где они «выступали» во второсортных заведениях и развратничали на все лады. Они стрекотали как сороки, опрокидывая рюмка за рюмкой тошнотворную жидкость, которая своим за-пахом отравляла воздух в комнате. Когда они говорили на трезвую голову, все выглядело забавным, однако спиртное постепенно дела-ло свое дело, и вот — маски были сброшены, и из их уст потекла брань с поминанием всех святых, главным из которых был сам Обиди-кут *. Многие слышали, как ругается белая женщина, а кое-кто — и я в том числе — нет. Это настоящее откровение, и если вы не слетите со стула, то сможете поразмыслить о многом, что имеет ко всему этому отноше-ние.

Усевшись в кружок, девицы кляли белый свет, пили, несли всякую чепуху, и тогда я догадался, что все это и есть та самая Жизнь, а чтобы возлюбить ее, надо немедленно уби-раться прочь.

Конечно, тут не обошлось без молодчика, который вкусил один-два плода жизни и которого эти девицы могли бы надуть в два счета, стоило им этого только захотеть. Позже они действительно продали его ровно за столько, сколько он сам за себя назначил, и я стал свидетелем немой сцены. Конечно, самый верный способ оказаться в дураках — это понимать, что творится вокруг.

Наступил антракт, а потом возобновились вой и крики, принимаемые публикой за доказа-тельство радости и веселья, которые якобы сопутствуют Жизни.

Я прошел в другое заведение. У его хозяйки не было половины левого легкого (это выдавал кашель), но все же она казалась по-своему забавной, пока тоже не сбросила маску и не принялась за свое. Все эти шуточки я уже слышал. До чего жалко выглядит Жизнь, которая не может выкинуть новенького ко-ленца. Мой спутник сбил шляпу еще дальше

на затылок и в который раз объяснил, что он — настоящий чиппи и его не проведешь.

Каждый, у кого голова нечугунная, на следующее утро почувствует себя «настоящим чиппи» после стакана подсироппленного шампанского. Теперь понимаю, почему мужчины оскорбляются, когда им подносят сладенькую шипучку.

Второе интервью завершилось тем, что хозяйка грациозно «прокашляла» нас в коридор, а оттуда — на молчаливую улицу. Эта женщина была действительно больна и сказала, что жить ей — всего четыре месяца.

— И мы собираемся посещать эти пошлые приемы всю ночь? — спросил я, оказавшись у двери уже четвертого заведения, так как опасался повторения пройденного трижды.

— Во Фриско куда лучше. Но надо же развлечь девочек. Пойдем-ка, расшевелим кое-кого. Такова жизнь. А что, разве в Индии нет такого? — услышал я в ответ.

— Слава богу нет. Неделя такой жизни — и можно повеситься, — ответил я, устало привалившись к косяку двери.

За дверью раздавались громкие звуки ночной пирушки, так что не пришлось никого будить. Одна девица отходила от трехдневного запоя, другая лишь пускалась в путь.

Провидение хранило меня. Красавица с суровым лицом уверила всех, что я либо доктор, либо священник (как полагаю, правомочный священник), и меня избавили от многих недвусмысленных шуточек. Я мог спокойно оставаться на своем стуле и созерцать Жизнь, которая была такой сладкой. Когда кутила Том и кутила Кэт принялись танцевать величавую сарабанду на ковре в небольшой комнате, я вспомнил оксфордского студента из «Тома и Джерри»*, который играл джиг * на спинете. Вы видели этого студента на старомодной гравюре?

Самое неприятное заключалось в том, что это были женщины как женщины, даже красивые, и напоминали кое-кого из моих знакомых. На какое-то время они прекратили гвалт и вели себя вполне прилично.

— Сойдут за настоящих леди где угодно, — сказал мой друг. — Неплохо организовано?

Но тут кутила Кэт с мычанием потребовала спиртного (было три часа утра), и снова потекли отвратительные словечки.

Поскольку я не пожелал расстаться с докторским дипломом, до самого рассвета мне

пришлось исполнять свой профессиональный долг, то есть ухаживать за пациентом, состояние здоровья которого колебалось на грани недуга, известного под названием белая горячка. Кутила Кэт заработает свою горячку позже. Ее товарка, отходившая от запоя, — это было уже слишком, это был какой-то ужас. Потом отвращение сменилось жалостью. Женщину преследовал страх смерти по причине, о которой я сейчас расскажу.

— Говоришь, что приехал из Индии? Наверно, слышал о холере?

— Кое-что слышал, — ответил я.

Надтреснутый голос собеседницы дрожал. Последовала длинная пауза.

— Послушай-ка, доктор. Какие симптомы у холеры? На прошлой неделе тут неподалеку, через улицу, умерла женщина.

— Очень приятно, — подумал я, — но ведь такова Жизнь.

— Да, на прошлой неделе... от холеры. Боже мой, ее не стало через шесть часов. Кажется, у меня тоже будет холера. Может так быть или нет? Два дня назад я подумала, что у меня тоже начинается. Это так больно. Нет, это невозможно. Она же не пристаёт дважды? Скажи, что не пристаёт, и катись к черту! Доктор, какие признаки у холеры?

Я терпеливо слушал, как она подробно описывала свой приступ, затем уверил ее, что именно это и были те самые симптомы и холера никогда не повторяется. Да зачтется мне это. Женщина успокоилась, но минут через десять вскочила с проклятием и завопила: «Не хочу, чтобы меня похоронили в Гонконге! Как это страшно! Когда умру... от холеры... отвезите меня во Фриско. Ты слышишь, доктор?»

Я все слышал и обещал. Во дворе уже посвистывали птицы, и в предрассветных сумерках обрисовались жалюзи окон.

— Эй, доктор! Ты знал Кору Перл?

— Слышал о ней.

Я спрашивал себя, уж не собирается ли моя пациентка целую вечность ходить по комнате, заламывая руки, устремив глаза в потолок.

— Да, — снова завела она невыразительным шепотом, — молодой Дюваль застрелился на ее циновке и забрызгал все кровью. У тебя есть револьвер? У Савиля был. Ты знал Савиля? Он был моим мужем в Штатах. Ведь я — англичанка. Вот кто я такая. Давай откроем бутылку. Я так перенервничала. Что, не следовало бы? Да катись-ка ты... Ах да, я

совсем забыла, ведь ты — доктор. Лучше скажи, что помогает от холеры? Скажи!

Она пересекла комнату, подошла к окну и, положив руку на задвижку, выглянула на улицу. Железка застучала по раме, потому что рука женщины дрожала.

— Посмотри, Кэт уже готова, полнехонька. Пьет и пьет. Видишь эти отметины на плече? Их оставил мужчина, джентльмен, позапрошлой ночью. И не падала я ни на какую мебель! Он дважды ударил меня тростью. Зверь! Будь я набравшись, то вытряхнула бы из него пыль. Я ушла на веранду и плакала так, что сердце разрывалось на части. Скотина!

Она снова заходила по комнате, лаская ушибленное плечо, словно домашнего зверька, и не переставая поносила обидчика. Вскоре на нее словно нашло оцепенение, но даже во сне она продолжала стонать и проклинать того человека. Потом она звала свою ама*, чтобы та пришла и перевязала рану.

В забытии она была привлекательной, и все же ее рот подергивался, а по телу пробегали судороги. Покой так и не снизошел на нее.

Когда настал день, эта женщина проснулась с ужасной головной болью, ее била дрожь, покрасневшие глаза с дряблыми веками блуждали.

Да, я действительно повидал Жизнь, но мне было не до веселья. Так сказать, нажив капитал на страданиях этой женщины, я наравне с подобными мне чувствовал себя виноватым в ее падении.

Потом эта женщина изощрялась во лжи. По крайней мере так мне позже объяснил это некий истинно светский человек. Она рассказала мне о себе и своих близких, и если бы все было неправдой, то в ее повести недоставало бы мотивировки. Это была печальная и жалкая история, как рассказчица ни старалась позолотить ее, показав мне альбом фотографий, который связывал ее с прошлым. Я человек несветский и поэтому верю ей и благодарю за все то, что она мне рассказала.

Я думал, что это заведение уже не сможет удивить меня чем-то, но ошибался. Кутила Кэт взялась за дело всерьез. Она напилась пьяной, едва выбралась из постели. Даже наблюдать за ней было страшно — казалось, что у меня самого кружилась голова.

Что-то словно разладилось в этом неряшливом хозяйстве, где серебряные сервизы

уживались с дешевым фарфором, и хозяевам пришлось за все отвечать. Я наблюдал, как Кэт, олицетворение позора в глазах невинного дня, стараясь сохранить равновесие, цеплялась за москитную сетку, слышал, как она бранилась хриплым басом. Так не ругаются даже мужчины, и я удивлялся, отчего дом до сих пор не обрушился на наши головы. Партнерша хотела урезонить Кэт, но та словно отшвырнула ее в сторону потоком богохульственных слов, а с полдюжины собачонок, которые семенили по комнате, старались не попадать под ноги пьянице. Красота Кэт только усугубляла картину. Ее подруга дрожая повалилась на кушетку, а Кэт продолжала мотаться по комнате, проклиная надутыми губками самого господа бога и всех людей на небе и на земле.

Если бы Альма Тадема* изобразил Кэт на холсте — в белом, с черными распушенными волосами, босоногой, со сверкающим взглядом, мы с вами увидели бы образ вечной Жрицы человечества. А может быть, ее стоило изобразить, когда страсти уже улеглись и она ковыляла по комнате, подняв высоко над головой стакан. Было десять утра, а она требовала постыдного зелья, запах которого даже в такой ранний час отравлял воздух в доме. Она добилась своего, и обе женщины уселись рядышком, чтобы поделить спиртное. Это был их завтрак.

Я чувствовал себя разбитым, а когда за мной затворялась дверь, мельком увидел, что женщины продолжали пить.

— Во Фриско куда лучше, — сказал истинный чиппи. — Сам видишь, бабы недурны собой. Сойдут за леди где угодно. Не зевай, когда имеешь дело с такими.

Я насмотрелся всего вдоволь и в будущем — «пасс». Возможно, во Фриско или где-то еще шикарнее шампанское и его потребители, однако манеры и затхлая атмосфера в подобных заведениях останутся неизменными до окончания дней. Если такова Жизнь, то я предпочитаю скромную, честную смерть без выпивки и вульгарных шуток. С какой стороны ни посмотри, все это похоже на дурной спектакль с плохими актерами и слишком уж смахивает на трагедию. Тем не менее этот спектакль, кажется, доставляет удовольствие молодежи, которая странствует по свету. Однако я не могу поверить, чтобы он шел молодым людям на пользу, если только не заставляет вспомнить о доме.

И все же я совершил более тяжкий грех. Ведь я низко пал не ради удовлетворения страсти. Я хладнокровно спустился в этот ад, чтобы, измерив там безмерную горечь Жизни, потом рассказать о ней. За пустяшные тридцать долларов я приобрел необходимые сведения и посмотрелся больше, чем желал сам. Кроме того, я купил право понаблюдать за почти ополоумевшей от страха пьяной женщиной. Итак, я — великий грешник.

Когда мы вышли на улицу и оказались в нормальном мире, я был очень рад, что туман, который висел над головой, скрывал меня от неба.

*Глава
девятая*

Разговор с тайпаном и генералом; глава раскрывает секрет успеха морского пикника

Мне бы туда, где, налитые,
Зреют яблоки златые.
А под небом в этом крае
Острова, как попугаи.

Гонконг настолько оживленный и сказочно богатый город, он так хорошо застроен и освещен (это видно даже при беглом знакомстве), что мне захотелось узнать, как удалось достичь такого великолепия. Невозможно за здорово живешь тоннами расточать гранит, укреплять утесы портлендским цементом, выстроить пятимильную набережную и поставить клуб, похожий на небольшой дворец.

Я разыскал тайпана — так называют главу английской торговой фирмы. Это был самый большой и самый обходительный тайпан на острове. Ему принадлежали причалы и корабли, дома и шахты, сотни других вещей.

Я сказал: «О тайпан, я — бедняк из Калькутты, и то оживление, которое царит в ваших краях, изумляет меня. Как это получается, что все здесь пахнет деньгами? Откуда берутся улучшения по линии муниципалитета и почему здешние белые так неугомонны?»

Тайпан ответил: «Оттого, что остров стремительно развивается. Оттого, что все приносит прибыль. Взгляните на бюллетень котировок».

Он прочитал список тридцати, а может быть чуть меньше, компаний: пароходных, рудных, канатных, причальных, торговых, всевозможных агентств и смешанных обществ, и все акции, за исключением пяти компаний, были выше номинальной стоимости. Одни — на сто, другие — на пятьсот, прочие — только на пятьдесят.

«Это вовсе не бум, — сказал тайпан. — Все твердо. Почти каждый встречный здесь — брокер *, и каждый стремится организовать компанию».

Я выглянул в окно и увидел своими глазами, как возникает компания. Трое мужчин в шляпах, сбитых на затылки, минут десять

*Это был самый
большой и самый
одоходительный
тайпан на острове.
Ему принадле-
жали прихваты
и корабли, дома
и шахты.*

говорили между собой. Подошел четвертый с записной книжкой в руках. Затем все вместе они нырнули в «Гонконг-отель» за материалом, с которого можно начать, — вот и готова компания!

Затем тайпан вспоминал старые времена. Он говорил со мной снисходительным тоном, так как знал, что я все равно ничего не пойму.

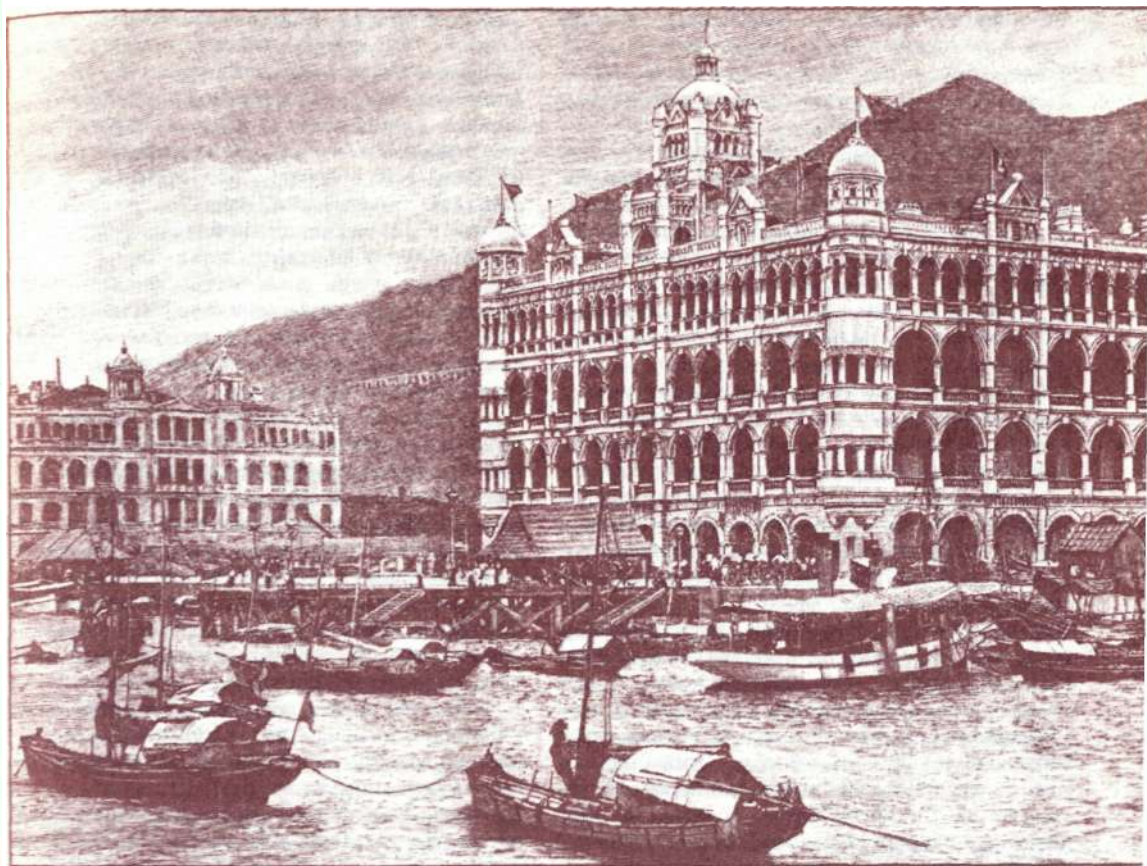
Но вот что я могу сказать: на все здесь, начиная с парикмахерских и кончая барами, глянец наводят американцы. Лица людей обращены в сторону Золотых Ворот*, несмотря на то что почти все поголовно вкладывают деньги в сингапурские компании. Дело в том, что в Сингапуре недостает средств, и на помощь приходит Гонконг. В каждом банке на стойках лежали проспекты новорожденных компаний. Я вращался в вихре непонятных мне интересов и говорил с людьми, чьи мысли были в Ханькоу, Фушу, Амое или еще дальше, за устьем Янцзы, то есть везде, где торгует англичанин.

Но вскоре я удрал от основателей компаний, так как осознал, что их дела мне не по плечу, и решил взобраться на вершину горы. Гонконг вообще — сплошные горы, за исключением тех мест, где туман закрывает все на свете.

Земля вокруг была сплошь в зарослях древовидного папоротника и азалий, повсюду рос бамбук. И не было ничего удивительного в том, что я разыскал фуникулер, который, казалось, стоял на голове. Он назывался Виктория Гэп Трэмвей и мчался на канате вверх в неведомое пространство по склону горы под углом 65°. Он не мог произвести сильного впечатления на тех, кто повидал Риджи, Маунт-Вашингтон, американские гор-



ки и прочее в этом роде. Однако ни вы, ни я ни разу не поднимались по воздуху под пятисотфутовым провалом с вершины Анандейл на Чора-Майдан и поэтому вправе изумляться. Не слишком приятно, когда тебя тащат круто вверх на хвосте бечевки, особенно если не видно, что творится впереди, далее двух ярдов, а внизу, словно в котле, клубится туман. И совсем нехорошо, если вас не предупредили об оптических обманах и приходится наблюдать со своего сиденья дома и деревья опрокинутыми, словно в волшебном фонаре. Перед тиффином это будет пострашнее длинной зыби Южно-Китайского моря.



Меня выставили из вагончика на высоте тысяча двести футов над городом, словно бы у обочины стратегической дороги, ведущей в Далхузи *, какой та станет, когда у Индии появятся необходимые средства для дорожного строительства. Затем усадили в пресловутый дэнди *, который (поскольку не придумали ничего лучшего) называют «стулом». Если не считать того, что на поворотах этот «стул» задевает за углы зданий, он намного удобнее бомбейского паланкина (мы пользуемся подобным перевозочным средством в Махаблешваре). Сидишь на плетеном стуле, низко подвешенном на эластичных деревянных коромыслах длиной футов десять, а от дождя укрывают легкие жалюзи.

— Вот теперь, — сказал профессор, высунув голову в шляпе, усыпанной, словно драгоценностями, капельками тумана, — вот теперь мы действительно совершаем прогулку. Похоже

на дорогу в Чакрату в период дождей.

— Нет, — сказал я, — мы едем из Солона в Казоли. Обрати внимание на черные скалы.

— Тьфу! — сказал профессор. — Мы же в цивилизованной стране. Посмотри на дороги, перила, кюветы.

Поскольку я уже никогда не поеду в Солон, могу признаться, что дорога укреплена цементом, ограждения сделаны из железных прутьев, утопленных в гранитные блоки, а кюветы выложены камнем. Она не шире горной тропы, однако, даже если бы она служила излюбленным местом прогулок самого вице-короля, едва ли могла бы содержаться в лучшем состоянии.

Не было видно ни зги, поэтому профессор прихватил с собой аппарат. Мы миновали кули, занятых расширением дороги, какие-то брошенные дома — прочные, приземистые постройки из камня, которые, по обычаю,

заведенному в наших поселениях, носили милые прозвища: Тауэнд, Крэггилендз и так далее. Сердце затрепетало у меня в груди. Гонконг не имеет права равняться подобным образом на Массури *.

Вскоре мы добрались до площадки семи ветров, нависавшей над миром на высоте тысяча восемьсот футов, и увидели сплошные облака. Это был Пик — излюбленное туристами место для обозрения города. Прачечная в день стирки выглядела бы интереснее.

— Пойдем-ка вниз, профессор, — сказал я, — и потребуем, чтобы нам вернули наши деньги. Разве это вид?

Мы спустились на том же чудесном фуникулере, притворяясь друг перед другом, что нам-де нисколько не страшно, а затем принялись за поиски китайского кладбища.

— Поезжайте в долину Счастья, — посоветовал старожил. — Долина Счастья — это там, где находится ипподром и кладбища.

— Как в Массури, — сказал профессор. — Я сразу догадался.

Это действительно Массури, хотя поначалу пришлось с полмили пробираться сквозь Портсмут-Хард *. На верандах добротных трехэтажных казарм толпились солдаты; они ухмылялись, глядя на нас. Казалось, все матросы китайской эскадры собрались в клубе королевского флота, и они тоже сияли улыбками. Синий бушлат — прекрасное создание, у него крепкое здоровье, но... давным-давно я отдал свое сердце Тому Аткинсу.

Раз уж к слову пришлось, стоит задать вопрос, откуда берутся такие отличные рекруты в полках из Хайленда * (вспомним, например, Аргайл и Сузерлендшир *)? Неужели килт и кожаная сумка, отороченная мехом *, повинны в том, что так мускулисты молодые парни ростом пять футов и девять дюймов, с грудной клеткой окружностью тридцать девять? Флот тоже набирает хорошо сложенных парней. Почему же нашим пехотным полкам нечем похвастать?

Мы приехали в Долину Счастья, миновав по дороге памятник англичанам, погибшим в бою или умершим от болезней. Со временем перестает волновать даже такое... Ведь это всего-навсего семена богатого урожая, плоды которого будут, несомненно, пожинать наши внуки.

Мы владеем Гонконгом. Благодаря нашей силе и мудрости он стал великим городом, который стоит на скале и располагает отлич-

ным небольшим ипподромом почти в милю длиной. С одной стороны к ипподрому примыкает прибежище мертвых: магометан, христиан, парсов. Бамбуковая стена отгораживает трибуну от кладбища. Хотя это и устраивает гонконгцев, не кажется ли вам, что не слишком приятно наблюдать за своей лошадьё, ощущая в каких-то пятидесяти футах у себя за спиной напоминание о неизбежности «сыграть в ящик»?

Кладбища очень живописны и ухожены. Крутой каменистый склон сопки примыкает к ним почти вплотную, и поэтому недавно умершие могут наблюдать сверху за тем, что происходит на ипподроме.

Даже вдалеке от жаркого спора церковью христиане различных исповеданий хоронятся врозь. У одних кладбищенский забор окрашен белой краской, у других — синей. У последних, которые располагают участком, непосредственно граничащим с трибуной, на воротах намалевано: «Hodie mihi, eras tibi!» *

Нет, не хотелось бы играть на скачках в Гонконге. Презрительно молчащего общества позади трибуны вполне достаточно, для того чтобы изменила удача.

Китайцы не любят выставлять напоказ свои кладбища, и сначала мы исследовали христианские захоронения. Пробираясь сквозь посе-вы, затем какие-то заросли и снова посе-вы, мы терпеливо обошли все склоны сопки, пока не наткнулись на деревушку, где бегали черные и белые свиньи. Позади деревушки, среди расщепленных красноватых скал, лежали мертвые китайцы. Это был третьеразрядный погост, но весьма живописный.

Вот уже пять суток я изучаю этого непроницаемо-таинственного китайца и никак не могу понять, отчего ему хочется уснуть вечным сном непременно на лоне живописной природы. Как ему удается выбирать для погостов такие прекрасные места? Ведь когда китайца приносит туда, ему уже все безразлично, а его друзья пускают фейерверк над его могилой в знак торжества.

В тот вечер я обедал с тайпаном во дворце. Говорят, что умер «принц» среди купцов Калькутты. Его убила расплата по векселям. Гонконгу следовало бы показать пару примеров, как надо вести дела. Забавнее всего слышать, как посреди этого богатства (такое встречается только в романах) отдают столь своеобразную дань уважения Калькутте. Утешайтесь этим, джентльмены из Канавы,

потому что, по моему убеждению, это единственное, чем вы можете похвастать.

За обедом я узнал, что Гонконг неприступен, а Китай срочно закупает двенадцатитонные и сорокатонные орудия для обороны своего побережья. Первое вызвало сомнения, второе несомненно. В здешних краях о Китае отзываются почтительно, будто говорят: «Германия собирается сделать то-то и то-то» или «Такова точка зрения России». Люди, занимающиеся подобными разговорами, стараются изо всех сил навязать Великой Поднебесной империи все стимуляторы Запада: железные дороги, трамвайные линии и прочее. Что же произойдет, когда Китай действительно проснется и проложит железную дорогу от Шанхая до Лхасы, создаст судоходную компанию под желтым флагом для перевозки иммигрантов, возьмется понастоящему за работу на собственных оружейных заводах и арсеналах и сам станет их хозяином? Энергичные англичане, которые отгружают сорокатонные орудия, сами подталкивают его к такому исходу, но от них можно услышать только лишь: «Нам за это хорошо платят. Бизнес не терпит сантиментов. Так или иначе, но Китай никогда не пойдет войной на Англию».

Действительно, в бизнесе нет места для сантиментов. Дворец тайпана, полный изящных вещей и прекрасных цветов, мог бы осчастливить полсотни молодых людей, которые ищут роскошной жизни, и тогда из них, возможно, получились бы писатели, певцы и поэты. Однако дворец населяли самонадеянные люди с верным глазом. Они восседали посреди этого великолепия и толковали о бизнесе.

Если бы после смерти я не собирался превратиться в бирманца, то стал бы тайпаном в Гонконге. Ему известно многое, он свободно общается с принцами и державами и держит собственный флаг на своих пароходах.

Наутро благословенный случай, который покровительствует путешественникам, предоставил мне возможность отправиться на пикник, и все потому, что накануне меня по ошибке занесло совсем не в тот дом, который я намеревался посетить. Ей-богу, правда. В Англо-Индии мы заводим новые знакомства точно так же.

— Может быть, это наш единственный день с ясной погодой, — сказала хозяйка. — Давайте проведем его на паровом катере.

Итак, мы окунулись в новый мир — мир гонконгской гавани. В силу драматического стечения обстоятельств, наверно для пользы дела, название нашего суденышка оказалось «Пионер». В программу пикника входили новый генерал (тот, что прибыл из Англии на «Навабе» и рассказывал о лорде Уолсли) и его адъютант, который был вполне англичанином, однако не походил на офицеров индийской армии. Он ни разу не заикнулся на профессиональную тему, и если у него и были неприятности, то он скрывал их за щеткой усов.

Гавань — обширный мир. На фотографиях видно, как она живописна, и я готов в это поверить, если судить по мимолетным впечатлениям, которые приобрел сквозь «молоко», покуда «Пионер» протискивался между рядами джонок, ошвартованных лайнеров, замызганных понтонов для угля, аккуратных, низкосидящих в воде американских корветов, всевозможных огромных и невзрачных «оронтов», «кокчейферов» («майских жуков»), таких же крошечных, как их тезки, старинных трехдечных кораблей, которые превратили в военные госпитали (таким образом Томас имеет возможность подышать другим воздухом), и сотен тысяч сампанов, которые были укомплектованы женщинами с грудными младенцами, привязанными за спиной.

Затем мы пронеслись вдоль приморских улиц города, успев заметить, как он велик, и прибыли к недостроенному форту, стоявшему высоко на склоне зеленой сопки.

Я смотрел на нового генерала так, как смотрят на оракула. Говорил ли я, что это генерал инженерных войск, специально посланный наблюдать за возведением укреплений? Он разглядывал груды земли, глыбы гранитной кладки, и в его глазах светился огонек профессионального интереса. Может быть, он скажет что-нибудь? Я протиснулся поближе. Генерал действительно заговорил: «Шерри и сэндвичи? Благодарю, с удовольствием. Удивительно, как можно проголодаться на морском воздухе».

Между тем мы шли вдоль буро-зеленого берега, разглядывая изящные загородные виллы, сложенные из гранита, где проживали отцы иезуиты и богатые купцы. Это была Машобра местной Симлы, а также напоминало Хайленд и Девоншир. Тут как-то поособому веяло холодом и сыростью.

Никогда еще «Пионер» не циркулировал в таких странных водах. С одного борта проносились многочисленные островки, с другого — глубоко изрезанные берега главного острова, который выходил к морю то песчаными бухточками, то отвесными утесами, изрытыми пещерами, где с гулом разбивались буруны. Позади в вечный туман вонзались сопки.

— Мы направляемся в Абердин *, — сказала хозяйка, — затем в Стенли, а оттуда пойдем пешком через остров мимо водохранилища Ти-Там. Итак, вы сможете полюбоваться ландшафтом.

Мы ворвались в фьорд и нашли там побуревшую рыбацкую деревушку, которая нависала над парой причалов. Их охранял полисменсикх. Ее обитателями оказались розовощекие женщины. Каждая владела одной третью лодки и целым младенцем, завернутым в кусок красной материи и привязанным к спине матери. Мать носила голубое по следующей причине: когда мужу придет в голову хлопнуть ее по плечу, он рискует размозжить череп ребенку, если тот не будет одет в тряпку другого цвета.

Затем мы навсегда покинули Китай и словно поплыли в далекий Лохабер * с присущим ему климатом.

Люди добрые, сидящие под опухлым, представьте себе на мгновение завешанные облаками мысы, далеко выступающие в море стального цвета, взъерошенное режущим щеку бризом, который заставляет нырять под укрытие фальшборта, чтобы перевести дыхание. Представьте себе, как весело раскачивается с борта на борт и черпает носом воду небольшое суденышко, пробираясь между островками или отважно пересекая бухту. Так и чувствуешь, как посреди свежего пейзажа, свежих разговоров, свежих лиц разгуливается аппетит, который сделает честь Великой Империи на этой странной земле.

Затем мы разыскали деревушку, которая называлась Стенли, однако отличалась от Абердина. Опустевшие здания из бурого камня смотрели на море с низкого берега, а за ними тянулась иссеченная непогодой стена. Можно не сомневаться, что это означает. Такое кричит во всеулышание: «Вот брошенное военное поселение, а все его обитатели покоятся на кладбище!»

Я спросил:

— Какой полк?

— Кажется, девяносто второй, — ответил генерал. — Это случилось давно, в шестидесятых, тогда же построили эти казармы. По-моему, здесь размещалось немало солдат, но лихорадка смела всех, словно мух. Не правда ли, унылое место?

Мои мысли вернулись к заброшенному кладбищу, которое раскинулось на расстоянии полета брошенного камня от могилы Джебганхира * в саду Шалимар, где пастух и его стадо присматривают за останками войск, которые первыми вошли в Лахор. Мы — великий народ и очень сильны, но создаем империю ценой неоправданных потерь — на костях умерших от болезней.

— А как же с укреплениями, генерал? Правда ли, что... и так далее?

— Судя по тому, как идут дела, укреплений вполне достаточно. Людей не хватает.

— Сколько?

— Скажем, около трех тысяч только для острова. Этого достаточно, чтобы справиться с любым десантом. Взгляните на заливы и бухты. С тыла найдется около двадцати площадок, удобных для высадки десанта, который может причинить неприятности Гонконгу.

— Но, — отважился я вставить слово, — теоретически любая организованная экспедиция должна быть остановлена флотом прежде, чем доберется до места назначения. А форты служат для того, чтобы предотвратить бомбардировку и любую демонстрацию отдельного военного корабля.

— Если следовать этой теории, — сказал генерал, — отдельные военные корабли тоже должны быть перехвачены нашим флотом. Все это вздор. Если какая-нибудь держава сумеет высадить свои войска, нам тоже необходимы войска, чтобы выбросить их отсюда. Хотим мы этого или не хотим, такое может случиться!

— А вы? Ведь вы назначены сюда на пять лет, не так ли?

— О нет! Через полтора года меня здесь не будет. Я не желаю застрять здесь навечно. У меня другие планы, — сказал генерал, карабкаясь по булыжникам к своему тиффину.

И это хуже всего. Вот превосходный генерал, который помогает закладывать укрепления, а сам смотрит на Гонконг только одним глазом, а другим, правым, — на Англию. Он не был бы человеком, если бы согласился продать себя вместе со своими приказами ради командова-

ния бригадой в следующей кампании. Он боится оторваться от дома — «как бы не отстать от текущих и...».

Что поделаешь, таковы же и мы в Индии, и нет ни малейшей надежды сформировать Легион Преданных колониальной службе и душой и телом, то есть таких людей, которые постоянно делали бы свое дело на одном месте и ничего не искали бы для себя в иных пределах.

Однако вспомним, что Гонконг с его пятью миллионами тонн угля, причалами, которые забиты судами, с его доками, складами, огромным гражданским поселением, торговлей на сорок миллионов фунтов и приятнейшими пикниками нуждается в трех тысячах солдат и... никогда не получит их. Город располагает двумя батареями гарнизонной артиллерии, пехотным полком и большим количеством ласкаров-артиллеристов *, которых более или менее достаточно, чтобы не позволить орудиям ржаветь на лафетах. Есть три форта на острове Стоункаттер (это между Гонконгом и материком), три — в самом Гонконге, и еще три-четыре рассеяны по другим местам. Естественно, не прибыл еще полный комплект орудий. Даже в Индии нельзя считать форт укомплектованным без обученных артиллеристов. Однако тиффин, организованный с подветренной стороны скалы, оказался гораздо интереснее обсуждения вопроса об обороне колоний. Нельзя же говорить о политике, когда у человека пусто в желудке.

Наш единственный ясный день завершился сильным ветром с дождем. Дождь застучал по опустевшим тарелкам, и марш через остров начался.

Повернув от моря, дорога привела нас в сосняк Теога и к рододендронам Симлы (правда, здесь их называют азалиями). Дождь лил не переставая, словно был июль в горах, а не апрель в Гонконге.

Кстати сказать, любую армию вторжения, марширующую к Виктории *, ожидает много неприятностей, даже если будет сухо. В горах есть один-два прохода, которыми такая армия может воспользоваться, но разработан особый план, согласно которому она будет окружена и уничтожена именно в этих проходах. Когда, вонзая каблуки в грязь, мне пришлось карабкаться по глиняному склону горы спиной вперед, я пожалел армию вторжения.

Право, не знаю, стоит ли осматривать выложенное гранитом водохранилище и двухмильный туннель, который снабжает Гонконг пресной водой. И без того в воздухе слишком много влаги и нет места для слез, даже когда пытаешься думать о доме.

И все же приезжайте, пройдите тем же маршрутом десяток миль, причем лишь две из них пролегают по ровной местности. Плывите под парами в забытое военное поселение Стенли, пересеките остров и только тогда скажите, приходилось ли вам видеть что-либо настолько же дикое и изумительное по части пейзажа. Я, в свою очередь, отправляюсь вверх по реке в Кантон и не могу оставаться здесь дольше ради создания словесных пейзажей.

Глава десятая

Япония за десять часов; полный отчет о манерах и обычаях местных жителей; история их конституции; о промышленности, искусстве и цивилизации; кроме того, глава рассказывает о тиффине в чайном домике, где была и О Тойо

Не можешь в воздух вскинуть флаг
Иль в озеро махнуть весло,
Есть украшенья на бортах,
Нет рифм нарушить гладь, нет слов.

Наутро, когда улеглась бортовая качка, не давшая покоя всю ночь, в каютном иллюминаторе изобразились две высокие скалы, сплошь покрытые зеленью и увенчанные двумя низкорослыми темно-синими соснами.

Под скалами скользила изящная лодка, вырезанная, видимо, из сандалового дерева; над лодкой трепетал похожий на жалюзи парус цвета светлой слоновой кости. Индигово-синий мальчуган с лицом цвета старой слоновой кости тянул какой-то канат. Эти скалы, сосны и мальчик словно сошли с японской ширмы, и я догадался, что Япония существует воочию. Наша «добрая матушка-земля» предлагает нам, своим детям, немало радостей, однако немногие из них могут сравниться с волнением от встречи с новой страной, совершенно незнакомой расой и нравами, непохожими на наши. Хотя все на свете давно описано в книгах, каждый, кто впервые приезжает в такую страну, чувствует себя новым Кортесом. И так, я в Японии — стране миниатюрных интерьеров и великолепных резчиков, на земле грациозных людей с изысканными манерами, где производят изделия из камфарного дерева и лака, мечи из акульей кожи... то есть я (не так ли говорится об этом в книгах?) оказался среди нации художников. Чтобы убедиться в этом, нам, прежде чем отправить-



ся в Кобе, предстоит задержаться в Нагасаки всего на двенадцать часов, но даже за такое время вполне можно собрать отличную коллекцию впечатлений.

На палубе мне встретился отвратительный человек, который держал в руках тощую бледно-голубую брошюру. «Вы уже знакомы с Конституцией Японии? * — спросил он, — на днях ее составил сам император. Она абсолютно соответствует европейскому образцу».

Приняв брошюру, я увидел, что это отпечатанная на пятидесяти страницах бумажная конституция. Она была проштампована императорской хризантемой и содержала великолепную схему представительства, реформ, законодательства, шкалу оплаты членам парламента. Однако тщательное изучение этого документа вызывает досаду — до того он напоминает английскую конституцию.

Зеленые сопки вокруг Нагасаки были подернуты легкой желтизной, и мне хотелось верить, что зелень эта особенная и отличается от зелени в иных странах. Опять-таки то были цвета японской ширмы, а о соснах уж и говорить нечего: они были с той же ширмы.

Город едва просматривался со стороны переполненной судами гавани. Он раскинулся у подножия сопки, а его трудовое лицо — испачканная углем набережная была пустыня и блестела лужами. Бизнес в Нагасаки (чему я очень обрадовался) находится в стадии «самой малой воды». Японцам не стоит связываться с бизнесом.

Когда я сошел на причал и молодой джентльмен с никелированной хризантемой на фуражке и в отвратительно сидевшем немецком мундире сказал на безукоризненном английском языке, что не понимает меня, мое хорошее настроение улетучилось. Это был японский таможенник. Продлись наша стоянка дольше, я наверняка прослезился бы над этим гибридом, этой помесью немца, француза и американца, этой данью цивилизации. Все японские чиновники, начиная с полиции и выше, по-видимому, поголовно одеты в европейское платье, которое им явно не по фигуре. Я думаю, что микадо изготовил эти мундиры одновременно с конституцией. Их подгонят в свое время.

Когда джинрикша, влекомая розовошестиком красавцем с лицом баска, ввезла меня в первый акт «Микадо», я с трудом удержался, чтобы не закричать от восторга, да и то только

потому, что приходилось блюсти достоинство Индии. Откинувшись на бархатную подушечку, я щедро улыбнулся Питти Синг с ее оби *, тремя огромными булавками в волосах цвета воронова крыла и трехдюймовыми колодками на ногах. Она засмеялась совсем как та девушка-бирманка под сводами древней пагоды в Моулмейне. И ее смех, смех леди, приветствовал мое появление в Японии.

Могут ли эти люди не смеяться? Думаю, что не могут. Видите ли, здесь по улицам бегают тысячи ребятишек, и старшим приходится волей-неволей казаться молодыми, чтобы не расстраивать их. Нагасаки, по-видимому, населен исключительно детьми. Взрослые живут там с их молчаливого согласия. Ребенок ростом в четыре фута гуляет с ребенком ростом в три фута; тот держит за руку дитя ростом в два фута, который в свою очередь несет на спине однофутového младенца, который... Впрочем, вы мне все равно не поверите, если я скажу, что шкала опускается до шестидюймовой японской куклы, подобной тем, что продаются в Берлингтонском пассаже Лондона. Однако здешние куклы в отличие от тряпичных брыкаются и смеются. Они завернуты в голубые халатики, подвязанные кушаком, который одновременно подвязывает и халатик «носильщика». Таким образом, если развязать этот кушак, младенец и несущий его братишка в одно мгновение оказываются голышом. Я видел, как мать проделывала подобное со своими детьми. Это напоминало очистку крутых яиц от скорлупы. В узких улочках Нагасаки не встретишь игры экстравагантных красок, пестрых витрин и сверкающих фонарей. Но если вы хотите понять местную архитектуру, увидеть, что такое идеальная чистота, редкий вкус, полное воплощение в изделии замысла изготовителя, то найдете там все это в избытке. Крыши домов тускло отливают свинцом, но крыты либо черепицей, либо гонтом, а фасады имеют естественный цвет дерева, каким его создал творец. Небо было подернуто облаками, но воздух оставался свободным от тумана или дымки, и перспективы улочек просматривались насквозь. Казалось, будто я заглядывал в глубокий интерьер комнаты.

Книги давно рассказали, что японский дом устроен в основном из скользящих ширм и бумажных перегородок. Всем также известен анекдот о токийском грабителе, который, чтобы украсть брюки консула, воспользовал-



ся ножницами вместо отмычки и бурава. Однако ни одна книга реально не передаст живое восприятие утонченности отделки жилищ, которые можно свалить ударом ноги и разбить кулаками в щепы. Посмотрите на лавку торговца. Он продает рис и красный стручковый перец, сушеную рыбу и бамбуковые палочки. Фасад лавки весьма внушительен. Он сделан из полудюймовых реек, прибитых встык. Однако вы не найдете ни одной сломанной рейки, и все они совершенно одинаковы. Слово стыдятся таких «грубых стен», торговец затягивает половину площади фасада промасленной бумагой в рамах толщиной в четверть дюйма. В бумаге не сыщется ни единой дырочки, ни одна рама не перекошена. В менее цивилизованных странах такая рама обязательно несла бы стекло (если бы смогла его выдержать). В этих стенах, но вовсе

*Всем известно
анекдот о
Токийском
грабители, который,
чтобы украсть
рюкзак консула,
воспользовались
ножницами вместо
отмычки*

не среди груды своих товаров сидит и сам торговец, одетый в голубой халат и толстые белые носки. Он расположился на золотистой циновке из мягкой рисовой соломы; по краям циновка отделана черной каймой. Толщина циновки—два дюйма, ширина—три фута, длина—шесть. На ней не стыдно (если, конечно, вы окажетесь такой свиньей и потребуете этого) накрыть обед. Торговец, знай себе, полеживает там, обняв рукой, обернутой в голубой рукав халата, чеканную медную жаровню, на стенках которой едва заметными линиями обозначен страшный дракон. Жаровня доверху полна золой древесного угля, но на циновке не сыщется ни пылинки. Под боком у торговца лежит мешочек из зеленой кожи, перевязанный красным шелковым шнурком. В мешочке мелко нарезанный, волокнистый, как хлопок, табак. Торговец набивает длинную трубку, отделанную черным и красным лаком, раскуривает ее от уголька в жаровне, делает две затяжки, и она пустеет. Циновка остается безукоризненно чистой. Позади стоит ширма из бамбука и каких-то шариков. Она отгораживает другую комнату—с бледно-золотистым полом и потолком из гладкого кедра. Комната абсолютно пуста, если не считать кроваво-красного одеяла, расправленного на полу, подобно листу бумаги. Дальше ведет проход, обшитый деревом, отполированным так, что в нем отражается белая бумажная стена. В конце прохода, в зеленом глазурованном горшке, отчетливо видимая этому необычайному торговцу, растет карликовая сосна ростом два фута, а рядом в бледно-сером треснутом горшке стоит ветка кроваво-красной, как и одеяло,

азалии. Этот японец поставил здесь азалию, чтобы любоваться ею для отдохновения глаз, потому что ему так нравится. Белому человеку было бы некуда деться с таким вкусом. Торговец содержит жилище в идеальной чистоте, и это отвечает артистическому складу его души. Чему мы можем научить японца?

Его коллега-торговец в Северной Индии может жить за почерневшей от времени резной деревянной перегородкой, но не думаю, чтобы он стал выращивать в горшке что-нибудь, кроме базилика*, да и то ради того, чтобы ублажить богов и своих женщин. Не будем сравнивать этих людей, а совершим прогулку по Нагасаки.

За исключением ужасного полисмена, который словно подчеркивает своим видом, что он европеизировался, простые люди вовсе не спешат надеть непристойные костюмы Запада. Молодежь носит круглые фетровые шляпы, изредка — куртки и брюки и совсем редко — ботинки. Все это отвратительного качества. Говорят, что в более крупных

японских городах западное платье уже в порядке вещей, а не исключение. Поэтому я склонен думать, что японцам воздается за грехи и праотцов, которые рубили на котлеты предприимчивых миссионеро-иезуитов, — Запад притупляет их артистические инстинкты. Однако такое наказание несоразмерно более тяжело по сравнению с преступлением предков.

Затем я принялся восхищаться цветущим видом людей, славными улыбками пухлых младенцев, а также тем, что все вокруг меня было устроено «по-другому». Неловко чувствовать себя чужестранцем в этой опрятной стране и прогуливаться возле ее кукольных домиков. Япония действует успокаивающе на человека невысокого роста*. Никто не громоздится над ним, словно башня, и он смотрит на всех женщин, как и полагается, сверху вниз. Когда я вошел в антикварную лавку, ее хозяин, сидевший на циновке, согнулся почти пополам. Я впервые почувствовал себя варваром, а не настоящим саибом. Мои туфли были испачканы уличной грязью, а безукоризненно



опрятный владелец лавки приглашал меня пройти во внутреннее помещение по полированному полу, застланному белыми циновками. Более того, он принес мне циновку для ног, но этим лишь усугубил мое неловкое положение: ведь пока я возился с ней, из-за угла надо мной посмеивалась прелестная девушка. По-видимому, хозяевам японских лавок не следует быть такими чистюлями. Я прошел по коридору фута в два шириной, обшитому дощечками, и оказался среди карликовых деревьев, то есть в саду (настоящая жемчужина) площадке в половину теннисного корта. Затем я ударился головой о хрупкую перемычку двери и очутился в такой изысканной обстановке, заключенной в четырех стенах, что невольно понизил голос. Может быть, вы помните «Часы с кукушкой» миссис Моулсворт *, ту просторную шкатул-

ку, куда Гризельда вошла с кукушкой? Я не был Гризельдой, но мой тихий друг в мягком длиннополом одеянии напоминал ту птицу, а его комната была той шкатулкой. Я снова попытался утешить себя мыслью о том, что при желании мог бы одним махом сокрушить все вокруг, но от этого лишь сильнее почувствовал себя большим, неуклюжим и грязным — самое неподходящее настроение, для того чтобы торговаться. Человек-кукушка приказал принести бледного чая (о каком можно прочитать только в книгах о путешествиях) и этим доконал меня. Вот что хотелось сказать: «Послушайте, Вы слишком чистоплотны и утонченны для земной жизни; ваш домик непригоден для жилья. Для того чтобы в нем жить, человек должен научиться множеству вещей, доселе совершенно ему незнакомых. Из-за этого я ненавижу вас, так



как чувствую себя униженным. А вы презираете меня и мои башмаки, потому что считаете меня дикарем. Позвольте удалиться, в противном случае я обрушу этот дом из кедра на вашу голову». Вслух я сказал: «А! Да, очень мило. Удивительный способ заключать сделки».

Человек-кукушка оказался страшным вымогателем, а мне было жарко и неудобно, пока я не выбрался наружу, снова превратившись в шлепающего по болоту бритта. Вы никогда не пробирались на ощупь внутри трехдолларовой шкатулки и поэтому не поймете меня.

Мы приблизились к подножию холма, который мог бы вполне послужить основанием для Шви-Дагон; вверх по склону вела широкая лестница из камня, потемневшего от времени. Местами она была перекрыта монолитными тори*. Каждому известно, что такое тори. Их можно увидеть в Южной Индии.

Дело в том, что Великий Владыка время от времени отмечает то место, где собирается воздвигнуть гигантскую арку, и, будучи Владыкой, осуществляет свой замысел отнюдь не с помощью чернил, а в камне, вздымая в небо два столба футов сорок — шестьдесят высотой и перекладину двадцати — тридцати футов шириной. У нас в Южной Индии такая перекладина выгнута аркой. На Дальнем Востоке она загнута на концах. Это описание едва ли соответствует книжному, но если человек, прибывший в новую страну, станет заглядывать в книги, он погиб.

Над ступенями нависали тяжелые голубоватые или темно-зеленые кроны сосен, старых, узловатых, усеянных шишками. Основной цветовой фон склона холма создавала светло-зеленая листва, однако доминировал все же цвет сосен, гармонирующий с голубыми нарядами немногочисленных пешеходов. Солнце пряталось за тучами, но я готов поклясться, что его свет испортил бы картину. Мы поднимались минут пять (я, профессор и его фотоаппарат). Затем, обернувшись, мы увидели крыши Нагасаки, лежащие у наших ног, — свинцовое, темно-бурое море, которое там, где цвели вишни, было подернуто кремово-розовыми пятнами. Сопки, окружавшие город, пестрели захоронениями, которые чередовались с сосновыми рощицами и зарослями бамбука, похожего на пучки перьев.

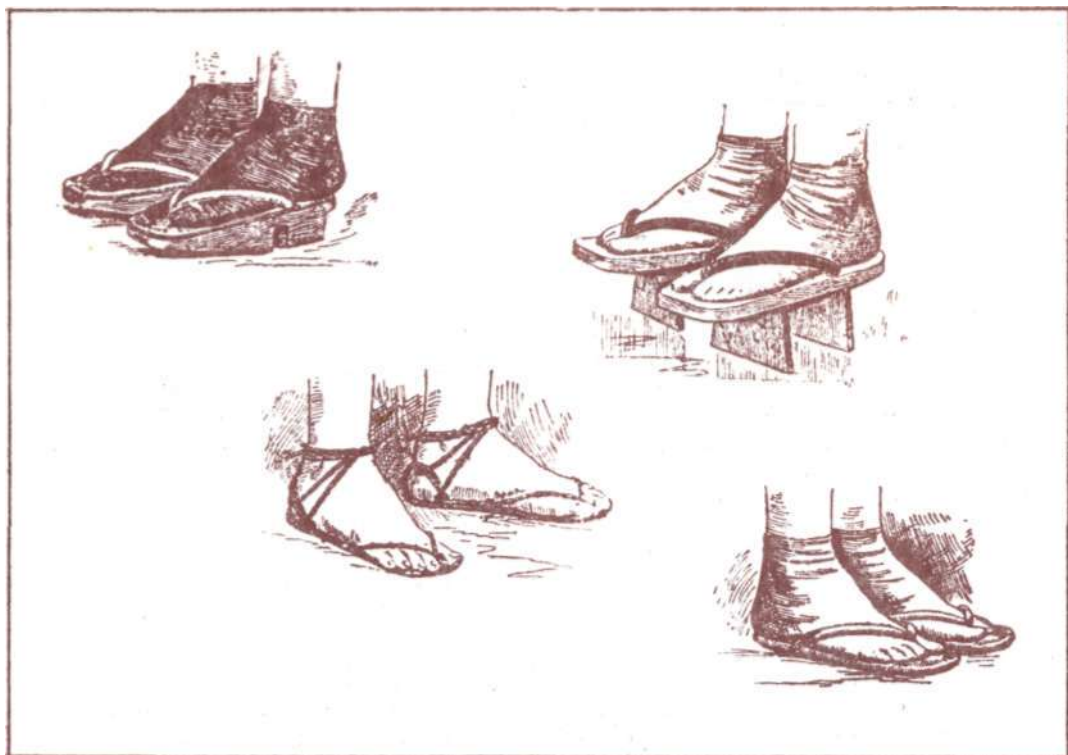
— Что за страна! — воскликнул профессор, распаковывая аппарат. — Ты заметил — куда бы мы ни пошли, обязательно найдетс



человек, который умеет обращаться с аппаратом. В Моулмейне возчик советовал, какую поставить диафрагму; случайный знакомый в Пенанге тоже все знал; рикша-кули видел аппарат прежде. Любопытно, не правда ли?

— Профессор, — сказал я, — всем этим мы обязаны тому интересному обстоятельству, что являемся не единственными людьми на земле. Я начал понимать это в Гонконге. Теперь все еще больше прояснилось. Не удивлюсь, если окажется в конце концов, что мы — самые обыкновенные смертные.

Мы вошли во дворик, где зловещего вида бронзовый конь всматривался в двух каменных львов и весело щebetала компания ребятишек. С бронзовым конем связана легенда, которую можно отыскать в путешественниках. Однако истинная история такова: давным-давно некий японский Прометей изготовил его из мамонтовой кости, найденной в Сибири. Конь ожил, имел потомство, которое унаследовало черты отца. За долгие годы мамонтовая кость растворилась в крови потомков, однако до сих пор проступает в их хвосте и кремовой гриве, а животик и стройные ноги предка и по сей день встречаются у вьючных лошадей Нагасаки. Они носят особые вьючные седла, украшенные бархатом и красной тканью, «травяные под-



ковы» * на задних копытах и вообще напоминают лошадок из пантомимы.

Мы не смогли пройти дальше, потому что объявление гласило: «Закрыто!» В результате мы увидели только высокие темно-бурые тростниковые крыши храма, уходившие волнами ввысь и терявшиеся в листве. Японцы изгибают тростниковую крышу, как им это угодно, словно лепят ее из глины, но, как легкие подпорки выдерживают вес крыши, тайна для непосвященного.

Затем мы спустились вниз по ступеням к чайному домику, чтобы отведать тиффин, и по дороге смутные мысли шевелились в моей голове: «Бирма весьма приветливая страна, но у них есть «напи», другие неприятные запахи, и в конце концов их девушки не настолько прелестны, как в иных...»

— Вы должны снять обувь, — сказал Иа Токай.

Уверю вас — весьма унижительно, сидя на ступеньках чайного домика, пытаться стянуть с ноги замызганный башмак. К тому же, будучи в носках, невозможно соблюдать

правила хорошего тона, тем более что пол в чайном домике блестит как стекло, а прелестная девушка расспрашивает о том, где бы вы хотели расположиться во время тиффина. Если собираетесь в эти края, захватите по меньшей мере пару красивых носков. Закажите носки из расшитой кожи индийского лося или даже, если уж на то пошло, из шелка, но боже вас упаси, подобно мне, стоять на полу в дешевых полосатых носках со следами штопки на пятках и при этом пытаться беседовать со служанкой чайного домика.

Они проводили нас (три девушки, все свежие и пригожие) в комнату, отделанную золотистой бурой медвежьей шкурой. Такэному * украшали резные изображения летучих мышей, кружащих в сумерках, и желтые цветы на бамбуковой подставке. Потолок был отделан деревянными панелями, за исключением участка над окном. Там красовалось плетение из стружки кедра. Его окаймлял винно-коричневый ствол бамбука, отполированный так, что казалось, будто его покрыли лаком. От прикосновения руки к ширме стена

комнаты отодвинулась, и мы оказались в просторном помещении, где была другая такэнома, отделанная деревом неизвестной породы, фактурой напоминавшим пенангскую пальму. Поверху проходил не очищенный от коры ствол какого-то дерева. Он был усеян затейливыми крапинками. В этом помещении ничего не было, кроме жемчужно-серой вазы. Две стены комнаты состояли из промасленной бумаги, а стыки потолочных перекрытий закрывали бронзовые крабы. За исключением порога такэномы, покрытого черным лаком, в каждом дюйме дерева ясно прослеживалась его естественная структура. Снаружи был сад, обсаженный карликовыми соснами и украшенный крохотным прудом, гладкими камнями, утопленными в землю, и цветущим вишневым деревом.

Нас оставили одних в этом раю, и поскольку я был всего-навсего беспардонным англичанином без обуви (белый человек словно деградирует, когда разувается), то принялся разгуливать вдоль стен и ощупывать ширмы. Остановившись, чтобы исследовать замок ширмы, я заметил, что это инкрустированная пластинка с изображением двух белых журавлей, кормящихся рыбой. Площадь этой блюда не более трех квадратных дюймов, и обычно на нее не обращают внимания. Пространство, отгороженное ширмами, служило комодом, где, похоже, были сложены лампы, подсвечники, подушки и спальные мешки всего дома. Восточная нация, которая умеет так аккуратно хранить вещи, достойна того, чтобы ей поклониться в пояс. Пройдя наверх по деревянной лестнице, я очутился в редких по красоте комнатах с круглыми окнами, которые открывались в пустоту и потому для отдохновения глаз были затянuty плетением из бамбука. Переходы, устланные темным деревом, блестели как лед, и мне сделалось стыдно.

— Профессор, — сказал я, — они не сплевывают под ноги, не уподобляются во время еды свиньям, не ссорятся, а эти хрупкие помещения не выдержат пьяного — он немедленно провалится сквозь все эти перекрытия и скатится по склону горы в город. Им противопоказано обзаводиться детьми. — Тут я осекся: внизу было полно младенцев!

Девушки принесли чай в голубых фарфоровых чашках и кекс в красной лакированной вазочке. Такие кексы подаются в Симле лишь в одном-двух домах. Мы безобразно распро-

стерлись на красных ковриках, посланных поверх циновок, и нам вручили палочки, чтобы расправиться с кексом. Утомительная задача.

— И это все? — зарычал профессор. — Я голоден, а чай с кексом должны подаваться не раньше четырех. — Украдкой он схватил ручку клинышек кекса.

Девушки вернулись (на этот раз впятером) с четырьмя лакированными подносами площадью один квадратный фут каждый и высотой четыре дюйма. Это были наши столы. Затем принесли красную лакированную чашку с рыбой, сваренной в рассоле, и морские анемоны (по крайней мере не грибы!). Каждая палочка была обернута бумажной салфеткой, подвязанной золотой ниткой. В плоском блюдежке лежали копченый рак и ломтик какой-то смеси, напоминавшей йоркширский пудинг, а по вкусу — сладкий омлет, и скрученный кусочек чего-то полупрозрачного, что некогда было живым существом, а теперь оказалось замаринованным. Девушки удалились, но не с пустыми руками: ты, О Тойо, унесла с собой мое сердце, то самое, которое я подарил девушке-бирманке в пагоде Шви-Дагон.

Профессор приоткрыл глаза, не произнеся ни звука. Палочки поглотили половину его внимания, а возвращение девушек — другую. О Тойо с эбеновыми волосами, розовощекая, словно вылепленная из тончайшего фарфора, рассмеялась, потому что я проглотил весь горчичный соус, который был подан к сырой рыбе, и заливался слезами в три ручья, пока она не подала мне саке из объемистой бутылки высотой четыре дюйма.

Если взять разбавленный рейнвейн, подогреть его, а затем забыть на время о вареве, пока оно не остынет, то получишь саке. Мое блюдечко было таким крохотным, что я набрался смелости и наполнил его раз десять, но так и не разлюбил О Тойо.

После сырой рыбы и горчичного соуса подали другую рыбу, приправленную маринованной редиской, которую было почти невозможно подцепить палочкой. Девушки опустили полукругом на колени и визжали от восторга, глядя на неловкие движения профессора, — ведь не я же чуть было не опрокинул столик, пытаюсь грациозно откинуться назад. После бегов молодого бамбука подошла очередь очень вкусных белых бобов в сладком соусе. Попробуйте представить, что произойдет,



если вы с помощью деревянных вязальных спиц препроводяете в рот бобы. Несколько цыплят, хитро сваренных с турнепсом, и полное блюдо белоснежной рыбы, начисто лишенной костей, в сопровождении горки риса завершили обед. Я забыл два или три блюда, но, когда О Тойо вручила мне лакированную японскую трубочку, набитую табаком, похожим на сено, я насчитал на лакированном столике девять тарелочек. Каждая — поданное блюдо. Затем я и О Тойо по очереди покурили. Мои весьма уважаемые друзья по всем клубам и общим столам, приходилось ли вам, развалившись на кушетке после плотного тиффина, курить трубку, набитую руками прелестной девушки, когда четыре другие восхищаются вами на непонятном языке? Нет? Тогда вы не знаете, что такое настоящая жизнь.

Я окинул взглядом безупречную комнату, посмотрел на карликовые сосны и кремовые цветы вишни за окном, на О Тойо, которая заливалась смехом, оттого что я пускал дым через нос, на кольцо девушек из «Микадо», сидевших на коврик из золотисто-бурой

медвежьей шкуры. Во всем ощущались цвет и форма. Здесь были пища, комфорт, а красоты хватило бы для размышлений на полгода. Не хочу быть бирманцем. Желая стать японцем неразлучным с О Тойо, *bien entendu**, в домике, разделенном на кабинеты, стоящем на склоне холма, пахнувшего камфорным деревом.

— Хей-о! — воскликнул профессор. — На земле есть места и похуже. Ты помнишь, что наш пароход отходит в четыре? Пора просить счет и сматываться.

Я понял, что оставил свое сердце у О Тойо под этими соснами. Может быть, я получу его назад в Кобе.

Дальнейшее исследование Японии; Внутреннее Японское море и превос- ходная кухня; таинство с паспортами, консульством и прочее

Рим! Рим! Кажется, там я покупал хорошие
сигары.

Из записок путешественника

Увы! Насколько бессильным порой оказывается перо! Я собирался рассказать о Нагасаки значительно больше, чем смог, поведать, например, о похоронной процессии, которую встретил на улице. Вам стоило бы узнать о причитающих женщинам в белом, которые шли за усопшим, запертым в деревянном паланкине. Паланкин раскачивался на плечах носильщиков. Словно отлитый из бронзы, буддийский священник двигался впереди, а мальчишки бежали следом.

Я собирался предложить вашему вниманию рассуждение о морали, обзор политической ситуации и исчерпывающее эссе о будущем Японии, однако успел обо всем забыть и помню лишь О Тойю в чайном саду.

Из Нагасаки на пароходе «Пи энд Оу» мы направились через Внутреннее Японское море в Кобе. Это значит, что последние двадцать часов мы плывем словно по гигантскому озеру, которое, насколько хватает глаз, усеяно всевозможными островками. Некоторые из них достигают в длину четырех миль, а в ширину двух, иные — просто крошечные бугорки, не больше, чем копка сена. «Кук и Сыновья» взимают лишнюю сотню рупий за проезд через этот уголок Вселенной, однако сами понятия не имеют, как творятся подобные чудеса. На самом деле при любой погоде, при любом освещении эти островки (пурпурные, янтарные, серые, зеленые и черные) стоят впятеро дороже.

Последние полчаса я провел в толпе галдящих туристов, размышляя о том, как бы лучше «преподнести» вам этих господ. Туристы, конечно, не поддаются описанию: каждые полминуты они вскрикивают «Боже мой!», а еще через пять минут спрашивают друг друга: «Па-аслушайте, не кажется ли вам, что все это

слишком однообразно?» Затем они принимают играть в некую игру, напоминающую крикет, пока очередной отменный пейзаж не заставляет их прерваться и снова воскликнуть «Боже мой!». Если бы на островах было побольше дубов и сосен, то возникла бы полная иллюзия, что на протяжении трехсот миль мимо нас тянутся берега озера Наини-Таль *. Однако Наини-Таль далеко, и по мере того, как наш большой пароход продвигался вперед по водным аллеям, я видел, что мертвенно спокойное на первый взгляд море с гулким эхом обрушивает к подножию утесов прибой футов в десять высотой.

Мы продвигались среди такой густой россыпи островов, что чудилось, будто вокруг сомкнулись сплошные берега. Наверное, приливное течение огибает вон тот одинокий риф (об этом говорит толчея мелких волн) и вот-вот вынесет пароход на скалу. Некто стоящий на мостике спасает судно, и мы уже целемся в другой островок... И так без конца. Глаза не успевают следить за носом парохода, который катится то вправо, то влево.

Конченные личности, которые уже не в состоянии весь вечер кричать «Боже мой!», спускаются вниз.

Попав в Японию (все путешествие может занять три месяца, или десять недель), постарайтесь пройти Внутренним Японским морем и тогда узнаете, насколько быстро изумление может смениться обычным любопытством, а то и безразличием. Что касается меня, то я сейчас больше думаю об устрицах, которые были закуплены для нашего стола в Нагасаки, чем о призрачном островке, похожем на морскую звезду, который проскользнул за бортом. Да, это море романтических тайн. Луна серебрит воду, и белые паруса джонок тоже кажутся серебряными. Однако, если стюард подаст устриц под кэрри, вместо того чтобы оставить их в раковинах, меня не смогут утешить все, словно завешенные вуалью, прелести вон того утеса или той скалы, что изъедена пещерами. Сегодня 17 апреля — я сижу в длиннополом пальто, закутавшись в плед, а пальцы, сведенные холодом, с трудом удерживают перо. Это провоцирует меня на вопрос: как поживают ваши крыльчатые вентиляторы? Напоминаю: смесь стеотита с керосином хороша от скрипа механизмов. Если кули заснет и вы проснетесь в Гадесе *, постарайтесь не выходить из себя. Пока. Я пошел к своим устрицам.

Прошло двое суток. Я пишу эти строки в Кобе (тридцать часов от Нагасаки). Европейская часть города — примитивный американский городишко. Мы прошлись по его широкому голым улицам. Бутафорские штукатуренные дома украшены деревянными коринфскими колоннами, верандами и крылечками. Все вокруг серо, как само небо, нависающее над реденькой зеленью деревьев, которые несправедливо называют тенистыми. Снаружи Кобе действительно выглядит по-американски. Даже я, видевший Америку только на картинках, сразу же узнал Портленд в штате Мен. Город стоит в окружении гор, но эти горы оскальпированы, и общее впечатление — все здесь ни к селу ни к городу. Однако, прежде чем отправиться дальше, позвольте вознести хвалу достойнейшему месье Бежё, владельцу отеля «Ориенталь», да хранит его бог. Это дом, где вы действительно можете пообедать. Он не просто кормит: его кофе — кофе прекрасной Франции, к чаю, как в «Пелити» *, или даже лучше, подают кексы и *vin ordinaire* *, которое, *comprix* *, весьма недурно. Запомните это, идущие по моим стопам, — и вы на сытый желудок проедете четверть мира.

На пути из Кобе в Иокогаму нас ожидает сложный маршрут, и поэтому необходим паспорт, ведь предстоит ехать в глубь страны, а не плыть вдоль берега пароходом. Мы собираемся воспользоваться поездом, который, возможно, доставит нас куда надо, если закончена железная дорога. Затем мы отклонимся от железной дороги, следуя своей фантазии. Все предприятие займет около двадцати суток и включит пятидесятимильный пробег на джинришке, поездку на какое-то озеро и, надеюсь, клопов.

Нотабене. Если желаете совершить поездку в глубь этой волшебной страны, по пути в Японию сделайте остановку в Гонконге и пошлите оттуда письмо Чрезвычайному и Полномочному послу в Токио. Укажите маршрут (хотя бы приблизительно) и, ради собственного спокойствия, две его крайние точки, то есть города, откуда начнется и где завершится путешествие. Вставьте несколько деталей относительно вашего возраста, профессии, цвета волос и прочего, что придет в голову, и попросите заблаговременно переслать паспорт британскому консулу в Кобе (учтите, что чиновнику — обладателю длиннейшего титула — понадобится неделя на

приготовление паспорта), и тогда, когда вы придете в Кобе, эта бумага окажется в вашем распоряжении. Пишите отчетливо, чтобы пощадить собственное самолюбие. Мой паспорт приготовлен на имя мистера Кишрига-Раджерда Кишрига.

Мы проникли в лавку древностей, держа шляпы в руках, прошли короткой аллеей с резными каменными фонариками и деревянными фигурами дьяволов (невыразимо отвратительных) и были встречены улыбающимся существом, посевшим среди этих подвесок и изделий из лака. Хозяин показал нам знамена и эмблемы давным-давно умерших даймё *, и наши невежественные челюсти отвисли от изумления, затем — священную черепаху размером с мамонта, вырезанную из дерева в мельчайших подробностях. Он вел нас из комнаты в комнату (по мере того как мы продвигались вперед, становилось темнее), пока мы не очутились в садике под деревянной аркадой. Рыцарские доспехи глазели на нас из полумрака; отвечая на звуки шагов, позвякивали древние мечи; странные мешочки для табака, такие же дряхлые, как и мечи, раскачивались на невидимых подвесках; покаленные Будды, красные драконы, джайнские * святые и бирманские идолы всматривались в нас десятками глаз поверх ворохов тряпья, которое некогда было парадным облачением.

Глаза полнились радостью обладания. Старик показывал свои сокровища: от хрустальных сфер, установленных на подставках из дерева, обкатанного морем, до шкатулок, заполненных безделушками из слоновой кости и громоздящихся одна на другой, а мы чувствовали себя так, будто все это принадлежало нам. К несчастью, единственным ключом к разгадке имени художника всякий раз служил примитивный росчерк японского иероглифа, и я не могу сказать, кто задумал и выполнил из слоновой кости: фигурку старика, до смерти перепуганного каракатицей; жреца, который заставил солдата добыть для него оленя и смеялся при мысли о том, что грудинка достанется ему, а тяжесть ноши — спутнику; высохшую, тощую змею, насмешливо свернувшуюся кольцом на человеческом черепе, тронутом разложением; похотливого барсука в духе Рабле *, стоящего на голове и вызывающего краску смущения, несмотря на то что был всего лишь в полдюйма ростом; крохотного пухлого мальчугана, который колотил

меньшого братца; кролика, который только что отпустил шутку; или... Там были десятки символов, рожденных всевозможными нюансами радости, презрения, житейского опыта, управляющих человеческим сердцем. Рукой, подержавшей на ладони с полдюжины этих безделушек, я словно послал привет тени умершего резчика! Он ушел на покой, передав слоновой кости три-четыре настроения, за которыми я тщетно охочусь с помощью холодного слова.

Англичанин — удивительное животное. Он покупает дюжину подобных вещиц, ставит в своем кабинете куда-нибудь повыше, а через неделю забывает о них. Японец же прячет безделушки в красивый парчовый мешочек или лакированный ларец и держит там до тех пор, пока к нему не заглянут на чашку чая трое близких по духу приятелей. Тогда он не спеша извлекает сокровище. Вещицы рассматривают под понимающее пощелкивание языков и осторожное позвякивание чашек. Затем они отправляются обратно в мешочек и остаются там, пока хозяина снова не посетит желание полюбоваться ими. Мы называем это чудачеством. Каждый японец, у которого водятся деньги, — коллекционер, но вы не встретите нагромождения «вещей» в его доме.

Мы долго пробыли в полумраке этого удивительного заведения, а покинув его, недоумевали, зачем таким людям понадобилась конституция, захотелось одевать каждого десятого юношу в европейское платье, держать в гавани Кобе белый броненосец и посылать на улицу дюжину близоруких полицейских лейтенантов в мешковатых мундирах.

— Нашей мздой, — сказал профессор, засунув голову в лавку, где продавали колодки, — нашей платой будет учреждение международного протектората над Японией, чтобы она не опасалась оккупации или аннексии. Необходимо платить ей столько, сколько она пожелает, при условии что будет вести себя смиренно, продолжая производить изящные поделки, а мы станем учиться у них. Нам воздастся сторицей, если мы поместим эту империю под стеклянный колпак и повесим табличку: «Hors Concours (вне конкурса ввиду явного превосходства), экспонат «А»».

— Хм, — промолвил я, — кто мы?

— Да все мы саибы-чурбаны со всего света. Наши мастера, правда немногие, могут иногда сработать не хуже, но во всей Ев-

ропе не сыщется города, который был бы до отказа населен столь чисто плотными, умелыми, утонченными, изобретательными людьми.

— Поедем в Токио и переговорим об этом с императором, — сказал я.

— Для начала давай-ка посетим японский театр, — ответил профессор. — На этой стадии путешествия слишком рано заводить серьезный разговор о политике.

Глава двенадцатая

Японский театр и «История Кота Громовержца»; глава повествует о местах уединения и покойнике на улице

Мы отправились в театр, шлепая по грязи под проливным дождем. Внутри театра царил почти полная темнота, потому что синие одежды зрителей впивывали скудный свет керосиновых ламп. Негде было даже стоять, разве что рядом с полицейским, который, по-видимому, во имя поддержания нравственности и авторитета лорда-канцлера имел в своем распоряжении угол на галерке и четыре стула. Ростом он был четыре фута и восемь дюймов, но сам Наполеон на острове Святой Елены не сумел бы скрестить руки на груди так драматически. Немного поворчав (вероятно, мы попирали конституционный принцип), он согласился уступить нам один стул, получив взамен бирманский черут, дым которого, как мне показалось, чуть было не задушил его.

Зрительный зал состоял из пятидесяти рядов партера по пятьдесят человек в каждом связующей массой детей и галерки, вмещавшей свыше тысячи зрителей. Как и все дома в Японии, театр представлял собой сооружение изящной столярной работы: крыша, пол, перекрытия, опоры и перегородки были из дерева, а каждый второй из сидящих в зале курил крохотную трубочку и каждые две минуты выколачивал из нее пепел. Мне захотелось немедленно удрать, потому что смерть посредством аутодафе не входила в программу нашего турне. Однако спастись можно было лишь через узкую дверь, где в антрактах продавали маринованную рыбу.

— Да, здесь совсем не безопасно, — согласился профессор, вокруг которого то и дело с шипением вспыхивали спички. — Если пламя от костра, разложенного на сцене, перекинется на занавес или ты заметишь, что загорелась спичечная балюстрада галерки, я вышибу ногой заднюю стенку буфета, и мы пойдем домой.

С этих утешительных слов началась драма. Зеленый занавес упал сверху на сцену, и его

тут же унесли. Бал открыли три джентльмена и леди, которые повели беседу голосами, тон которых напоминал не то бормотание, не то шопот фальцетом. Если хотите знать, как они были одеты, рассмотрите первый попавшийся под руку японский веер. В обыденной жизни японцы — самые обыкновенные мужчины и женщины, но на сцене, разодетые в негнушащее парчовое платье, они до последнего штриха похожи на японцев с картинок. Когда вся четверка уселась на пол, появился маленький мальчик, который, бегая от одного актера к другому, стал оправлять их драпировку, там бант оби, здесь складку подола. Костюмы были «живописны» до такой степени, до какой непонятен сюжет пьесы. Давайте-ка назовем ее «История Кота Громовержца», или «Мешок с костями Арлекина и изумительная старуха», или «Громадная редиска», или «Невоздержанный барсук и качающиеся фонарики».

Мужчина, вооруженный двумя мечами, одетый в черную и золотую парчу, встал на ноги и принялся имитировать походку малоизвестного актера по имени Генри Ирвинг*. Не сообразив, что ничего смешного тут нет, я хихикнул вслух, и полицейский сурово взглянул на меня. Затем джентльмен с двумя мечами стал домогаться любви леди-картинки, а другие персонажи комментировали его действия на манер греческого хора, пока нечто (возможно, смешенное ударение в каком-нибудь слове) не вызвало скандала и джентльмен с двумя мечами и какая-то ярко-красная фигура под звуки оркестра (одной гитары и чего-то шелкающего, но не кастаньет) насладились битвой в духе Винсента Краммла*. Когда мужчины навоевались, мальчик унес оружие, но, решив, что пьеса нуждается в дополнительном освещении, притащил десятифтовую бамбуковую палку с горящей свечой на конце и стал держать это приспособление в каком-то футе от лица джентльмена с двумя мечами. При этом он следил за каждым его движением с беспокойством ребенка, которому доверили пишущую машинку. Затем леди-картинка соблаговолила ответить на ухаживания человека с двумя мечами и с жутким воплем превратилась в омерзительную старуху (мальчик унес ее волосы, остальное она проделала сама). В этот ужасный миг позолоченный Кот Громовержец (он появился из облака) пронесся на проволоке от колосников* до центра галерки,



а мальчишка с хвостом барсука стал насмеяться над мужчиной с двумя мечами. Затем я догадался, что последний оскорбил Кота и Барсука и ему крепко достанется, потому что по сей день эти животные и лиса считаются злыми волшебниками. Последовали страшные вещи, каждые пять минут менялись декорации. Самый сильный эффект был достигнут двумя рядами свечей, которые раскачивались из стороны в сторону. Они были подвешены на бечевке позади экрана из зеленого газа, в глубине сцены. Помимо того что свечи великолепно создавали атмосферу

жуткой таинственности, их колебание вызвало приступ морской болезни у одного из сидевших в зале. Однако человеку с двумя мечами пришлось ту же, чем тому зрителю. Злобный Кот Громовержец напустил на человека с двумя мечами такие чары, что я даже не пытался разобраться, кем тот прикидывается. Сначала он был широколицым, вульгарным и комическим Королем крыс, которому содействовали другие крысы, и он, словно в пантомиме, с уморительными жестами поедал волшебную редиску, пока снова не превратился в человека. Затем

унесли все его кости (благодаря тому же Коту-Грому), и он повалился на пол безобразной кучей, которую освещал свечой маленький мальчик. Джентльмен никак не мог прийти в себя, пока кто-то не поговорил с магическим попугаем, а огромный волосатый злодей и несколько кули не перешагнули через него. Затем он стал девушкой, однако, спрятавшись за зонтиком, снова обрел свои формы. После этого дали занавес, публика пришла в движение и даже вылезла на сцену. Какому-то мальчугану пришло в голову, что он должен через всю сцену пройти на руках. Никто не обращал на него внимания. Он с серьезным видом принялся за дело, но упал на бок, дрыгнув в воздухе пухлыми ножками. Это словно никого не касалось, и вежливый народ на галерке никак не мог понять, почему мы с профессором изнемогали от смеха, когда ребенок, вооружившись колодкой вместо меча, начал копировать повадки джентльмена с двумя мечами. Актеры переодевались при публике, и каждый желающий помогал менять декорации. Почему бы ребенку не позавалиться?!

Вскоре мы покинули театр. Кот Громовержец все еще навязывал злую волю человеку с двумя мечами, однако в конце концов, наверное, все кончилось благополучно. Многие еще должно было случиться на сцене, но справедливость все равно восторжествует. Это подтвердил человек, который продавал маринированную рыбу и билеты.

— Хорошая школа для молодых актеров, — сказал профессор. — Вот во что естественно выливается несдерживаемая оригинальность. Здесь прослеживаются все приемы английского сценического искусства — сильно утрированные, но вполне узнаваемые. Как ты собираешься описать это?

— Японской комической опере будущего еще предстоит быть написанной, — ответил я напыщенно. — Предстоит, несмотря на «Микадо». Барсук еще не появлялся на английской сцене, а актерская маска в наших признанных пьесах вообще никогда не применялась. Попробуй представить себе шутивно-серьезную оперу под названием «Кот Громовержец»! Начнем с домашнего кота, наделенного колдовскими чарами, проживающего в доме лондонского купца, который торгует чаем и лупит его. Учитывая...

— Поздний час, — ледяным голосом заметил профессор, — завтра мы отправимся «писать

оперы» в храме, что стоит по соседству с театром.

Следующий день принес мелкий морозящий дождь. Кстати сказать, солнце не показывается четвертую неделю. Нас проводили, вероятно, в самый главный храм Кобе, но я не запомнил его названия. Испытываешь раздражение перед алтарем незнакомого вероисповедания, когда ничего не знаешь о нем. Обряды и обычаи индуизма, должно быть, всем хорошо известны: вы читали о них и, наверное, присутствовали при церемониях. Что за молитвы обращаются к Будде в этих краях, в чем сущность обрядов, совершающихся перед святынями синтоизма? Книжки говорят об одном, глаза видят другое.

Храм, по всей видимости, является и монастырем — местом уединения и покоя, нарушаемого лишь лепетанием ребятишек. Он скрывался за крепкой стеной в стороне от дороги — беспорядочное нагромождение крутых, фантастически изогнутых крыш. Там, где крыши были тростниковыми и тростник словно «дозрел» от времени, они имели цвет позеленевшей меди, там, где кровлей служила черепица, отсвечивали серым. Под этими навесами человек, уверовавший в своего бога и вдохновленный этой верой, будто врезал в древесную плоть свое сердце — и дерево расцвело чудными узорами, завилось словно ожившими языками пламени.

На окраине Лахора раскинулся монастырь с лабиринтом надгробий и аллей. Место это зовется Chajju Bhagat's Chubara. Никто не знает, когда создано все это и когда разрушится. Храм в Кобе был велик и сверкал безукоризненной чистотой внутри и снаружи, но мир и покой, царившие в нем, напоминали безмолвие тех храмовых дворов в далеком Пенджабе. По углам монахи развели сады (сорок футов в длину, двадцать в ширину), и каждый из них, будучи непохожим на «соседа», имел небольшой водоем с золотой рыбкой, один-два каменных фонаря, холмик из камней, каменные плиты, испещренные надписями, цветущее вишневое или персиковое дерево.

Дорожки, мощенные камнем, пересекали двор, соединяя здания. За внутренней оградой, где был разбит самый прекрасный сад, хранилась золотая дощечка высотой десять-двенадцать футов, против которой в горельефном чеканном исполнении стояла бронзовая фигура богини в одеянии, ниспадающем

свободными складками. Пространство между дорожками посыпали белоснежной галькой и поверх чего-то красного белыми же камешками выложили на земле слова: «Как счастливы!» Решайте сами, что это — вопль отчаяния или вздох умиротворения?

В храме, куда можно было попасть лишь по деревянному мосту, стоял полумрак, но все же было достаточно света, чтобы разглядеть поблекшее золотисто-коричневое чудо шелков и расписных ширм. Если вам доводилось видеть буддийский алтарь, где «магистр юридических наук» восседает среди золотых колокольчиков, старинных изделий из бронзы, цветов в вазах и тканых стягов, то вы поймете, почему романо-католическая церковь однажды процветала в этой стране * и будет процветать всюду, где изысканные религиозные ритуалы существовали до ее пришествия. Народ, который любит искусство, получит бога, которого необходимо ублажать изящными безделушками. Это так же верно, как и то, что раса, вскормленная среди скал, пустынных зарослей вереска и мятущихся облаков, станет восхвалять свое божество в шторм, сделав его суровым получателем жертвоприношений бунтующего человеческого духа. Помните историю Дурного народа Икике? Человек, который рассказал ее, поведал и другую — о Добром народе из других мест. Те тоже были нагими южноамериканцами и молились собственному божеству в присутствии небритого отца иезуита. В критический момент кто-то забыл ритуал, а возможно, обезьяна вторглась в лесное святилище и украла единственное одеяние жреца. Так или иначе, случилось нечто нелепое, а Добрые люди разразились смехом и прервали службу, предавшись играм.

«Но что скажет на это ваш бог?» — спросил отец иезуит, шокированный таким легкомыслием. «О, ему все известно заранее. Он знал, что мы кое-что позабудем или перепутаем и не сможем продолжать службу. Но он очень мудр и силен», — последовал ответ. «Это не оправдание». — «А зачем оправдываться? В таких случаях наш бог попросту откидывается назад и заливается смехом», — сказали Добрые люди и принялись хлестать друг друга цветами.

Я не помню, в чем соль этого анекдота. Однако вернемся к храму. Вот посреди пестрого великолепия выстроились хорошо

знакомые фигуры с золотыми коронами на головах. Встретиться с Кришной *, похитителем масла, и воинственной, побивающей мужей Кали * на окраине Востока, в Японии, — полнейшая неожиданность.

— Кто они?

— Это другие боги, — ответил молодой жрец, который злорадно хихикал всякий раз, когда к нему обращались с вопросом, касающимся его собственной веры. — Очень старые. Когда-то их привезли из Индии. Думаю, что это индийские боги, но не знаю, для чего они здесь.

Презираю людей, стыдящихся собственной веры. С фигурами определенно была связана какая-то история, но жрец не рассказал ее. Я неодобрительно фыркнул и дальше пошел наугад один. Дорожка привела меня в монастырь, сооруженный из тончайших ширм, полированных полов и коричневых деревянных потолков. Кроме шарканья ног, вокруг не раздавалось ни звука, потом за одной из ширм послышалось чье-то прерывистое дыхание. Сначала ширма показалась глухой стеной, но возникший рядом жрец отодвинул ее, и мы увидели дряхлого монаха, дремавшего над жаровней для согревания рук.

На эту картину стоило взглянуть: монах в оливково-зеленом одеянии (облысевшая голова — чистое серебро) склонился перед скользящей ширмой из белой промасленной бумаги, которая светилась холодным серебристым светом. По правую руку от него стоял обшарпанный черный лакированный столик с индийской тушью и кисточками (монах делал вид, что работает), еще правее — бледно-желтый бамбуковый столик с вазой оливково-зеленой глазури, из которой торчала почти черная ветка сосны. В помещении отсутствовали цветы. Монах был слишком стар. Печальную картину скрашивала небольшая пестрая (золотая и красная) буддийская святыня, стоявшая в глубине.

— Он каждый день расписывает все ту же маленькую ширму, — пояснил молодой жрец, показав рукой на старика, а потом на небольшой чистый лист на стене. Тот жалко рассмеялся, потер голову и вручил свой «урок».

Картина изображала наводнение в скалистой местности: двое мужчин в лодке спасали двух других, сидевших на полузатопленном дереве. Даже мне стало ясно, что творческие силы оставили старика. Наверное, он хорошо

рисовал в зрелом возрасте: одна из фигур в лодке, перегнувшаяся через борт, была исполнена движения, остальное выглядело размытым — линии разбегались в беспорядке, когда трясушаяся рука блуждала над листом бумаги.

Я не успел пожелать художнику приятной старости и легкой смерти в этой тиши, потому что молодой человек потащил меня дальше, в глубину храма, и показал алтарь поменьше, который стоял напротив стеллажей, заставленных небольшими золотыми или лакированными таблицами с японскими иероглифами.

Это поминальные свитки, — снова хихикнул провожатый. — Жрец молится здесь... за тех, кто умер. Вы понимаете?

— Конечно. В тех краях, откуда я родом, это называется заупокойной мессой. Пожалуй, пойду: хочется кое над чем поразмыслить. Нехорошо смеяться над тайнствами собственной веры.

— Ха-ха, ха, — ответил юноша, а я убежал от него темными переходами, составленными из выцветших ширм, и очутился на главном дворе, который выходил на улицу. В это время профессор пытался вставить в объектив фотоаппарата фасад храма.

Мимо нас проследовала процессия, топчущая грязь (четверо в ряд). Как ни странно, никто не смеялся. Я увидел женщин, одетых в белое и шедших впереди небольшого деревянного паланкина; его несли четверо мужчин. Паланкин казался подозрительно легким. Слышалось тихое заунывное пение, какое я уже однажды слышал на индийском севере из уст туземца, которого задрал медведь (раненого несли друзья, надежды увидеть не было, и он пел свою смертную песнь).

— Умилал, — объяснил мой рикша. — Поколони.

Я и сам догадался об этом. Мужчины, женщины, дети потоком лились по улице и, когда песня смерти замирала, подхватывали ее. Соболезнующие лишь набросили кусок белой ткани на плечи. Ближайшие родственники покойного были одеты в белое с головы до пят. «Ахо! Аха-а! Ахо!» — едва слышно скулили они, словно не решаясь заглушить шелест падающего дождя. Затем процессия скрылась из виду. Лишь отставшая старуха продолжала идти в одиночестве. «Ахо! Аха-а! Ахо!» — монотонно напевала она, словно для самой себя.

*Глава
тринадцатая*

объясняет, как меня отвезли под дождем в Венецию; как я вскарабкался на форт Дьявола; рассказывает о выставке скобяных изделий и бане; о девушке и незапертой двери; о земледельце и его полях; о производстве этнографических теорий в мчащемся поезде; заканчивается в Киото

Овечья голова полна тонких путаных мыслей о корме.

Кристофер Норт

— Поедем в Осаку, — сказал профессор.

— Зачем? Мне и здесь хорошо. На тиффин нам подадут котлеты из омара; кроме того, идет сильный дождь, и мы промокнем насквозь.

Совершенно вопреки моей воле (так как я намеревался «стряпать» статьи о Японии по путеводителю, одновременно наслаждаясь кухней «Ориенталья» в Кобе) меня втиснули в джинриксшу и доставили на железнодорожную станцию. Даже японцам, как они ни стараются, не удается навести полный порядок на станциях. Система регистрации багажа заимствована в Америке, узкая колея, паровики и вагоны — в Англии; расписание поездов регулируется с галльской точностью, а мундиры обслуживающего персонала извлечены из мешка старьевщика.

Пассажиры выглядели очень мило: значительная часть напоминала видоизмененных европейцев, другая походила на Белого Кролика Теннила* на первой странице «Алисы в стране чудес». Все были одеты в опрятные твидовые костюмчики и желтовато-бурые пальтишки, держали в руках женские ридикюли из черной кожи с никелированными накладками, имели бумажные или целлулоидные воротнички не более тридцати дюймов в окружности; размер же обуви не превышал четвертого номера. Они натянули на руки (точнее, ручонки) белые нитяные перчатки и курили сигареты, извлекая их из сказочно крохотных портсигаров. Это была молодая Япония — Япония сегодняшнего дня.

— Ва-ва, велик Господь, — сказал профессор. — Однако они носят европейское платье с таким видом, будто оно принадлежит им по праву. Это противно природе людей, которые согласно инстинкту привыкли возлежать на мягких циновках. Ты заметил, что последнее, к чему они привыкают, так это к обуви?

В тот миг к платформе подкатил локомотив, окрашенный в ляпис-лазурь, с прицепленным к нему, вероятно по недоразумению, товарно-пассажирским составом. Мы вошли в английское купе первого класса. Здесь не было дурацкой двойной крыши, оконных штор или бесполезного крыльчатого вентилятора. Это был самый обыкновенный вагон, который можно увидеть в Лондоне на Юго-Западной.

Осака расположен в вершине залива того же названия примерно в восемнадцати милях от Кобе. Поезду не разрешается двигаться быстрее пятнадцати миль в час и полагается встывать постоять на всех станциях. Полотно железной дороги стиснуто здесь между горами и морем, и поэтому напор вод, стекающих по склонам, намного сильнее, чем у нас между Сахарангуром и Умбаллой. Реки и овражные потоки необузданны. Их следовало бы огрadyть дамбами, кое-где перебросить мосты или (может быть, я не прав) пустить по трубам

Станционные здания крыты черной черепицей, у них красные стены, полы залиты цементом, а все оборудование — начиная от семафоров и кончая товарными платформами — английское. Официальный цвет мостов желто-бурый, как у лепестков увядшей хризантемы. Форменное обмундирование контролеров — фуражка с золотыми позументами, черный длиннополый сюртук с медными пуговицами, брюки с черным шерстяным кантом и ботинки из козлиной кожи на пуговицах. Грубить человеку в таком одеянии уже нельзя.

Ландшафт, открывшийся из окна вагона, заставил нас разинуть рты от удивления. Вообразите черную, плодородную, обильно удобренную почву, возделанную исключительно лопатами или мотыгами. Если эту землю (оказавшуюся в вашем поле зрения) поделить на участки в пол-акра, то вы получите представление об «основе», над которой корпит земледелец. Однако все, о чем я пишу, не дает представления о той безудержной опрятности, которая царствует на этих полях, о хитроумной системе ирригации и

математически упорядоченной посадке культур. Посевы не смешиваются между собой, тропинки почти не отнимают полезной площади, и, по-видимому, разницы в плодородии участков не существует. Вода для полива есть повсюду, причем не глубже десяти футов под землей. Об этом свидетельствуют многочисленные колодцы с журавлями. На склонах предгорий каждый подъем террас аккуратно обложен камнями, скрепленными без капли извести; оросительные каналы отделаны так же. Молодые побеги риса рассажены на каждом участке словно шапки на доске; полосы горчицы разделяются бороздками, похожими на деревянные корытца, полные водой; пурпур бобов граничит с желтизной горчицы по идеальным прямым, словно прочерченным по линейке.

По берегу моря тянулись сплошные городские постройки, высились фабричные трубы. В глубь же побережья, словно зеленое с золотистым отливом стеганое одеяло, расстилась равнина. Даже в дождь вид был превосходным и именно таким, каким я его представлял по японским гравюрам. Только один недостаток почти одновременно нашли мы с профессором: полновесный урожай дорого обходится земледельцу.

— Холера? — спросил я, наблюдая за непрерывным рядом колодезных журавлей.

— Холера, — откликнулся профессор. — Должно быть, так. Ведь они орошают поля сточными водами.

Я тут же почувствовал, что мы с японским земледельцем друзья. Джентльмены в широкополых шляпах, одетые в голубое, возделывающие поля вручную (за исключением тех случаев, когда берут займы вола, чтобы пройти лемехом плуга трясину рисового поля), были знакомы с этой бедой-холерой.

— Какой доход снимает правительство с этих огородов? — поинтересовался я.

— К черту! — ответил спокойно профессор. — Надеюсь, ты не собираешься описывать правила землепользования в Японии. Лучше обрати внимание на горчицу!

Она раскинулась полосами по обе стороны от железнодорожного полотна. Желтые гряды убежали вверх по склону холма, достигая темневших на бровке сосен. Желтизна буйствовала над бурными песчаными барами вздувшихся речонок и миля за милей, выцветая, стелилась до берега свинцового моря. Дома с остроконечными крышами, крытые

бурой соломой, стояли по колено в горчице; она осаждала фабричные трубы Осаки.

— Великий город Осака, — сказал гид. — Здесь различные фабрики.

Осака стоит на (над, между) тысяче восьмистах девяноста четырех каналах, реках, дамбах и канавах. Я не знаю точно, каким фабрикам принадлежат многочисленные трубы. Они имеют какое-то отношение и к рису, и к хлопку, однако японцам вредно увлекаться торговлей, и я не рискую назвать Осаку «великим коммерческим enterpot» *. Как гласит пословица, «Торговля не для людей из бумажных домиков».

Только один отель в городе отвечает разнообразным запросам англичанина — это «Джунтерс». Две цивилизации приходят там в столкновение. Результат ужасает. Здание — целиком японское: дерево, черепица, повсюду ширмы. Однако предметы обстановки смешанные. Например, таэкнома моей комнаты была из полированного черного пальмового дерева, а свиток с изображением аистов обрамляла изящная столярная работа. Однако на полу поверх белых циновок красовался брюссельский ковер, вызывающий зуд возмущения в подошвах. Веранда нависала над прямой как стрела рекой, протекающей между двумя рядами домов. В Японии достаточно умельцев краснодеревщиков, которые искусно вправляют реки в обрамление городов. С веранды просматривались три моста (один из них — отвратительное ажурное сооружение из стальных ферм) и частично — четвертый. Мы жили на острове и располагали причалом, так что могли, если захотим, воспользоваться лодкой.

Аргорос воды будьте любезны выслушать шокирующую историю. Во всех книгах написано, что японцы хотя и славятся чистоплотностью, но иногда ведут себя фривольно. Они часто принимают ванну нагишом и вместе. Я подтверждаю это на основании собственного опыта, то есть привожу наблюдение человека, побывавшего на Востоке. Я сам сделал из себя посмешище. Мне захотелось принять ванну, и вот малюсенький человечек повел меня вверх и вниз по верандам в украшенную тонкой столярной работой баню, где было с избытком холодной и горячей воды. Баня помещалась на уединенной галерее. Совершенно естественно, к двери не полагалось запора, словно она вела в обеденный зал. Если бы меня защищали стены большой европейской

бани, я находился бы в полной безопасности, но тут стоило мне приступить к омовению, как приоткрылась дверь и вошла прелестная девушка, показав знаками, что она тоже будет мыться в глубокой, вделанной в пол ванне рядом со мной. Когда человек одет в собственное целомудрие и пару очков, ему неловко захлопнуть дверь перед девушкой. Она догадалась, что я чувствую себя не в своей тарелке, и, хихикнув, удалилась, а я, густо покраснев, поблагодарил небо зато, что был воспитан в обществе, запрещающем мыться а deux *. В данном случае мне пригодился бы даже опыт Паддингтонских плавательных бассейнов *, но я прибыл непосредственно из Индии, и поэтому страх леди Годивы *, ехавшей по городу обнаженной, показался мне пустяком по сравнению с испугом, который я испытал перед этим Актеоном *.

Как и положено в период муссонов, лил дождь. Профессор обнаружил замок, который ему непременно хотелось осмотреть.

— Это замок Осака, — сказал он, — за обладание им сражались столетиями. Пойдем.

— Я видел замки в Индии: Райгхур, Джодпур и другие. Давай-ка лучше отведаем еще немного вареного лосося. Он очень вкусен здесь.

— Свинья, — сказал профессор.

Нить нашего путешествия вилась по четырем тысячам пятидесяти двум каналам, где ребятишки играли с быстрой водой (и ни одна мать не скажет им «нельзя»), пока рикша не остановился у рва тридцать футов глубиной, который окружал форт, облицованный гигантскими гранитными плитами. На противоположном берегу вздымались стены. Но какие стены! Их высота достигала пятидесяти футов, и меж блоками не было ни крупинки извести. Поверхность стен была изогнута на манер корабельного тарана.

Эта кривая известна и строителям Китая, а французские художники изображали ее в книгах, где описывается город, осажденный дьяволом в преисподней. Возможно, она хорошо всем знакома, но это меня не касается. Как я уже сказал, эта жизнь то и дело подносит мне сюрпризы. Итак, камень был гранитом, а люди древности обращались с ним как с глиной. Облицовочные блоки, которые придавали нужный профиль поверхности, достигали двадцати футов в длину, десяти или двенадцати в высоту и столько же в

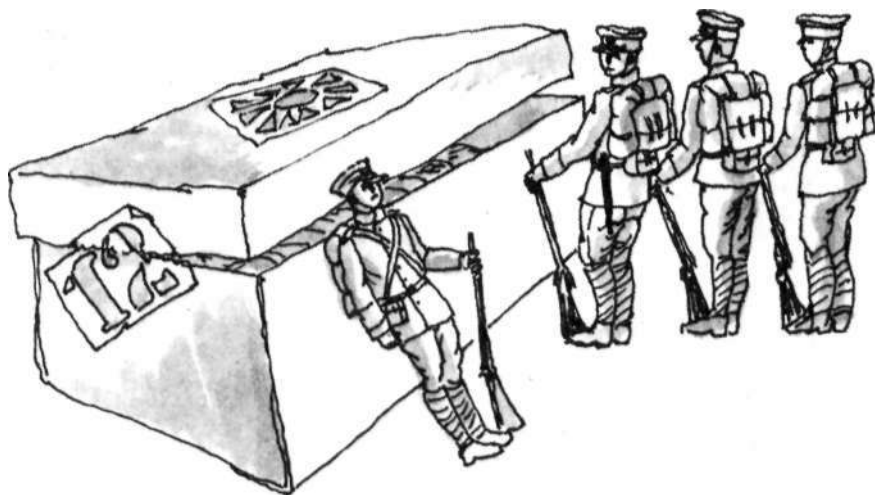
толщину, причем стыковка их, несмотря на отсутствие раствора, была безупречной.

— И это соорудили низкорослые японцы! — воскликнул я, пораженный величием камней, вздымавшихся вокруг.

— Кладка циклопов, — проворчал профессор, потрогав стеклом монолит в семнадцать кубических футов. — Они не только возвели все это, но и взяли приступом. Посмотри-ка сюда — огонь!

Местами камни были расколоты и словно бронзированы — раны нанес огонь. Должно быть, чертовски трудно пришлось армиям, осаждавшим эти чудовищные стены. Мне знакомы индийские замки — укрепления великих императоров, но ни Акбар * на севере, ни Синдия на юге не строили в подобной манере — без орнамента, без красок, с единственной целью добиться неприступности и чистоты линий. Возможно, при солнечном освещении форт не выглядит таким устрашающим. Серая, словно свинцовая, атмосфера соответствовала духу крепости. Казармы гарнизона, изысканный домик коменданта, персиковый сад и пара оленей не гармонировали с сооружением в целом. Его следовало бы заселить горными гигантами вместо гурок! * Японец-пехотинец далеко не гурка, хотя и похож на него, когда стоит смирно. Часовой у караульного помещения служил, как я полагаю, в четвертом полку. На нем был черный или темно-синий мундир с красными кантами и матерчатые погоны с номером. Шинель была надета, конечно, из-за дождя, но для

чего понадобилось ему навешивать на себя ранец, одеяло, ботинки, бинокль — этого я не мог постичь. Ранец был из коровьей кожи со следами шерсти, сапоги заменялись подошвами, прикрученными к ногам ремнями, а грубое деревенское одеяло, свернутое буквой U поверх ранца, плотно прилегло к спине. То место, где обычно подвешивается котелок, занимал черный кожаный футляр, напоминавший по форме полевой бинокль. Может быть, я ошибаюсь, но говорю то, что видел. Ружье незнакомо было с откидным затвором, а штык (непривычный палаш) крепился к дулу по английскому образцу. Насколько я мог угадать, подсумки были подвешены под шинелью на ремне спереди и на наплечных ремнях. Белые гетры (очень грязные) и фуражка дополняли экипировку. Я разглядывал часового с большим интересом и с удовольствием продолжил бы осмотр, если бы не испугался широкого штыка. Оружие содержалось в неплохом состоянии (но никак не в безупречном), однако выправка солдата заставила бы английского полковника разразиться бранью. Ни одна часть туловища часового, за исключением шеи, не подходила под мундир. Я заглянул в караульную. Веера и изящная чайная посуда не вяжутся с нашим представлением о казарме. Любой пьяница нарушитель дисциплины одного из наших отдаленных полков, которые я мог бы назвать, не только навел бы порядок в этом караульном помещении, но и вынес бы из него все, за исключением ружейной пирамиды.



Тем не менее этот потенциальный погребальный костер (займись бастионы форта ужасным пламенем), который мог бы послужить караульной самого ада, охраняли крошечные обходительные люди, которые никогда не напивались.

Я забрался на вершину форта и наслаждался панорамой местности (в основном бледно-желтый тон горчицы и зелено-голубой — сосен), уходящей на тридцать миль к горизонту, и очень большого города Осаки, окраины которого терялись в тумане. Гид находил особое удовольствие в трубах. «Здесь выставка промышленности. Идите посмотреть», — сказал он и, спустив нас в высот форта, показал гордость этой земли: штопоры, оловянные кружки, мутовки, черпаки, шелка, пуговицы и прочую дрянь, которую пришивают к куску картона и сбывают за пять пенсов и три фартинга. К несчастью, японцы изготавливают все это для себя, чем очень гордятся. Им нечему учиться у Запада во всем, что касается отделки изделий. Они интуитивно догадываются, как с большим вкусом оформить и упаковать вещь. Выставка размещалась в четырех просторных сараях, стоящих вокруг центрального здания, где были экспонированы ширмы, гончарные и столярные изделия, ради такого случая взятые где-то напрокат. Я с удовольствием отметил, что люди попроще не интересовались перочинными ножичками, карандашами и фальшивыми драгоценностями. Они оставляли сарай в покое и шли рассматривать ширмы, не забывая снимать колодки, чтобы не причинить вреда инкрустированным полам. Из большого количества изящных экспонатов мне запомнились только два: ширма в серых тонах с изображением голов шести дьяволов, исполненных злобы и ненависти; монохромный рельефный рисунок — дровосек, который сражался с согнутой ветвью дерева. Прошло двести лет, с тех пор как художник отбросил в сторону карандаш, но по-прежнему ощущалось сотрясение прочного дерева под ударами топора, слышалось прерывистое дыхание старика дровосека, который трудится в поте лица. Легро* написана картина, где изображен нищий, умирающий в канаве. Идею картины могла бы навеять эта ширма.

На следующее утро после ночного дождя, который заставил реку мчаться под хрупким балконом со скоростью восьми миль в час, солнце прорвалось сквозь тучи. Имеет ли это

значение для вас, привыкших рассчитывать на него ежедневно? Я не видел солнца с марта и начал беспокоиться. Затем земля, покрытая цветущими персиковыми деревьями, широко расправила свои волочащиеся по грязи крылья и возликовала. Все прелестные девушки надели самые нарядные креповые оби (желтовато-коричневые, голубые, оранжевые и лиловые), а малыши подхватили на руки по младенцу и весело отправились на прогулку. В цветущем саду храма я сотворил чудо Девкалиона*. Я проделал это с помощью сластей на два цента. В мгновение ока ребятишки зароились вокруг, но я побоялся всполошить матерей и не осмелился предложить детям больше. Они (числом под сорок) мило улыбались, кивали головками и семенили вослед; старшие помогали младшим, а те скакали по лужам. Японский ребенок не плачет, не дерется, не лепит куличей из грязи, если только не живет на берегу канала. И все же, для того чтобы он не распустил бант своего оби, раньше времени превратившись в лысого ангелочка, провидение приказало ему никогда не шмыгать носом. Несмотря на этот недостаток, я люблю его.

В тот день в Осаке не занимались делами из-за обилия солнечного света и распустившихся на деревьях почек. Все вместе с друзьями отправились в чайные домики. Я тоже пошел, но сначала пробежался вдоль реки по бульвару, делая вид, что осматриваю Монетный двор. Это банальное гранитное здание, где выпускают доллары и подобный хлам. Вишневые, персиковые, сливовые деревья (розовые, белые, красные) сплетались ветвями, словно образуя бесконечный бархатный пояс вдоль бульвара. Плакучие ивы обрамляли воды. И это пиршество цветов было всего лишь небольшой долей щедрот весны. На Монетном дворе могут чеканить до ста тысяч долларов в сутки, но все серебро, которое хранится там, не заставит повториться те три недели, когда цветут персиковые деревья, а их цветение помимо хризантем — гордость и слава Японии. За какие-то исключительные заслуги в прошлом мне повезло угодить в самую середину этих дней.

«Сегодня праздник цветения вишни, — сказал гид. — Все люди будут праздновать, молиться и пойдут в чайные и сады».

Можно окружить англичанина цветущими вишнями со всех сторон, и уже через сутки он начнет жаловаться на запах. Как известно,



японцы устраивают многочисленные празднества в честь цветов, и это, конечно, похвально, потому что цветы — наиболее приемлемые из богов.

Чайные домики наполнили меня радостью, которую я не сумел осмыслить до конца. Любая компания в Осаке получает прибыль от сооружения девятиэтажной пагоды из дерева и железа на окраине города. Вокруг разбивают изысканный сад, развешивают гирлянды кроваво-красных фонариков, потому что японец обязательно придет туда, где можно полюбоваться красивым пейзажем, посидеть

на циновке, обсуждая качество чая, сладостей и сакэ. По правде говоря, Эйфелева башня, где мы обосновались, не блещет красотой, однако ландшафт искупает ее грехи. Хотя строительство башни еще не завершилось, нижние этажи были забиты столиками и ценителями чая. Мужчины и женщины действительно любовались пейзажем. Приходится изумляться, наблюдая жителя Востока за таким занятием. Кажется, будто он украл что-то у саиба.

Из Осаки (изрезанного каналами, грязного, но обворожительного Осаки) профессор,

гид — мистер Ямагучи — и я отправились поездом в Киото. Это час езды от Осаки. По дороге заметил четырех буйволов, тащивших такое же количество плугов. Это бросалось в глаза и поражало расточительностью. Дело в том, что отдыхающий буйвол занимает своим телом половину японского поля... но, может быть, буйволов содержат выше, в горах, и сводят вниз только при необходимости. Профессор говорит, что животное, которое я называю буйволом, на самом деле вол. Самое неприятное в путешествии с приятелем, обожающим точность, — это его точность. В поезде мы спорили о японцах, об их настоящем и будущем, о тех способах, с помощью которых они нашли себе место среди больших наций.

— Страдают ли их самолюбие от того, что они носят нашу одежду? Не противится ли японец, когда впервые надевает брюки? Вернется ли к нему однажды благоразумие и не бросит ли он иноземные привычки? — вот те немногие вопросы, которые я обращал к окружающему пейзажу и профессору.

— Он был младенцем, — ответил последний, — большим ребенком. Думаю, что в

основе перемен лежит его чувство юмора, но он не предполагал, что нация, которая хоть однажды надела брюки, никогда уже не снимет их. Сейчас ты видишь «просвещенную» Японию. Ей исполнился двадцать один год, а в этом возрасте люди не отличаются мудростью. Почитай «Японию» Рида — тогда узнаешь, как наступили перемены. Были микадо и сегун * — сэр Фредерик Робертс, но тот попытался стать вице-королем и...

— Оставь в покое сегуна! Похоже, я уже познакомился с классом бабу * и классом крестьян. Что хотелось бы увидеть, так это раджпутов * — людей, которые носили те тысячи мечей из антикварных лавок. Ведь эти мечи изготовлены с той же целью, что и сабли раджпутов. Где те люди, которые носили их? Покажи мне самурая.

Профессор не ответил ни слова, а занялся тщательным осмотром голов на платформе.

— Я признаю, что высокий выпуклый лоб, близко посаженные глаза (испанский тип) — это раджпуты, а японец с лицом немца — хатри * — низшая каста.

Так мы судачили о природе и наклонностях людей, о которых ничего не знали, пока не





порешили, что: 1) болезненная вежливость японцев ведет начало от широко распространенной и приметной привычки носить мечи (правда, они забыли о ней лет двадцать назад), подобно тому как житель Раджпутаны* — сама любезность, потому что его друг тоже вооружен; 2) вежливость эта исчезнет в следующем поколении или, по меньшей мере, значительно ослабнет; 3) окультуренный японец английского образца подвергнется коррупции и испортит вкусы соседей; 4) позже Япония прекратит существование как отдельная нация, превратившись в придаток Америки по производству крючков для застегивания

перчаток; 5) но поскольку такое положение дела сложится через две-три сотни лет, нам с профессором повезло: мы побывали в Японии своевременно, и 6) глупо теоретизировать о стране, не изучив ее основательно.

Итак, мы прибыли в город Киото при королевском солнечном освещении. Солнечный жар смягчался бризом, который сметал в сугробы лепестки вишни. Японские города, особенно в южных провинциях, очень похожи друг на друга — темно-серое море крыш, испещренное белыми пятнами стен несгораемых товарных складов, где купцы и богачи держат свои сокровища. Уровень домов нарушается загнутыми по краям крышами храмов, которые отдаленно напоминают широкополые шляпы с двойной тульей. Киото заполняет долину, почти окруженную поросшими лесом сопками, весьма схожими с горами Сивалик*.

Когда-то город был столицей Японии и сегодня насчитывает двести пятьдесят тысяч жителей. Он распланирован на манер американского города: все улицы пересекаются под прямым углом. Кстати сказать, точно так же сходятся наши с профессором мнения — ведь мы изобретаем теорию японского народа и не приходим к согласию.

Глава четырнадцатая

Киото; как я влюбился в первую «красавицу» города после беседы с купцами, торговавшими китайским чаем; глава объясняет далее, как в Великом храме я пятьдесят три раза нарушил десятую заповедь * и преклонялся перед Кано и плотником; затем глава уводит в Арашиму

Мы общаемся с шестьюдесятью саибамичурбанами в любопытнейшем из отелей посреди истинно японского сада на склоне холма, откуда виден весь Киото. Фантастически подстриженные чайные кусты, можжевельник, карликовая сосна, вишня перемежаются с водоемами — прибежищем золотых рыбок, каменными фонарями, странными горками из камней и бархатистыми травяными коврами. Все это располагается на склоне под углом в тридцать пять градусов. Позади отеля стоят красные и черные сосны. Сосняк покрывает склон холма, сбегая длинными языками к городу. Даже изысканными выражениями, взятыми из каталогов аукционистов, невозможно описать очарование этой местности или отдать должное чайной плантации с вишневым садом, что раскинулась на сто ярдов ниже отеля. Нас клятвенно заверили, что, кроме меня и профессора, в Киото никого нет. И конечно, мы встретили здесь всех до единого, кого привез наш пароход еще в Нагасаки. Вот отчего слух то и дело режут голоса, обсуждающие достопримечательности, которые необходимо «сделать». Англичанин-турист — страшный человек, стоит ему «ступить на тропу войны». Таковы же американцы, французы и немцы.

После обеда я наблюдал за игрой солнечных лучей на стволах деревьев, городских постройках, улицах, заполненных вишнями. Я мурлыкал себе под нос, оттого что под этим голубым небом ощущал в себе полноту здоровья и силы, а также оттого, что имел пару глаз и мог видеть все это.

Солнце скрылось за холмами, сильно похолодало, однако люди в креповых оби и шелко-

вых одеяниях не прерывали своего размеренного веселья. На следующий день в главном храме Киото должно было состояться особое богослужение в честь цветения вишни, и все занимались приготовлениями к нему. Когда в небе поблек последний малиновый мазок, я заметил, так сказать напоследок, трех крохотных ребятишек с пушистыми хохолками и огромными оби, которые старались повиснуть головой вниз на бамбуковой изгороди. Это им удалось, и величавое око меркнувшего дня доброжелательно взглянуло на них, прежде чем окончательно смежить веки. Силуэты детей производили потрясающее впечатление!

После обеда в курительном салоне собралась компания купцов, торгующих китайским чаем, — следовательно, зашел интересный деловой разговор. Их беседа не то, что наша, потому что они понятия не имели ни о чайных плантациях, ни о сушке чая, ни о скручивании листа, ни о приказчике, который сбивается с ног в разгар удачного сезона, и тем более им не было дела до болезней, которые косят кули примерно в то же самое время. Эти счастливицы занимаются лишь огромными, в тысячи ящиков, партиями чая, прибывающими из глубины страны. Потом они забавляются с ними на лондонском рынке, но тем не менее уважают индийский чай, несмотря на то что ненавидят его всем сердцем.

Вот какие слова бросил мне через стол видный перекупщик из Фушу:

— Можете твердить о своем чае сколько угодно — «Ассам», «Кангра» или как вы его там называете, но предупреждаю вас, сэр, если ему удастся закрепиться в Англии, восстанут все доктора — его немедленно запретят. Увидите сами. Он расшатывает нервы. Ваш чай не пригоден для потребления, вот что. Не отрицаю, что он неплохо идет, но скверно сохраняется. Чай, который достиг Лондона, через три месяца превращается в обыкновенное сено.

— Думаю, что тут вы ошибаетесь, — вставил человек из Ханькоу. — По моим наблюдениям индийский чай сохраняется намного лучше нашего, но... — Он повернулся ко мне: — Если бы мы могли заставить китайское правительство снять пошлину, то уничтожили бы индийский чай и всех, кто с ним связан. Мы могли бы «заложить» чай в долине Миньцзян, по три пенса за фунт. Нет, мы ничего не подмешиваем. Это один из ваших трюков в

Индии. Наш чай абсолютно без примесей. Каждый ящик в партии соответствует образцу.

— Вы хотите сказать, что можете положить-ся на туземного перекупщика? — прервал я.

— Положиться? Конечно, — вставил купец из Фушу. — В Китае нет чайных плантаций в том виде, в каком вы их представляете. Здесь чай выращивают крестьяне, и каждый сезон перекупщики приобретают его за наличные. Китайцу можно доверить сто тысяч долларов, попросив превратить их в чай какой угодно нарезки, до полного соответствия образцу. Конечно, сам перекупщик может быть отъявленным жуликом, но он знает, что лучше не валять дурака с английским торговым домом. И вот поступает чай, скажем тысяча полу-ящиков. Открываешь пяток, остальное отправляешь домой без проверки: вся партия соответствует образцу. Таков тут бизнес. Китаец — природный делец и не размазня. Приятно иметь с ним дело. От японца нет прока. Он не тот, кому можно доверить сто тысяч. Весьма вероятно, что он улизнет с ними или хотя бы попытается сделать это.

— Японец не отличается сообразительностью в деле. Бог свидетель, я ненавижу китайца, — прогудел чей-то бас из густого облака табачного дыма, — но с ним можно делать деньги. Японец — мелкий маклер, который не видит дальше своего носа.

Мои собеседники заказали спиртного и продолжали рассказывать сказки о деньгах, мешках и ящиках, но через все истории скрытой нитью проходило одно интересное обстоятельство: они во многом зависели от туземцев, а это, даже с учетом своеобразия Китая, настораживало. «Компрадор* сделал так; Хо Ванг поступил иначе; синдикат пекинских банкиров повернул все по-другому», и так далее. Я гадал, верно ли, что их высокомерное безразличие к некоторым тонкостям дела имело какое-то отношение к внезапным перебоям в поставке китайского чая и неустойчивости его качества. А такое бывает часто, что бы ни говорили эти люди. Опять же купцы рассказывали о Китае как о стране, где сколачиваются капиталы, — о земле, которая только того и ждет, чтобы ее открыли, и тогда она воздаст сторицею. Я узнал, что английское правительство в мягкой, ненавязчивой форме покровительствует частной торговле, чтобы прибрать к рукам контракты департамента общественных ра-

бот, которые сейчас уплывают за границу. Это приятно слышать. Но самым удивительным показались обнадеживающий тон и довольство, которыми дышали речи этих купцов. Они были зажиточны, не жаловались на жизнь. А ведь всем известно, как мы в Индии (стоит нам собраться двоим-троим на нашей бесплодной, нищей земле) начинаем хором стонать, и нет нам утешения. Гражданское лицо, военный или купец — все едино. Один перегружен работой и разорен оплатой по векселям, второй — утонченный попрошайка, третий вообще ничто и вечно критикует, как он считает, негибкое правительство. Между прочим, я всегда знал, что мы в Индии — жалкое сборище желчных людшек, но не понимал меру нашего падения, пока не услышал, как люди говорят о состояниях, успехе, удовольствиях, обеспеченной жизни и частых поездках в Англию, то есть обо всем том, что предоставляет деньги. Похоже, и друзьям этих купцов не приходится умирать с неестественной скоропостижностью, а богатство позволяет спокойно пережить потрясения на бирже. Да, мы в Индии — народ конченный.

Чуть забрезжил рассвет (даже раньше, чем проснулись воробьи в гнездах), как мой целомудренный сон был нарушен каким-то звуком, сильно испугавшим меня. Он напоминал низкое, глухое бормотание. Я слышал такой звук впервые. «Это землетрясение; должно быть, склон холма уже скользит вниз», — решил я, принимая оборонительные меры. Звук повторился снова и снова, и, пока я гадал, не предвестник ли он катастрофы, звук замер, словно оборвавшись на полуслове.

За завтраком мне объяснили:

Это большой колокол Киото по соседству с отелом, чуть выше на холме. Если хотите знать, то, с точки зрения англичанина, колокол этот отлит неудачно. Мощностъ его звука весьма незначительна. Да и звонить они не умеют.

— Я так и думал, — отозвался я бесстрастно и отправился вверх по склону холма, залитого солнечным светом, который наполнял радостью мои глаза, сердце и даже деревья.

Вам знакомо ощущение неподдельной легкости, какое испытываешь первым ясным утром в горах, когда перед отпускником-разгильдяем разворачивается перспектива месячного безделья и аромат гималайских



кедров смешивается с благоуханием «сигары созерцательности». Таково было мое настроение, когда я, ступая по высокой траве, усеянной фиалками, набрел на небольшое заброшенное кладбище (сломанные столбы и покрытые лишайником дощечки), а за кладбищем, в понижении на склоне холма, нашел и сам колокол, представлявший массу позеленевшей бронзы (футов двадцать высотой) и подвешенный под крышей фантастического сарая, сложенного из деревянных брусьев. Кстати сказать, брус в Японии — нечто внушительное. Что-либо менее фута толщиной считается палкой. Когда-то эти брусья составляли лучшую часть древесных стволов, а теперь были окованы железом и бронзой. Легкое прикосновение костяшками пальцев к краю колокола (до земли было не более пяти футов) заставило великана тяжело вздохнуть, а удар стеклом разбудил сотню резких голосов,

эхом отозвавшихся в темноте купола. Сбоку растянутый полдюжиной тонких тросов висел таран — двенадцатифутовое бревно, окованное железом. Торец бревна был нацелен в хризантему, выполненную горельефом на пузе колокола. Затем, по милости providения, которое благоволил лентяям, начали отбивать шестьдесят ударов. Полдюжины мужчин с громкими криками стали раскачивать таран, пока он не разошелся по настоящему, а затем, опустив веревки, позволили ему осыпаться ударами хризантему. Гудение потревоженной бронзы поглощалось земляным полом сарая и склоном холма, поэтому мощность звучания не соответствовала размеру колокола, как это справедливо заметили люди в отеле. Звонарь-англичанин заставил бы его гудеть раза в три сильнее, но тогда пропала бы медлительная вибрация, которая сотрясала сосны и скалы на двадцать ярдов вокруг, пронизывала все тело, вызывая мурашки, и уходила под ногами в землю, словно раскат далекого взрыва. Я выдержал двадцать ударов и удалился, совершенно не обескураженный тем, что принял гудение колокола за землетрясение. С тех пор я часто слышал его отдаленный голос. Он произносит очень низкое «Бр-р-р» где-то в глубине горла, услышав которое однажды никогда уже не забудешь. Вот что мне хотелось сказать о большом колоколе Киото.

Лестница, высеченная в скале, ведет от его домика вниз, к храму Чион-Ин. Я наведался туда в пасхальное воскресенье к началу процессии в честь цветения вишни. В римском соборе, носящем имя святого Петра, примерно в то же время начинается праздничная служба, однако жрецы Будды превзошли священников папы. Вот как это происходило. Ширина главного фасада храма — около трехсот футов, высота — пятьдесят, длина здания — сто. Все это находится под одной крышей, и, за исключением черепицы, построено из дерева. Ничего, кроме твердого, как железо, трехсотлетнего дерева. Столбы, на которых покоится крыша, достигали в диаметре трех, четырех и пяти футов и были совершенно незнакомы с краской. Естественная структура дерева была явственно видна на нижней части колонн, но неразличима во мгле, царившей наверху. Поперечные балки тоже были из дерева. Для этой колоссальной постройки пошли стволы самых богатых оттенков: кедр, камфарное дерево, сердцевин-

на гигантских сосен. Всего один человек (его называют попросту плотником) спроектировал храм целиком, и имя этого архитектора помнят по сей день. Половину храма отгородили от посетителей барьером высотой два фута, на который были наброшены шелка старинной работы. Внутри отгороженной площадки находилась культовая утварь, и я не в состоянии ее описать. Запомнились сплошные ряды лакированных столиков, на каждом лежали свитки со священными письменами. Выделялся алтарь высотой с кафедральный орган, где золото соперничало с красками, краски с лаком, а лак с инкрустациями; огромные свечи, какие святая мать-церковь использует лишь по великим дням, отбрасывали желтый свет, смягчавший все окружающее. Бронзовые курильницы в форме драконов и демонов дымились под сенью шелковых стягов, а за ними, под самую крышу, вздымалась деревянная стена, покрытая ажурной резьбой, изящной, словно морозные узоры на оконном стекле. Казалось, что в храме не было крыши, потому что свет увядал, не достигая чудовищных перекрытий. Если бы не солнечный свет и голубое небо, которые заполняли порталы, где ссорились и кричали дети, мы могли бы считать, что находимся в подземной пещере на глубине ста саженей.

Честное слово, я действительно пытался скрупулезно описать все, что находилось передо мной, но глаза разбегались, а карандаш воспроизводил лишь отрывочные восклицания. Не думаю, чтобы вы смогли сделать большее, если бы увидели то, что открылось моим глазам, когда я обошел веранду храма и проник в помещение, устроенное в глубине и называемое нами ризницей. Это была большая пристройка, соединенная с храмом деревянным мостом, побуревшим от времени. Под мостом настелили дорожку из циновок шафранного цвета, а по этой дорожке медленно и торжественно, как подобает их высокому сану, выступали гуськом пятьдесят три жреца, разодетых по меньшей мере в четыре парчовых, креповых и шелковых одеяния каждый.

То были шелка, которые не видели рыночной площади, и парча, знакомая только с хранилищем храма. Там был шелк расплывчатого цвета морской зелени, расшитый золотыми драконами; терракотовый креп, испещренный хризантемами цвета слоновой кости; черный



полосатый шелк, подернутый желтым пламенем; ляпис-лазуревые шелка с серебряными рыбами; авантюриновые шелка с серозелеными тарелками; ткани из позолоченной крови дракона; шафрановые и коричневые шелка, жесткие, словно сплошное шитье. Мы вернулись в храм, который теперь заполняли яркие одеяния. Низкие лакированные столики служили подставками для книг. Одни жрецы возлежали подле них, другие медленно двигались среди золотых алтарей и курильниц; верховный жрец восседал на золотом стуле спиной к конгрегации. Его одежды мерцали сквозь резьбу, словно подкрывая тигрового жука.

В торжественной тишине были развернуты свитки, и жрецы приступили к чтению нараспев текстов Пали* в честь Апостола

Потустороннего Мира, который завещал, чтобы они не одевались в золото или пестрое и не прикасались к драгоценным металлам. За исключением незначительных принадлежностей (почти скрытых от глаз ликов великих, то есть святых), картина, которая разворачивалась передо мной, могла бы относиться к романо-католическому собору, скажем такому же богатому, как в Аранделе *. Те же мысли шевелились в других головах, потому что в паузе между тихими песнопениями чей-то голос прошептал у меня за спиной:

Благоговейно мессы бормотанье слушать,
Что делал бог, что ел, весь день внимать.

Это был человек из Гонконга, рассерженный на то, что ему запретили сфотографировать интерьер. Он называл все вместе: великолепный ритуал и все убранство — попросту «интерьером» и отплатил тем, что изрек отрывок из Браунинга *.

Пение ускорялось, по мере того как служба близилась к завершению и догорали свечи.

Мы прошли в дальние покои храма, преследуемые пением верующих. Потом его звуки затихли, и мы затерялись в яру, составленном из ширм. Двести, может быть, триста лет тому назад жил на свете живописец по имени Кано. Ему поручили украшение стен в комнатах Чион-Ина. Кано (член Королевской академии) изрядно потрудился. Ему помогли ученики и кописты, и они оставили после себя несколько сот ширм, каждая из которых — законченная картина. Как вы уже знаете, интерьер любого храма несложен. Жрецы живут на белых циновках в комнатках с коричневыми потолками. При желании эти каморки можно превратить в просторный зал. Так было и здесь, но комнаты Чион-Ина были пошире и выходили на роскошные веранды и галереи. Поскольку сам император иногда посещал храм, там создали особую комнату неопишуемой красоты. В ней изысканные шелковые кисти служили для раздвигания ширм, резьба была покрыта лаком. У меня нет слов. Да будет это признанием бессилия, однако не в моей власти передать безмятежную обстановку той комнаты или описать талант, который добивался желаемого легким поворотом кисти. Великий Кано изобразил оцепеневших фазанов, сгрудившихся на покрытой снегом ветке сосны; петуха-павлина, гордо распутившего хвост, чтобы доставить удовольствие самкам; россыпь хризантем,

высыпавшихся из вазы; фигурки изнуренных крестьян, возвращающихся домой с рынка; сцену охоты у подножия Фудзиямы. Художник, равный по величию строителю-плотнику, тщательно вставил каждую картину в потолок (сам по себе чудо), а время — величайший мастер из этой троицы — сумело так прикоснуться к золоту, что обратило его в янтарь, дерево подернуло темным медовым налетом, сделал почти прозрачной сияющую поверхность лака. И такое было всюду. Иногда, раздвинув ширмы, мы находили там крохотного лысого прислужника, молящегося над курильницей, а порой — тощего жреца, поедающего свой рис, но чаще в чистых, прибранных комнатах никого не было.

Вместе с Кано Великолепным работали и менее одаренные художники. Им было дозволено прикоснуться кистью к деревянным панелям на внешних верандах, и они потрудились на славу. Пока гид не обратил мое внимание на десятки монохромных рисунков, которые покрывали низ дверей, я не замечал их: обезьяна оторвала ветку, и та, упав, сломала ирис; побег бамбука согнулся под напором ветра, который ерошит воды озера; древний воин подстерегает врага в лесной чаще — рука на рукоятке меча, складки рта воспроизводят напряженнейшее внимание — все они запомнились мне.

Как вы думаете, долго ли сохранится рисунок сепией в лоне нашей цивилизации, если поместить его на нижнюю панель двери или на деревянную обшивку кухонного коридора? В этой деликатной стране человек может начертать свое имя на пыли, пребывая в уверенности, что, если надпись эта исполнена с большим искусством, его внуки будут с благоговением сохранять ее.

— Конечно, в наши дни уже не строят таких храмов, — сказал я, когда мы снова вышли на солнце. Профессор же пытался выяснить, отчего панели и бумажные ширмы так естественно гармонировали с мрачными, массивными деталями храмового интерьера.

— На другом конце города строят новый храм, — отозвался мистер Ямагучи. — Пойдемте посмотрим на волосяные веревки, которые висят там.

Мы буквально полетели через Киото на наших рикшах и вскоре в хитросплетении строительных лесов увидели храм еще больших размеров, чем Чион-Ин.

— Древний храм, бывший на этом месте,

сгорел когда-то очень давно... здесь был другой храм. Тогда люди во всей Японии стали собирать по крохам средства на строительство нового, а те, у кого не было денег, прислали свои волосы, чтобы из них сделали веревки. Этот храм строят уже десять лет. Он весь из дерева.

Стройка выглядела оживленной благодаря множеству рабочих, которые заканчивали отделку черепичной крыши и настилку полов. Гигантские деревянные колонны, удивительная тщательная резьба, изощренно украшенные карнизы, превосходная столярная работа — все это не уступало виденному нами в Чион-Ине. Однако здесь свежесрубленное дерево было кремово-белым или лимонно-желтым, а в древнем здании — бурым и твердым, как железо. Свежие торцы балок были замазаны белым лаком, чтобы предотвратить проникновение насекомых, а глубокая резная работа покрыта тончайшей проволочной сеткой для защиты от птиц. И везде — только дерево, вплоть до массивных балок фундамента, которые мне удалось рассмотреть сквозь незастланные проемы полов.

Японцы — великий народ. Его каменщики играючи управляют с камнем, плотники — с деревом, кузнецы — с железом, художники — с жизнью, смертью и прочим, на чем может остановиться глаз. Однако провидение из милости не наделило эту нацию достаточно твердым характером, и оттого японцам не дано играючи управиться с круглым шаром Земли. Последнее предоставлено нам — нации, которая обставляет свой быт стеклянными абажурами, розовыми шерстяными ковриками, красными и зелеными фарфоровыми щенками и отвратительными брюссельскими коврами. Это наша компенсация за...

«Храмы! — произнес человек из Калькутты несколько часов спустя, когда я восторгался увиденным. — Храмы! Устал от храмов. Не все ли равно, видеть только один или пятьдесят тысяч. Уж очень они похожи. Но что может взволновать по-настоящему, так это стремнины Арашимы. Поезжай, это в восьми милях отсюда и намного лучше любого храма с плосколицым Буддой посередине».

Я внял совету приятеля. Кстати, удалось ли мне передать ощущение, что апрель в Японии — чудный месяц? В таком случае извините. На самом деле здесь в основном идет

дождь, и очень холодный; но солнечный свет, когда он все же появляется, остается солнечным светом. Мы кричали от переполнявшей нас радости, когда свирепый, далеко не ручной рикша, прыгая с камня на камень по безобразно мощенной пригородной улице, доставил нас на место, которое следует называть огородом, а мы вынуждены величать полем. Плоский лик земли во всех направлениях был изрезан дамбами, и все дороги, по-видимому, проходили по этим дамбам.

— Никогда, — сказал профессор, воткнув стек в чернозем, — никогда не мог представить себе настолько совершенной ирригации. Взгляни на эти дамбы, обложенные камнем и снабженные шлюзами. Посмотри на водяные колеса и... Тыфу ты! Однако они удобряют поля слишком усердно.

Первое кольцо полей вокруг любого города всегда дурно пахнет. Но в этой стране аромат удобрений ощущаешь всюду. Если не считать некоторых районов под Даккой и Патной *, земля в этих краях заселена гуще, чем в Бенгалии, но обработана в пять раз тщательнее: ни одного нераспаханного клочка, ни единой культуры, которая не была бы развита до предела, соответствующего плодородию почвы. Маленькие грядки лука, ячменя вперемежку с грядками чая, бобов, риса и полдюжины других культур, названия которых я не знаю, пестрели в глазах, и без того ослепленных сиянием золотой горчицы. Удобрение — полезная вещь, но ручной труд еще лучше. Мы видели и то и другое в избытке. Когда японский земледелец проделал на своем поле все, до чего можно только додуматься, он начинает пропальывать ячень стebelек за стebelком, пользуясь большим и указательным пальцем. Это правда. Я видел своими глазами крестьянина за таким занятием.

Мы ехали чудесной долиной, где стоит Киото, пока не достигли гряды холмов в ее дальнем конце и очутились на лесном складе, растянувшись на полмили.

Посевы и каналы исчезли, и наш неутомимый рикша уже бежал вдоль широкой мелкой реки, забитой сплавными бревнами всевозможных размеров. Я готов поверить во все, что угодно, когда речь идет о японцах, но не понимаю, зачем природе (о которой говорят, что она одинакова безжалостна повсюду) посылать им бревна, не расщепленные камнями, аккуратно ободренные от коры и с пазом

для крепления веревки, тщательно надрезанным на торце каждой колоды. Я видел сплав леса на Рави * при наводнении, когда крючья вытаскивали на берег бревна, размочаленные, словно зубная щетка. Здесь же лес приходит с верховьев совершенно чистым. Соответственно паз — это другое чудо.

— В ясный день, — сказал гид чуть слышно, — все жители Киото едут на Арашиму и устраивают пикники.

— Но они всегда делают это в вишневых садах. Они проводят время в чайных домиках. Они... они...

— Да, в ясную погоду они всегда едут куда-нибудь и устраивают пикник.

— Но зачем? Человек не создан для пикников.

— Зачем? Потому что стоит хорошая погода. Англичане говорят, что деньги падают на японцев с неба за то, что они ничего не делают, — вы так думаете. А теперь взгляните на это прелестное местечко.

Река стремительно несла свои воды, делая крутой поворот между поросших соснами холмов. Серебряные блики играли на бревнах и руинах моста, разрушенного несколько дней назад. На нашем берегу, над самым потоком, повернувшись фасадами к самой прекрасной рощице молодых кленов, выстроились чайные домики и павильоны. Солнечный свет, которому не удавалось смягчить сумрак сосен, проникал в нежную зелень кленов и касался кромки воды, а на противоположном берегу розовая пена цветущих вишен разбивалась о деревенские домишки с черными крышами.

Там я остановился.

Глава пятнадцатая

Игры в гостиной; полная история современного японского искусства — обзорение прошлого и предсказания на будущее, сочиненные в киотских мастерских и аранжированные для читателей

О смелый новый мир, с такими вот людьми, Не правда ль, человечество прекрасно?!

Шекспир

Не помню, как я очутился в чайном домике. Возможно, это случилось благодаря прелестной девушке, которая поманила меня веткой цветущей вишни, и я не смог отказаться от приглашения. В домике, распростершись на циновках, я стал наблюдать за облаками, висевшими над холмами, за бревнами, которые неслись по стремнине. Я вдыхал аромат очищенных от коры стволов, прислушивался к лопотанию сражавшихся с ними лодочников, шороху реки и чувствовал себя намного счастливее, чем полагается быть человеку. Распорядительница чайного домика настояла, чтобы мы отгородились ширмой от остальных гостей, которые наполняли веранду. Принесли красивые голубые ширмы с изображением аистов и вставили их в желобки. Я терпел их сколько мог. Из соседнего отделения доносились взрывы смеха, приглушенный топот ног, позвякивание миниатюрной посуды, а иногда в щели между ширмами, словно бриллианты, сверкали чьи-то глаза.

Целая семья приехала из Киото, чтобы приятно провести время. Мама присматривала за бабушкой, молодая тетушка — за гитарой, а две девочки (четырнадцати и пятнадцати лет) присматривали за веселой маленькой девочкой-сорванцом, которая, когда это приходило ей в голову, присматривала за младенцем, который, казалось, присматривал за всей компанией. Бабушка была одета в синее, мама — в серое и голубое; на девочках пестрели яркие наряды из сиреневого, желтоватобурого и бледно-желтого крепа, шелковые оби цвета распутившейся яблони и свежерезанной дыни; восьмилетняя девочка была в

золотисто-бурым одеянии, а пухлый младенец кувыркался на полу среди тарелок, разодетый во все цвета японской радуги, которая не признает грубых тонов. Все они были прелестны, за исключением бабушки — обыкновенной добродушной старухи, к тому же совершенно облысевшей. Когда они завершили свой утонченный обед и были убраны коричневые лакированные столики-подносы, бело-голубая и нефритово-зеленая посуда, тетушка исполнила что-то на сямисэне*, а девочки стали играть в жмурки, посреди крохотной комнаты.

Человек из крови и плоти, сидевший по другую сторону ширм, не мог оставаться безучастным — я тоже захотел играть, но был слишком крупным и неуклюжим и поэтому мог только сидеть на веранде, наблюдая за этими изящными, подвижными статуэтками из дрезденского фарфора. Они вскрикивали, хихикали и болтали безумолку, присаживаясь на пол с невинной девичьей непринужденностью, и тут же кидались целовать младенца, когда тот обижался, если о нем забывали.

Девочки играли в «соседа», связав себе ноги белыми и голубыми платками, потому что теснота помещения сковывала свободу их движений, а когда не могли продолжать игру от разбиравшего их смеха, начинали обмахиваться веерами, прислонившись к голубым ширмам (каждая девочка — картинка, которую не сумеет воспроизвести ни один живописец). Я кричал вместе с ними до тех пор, пока, скатившись с веранды, едва не очутился на веселящейся улице. Глупо ли я себя вел? Во всяком случае, я дурачился в хорошей компании, потому что даже суровый человек из Индии (личность, которая вкладывает душу только в скаковых лошадей и не верит ничему на свете, кроме гражданского кодекса) в тот день тоже был в Арашимае. Этот человек раскраснелся от возбуждения. — Вот так повеселился! — Он едва переводил дух, а сотня ребятишек преследовали его по пятам. — Тут есть что-то вроде рулетки для игры на кексы. Я скупил весь запас у владельца и устроил Монте-Карло для малышей. Их собралось тысяч пять. Никогда так не потешался. Лотерея в Симле — ничто. Они соблюдали порядок до тех пор, пока не очистили все столы, за исключением большой сахарной черепахи, затем пошли ва-банк, а мне пришлось унести ноги.

И это говорил сухарь, который в течение

многих лет не ставил на что-либо столь невинное, как леденцы.

Когда мы оба ослабели от смеха и фотоаппарат профессора попал в окружение смеющихся девочек (отчего вся съемка сорвалась), из чайного домика пришлось бежать. Мы бродили вдоль берега реки, пока не наткнулись на шитую из планок лодку, на которой с помощью шеста нас переправили через вздувшуюся реку и там высадили на узкую тропинку, высеченную в скалах, нависавших над водой. Вокруг буйствовали ирисы и фиалки, а ликующие водопады проносились под кронами сосен и кленов. Мы находились у подножия стремнин Арашимы, и вместе с нами пейзажем любовались все прелестные девушки Киото. Выше по течению стояла одинокая черная сосна. Она как бы отделилась от сородичей, для того чтобы заглядывать за поворот реки, где глубокие быстрые воды завихрялись в маслянистых водоворотах. Ниже по течению река скакала через пороги, колыша на своей груди покров только что спленного леса, а люди, одетые в голубое, мчались в серебристо-белых лодчонках, чуть ли ни по самым бортам погруженных в яростную пену, и растаскивали крючьями бревна.

От плодородной почвы у нас из-под ног исходило дыхание весны; оно поднималось к вершинам кленов, которые уже окутывало тепло, принесенное апрельскими ветрами. О! До чего хорошо жить на свете: топтать ногами стебли ириса, продираясь сквозь заросли цветущей вишни, роняющей капли росы на лицо, рвать фиалки ради невинного удовольствия бросать их в стремнину и нагибаться за еще более прекрасными!

— Какая досада, что я прикован к аппарату! — воскликнул профессор, на которого действовали неслышные чары весны, хотя он сам не подозревал об этом.

— Какая досада, что я — раб своего пера! — вторил я, потому что на землю наконец-то пришла весна. Ведь я ненавижу весну семь лет, потому что в Индии она означала для меня всяческие неудобства.

— Поедем-ка домой, чтобы взглянуть, как распускаются цветы в парках.

— Давай наслаждаться тем, что находится под рукой, ты, филистимлянин.

На этом мы и порешили, а затем сгустились облака, ветер взъерошил речные плесы, и мы довольные вернулись к нашим рикшам.

— Как ты думаешь, сколько людей может прокормить одна квадратная миля земли? — спросил профессор по дороге домой. Он высчитывал что-то.

— Девятьсот, — ответил я наугад. — Здесь она заселена гуще, чем в Саруне или Бихаре. Скажем, тысячу.

— Две тысячи двести. Даже не верится.

— Глядя на здешний пейзаж, можно поверить, но не думаю, что этому поверят в Индии. Напишу-ка я полторы тысячи?

— Все равно скажут, что ты преувеличиваешь. Уж лучше приводи факты. Две тысячи двести пятьдесят шесть на одну квадратную милю — и никаких признаков бедности. Как это им удастся?

Я сам хотел бы услышать ответ на этот вопрос. По моему непросвещенному мнению, Япония почти целиком заселена детьми, в обязанность которых входит сдерживать взрослых, чтобы те не распустились. Иногда ребята даже трудятся, но родители отрывают их от дела, чтобы приласкать. В отеле Ями десятилетние сорванцы взяли обслуживание в свои руки, потому что все взрослые уехали развлекаться среди вишневых садов. Бесенята работали за них и одновременно находили время, чтобы повозиться на лестнице. Мой покорный слуга, по прозвищу Епископ (прозванный так из-за серьезной наружности, голубого передника и гамаш), — самый подвижный из всех, но даже его энергия не объясняет статистических выкладок профессора...

Я видел в Японии труд особого рода, который приносит урожай неземных плодов. Занятие это чисто артистическое. Целый административный район Киото принадлежит ремесленникам. В этой части земного шара мастер не обзаводится вывеской, хотя о нем могут знать в Париже или Нью-Йорке (это их дело). Чтобы разыскать его заведение в Киото, англичанин вынужден рыскать по трущобам в сопровождении гида.

Я наблюдал за работой в трех мастерских: в первой занимались фарфором, во второй — клуазонне *, в третьей — лаками, инкрустацией и бронзой. Первая пряталась за мрачным деревянным палисадом и вполне могла быть принята за лавку старьевщика. Хозяин сидел напротив крохотного сада (не больше четырех квадратных футов), где в грубом каменном горшке росла, словно вырезанная из бумаги, пальма, накрывавшая тенью карликовую сос-

ну. Остальное пространство занимали гончарные изделия, готовые к упаковке, в основном современная сатсума * — продукция, которую можно приобрести на аукционах.

— Это делай, посылай Евлопа, Амелика, Индия, — спокойно объяснил японец. — Плишла посмотлеть?

Он провел нас через веранду полированного дерева и показал печи, чаны для замешивания глины и помещения, где крохотные капсулы для обжига ожидали свою партию керамики. В производстве японской и бёрслемской * керамики много различий чисто технических, которые, впрочем, не имеют принципиального значения. В формовочной мастерской, где делают заготовки для сатсумы, гончарные круги вращают вручную. Они подогнаны с такой точностью, что их биение не превышает толщины человеческого волоса. Гончар сидел на чистом мате, рядом была расставлена чайная посуда. Слепив вазу, он осмотрел ее, с удовлетворением покачал головой и, прежде чем приняться за следующую, налил себе чаю. Гончары жили тут же, рядом со своими печами и поэтому выглядели не слишком привлекательно.

В помещении живописцев все было иначе. В домишке, напоминавшем шкатулку, сидели мужчины, женщины и подростки, которые раскрашивали вазы после первого обжига. Сказать, что все их принадлежности были аккуратны до скрупулезности, — значит лишний раз напомнить, что это были японцы. Чистота и опрятность комнаты говорили о том, что здесь работают художники. Побег цветущей вишни отчетливо вырисовывались на фоне темного палисада; искривленная сосна, приподнявшись над ними, колола голубизну неба ветками, усаженными острями; ирис и «лошадиный хвост» в маленьком водоеме кланялись ветру. Стоило живописцу поднять глаза, как сама природа подсказывала недостающее звено рисунка.

Далеко отсюда, в грязной Англии, люди могут только мечтать об условиях труда, которые помогают мастеру, а не душат его наполовину родившийся замысел. Здесь же собираются в гильдии, сочиняют полуритмические молитвы Времени и Удаче (равно как и другим почитаемым божествам), дабы довести дело до желаемого результата. Если хотите убедиться, что мечты могут стать явью, надо взглянуть, как изготавливают керамику в Японии, где каждый мастерской сидит

на белоснежной циновке на расстоянии вытянутой руки от чудес, создаваемых линией и цветом, и, устремив глаза на собственное творение — вазу-сатсуму, споро наносит на нее традиционный узор. Варвары не мыслят себе существования без сатсумы, и они получают ее, даже если в Киото будут производить по вазе каждые двадцать минут. Что ж, тем лучше для снижения уровня мастерства!

Владелец второго заведения жил в шкатулке черного дерева (назвать это домом было бы профанацией) в окружении изделий, бесценных по мастерству исполнения (бронза, мебель черного дерева), и коллекции медалей, которые принесла его известность в Англии, Франции, Германии и Америке. Он оказался уравновешенным человеком, чем-то напоминал кота и говорил почти шепотом. Не желаем ли мы осмотреть производство? Он провел нас садом, который ничего не значил в его глазах, а вот мы задержались, чтобы полюбоваться. Замшелые каменные фонарики проглядывали сквозь прозрачные, как бумага, пучки бамбука, а бронзовые аисты делали вид, что насыщаются. Корявая сосенка с кроной, подстриженной до размера настенной тарелки, распростерла ветки над волшебным прудом, где кормился толстый, ленивый карп, зарывшийся носом в ил; две ушастые чомги пронзительно закричали на нас из-за огромной бочки с водой. Стояла такая тишина, что было слышно, как падают в воду лепестки цветов вишни и трутся о камни рыбы. Мы словно очутились в середине блюда с изображением ивовых ветвей и боялись пошевелиться, чтобы не разбить его.

Японцы — прирожденные будуарные жители. Они собирают камни, обкатанные водой, куски скал необычной формы, гальку с прожилками и украшают ими жилище. Переезжая в другое место, они увозят с собой сад — сосну и все прочее, а новый хозяин волен распорядиться по-своему.

Дорожка, мощенная камнем, заканчивалась полдюжиной ступенек, которые привели нас в дом, где совершалось производство. В одной из комнат хранились порошки эмали, тщательно рассортированные по удивительно чистым кувшинам, несколько «сырых» медных ваз, приготовленных для обработки, и ящик, пёстро расписанный бабочками, — образец для рисунка. В следующей работали трое мужчин, пять женщин и двое подро-

стков. Они сидели так тихо, будто их сморил сон.

Одно дело читать об изготовлении клуазонне, другое — наблюдать за самим процессом. Я понял, почему эти изделия стоят так дорого, когда увидел мужчину, который отделявал рисунок (переплетение ветвей и бабочек) на блюде диаметром каких-то десять дюймов. Он прорабатывал изгибы рисунка тончайшей серебряной лентой шириной не более шестнадцатой дюйма (если поставить ее на ребро), с бесконечным терпением вправляя ее в усики и зазубрины листьев. Любая неосторожность — и замысловатые непрерывные линии рисунка превратятся в тысячи обрывков. Когда лента уложена, блюдо разогревают, чтобы серебро намертво схватилось с медью, и тогда рисунок проступает рельефными линиями. Затем подходит очередь эмали. Ее накладывают мальчишки в очках. Крохотными стальными палочками они заполняют ячейки рисунка пастой соответствующего оттенка, которую брали из плошек, стоящих подле. Ошибаться нельзя, особенно когда раскрашивают авантюриновой эмалью крапинки на крыльях бабочек, составляющих в поперечнике менее дюйма. Я устал, наблюдая за легкими движениями пальцев и кистей рук.

Потом хозяин показал образцы своего мастерства: страшный дракон, пучки хризантем, бабочки — узоры такие же изысканные, как разводы на оконном стекле во время мороза. Все было исполнено безупречной линией.

— Это наши сюжеты. В них — источник вдохновения. Подыскивая цвет, я смотрю на мертвых бабочек, — сказал он.

Когда эмаль нанесена на поверхность сосуда или блюда, их подвергают обжигу. Эмаль пузырится в серебряных границах, а изделие выходит из печи, напоминая изысканную майолику. Чтобы выложить на медной поверхности рельефный рисунок, уходит месяц; еще один необходим для наложения эмали; но по-настоящему кропотливая работа — полировка. Мастер принимается за необработанное изделие, рядом ставит чайные принадлежности, тазик с водой, кусок фланели и два-три блюда с галькой, специально отобранной в ручье. Наждачное колесо с треплом, корундом или кожей не применяется. Мастер садится и трет. Он занимается этим месяц, три, год. Он трет с любовью, вкладывая душу в кончики пальцев. Понемногу

эфлоресценция обожженной эмали отходит, и он добирается до серебряных нитей — тогда рисунок обнажается во всем своем блеске.

Мне показали человека, который уже месяц полировал небольшую вазу высотой в пять дюймов. Ему оставалось трудиться еще два. Когда я достигну Америки, он все еще будет полировать, и рубиновый дракон, резвящийся на лазуритовом поле, каждая крохотная деталь, каждый завиток, любой участок, заполненный эмалью, будут становиться все привлекательнее.

— В другом месте можно купить дешевые клуазонне, — сказал улыбаясь хозяин. — Мы не умеем их делать. Эта ваза будет стоить семьдесят долларов.

Я отнесся к его словам с уважением, потому что он сказал «не умеем» вместо «не делаем». Это говорил художник.

Последний визит мы нанесли в самое крупное заведение Киото, где мальчики наносили золотой узор на поделки из стали, восседая на верандах камфорного дерева, которые выходили в сад еще более прелестный, чем те, которые мы видели до сих пор. Мужчин приучают к мастерству с детства, как это заведено в Индии. Взрослый ремесленник трудился над ужасной историей двух монахов (в золоте, железе и серебре), которые разбудили дракона дождя и спасались от него бегством по кромке большого щита. Однако самым милым работником был пухлый мальчуган, которому, словно игрушки, вручили десятипенсовый гвоздь, молоток и плитку металла для того только, чтобы он мог впитывать порами кожи искусство, коим будет жить. Грохоча по железу, труженик издавал радостные восклицания и цокал языком. В Англии едва ли найдутся пятилетние дети, способные отковать какую-нибудь безделушку, не разможив при этом свои крохотные розовые пальчики.

По стенам была развешена живопись — настоящий апофеоз искусства. На картинах до мельчайших подробностей изображались все стадии гончарного ремесла — от добычания глины до последнего обжига. В последнем рисунке карандаш словно изобразил меру презрения автора. Там был нарисован англичанин, занятый осмотром изделий в лавке и одновременно обнимавший за талию свою жену. На японцев не производит впечатления ни наша одежда, ни правильные черты наших лиц. Потом мы наблюдали за процессом

золочения: крапинка за крапинкой золото переносится на изделие с агатовой палитры, приложенной к большому пальцу художника, видели резьбу по слоновой кости, что действует возбуждающе, пока не убеждаешься в том, что резчик не ошибается никогда.

— Их искусство во многом носит чисто механический характер, — сказал профессор, когда мы благополучно добрались до отеля.

— У нас то же самое, особенно в живописи. Но нам не дано быть одухотворенными механизмами, — ответил я. — Представь себе народ, подобный японцам, торжественно шествующий навстречу конституции. Заметь, только две нации имеют стоящие конституции — это англичане и американцы. Англичане артистичны лишь кое в чем, когда идут по следам искусства других национальностей (например, сицилийские гобелены, персидские седельные сумы, котенские ковры), очищая закладные лавки. Некоторые американцы тоже достаточно артистичны, когда скупают произведения искусства, чтобы, так сказать, идти в ногу со временем. Испания артистична, но временами ее лихорадит. Франция тоже, но каждые двадцать лет ей нужна революция — для обновления темы. Россия артистична, однако время от времени там убивают царя; кроме того, не похоже, чтобы она располагала чем-то напоминающим правительство. Германия не артистична, потому что погрязла в религии. Вот Италия — да, оттого что ей это плохо удавалось. Индия...

— Когда завершишь оглашение вердикта всему миру, может быть, уляжешься наконец спать?

— Следовательно, — продолжал я презрительным тоном, — я придерживаюсь той точки зрения, что конституция отвратительна для людей, одаренных незаурядной натурой. Первое требование артистического темперамента — неуверенность во всем земном. Второе... — Сон, — сказал профессор и вышел из комнаты.

О природе Токайдо и строительстве железных дорог; о том, как некий путешественник объяснил суть жизни саиба-чурбана, а другой — происхождение игры в кости; рассказывает о ребятишках в лохани и человеку в белой горячке

Направляясь в ад, я поговорил с путником на дороге.

Древняя поговорка

Вам известен анекдот про шахтера, который раздобыл где-то энциклопедический словарь, а возвращая его, заметил, что все рассказы в книге в общем-то интересные, но слишком уж разные. У меня аналогичная жалоба на японский ландшафт: двенадцать часов сплошных пейзажей по дороге поездом из Нагои в Иокогаму! Лет семьсот назад некий верховный правитель выстроил приморскую дорогу, которую назвал Токайдо (может быть, так называлась эта часть побережья, что, впрочем, не имеет значения), и она сохранилась до наших дней. Когда там появился английский инженер, он старался придерживаться великой магистрали — так возникла железная дорога, перед которой могла бы снять шляпу любая нация. Заключительный участок сквозной линии Киото — Иокогама был открыт за пять дней до того, как мы с профессором почтили ее своей неофициальной инспекцией. Многие предусмотрено ради благополучия японского пассажира, и это — сущее бедствие для иностранцев. Ведь последние надеются найти в вагоне, отдаленно напоминающем подвижной состав «И.Ай.А.»*, все удобства той горохово-зеленой и пыльной линии. Однако это «многое» великолепно устраивает японцев; они высказывают из вагонов чуть ли не на каждой станции *рго ге пата** и, случается, отстают от поезда. Два дня назад на этой линии умудрились погубить высокопоставленного правительственного чиновника, которого прижало к платформе подножкой вагона, и сейчас японские газеты много и

серьезно пишут о преимуществах уборных. Я далек от мысли, чтобы вмешиваться в дела сей артистичной империи, однако для двенадцатичасового путешествия все же должно быть кое-что предусмотрено.

В предгорьях мы расстались с полями, где было тесно от различных культур, и мчались теперь берегом большого озера, которое во всю ширь отливало сталью, за исключением тех мест, где по его поверхности рассыпались островки. Затем озеро превратилось в лагуну, и мы пересекли ее по каменной дамбе. Разгул сосен прекратился. Поникнув головами, упершись корнями в почву, они спустились теперь с покрытых сырой порослью холмов, чтобы сразиться с песками Тихого океана, буруны которого, словно взрываясь, обрушивались на берег менее чем в четверти мили от дамбы. Японцы прекрасно разбираются в лесоводстве. Они укрепляют колыями блуждающие пески (по сей день таким пескам дозволено поглощать посевы у нас в Хошиарпуре), останавливают дюны особым плетением из прутьев и высаживают молоденькие сосны с такой же тщательностью, с какой подгоняют планки при постройке дома. Обучаются ли их лесоводы в Нанси* или же они продукт местного производства? Закрепление песков колыями и диагональная посадка деревьев тоже выполнены на французский манер.

Вскоре мы миновали этот пустынный, «почти не управляемый» пляж, и миль пять поезд мчал словно по пригородам Патны, однако опрятной, похорошевшей Патны, обсаженной плантациями бамбука. Затем проскочил туннель, а далее покатил по лондонской; брайтонской, южнобережной, словом, какой бы то ни было железной дороге, которая мечтает нырнуть под пролив. Во всяком случае путь пролегал по набережной, и волны лизали ее основание. С другой стороны возвышалась стена выемки, высеченной в скале. Неоднократно мы нарушали тишину и покой многочисленных рыбацких деревушек. Веранды домишек выходили на железнодорожное полотно, а сети сушились чуть ли не под колесами паровоза. В этой части света железная дорога еще в диковинку, и матери поднимали на руки детей, чтобы те увидели поезд.

Невозможно «отстать» от индийского ландшафта, который способен монотонно тянуться миль пятьсот. Здесь же утомляла смена полей, гор, пляжей, лесов, бамбуковых рощиц, волнистых вересковых зарослей, пок-

рытых цветами азалии, и я стал добиваться общения с человеком, который прожил в Японии двадцать лет.

— Да, что касается климата, Япония — превосходная страна. Дожди начинаются в мае или в последних числах апреля. Июнь, июль и август — жаркие месяцы. Известны случаи, когда термометр показывал ночью до восьмидесяти шести градусов по Фаренгейту, но, клянусь, в целом мире не сыщется что-либо совершеннее погоды в сентябре — мае. Если хотите поправить здоровье, можно поехать на горячие источники в горы Хаконе. Это неподалеку от Иокогамы. Существует множество других мест, куда можно податься, но мы, англичане, не жалуемся на здоровье. Конечно, здесь нет и половины тех развлечений, которые есть у вас в Индии. Мы — крохотная община и проводим свободное время как умеем: концерты, скачки, любительские спектакли и прочее. У вас этого достаточно, не так ли?

— О да, — согласился я, — мы отдыхаем сколько нашей душе угодно, особенно в это время года. Сочувствую вам. Действительно, в небольшой общине, вынужденной саму себя развлекать, иногда можно почувствовать себя усталым и одиноким, чуть ли не скучать. Но вы говорили о...?

— Да, жизнь здесь не слишком дорогая, но арендная плата все же высока. За сто долларов в месяц можно снять приличный домик, но можно найти и за шестьдесят. Как раз теперь цены на дома в Иокогаме несколько снизились. В этот день недели и по воскресеньям в Иокогаме проводятся скачки. Вы идете? Нет? Надо бы вам посмотреть, как развлекаются иностранцы. Впрочем, я полагаю, что в Индии вы видите кое-что интереснее? В здешних краях нет ничего примечательнее старины Фудзи — Фудзиямы. Посмотрите налево. Ну, как, нравятся?

Я обернулся и увидел Фудзияму, возвышавшуюся над морем полей и лесов, омывающим ее склоны. Высота горы — четырнадцать тысяч футов — не слишком много, по нашим понятиям. Все же одно дело четырнадцать тысяч футов в окружении шестнадцатитысячефутовых пиков, другое — та же гора, если смотреть на нее находясь на уровне моря, когда она возвышается на сравнительно плоской местности. Пытливыми глазами ошупываешь каждую пядь ровного мертвого кратера и, достигнув вершины, признаешься,

что в Гималаях нет ничего подобного. Ничто не может сравниться с этим гигантом. Я был вполне удовлетворен. Фудзияма выглядела в точности такой, какой изображается на веерах и лаковых шкатулках. Я не променял бы этого зрелища даже за гребень Канченджанги *, сверкающий в лучах утреннего солнца. Фудзияма — краеугольный камень Японии. Когда удастся понять одно, постижимо и другое, и я постарался разузнать кое-что у попутчика.

— Да, японцы прокладывают железные дороги по всему острову. Я хочу сказать, они самостоятельно учреждают и финансируют компании, заставляя их приносить прибыль. Не могу точно сказать, откуда берутся средства, но во всяком случае это их собственные деньги. Япония ни богата, ни бедна, она вполне зажиточна. Я сам купец и не могу утверждать, что мне нравились «деловые» повадки японцев. Всегда трудно определить, правду ли бормочет этот попрошайка. Мне подавай китайца. Признайтесь, другие говорили то же самое? Вы столкнетесь с аналогичным мнением почти во всех открытых портах. Но вот что хотелось бы подчеркнуть: японское правительство достаточно предприимчиво, насколько этого можно пожелать, и с ним приятно иметь дело. Когда Япония завершит собственную реконструкцию, то превратится в компактное государство, с которым придется считаться. Увидите сами. Мы приближаемся к горам Хаконе. Следите за линией. Она здесь довольно любопытна.

Мы приближались к горам Хаконе вдоль шотландского форелевого ручья, бегущего на фоне ирландского ландшафта, затем ехали девонширской долиной, какой-то рекой в Индии, с полмили катившей свои «бесхозные» воды в галечных берегах. Это было лишь вступлением к альбому иллюстраций по геологии: террасы, образованные древними речными руслами, последствия различных денудаций * и полдюжиной других «ций». Я настолько увлекся сообщением ложных сведений человеку из Иокогамы (о высоте пиков в Гималаях), что разглядывал окружающее не слишком внимательно. В восемь часов вечера мы оказались в Иокогаме и поехали в «Гранд-отель», где опрятные, элегантно одетые люди, которые в этот час направлялись обедать, презрительно посмотрели на нас, а джентльмены, с которыми мы познакомились



еще раньше, на пароходе, уткнулись в иллюстрированные журналы, сделав вид, что не замечают нас. Мужчина всего-навсего человек: он, видите ли, переоделся к обеду... на него смотрят женщины... и тут какие-то каменщики... и это в Иокогаме.

На самом деле «Гранд-отель» — это «полу-Гранд» или «коттедж-Гранд», но все же поезжайте туда, если друзья не посоветуют чего-нибудь лучшего. Длинная цепочка удачи испортила меня даже для отелей средней руки. В «Гранде» живут слишком роскошно, но не всегда выдерживают марку: там много электрических звонков, но практически никому отвечать на них; там отпечатанные меню, но те, кто приходят первыми, съедают все, что повкуснее, и так далее. Тем не менее у «Гранда» немало достоинств, которыми не следует пренебрегать, и, собственно говоря, это приоткрытая дверь, сквозь которую можно ощутить первый порыв ветра со склонов тихоокеанского побережья Америки. По официальным данным, в порту вдвое больше англичан, чем американцев. В действительности на улицах не услышишь иной речи, кроме французской, немецкой или американской. К сожалению, мой опыт в этом отношении ограничен, однако язык американцев, которых мне довелось услышать до сих

пор, так же далек от языка английского, как и патагонский.

Джентльмен из Бостона проявил любезность и пояснил кое-что. Он настаивал на том, что выражение «я прикидываю», то есть «я так думаю», заимствовано у Шекспира из «Ричарда III». Я уже научился не спорить с бостонцем.

— Допустим, — сказал я, — мне просто не приходилось слышать американского выражения «я прикидываю», но как быть с другими словами вашего невероятного наречия? Вы хотите сказать, что оно имеет что-то общее с нашим, если не считать вспомогательных глаголов, имени нашего создателя и «черт подери»? Прислушайтесь к разговору за соседним столом.

— Они с Запада, — молвил в ответ человек из Бостона, словно хотел сказать: «Посмотрите на этого казуара *». — Они с Запада, и, если хотите, чтобы «западник» сошел с ума, скажите ему прямо, что он совсем не похож на англичанина. Они все считают себя англичанами. У них на Западе слишком чувствительная кожа. В Бостоне иначе. Нам безразлично, что думают о нас англичане.

Я фыркнул, представив себе, как англичане специально присаживаются, чтобы поразмышлять о бостонцах, в то время как по ту

сторону океана тем совершенно «безразлично». Этот человек порассказал многое. Он вырос в Республике. Вот почему каждый его знакомый относился либо к «одной из первых семей Бостона», либо к «доброму племени из Салема, чьи праотцы прибыли еще на «Мей-флауере» *». Мне словно читали роман. Подумать только — объяснять случайному встречному родословную каждого героя из анекдота! Интересно, много ли в Бостоне подобных друзей с «семьями из Салема»? Придется разузнать самому.

— В Америке нет никакой романтики, одни голые факты, — сказал человек с берегов Тихого океана, после того как я выразил свое мнение по поводу занятых случаев из судебной практики, которые кончаются убийствами и могут квалифицироваться в качестве судебных ошибок.

Десять минут спустя я услышал, как он тихим голосом вещал нечто аргорос игры, которая называется «Вокруг мыса Горн» (дурная игра, не садитесь за нее с незнакомцем).

— Да, этой игре повезло — возник город Омаха *. Именно в Омахе изобрели эту игру в кости, и человек, который придумал ее, выручил колоссальные деньги.

Я промолчал. Я почувствовал слабость.

Человек, должно быть, заметил это.

— Двадцать шесть лет назад образовалась Омаха, — повторил он, глядя мне прямо в глаза, — и количество игральных костей, произведенных там с той поры, не поддается учету.

— В Америке нет никакой романтики, — словно раненый голубь, простонал я в ухо профессору. — Ничего, кроме голых фактов, первых семей Бостона в штате Массачусетс, игры в кости, изобретенной двадцать шесть лет назад в Омахе, когда та тоже возникла, и все это — кондовая правда. Что прикажете делать с такими людьми?

— Ты описываешь Америку или Японию? Ради всего святого, займись тем или другим, — сказал профессор.

— Я тут ни при чем. В этом баре сидит частичка Америки, и она намного интересней Японии. Давай-ка отправимся во Фриско и послушаем новых небылиц.

— Лучше сходим взглянуть на фотографии и не будем смешивать страны или напитки.

Кстати сказать, всякий раз, когда будете путешествовать по окраинам Дальнего Востока, постарайтесь вести себя поскромней с

белым торговцем. Помните, что вы всего-навсего несчастный покупатель, у которого в кармане завалилось несколько грязных долларовых бумажек, и вы не вправе ожидать, чтобы тот, другой человек, снизошел до того, чтобы взять их. Продолжайте унижаться всюду, а не только в лавках. Меня очень волновал вопрос, как пересечь океан, чтобы добраться до Фриско, и я имел неосторожность зайти в контору, где предположительно могли бы при некоторых обстоятельствах заняться мной по этому поводу. Однако ни малейшее волнение не тронуло безалаберную личность, которой случилось сидеть в конторском кресле. «У вас впереди куча времени, успеете выяснить все позднее, — сказал клерк, — и, кроме того, сегодня после обеда я спешу на скачки. Приходите потом». От унижения я засунул голову в урну, а затем выполз из конторы сквозь дверную щель.

Когда пароход оставит меня на причале, я буду утешаться мыслью, что этот молодой человек хорошо повеселился и много выиграл. В Йокогаме все содержат лошадей, и эти лошади циркового толка похожи на маленькие пузатенькие кадушки.

Я не поехал на скачки, но человек из Калькутты побывал там. Вернувшись, он сказал, что по кругу гоняли ломовых лошадей, а среднее время пробега одной мили — четыре минуты двадцать семь секунд. Возможно, он много проиграл, но я могу поручиться за верховую езду тех джентльменов, которых видел на лошади. Это вполне непредвзятое и в высшей степени объективное мнение.

Когда человек из Бостона снова повел рассказ о первых семьях, профессор проявил неземной интерес к горячим источникам и умчал меня в местечко под названием Миношита, чтобы я там отмылся.

— Мы вернемся осматривать Йокогаму позднее, а сейчас поедем туда, потому что там красиво.

— Пейзажи начали утомлять меня. Они все прелестны и не поддаются описанию, а здесь рассказывают сказки об Америке. Ты когда-нибудь слышал, как люди Кармела линчевали Эдварда М. Петри, когда тот после евангельской проповеди забыл собрать с прихожан деньги? В Америке нет романтики, одни голые факты. Эдвард М. Петри был...

— Ты собираешься осматривать Японию или нет?

Я отправился с ним. Сначала мы целый час ехали в вагоне, переполненном вопящими глоб-троттерами, а затем часа четыре — на джинрикше. Только сидя в джинрикше, можно по-настоящему любоваться пейзажем. Проехав миль семь по более или менее плоской равнине (приманка, которой природа завлекала нас в глубины своего неверного сердца), мы добрались до горной реки, состоящей из черных омутов и кипящей пены. Мы въехали в горы по нешооссированной дороге, проложенной в раскрошившейся вулканической породе. Она была такой же твердой, как грунтовая дорога в Симле, однако тем далеким горам за Калкой недоставало сосен, кленов, ивы и ясеня. Это была земля одетых в зелень утесов и серебряных водопадов, живописных до степени, превышающей возможности пера. На каждом повороте дороги, там, где открывался достойный вид, стоял чайный домик, переполненный созерцающими японцами. Японец одевается в голубое, потому что знает, что этот цвет хорошо гармонирует с соснами. Когда японец умирает, то отправляется на собственные небеса, потому что грубый цвет нашего неба его не устраивает.

Мы придерживались долины этого пригожего потока, пока его воды не скрылись из виду, упав вниз с утеса, и до нас стали доноситься только голоса струй, которые перекликались друг с другом за переплетением ветвей. Там, где леса были наряднее, ущелья глубже, цвет молодых грабов нежнее, японцы возвели наспех пару ужасных гостиниц из досок и стекла и деревеньку, которая промышляла тем, что продавала туристам изделия из стекла и точеного дерева.

Австралийцы, англоиндийцы, жители Лондона и прочих краев бегали по склонам гостиничного сада и своими странными одеждами делали все возможное, чтобы испортить пейзаж. Профессор и я соскользнули вниз по склону горы позади отеля и снова очутились в Японии. Грубые ступеньки провели нас сквозь джунгли футов на пятьсот-шестьсот вниз, к руслу того ручья, вдоль которого мы ехали целый день. Воздух дрожал от шороха сотен струй, и всюду, где глазу удавалось проникнуть сквозь богатую поросль, бежал этот одержимый поток, плескавшийся у валунов. Там, наверху, в отеле, царствовала прохлада серого ноябрьского дня, от которой немели пальцы; попав на дно ущелья, мы

словно очутились в Бенгалии с ее неподдельными испарениями. Зеленые бамбуковые трубы подводили горячую воду к десяткам бань, где на верандах, бездельничая, курили японцы в голубых и белых халатах. Из непроходимой чащи доносились крики купающихся, и — какой срам! — вдруг из-за угла показалась пожилая леди, наспех обернутая белым баннным полотенцем, которое было не слишком широким. Затем мы прошли по ущелью, утирая пот и разглядывая небо сквозь арку буйной листвы.

Кстати, японские девушки четырнадцати-пятнадцати лет отнюдь не безобразны. Я видел около тридцати девушек, и ни одна не думала смущаться при появлении незнакомца. В конце концов это был обыкновенный пляж в Брайтоне *, правда без купальных костюмов. В голове ущелья стало жарче, и горячая вода потекла в изобилии. Места сочленения труб выпускали струйки пара; испарения курились над камнями в русле реки, и небольшое углубление, сделанное стеком в мягкой, теплой почве, быстро превращалось в крошечный водоем с горячей водой. Жителям не хватало настоящего запаса горячей воды, и они стремились добыть еще больше, но делали это совершенно бессистемно. Я попытался вползти в шахту шириной два фута, пробитую в склоне холма, однако пар, который, кажется, не причиняет вреда шкуре японца, выгнал меня оттуда. «Что произойдет, — подумал я, — когда кирка наткнется на саму жидкость и шахтеру придется либо мгновенно удирать, либо свариться в кипятке?»

В сумерках мы выбрались на поверхность земли и, проходя по улицам Миношиты, заметили двух худеньких херувимчиков лет трех, которые принимали вечернюю ванну в бочке, врытой в землю под карнизом лавки. Глядя на нас сквозь растопыренные пальчики, ребятишки делали вид, что сильно испугались: они тщетно пытались скрыться от нас, ныряя под воду, прятались друг за дружку, в общем, вели себя как плещущиеся головли. Отец подзадоривал их облить нас водой. Это была самая прелестная картинка за целый день, ради которой стоило приехать в липкий, смердящий краской отель.

На нем был черный сюртук, и поначалу, когда он, словно тень, бродил по пустынному коридору, я принял его за миссионера.

«Вот уже третьи сутки, как на меня наложили запрет, — прошептал он хрипло, — но я ни в чем не виноват... не виноват. Мне приказали заступить на третью вахту, однако забыли уведомить в письменном виде, чего я всегда требую. Хозяин отеля говорит, что виски причинит мне вред. Хотя я ни в чем не виноват, Бог свидетель, ни в чем не виноват!»

Не люблю, когда меня запирают в деревянном отеле, где гуляет эхо, а моим соседом оказывается джентльмен с морскими наклонностями, который оправляется от белой горячки, коротая ночные часы в беседах с самим собой...

Глава семнадцатая

касается крана с горячей водой;
разговор вообще

Сначала старайтесь заговорить с незнакомцем — если не выстрелит, есть шанс, что ответит.

Поговорка на Диком Западе

До чего же далеко от Миношиты до Мьичины и Мандалая! Вот почему мы встретились здесь с людьми из бирманских поселений и чудесно провели время, вспоминая бандитов и экспедицию на Черную гору. Вдали от дома начинаешь проявлять к нему повышенный интерес, поэтому многое узнаешь, и в этом одно из преимуществ путешествия за границу. Правда, путники часто меняют маршруты, но не меняют направление своих мыслей, которые стремятся домой через моря.

— Поразительное местечко, — сказал профессор, покрасневшись, как вареный омар. — Сидишь себе в ванне и подключаешь то горячий, то холодный источник, как тебе нравится, а температура просто феноменальная. Давай-ка посмотрим, откуда все это берется, а потом уедем.

В горах, милях в пяти отсюда, есть местечко, которое называют Жгучей горой. Мы отправились туда сквозь безмятежные бамбуковые рощицы, соснячки, лужайки и снова рощицы под непрерывный рокот реки, которая бежала где-то внизу. В конце пути нас ожидала встреча с обедневшим, словно подержанным, адом, аккуратно разбитым на истекающем кровью склоне горы, с которого содрали кожу. Казалось, будто по соседству оползень разорил спичечную фабрику. Вода, в которой, наверно, варились тухлые яйца, стояла в бассейнах, их края были покрыты волдырями, и легкие облачка прозрачного белого дыма поднимались в небо, пробиваясь из глубины бурлящих недр. Несмотря на запах и отложения серы на скалах, я почувствовал разочарование, пока не ощутил жар под ногами, ступавшими словно по кожуху котельной. Вулкан считается потухшим. Если могучие неведомые силы, упакованные в грязевую оболочку не толще нескольких

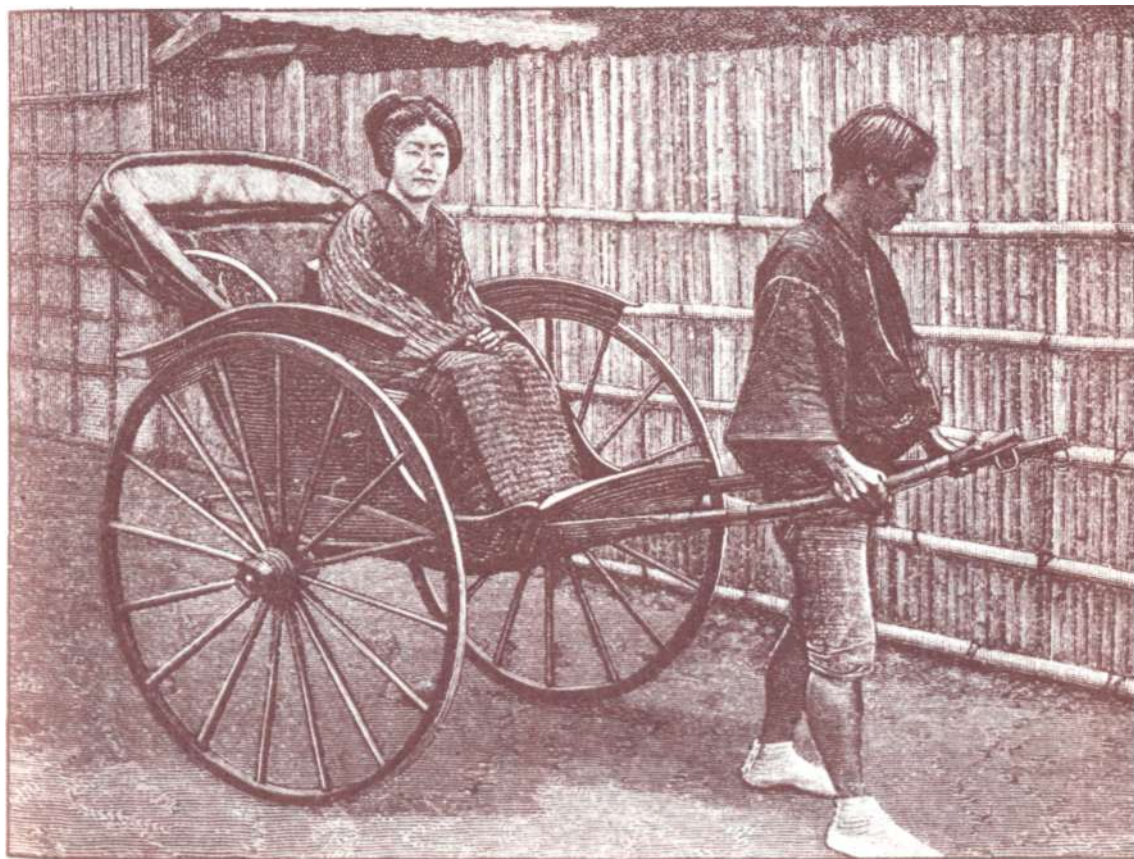
футов, принимаются в Японии за недействующий вулкан, я очень рад, что меня не представили беснующемуся чудовищу. Отнюдь не самомнение или бережливое отношение к собственной персоне, а обостренное ощущение близости огня, пылавшего под ногами, опасение, что весь механизм придет ненароком в движение, заставило меня ступать по этой земле с чрезмерной осторожностью и настаивать на немедленном возвращении.

— Хм! Да это обыкновенная котельная, которая питала твою утреннюю ванну. Все энергетические ресурсы источников находятся здесь, — сказал профессор.

— А мне какое дело до этого?! Оставь их в покое. Ты что, не слышал о взрывах котлов? Прекрати по-дилетантски шпынять землю степком! Ты отвернешь кран.

Увидев Жгучую гору, начинаешь трезво

оценивать японскую архитектуру. Она не отличается массивностью. Каждому японцу, словно между делом, приходится гореть раза два в жизни. Любое предприятие не считается надежным, если не приняло крещения огнем. Однако в этой стране пожарам не придают значения. Единственное, что причиняет в Японии настоящие хлопоты, — это землетрясение. Соответственно японец возводит такое жилище, чтобы оно, падая, в случае чего причинило ему не больше вреда, чем связка веников. Для того чтобы еще больше обезопасить себя, он не закладывает фундамента: угловые столбы его дома покоятся на макушках круглых камней, утопленных в землю. Эти опоры принимают на себя удар подземной волны, и, хотя само здание может покоситься (словно верша для ловли угрей), в сущности ничего серьезного не происходит. Вот что утверждают эпикурейцы * землетрясения. Я



хотел бы убедиться в этом сам, однако не в таком подозрительном месте, как Жгучая гора.

Я удрал из Миношиты, но, как говорится, попал из огня да в полымя. Карлик в голубых штанах швырнул меня в карликовую коляску на паутинообразных колесах и с гиканьем за полчаса домчал вниз по той самой дороге, которой мы поднимались четыре часа. Уберите все парапеты с симлинской дороги и не ухаживайте за ней десяток лет, затем, положившись во всем на милость только одного возчика, промчитесь мили четыре по любому самому крутому ее участку (однако не круче перепада к старому симлинскому театру «Гейети») — тогда узнаете, что я пережил!

«Даже шестерка горцев не смогла бы прокатыть нас в таком стиле!» — закричал мне профессор, проносясь мимо. Спицы колес его коляски, наклоненной градусов на тридцать, мелькали, словно лапки ударающей утки. С гордостью вспоминая этот пробег, я думаю, что даже шестидесяти горцам не удалось бы обойтись с саибом настолько бесцеремонно.



Подобно этому, ни одна трамвайная компания на Истинном, то есть нашем, Востоке не станет гонять свои вагончики, словно пытаясь догнать поезд, ушедший еще в прошлом году. Здесь же это необычное сооружение представляет собой семь миль узкоколейки, оборудованной весьма основательно. Имеются вагоны первого и второго класса (по две лошади на каждый), которые следуют с интервалом в сто ярдов. Один из них переполнен, другой наполовину пуст. Когда крошечный возчик не справляется с лошадьми, что случается в среднем каждые две минуты, он не тратит время на то, чтобы осадить их. Он просто завинчивает тормоз и заливается смехом, вероятно потешаясь над компанией, которая немало заплатила за каждый из этих вагонов. И все же это настоящий артист; кроме того, он даже не носит мешанской медной бляхи, как все возчики. На его короткой голубой кожаной куртке между лопатками выведены белой краской три головки рельса в круге, а на полах — столько же стилизованных трамвайных колес. Только японцам художникам известен секрет стилизации трамвайного колеса или головки рельса. Хотя на преодоление тридцати миль, отделявших нас от Иокогамы, ушло двенадцать часов, мы сочли это за приемлемую скорость передвижения, ожидая поезд в приморской деревушке. Кстати, любая японская деревня, если мерять ее по главной улице, тянется три мили. Деревня с населением более десяти тысяч человек — уже город.

«И все же, — сказал кто-то в Иокогаме вечером, — вы еще не видели местности с самой высокой плотностью населения. Это дальше, в западных кенах — административных районах, как вы их называете. Там действительно живут очень скученно, но фактически в этой стране незнакомы с бедностью.

Видите ли, сельскохозяйственный рабочий в состоянии прокормить себя и свою семью, если речь идет о рисе, на четыре цента в день, а стоимость рыбы — понятие весьма относительное. Нынешняя цена на рис — сто фунтов за доллар. Что же выходит по индийским стандартам? От двадцати до двадцати пяти сиров * за рупию. Да, приблизительно столько. Он зарабатывает до трех с половиной долларов в месяц. Японцы много тратят на удовольствия. Должны же они развлекаться! Не думаю, чтобы им удавалось экономить.

Куда вкладывают сбережения? В драгоценности? Не совсем так, хотя сами увидите, что женские булавки для волос (чуть ли не единственное украшение, которое они носят) стоят немало. За хорошую булавку платят от семи до восьми долларов, и, конечно, украшения из нефрита могут стоить сколько угодно. На что женщины действительно не скупятся, так это на свои оби, которые вы называете кушаками. Длина оби десять-двенадцать ярдов, и известны случаи, когда их продают по пятьдесят долларов за штуку. Любая женщина из обеспеченной семьи имеет по меньшей мере одно хорошее шелковое платье и оби. Да, все их сбережения идут на то, чтобы одеться. Всегда ведь стоит иметь красивое платье. Западные кены самые зажиточные. Квалифицированный механик получает там доллар-полтора в день, а, как вы уже знаете, те, кто занимаются лаками или инкрустациями, то есть художники, — даже два. В Японии достаточно денег для внутреннего обращения. Ей не приходится заниматься на строительство железных дорог. Она сама изыскивает средства. Что касается железных дорог, японцы — самый прогрессивный народ. Здесь они намного дешевле, чем в Европе. У меня есть кое-какой опыт в этом деле, и я считаю, что в среднем миля железнодорожного полотна обходится здесь в две тысячи фунтов. Я не говорю о Токайдо, которой вы проехали. Это государственная линия, и очень дорогая. Я имею в виду Японскую железнодорожную компанию, которая владеет тремя сотнями миль полотна на главном острове и линией, ведущей от Кобе на южный остров. Кроме того, существует множество мелких компаний, имеющих всего десятки миль полотна, но все они расширяются. Отчего строительство обходится так дешево? В этом, так сказать, повинна география страны. Здесь нет необходимости в перевозке рельсов на большие расстояния, потому что всюду отыщется ручеек, по которому можно доставить их почти до места назначения; лес всегда под рукой, а рабочие — ведь это японцы! У них работают несколько инженеров-европейцев, но те возглавляют департаменты, и я полагаю, что если они завтра же уберутся восвояси, то японцы обойдутся и без них. Этот народ умеет выколачивать прибыль. Одну линию начали эксплуатировать по государственной гарантии в восемь процентов. До сих пор гарантия не понадобилась.

Компания сама выживает двенадцать процентов... Здесь очень развито движение товарных поездов, которые доставляют лес и продовольствие в крупные города. Оживилось пригородное сообщение. Все это трудно себе представить, пока не увидишь собственными глазами. Складывается впечатление, что люди перемещаются по железным дорогам в радиусе двадцать миль вокруг городов — ездят по делам или в основном ради развлечения. Уверяю вас, что очень скоро Япония превратится в сплошной железнодорожный парк. Месяца через два только по Токайдо вы сможете проехать почти семьсот миль, то есть из конца в конец центрального острова. Связать страну с запада на восток значительно труднее. Посередине, словно позвоночник, тянутся горы, которые довольно суровы, и пройдет немало времени, прежде чем там сумеют проложить линии. Конечно, японцы добьются и этого. Их страна не должна стоять на месте».

«Если вас интересует политика, боюсь, что тут я ничем не могу помочь. Впрочем... японцы, если можно так выразиться, опьянены напитками Запада, они глотают их бочками, но через несколько лет разберутся, что из называемого нами цивилизацией им на самом деле необходимо, а чем можно и пренебречь. Это вовсе не означает, будто им нужно учиться, как устраиваться в жизни с комфортом: в этом они преуспевают издавна.

К тому времени, когда Япония завершит создание железнодорожной системы и познает вкус своей конституции, она успеет освоить всё, чему учили ее европейцы. Так думается. Однако необходимо время, чтобы понять эту страну. Я пробыл здесь всего около восьми лет, и мое мнение слишком поверхностно... Мне довелось познакомиться со старинными семьями, которые ведут родословную от феодальной знати. Они держатся своего круга и ведут себя смирно. Не думаю, что их можно увидеть в официальных сферах. У этих людей один существенный недостаток — живут не по средствам. Они никогда не пригласят вас в свой дом, но пригласят в свой клуб, развлекут танцовщицами и даже устроят в вашу честь грандиозное пиршество. Они не знакомят чужестранцев со своими женами и еще не отказались от правила, согласно которому жена садится за стол после того, как насытился муж. Вы скажете: так похоже на поведение туземцев в Индии! Что ж, я люблю

японцев, но, как ни верти, они — туземцы. Надеюсь, вы не считаете японцев людьми безответственными и нечестными? Китаец куда более ловкий мошенник. Однако у китайца больше здравого смысла, он хорошо понимает, что честность — лучшая политика, и ведет себя, исходя из этого. Японец же может сплутовать только ради того, чтобы избежать мелких неприятностей, и в этом отношении похож на ребенка».

В который раз я слышу подобное мнение? Европейцы твердят повсюду одно и то же о японцах, об этом искусном, трудолюбивом, низкорослом народе, который окружил себя детьми и цветами и курит табак такой же мягкий, как его манеры. Я извиняюсь за свои суждения, но должны же быть у японцев какие-нибудь недостатки? Будь они верхом совершенства, другие народы давным-давно ополчились бы на них и разбили. Тогда не было бы Японии.

— Даю тебе сутки на размышление, — сказал профессор. — Затем мы поедem в Никко и Токио. Тот, кто не побывал в Никко, не знает, что такое «изумительно»*.

Иокогама не то место, где можно приводить мысли в порядок. В двери отеля словно стучится Тихий океан; японские и американские военные корабли требуют к себе пристального внимания (для этого можно воспользоваться подзорной трубой), а если пройтись по коридорам «Гранд-отеля», то можно наткнуться на расшитых золотом испанских генералов при шпорах либо попасть в лапы зазывал из лавок древностей. Не слишком приятно повстречаться с саибом, у которого манеры делийского торговца. Он обязательно всучит вам карточку своей фирмы. Такого человека становится жаль, но вот он присаживается, угощает вас сигарой и приступает к рассказу о своих болезнях, прошлом житье в Калифорнии, где ему удавалось делать и терять деньги, о планах на будущее — и вы чувствуете, как перед вами открывается новый мир.

Поговорите с любым встречным, конечно если тот расположен к беседе, — и вы, как и я, узнаете много интересного, что может пригодиться потом. К несчастью, не все эти истории пригодны для публикации. Когда я поборол наконец соблазны окружающего мира и уселся за стол, чтобы написать нечто глубокомысленное о будущем Японии, в комнату вошел обворожительный человек с

пачками денег в кармане. Всю свою жизнь этот человек коллекционировал индийские и японские древности и приехал сюда за книгами, которых недоставало в его коллекции. Можно ли вообразить что-либо более приятное, чем эти вояжи вокруг света во всеоружии специальных знаний, которые стоят за каждой подписью в его чековой книжке?

Через пять минут он увлек меня прочь от шумной толпы карликов в тихий мир, где люди недели по три размышляли над бронзовыми безделушками или рыскали по Японии в поисках гарды меча, изготовленной каким-нибудь великим художником. В итоге их здорового надували.

— Кто сейчас считается лучшим художником Японии?

— Бедняга, он умер на прошлой неделе в Токио. Никто не может занять его место. Его звали К... Как правило, его нельзя было заставить работать, пока он не напивался. Все лучшие работы созданы им в состоянии опьянения.

— Это называется еми* . Художник никогда не пьянеет.

— Верно. Я покажу вам гарду меча, исполненную по его рисунку. Лучшие мастера этой страны любят заниматься дизайном. К... тратил массу времени на придумывание безделушек для своих друзей. Если бы он занимался живописью, то мог бы зарабатывать вдвое больше. Но он не терпел халтуры. Когда будете в Токио, не забудьте приобрести два небольших альбома с его рисунками; они называются «Зарисовки пьяницы». Он исполнил их в состоянии еми. Движения и выразительности в этих рисунках хватило бы на полдюжины студий. У него долго учился какой-то англичанин. Приемы К... непостижимы, хотя он мог бы передать ученикам кое-что по части техники. Вам никогда не встречались изображения вороны в его исполнении? Их сразу можно узнать. Он умел изобразить индийской гуашью самые дурные помыслы, какие только рождаются в вороньей голове. Ведь ворона — двоюродный брат дьявола. Он проделывал это двумя движениями кисти на листе бумаги в шесть квадратных дюймов. Взгляните на гарду, о которой я говорил. Видите, сколько чувства? На пластине диаметром четыре дюйма бедняга К., умерший в прошлую пятницу, изобразил фигурку кули, который пытался сложить

кусок ткани, вздутой наподобие паруса набегом игривого бриза — не порывом холодного ветра, а именно резвящимся летним ветерком. Кули наслаждался этим занятием. Кусок ткани, казалось, был тоже доволен. Минута-другая, и он будет сложен, а кули с улыбкой удовлетворения на устах отправится дальше. Вещь была задумана самим К., а исполнена добросовестным резцом скрупулезного гравера, для того чтобы занять место в кабинете какого-нибудь коллекционера в Лондоне.

— Ва, ва, — протянул я, почтительно возвращая вещицу. — Одной этой штуки достаточно, чтобы имя художника жило в веках. Жаль, что уже нельзя посмотреть на самого художника. Покажите что-нибудь еще.

— У меня есть живопись Хокусая * — великого художника, который жил в конце прошлого и начале нынешнего столетия. Даже вы, надеюсь, слышали о Хокусае?

— Да, немного. Мне говорили, что практически невозможно раздобыть его подлинные работы с автографом.

— Это правда. Я показывал эту картину японскому правительственному эксперту (в сомнительных случаях с ним советуется сам микадо) и лучшему европейскому знатоку японского искусства. И конечно же, у меня есть собственное мнение, подкрепляющее гарантию, подписанную продавцом. Смотрите!

Он развернул свиток шелка и показал фигуру девушки в бледно-голубом и сером крепе, которая несла в руках стопку только что выстиранного белья. Об этом можно было судить по корыту, стоявшему позади. Легкий темно-синий платок, обвивавший левую руку, плечо и шею, был приготовлен, чтобы завязать узел, когда белье будет опущено на землю. Кожа на правой руке просвечивала сквозь тонкую драпировку рукава. Эта рука придерживала белье сверху, другая, левая поддерживала снизу. Сквозь густые иссиня-черные волосы проглядывали очертания левого уха.

Изысканность проработки деталей, начиная с орнамента на булавках для волос и кончая отделкой колодок, поразила меня минут через пять только после того, как я наслаждался уверенной манерой исполнения в целом.

*Глава
восемнадцатая*

Легенда о ручье в Никко; история отвращения несчастья

Пурпурно-розовый город —
Лишь Время вдвое старше его...

Пятичасовое путешествие на поезде привело нас к началу двадцатипятимильного пробега на джинришке. Однако наш гид откопал где-то древний возок в японском стиле и соблазнил войти в него, обещая комфорт и скорость, намного превосходящие все, что может предложить джинришка. Если вы едете в Никко, не садитесь в двуколку. Городок, откуда мы отправлялись, был полон выючных лошадей, непривычных к виду упряжки, и чуть ли не каждое третье животное пыталось ударить копытом своих сородичей, взятых в оглобли. Это затрудняет продвижение вперед и действует на нервы до тех пор, пока ухабы дороги не заставляют забыть все на свете и помнить только о них.

В Никко ведет аллея криптомерий * — деревьев высотой до восьмидесяти футов. Они отличаются красноватыми или тусклыми серебристыми стволами, темно-зеленой листвой, похожей на перья катафалка, и напоминают кипарисы. Я говорю аллея, потому что имею в виду непрерывную дорогу длиной в двадцать пять миль, вдоль которой деревья стоят так тесно друг к другу, что сплелись корнями, образовав нечто вроде живой изгороди по обе стороны дороги. Там, где сочли необходимым учредить деревеньку (каждые две или три мили), выкорчевали несколько гигантов (словно зубы из челюсти с полным набором резцов), чтобы расчистить место для домов. Затем деревья смыкались, снова заступая в караул при дороге. Вокруг нас пламенели азалии, камелии, фиалки. «Великолепно! Удивительно! Поразительно!» — пели мы с профессором хором первые пять миль пути в перерывах между толчками. Аллея не обращала внимания на наши похвалы, и лишь плотнее смыкались деревья. Конечно, приятно читать в книге о тенистых аллеях, но в холодную погоду неблагоприятное челове-

ское сердце с радостью согласилось бы сократить на парочку миль даже такое путешествие. Мы уже не замечали окружающей нас красоты, верениц вьючных лошадей с гривами, похожими на каминные веники, и с темпераментом Эблиса *, которые брыкались на дороге, пилигримов, головы которых были повязаны белыми или голубыми платками, а ноги обуты в серебристо-серые гамашы (к спицам пилигримов были привязаны младенцы, похожие на Будду); не видели аккуратных сельских подвод, влекаемых миниатюрными ломовыми лошадками, — это везли медь из шахт и сакэ с гор, — пестроты оживленных деревенок, где все ребяташки кричали хором «Ойос!», а старики улыбались.

Серые стволы деревьев торжественно провожали нас вдоль ужасной дороги, которая местами была отремонтирована валежником, и через пять часов мы увидели Никко — деревню, которая тянулась вдоль подножия горы, а капризная природа, пожелав вознаградить за труды наши многострадальные кости, разразилась, словно смехом, потоками сол-

нечных лучей. Они озаряли немислимый ландшафт! Вокруг нас темно-зеленой стеной высились криптомерии, по голубым валунам мчался темно-зеленый поток, а через него был переброшен кроваво-красный мост из лакированного дерева, тот самый священный мост, ступать по которому могла лишь нога микадо.

Японцы — хитроумные художники. Когда-то давным-давно на ручей в Никко приехал великодушный Повелитель. Он посмотрел на деревья, на поток, на холмы, с которых тот сбегал, затем взглянул вниз по течению, где зеленели крестьянские поля, на отроги лесистых гор. «Для того чтобы связать все это воедино, необходимо яркое пятно на переднем плане», — сказал он и, проверяя свои слова, поставил под страшными деревьями мальчика в бело-голубом. Ободренный благодушием Повелителя, старик нищий осмелился спросить у него милостыню. В древности Великие обладали привилегией пробовать закалку клинка на попрошайках и им подобных. И вот Повелитель совершенно механически, не



желая, чтобы его беспокоили, отхватила старику голову. Кровь брызнула потоками чистой киновари на гранитные глыбы. Повелитель улыбнулся: «Случай разрешил загадку. Построй-ка здесь мост, — приказал он придворному плотнику, — мост такого же цвета, как эта кровь на камнях. Рядом поставьте мост из серого камня, так как я не забываю о нуждах простого люда». Он подарил мальчику тысячу золотых монет и отправился своей дорогой. Он сочинил пейзаж. Что касается крови, ее вытерли и не вспоминали о ней. Такова история моста в Никко. Ее нет в путеводителях.

Я пошел на голос реки сквозь хрупкие постройки игрушечной деревеньки, через бугристую пойму реки, пока, перейдя мост, не оказался в окружении замшелых камней, кустарника и весенних цветов. Слева от меня, напоминая красноватый бок Аравалли *, вздымался крутой склон горы, поросшей лесом; справа расстились крестьянские поля и деревенька, высились башни кипарисов. Потом мои глаза остановились на синеватой вершине горы, обрамленной полосами нарастающего снега. Отель стоял у ее подножия, и был месяц май. Затем мимо пролетел воробей, держа в клювике соломинку, потому что он был занят постройкой гнезда, — и я догадался, что в Никко пришла весна. Там, у нас в Индии, можно совершенно забыть о смене времен года.

Затем передо мной предстало около шестидесяти идолов со скрещенными ногами. Они торжественно выстроились в ряд на берегу ручья, и мои неискушенные глаза опознали небольшие изваяния Будды. Лишай покрывали их, словно налетом проказы, и все же они сохраняли величественную осанку и немигающий взгляд Лорда Этого Мира. Однако это были не Будды, а нечто иное. Возможно, эти фигуры служили когда-то подношениями знатных людей монашеским организациям либо их ставили в память о предках. Впрочем, путеводитель все вам расскажет. Фигуры напоминали сборище призраков. Вглядевшись внимательнее, я увидел, что идола все же отличаются друг от друга. Многие держали в сомкнутых руках кучки речных камешков. Наверно, их положили туда набожные люди. Когда я спросил у прохожего, что означают такие странные подношения, тот ответил: «Эти достойные образы — божества, которые играют с детьми на небесах. Для того

чтобы они не забывали о ребятишках, им и кладут в руки камешки».

Право, не знаю, говорил ли незнакомец правду, но я предпочитаю верить в эту сказку так же слепо, как в евангельские истины. Только японцы могли изобрести божество, которое играет с детьми. Я посмотрел на идолов другими глазами, и они перестали быть для меня «греко-буддийской» скульптурой, превратившись в близких друзей. Я добавил большую кучку камешков к запасу самого веселого из них. Его грудь была украшена небольшими узкими полосками бумаги с напечатанными на них молитвами, что придавало ему сходство с пожилым пастором с сомнительной репутацией, у которого пришли в беспорядок ленты воротника. Чуть выше по течению возвышалась грубая скала, в ней было высечено что-то похожее на синтоистскую кумирню. Но я сразу узнал индуистскую реликвию и даже попытался отыскать глазами знакомые красные мазки на гладких камнях. На другой, плоской скале, нависавшей над водой, красовались какие-то надписи на санскрите *, отдаленно напоминавшие знаки на тибетском моленном колесе *. Честно говоря, я плохо разбираюсь в этом и все же радовался тому, что со мной не было путеводителя. Потом я спустился к кромке воды, бурлившей между высокими берегами. Вы видели Стрид под Болтоном, там, где вся его сила проявляется, когда река сужается до двух ярдов? Стрид в Никко — усовершенствование по сравнению с тем йоркширским потоком. Голубые скалы здесь размыты водой, словно мыльный камень. Они выше человеческого роста и весной покрываются цветами азалии.

Когда я грелся на солнышке, ко мне подошел незнакомец, рассказавший про идолов. Он указал рукой на узкое скалистое ущелье: «Если бы я изобразил этот пейзаж на холсте, любой газетный критик в Англии обвинил бы меня во лжи».

И действительно, сумасшедший поток сбегал с синей горы по узкому небесно-голубому ущелью; и гора, и ущелье были испещрены розовыми пятнами; совершенно невообразимая сосна стояла над водой, словно на часах. Я отдал бы многое за то, чтобы увидеть на полотне точную копию этого пейзажа. Незнакомец же удалился, бормоча себе под нос какие-то жалобы (по-видимому, на Академию художеств).

Гид, которого натравил профессор, отыскал меня у реки и позвал «посмотреть на храмы». Я в сердцах проклял все храмы, потому что в этот миг лежал распростершись на теплом песке под сенью высокой скалы. «Очень красивые храмы, — настаивал гид, — идите, смотрите; скоро закроют, потому что жрецы перевели стрелки часов вперед». Дело в том, что Никко опережает на полчаса, стандартное время, туристы же, которые обычно прибывают сюда в три часа, едва успевают осмотреть все храмы до четырех, а это официально установленное время закрытия. Жрецы обнаружили это несоответствие, лишавшее церковь того, что ей причитается, и, будучи ее верными слугами, стали переводить часы. Теперь в Никко, где не понимали, какую ценность представляет время, все вполне удовлетворены.

Прокляв храмы, я совершил глупость, и мое несчастное перо уже не сможет должным образом оправдаться за это. Мы поднялись вверх по лестнице, выложенной серыми каменными плитами, и там придорожные криптометрии показались нам детьми в сравнении с гигантами, которые накрыли нас тенью у стен храма. Между стволами стального цвета мелькало что-то красное. Это был мост микадо. Кстати, Великий Повелитель, который убил нищего у ручья, остался очень доволен своим экспериментом. Затем, пройдя мощную каменную арку, мы вышли на великолепную площадь, гудевшую от стука молотков. Около сорока мужчин обстукивали столбы и ступеньки, как мне показалось, кумирни, построенной из сердолика и в изобилии покрытой золотом. «Это склад товаров, — бесстрастно сказал гид. — Они обновляют лакировку. Сначала снимают старую».

Вы когда-нибудь удаляли лак с деревянной поверхности? Я изо всех сил принял ся молотить по столбу, и после нескольких ударов мне удалось отслоить крохотный кусочек красного роговидного вещества. Не обнаруживая своего изумления, я поинтересовался названием еще более прекрасной кумирни, стоявшей в дальнем конце двора. Та тоже сверкала красным лаком, но над ее главным входом были вырезаны три обезьяны: одна зажимала лапами уши, другая — рот, третья закрывала глаза.

— Это здание служило конюшней, — пояснил гид. — Когда-то даймё держал здесь своих

лошадей. Эти обезьяны — троица, которая не хочет слышать зла, говорить о зле, замечать зло.

— Еще бы, — сказал я, — неплохая заставка для конюшни, где конюхи воруют зерно! — Меня сильно рассердило то, что я пал ниц перед обыкновенным складом и конюшней. Правда, равных им по красоте не найти в целом свете.

Затем мы вошли в храм или гробницу (точно не помню, что это было) сквозь резные ворота, сооруженные из двенадцати столбов. Все они сплошь покрыты резными изображениями трилистника. Верхушки трилистника смотрели на восток. Однако на одном из столбов трилистник был развернут вершинами на запад.

«Делай всех одинаково — нехорошо, — сказал гид выразительно, — обязательно случится плохое. Сделай один другой — все хорошо. Все спасай его. Ничего тогда не случится».

Насколько я понял гида, намеренное нарушение идентичного расположения рисунка на столбах служило как бы жертвой, которую Великий художник принес богам, ревниво относящимся к искусству людей. В остальном он был волен поступать, как ему нравилось (а творил он, как сам бог): с лакированным деревом, эмалью и инкрустациями, резьбой, бронзой и чеканкой. Отчитываясь за работу перед богами, художник уберегся от гнева судей, указал им на столбы, украшенные трилистником, доказав тем самым, что он обыкновенный смертный и не претендует на большее. Говорят, что художник не оставил после себя ни чертежей, ни описаний храмов Никко. За это дело мог бы взяться немец, но ему не хватит вдохновения, а француз не достигнет необходимой точности.

Я припоминаю, что проходил через дверь, петли которой были из клаузонне, перемычка — из золота, коски — из красного лака, панели — из лака черепахового цвета, а бронзовые скобы сплошь покрывала резьба. Эта дверь вела в полутемный зал, где на голубом потолке, изрыгая пламя, резвилась сотня драконов. В этом сумраке, бесшумно ступая ногами, двигался какой-то жрец. Он показал мне пузатый фонарь в четыре фута высотой, который когда-то очень давно прислали в подарок храму голландские купцы. Потолок в этом зале поддерживали столбы, покрытые красным лаком, словно присыпанным золотой пудрой. На одной из опор покоилась

лакированная стрелка свода шести дюймов толщиной, которая была покрыта то ли резьбой, то ли горельефами. Лак застыл, сделавшись тверже хрустала.

Ступени храма покрывал черный лак, а рамы скользящих ширм — красный. На создание этого чуда не пожалели сотни и сотни тысяч рупий, но не это произвело на меня впечатление. Я захотел узнать, кто были те люди, которые (когда криптомерии были еще молодыми деревцами) провели всю свою жизнь в нише или в углу храма, украшая их, а когда умирали, то завещали своим сыновьям продолжать начатое, хотя ни отец, ни его сын не надеялись увидеть работу завершенной. Я задал этот вопрос gidу, а тот ткнул меня носом в хитросплетение даймё и сегунов, то есть сообщил сведения из путеводителя.

И все же я постиг замысел Строителя. Он сказал так: «Давайте построим в Соборе кроваво-красные часовни». Итак, триста лет назад они поставили Собор, предвидя, что его опорами будут служить стволы деревьев, а крышей — само небо.

Каждый храм окружала небольшая армия бесценных каменных или бронзовых фонарей со знаком трех листьев, что является гербом даймё. Фонари эти позеленели от старости, покрылись лишаями и совсем не освещали красноватые сумерки. Внизу, у священного моста, мне казалось, что красное — цвет радости. На склоне холма, под сенью деревьев и карнизов храма, я понял, что это отсвет печали. Ведь убив нищего, Повелитель и не думал смеяться. Ему стало грустно, и он сказал: «Искусство есть искусство, оно требует любых жертв. Унесите труп и молитесь за обнажившуюся душу».

Лишь однажды в одном из дворигов храма природа словно осмелилась восстать против замысла, выполненного на склоне холма: какое-то лесное дерево, на которое не произвели впечатления криптомерии, расплескало поток нежно-розовых цветов у стены. Оно напоминало ребенка, смеющегося над непонятным ему шедевром.

— Видите того кота? — спросил гид, указав на пузатую кису, изображенную над дверью. — Спящий кот. Художник нарисовал его левой рукой. Это наша гордость.

— И ему позволили остаться левой после этого?

— О да. Он всегда был левой.

Художники, кажется, тоже одержимы неж-

ностью, которую все японцы питают к детям. Любой гид проводит вас полюбоваться этим спящим котом, но вы не ходите: он дурно исполнен.

Спускаясь с холма, я узнал, что зимой Никко скрывается под слоем снега футов в два толщиной. Когда я пытался представить себе, как выглядит броское красное, белое и темно-зеленое (тона Никко) под лучами зимнего солнца, навстречу мне попался профессор, бормочущий слова восхищения.

— Где ты был? Что видел? — спросил он.

— Был кое-где. Собрал несколько впечатлений, до которых никому нет дела, кроме их владельца.

— Значит ли это, что ты собираешься «ныть» в защиту народа Индии? — спросил профессор.

Его намек вызвал во мне такое отвращение, что в тот же день я оставил этот город, хотя гид предупредил, что половинная достопримечательностей осталась неосмотренной.

— Тут есть озеро, — сказал он, — есть горы. Вы должны идти посмотреть.

— Я возвращаюсь в Токио, чтобы изучать жизнь современной Японии. Эта местность раздражает меня, я ничего здесь не понимаю.

— Все ж, я — хороший гид в Иокогаме, — ответил он.

*Гробо
девятнадцатая*

рассказывает, как я грубо оклеветал японскую армию и редактировал «Сивил энд милитари газетт» *, которая ни в коей мере не заслуживает доверия

И сказал князь: «Да будет кавалерия!» — и стала кавалерия. Тогда он сказал: «Да будет она медленной!» — и всадники стали медленными, чертовски медленными, и он назвал их — Японская императорская конница.

Я знаю, что не прав. Мне следовало бы пошуметь под дверью дипломатической миссии ради пропуска в императорский дворец, надо бы походить по Токио и познакомиться с лидерами Либеральной и Демократической партий. Есть многое, чего я не сделал, но, как бы там ни было, прохладным утром под окном запели трубы и я услышал мерный топот вооруженных людей. Плац находился в двух шагах от отеля, а императорские войска следовали на парад. Станете ли вы после этого забивать себе голову политикой или храмами? Я побежал вслед за солдатами.

Получить подробную информацию о японской армии довольно трудно. В настоящее время она, кажется, переживает длительную агонию реорганизации. Ее численность, насколько можно понять, составляет сто семьдесят тысяч человек. Каждый обязан отслужить три года *, однако уплата ста долларов сокращает срок службы по меньшей мере на год. Так сказал человек, который сам прошел через эту мельницу; он завершил свою информацию словами: «Английская армия — нет польза. Только флот хорошо. Видел двести английская армия. Нет польза».

На плац вывели роту пехоты и эскадрон, краткости ради скажем, необученной кавалерии. Первые занимались обыкновенными перестроениями в сомкнутом строю, вторые подвергались разнообразным и необычным испытаниям. Перед первыми я снимаю шляпу, на вторых, как ни стыдно признаться в этом, презрительно указываю пальцем. Однако постараюсь описать то, что увидел. Сходство японских пехотинцев с гурками

усиливается, когда видишь их скопом. Благодаря системе всеобщей воинской повинности качество рекрутов заметно колеблется. Я заметил десятки людей в очках, и назвать их солдатами было бы низкой лестью. Надеюсь, они служили в медицинских или интендантских частях. Одновременно я насчитал несколько дюжин невысоких молодцов с бычьими шеями, объемистой грудной клеткой и узкими бедрами. Те держались прямо и вполне устраивали полковника, который командовал ими.

Солдаты, которых вывели на токийский плац, служили в 4-м либо в 9-м полку. Они упражнялись, не снимая ранцев из коровьей кожи, но не думаю, чтобы те были чем-то загружены. Полная выкладка, подобная той, которую я наблюдал у часового в Замке Осаки, вероятно, была бы намного весомее. Очкастые, низкорослые даже для Японии офицеры с головами, втянутыми в плечи, представляли из себя самый жалкий сброд, который можно собрать в этой стране. Они выкрикивали слова команд писклявыми голосами; им приходилось трусить рядом со своими людьми, чтобы не отстать от них. Японский солдат марширует широким шагом гурки, а на бегу, когда пускается легким скоком рикши, складывается почти пополам. В течение трех часов, пока я наблюдал за ними, пехотинцы сохраняли ротное построение и лишь однажды, взяв винтовки на плечо, перестроились в колонну по двое. Они держали ногу и соблюдали интервал не хуже наших туземных полков, однако заходили плечом вперед довольно беспорядочно, а офицеры не обращали на это внимания. Опираясь на небольшой собственный опыт, могу сказать, что их строевая подготовка скорее напоминала континентальную, чем нашу. Как и на наших плацах, слова команд звучали здесь также восхитительно неразборчиво; офицеры каждой полуроты то и дело покрикивали на людей, они даже замахивались на них саблями, однако как-то не по-военному. Точность движения колонны была выше всяких похвал. Пехотинцы наслаждались непрерывной муштровкой три часа, и в редкие минуты отдыха, когда принимали положение «вольно», чтобы перевести дух, я внимательно осматривал их ряды, так как стойка «вольно» говорит многое о солдате, уже утратившем утренний лоск. Они стояли действительно вольно, иначе это не назовешь, но ни одна рука не потянулась,

чтобы одернуть обмундирование, застегнуть пуговицу или поправить обувь. Когда позже они упали в положение «с колена», как ни странно по-прежнему сохраняя ротное построение, я постиг тайну штыка-ножа, которая так сильно занимала меня. Штыки коснулись земли, и я ожидал, что солдат подкинет в воздух, однако этого не случилось. Все же заметно, что военные власти скорее привязывают людей к штыкам, чем наоборот. При движении беглым шагом никто не хватался рукой за патронташ, не пытался поддерживать штык, что ежедневно наблюдается во время стрелковых упражнений на стрельбищах в Индии. Они бежали так же чисто, как наши гурки.

Конечно, не по-христиански так думать, но очень хотелось бы увидеть эту роту под огнем равного ей количества нашей туземной пехоты, чтобы узнать, чего она стоит на самом деле. Если японцы стойки в бою (а в прошлом не слишком много указывает на обратное), тогда, должно быть, представляют из себя первоклассного противника. Под командованием британских офицеров (вместо этих образчиков из анатомички, которыми они располагают в настоящее время), вооруженные винтовкой улучшенного образца, они не уступили бы любым войскам, сформированным восточнее Суэца. Конечно, я говорю только о тех разворотливых людях, которых видел. Самая невыгодная сторона всеобщей воинской повинности в том, что приходится «заметать» массу граждан четвертого, а то и пятого сорта, которые хотя и способны носить оружие, но причиняют солидный ущерб моральному состоянию и выправке полка благодаря своим вполне простительным недостаткам. На марше японские солдаты и не думают идти в ногу, они подвязывают к портупее всевозможные вещи, волокут узлы, сутулятся и пачкают обмундирование. Такова беглая оценка японской пехоты. Кавалеристы устроили пикник на другом конце плаца. Они заезжали кругами вправо и влево по отделениям, пытались проделать то же самое повзводно и так далее. Хочется верить, что джентльмены, за действиями которых я наблюдал, были новобранцами. Однако все кавалеристы были при оружии, а их офицеры не умнее своих подчиненных. Добрая половина кавалеристов вырядились в белые нестроевые куртки, плоские фуражки и полусапоги с низкими голенищами из корич-

невой кожи, с короткими охотничьими шпорами на черных ремешках. Их вооружение составляли карабины, заброшенные за спину, и палаши. Мартингалы* отсутствовали, только подперся* и подхвостник. Огромное, тяжелое седло с единственной подпругой поверх двух потников завершали экипировку, от которой пыталась освободиться лошадь (сплошная грива и хвост). Если пахнуть двухфунтовый мундштук и трензель* в небольшой рот японской лошади, можно понять, как она оскорбится. Когда всадники заворачивают лошадей (чем и занимались мои друзья), натянув на руки белые шерстяные перчатки, им очень трудно держать поводья как положено. Если всадник, сидящий чуть ли не на шее лошади, хватается за повод обеими руками и держит костяшки пальцев на одном уровне с ушами животного, когда стременные ремни подтянуты до предела, шансы лошади сбросить с себя седока сильно возрастают. Даже во сне я не видел такой верховой езды. Вы помните картинку из «Алисы в стране чудес», когда Алиса (еще до того, как она познакомилась со Львом и Единорогом) повстречалась в лесу с вооруженными людьми? Я вспомнил последних, а также Белого Рыцаря (персонаж того же произведения) и громко рассмеялся. Здесь передо мной были превосходные, горячие, упрямые, словно козлы, кони. Учитывая вес этих коней и японских всадников, из тех и других, вместе взятых, скорее можно сформировать совершенную конную пехоту, а нация слепых подражателей пыталась превратить их в тяжелую кавалерию. Пока лошадак заставляли трусить по кругу, они не противились, однако, когда дело дошло до рубки, заупрямились. Я подвинулся ближе к отделению, кавалеристы которого, вооружившись длинными деревянными саблями, прилежно рубили «турецкую голову». Лошадь пускалась вскачь легким галопом, а всадник, схватив в одну руку поводья, другой, словно копые, держал саблю. Затем лошадь делала скачок в сторону и начинала описывать круги вокруг столба. Я не видел, чтобы всадники давили коленом или пришпоривали, дабы заставить лошадь понять, что от нее требуется. Наездник попросту полосовал шпорами бока несчастного животного от плеч до крестца и потрясал скобяными изделиями на его губах. Не имея возможности стать на дыбы, лягаться или брыкаться, лошадь тут же сбрасывала с себя злого демона, который

немедленно оказывался на земле. Такое случилось трижды. Слово «падение» было бы слишком почетным для описания этой катастрофы. Всадники демонстрировали чудовищное неумение сидеть на лошади (плюс шерстяные перчатки, езда с помощью одних рук и рыхлая, словно стог сена, экипировка). Нередко лошадь наезжала на столб, и тогда кавалерист наносил косой удар по «турецкой голове», при этом он едва не вылетал из своего не в меру обширного седла. Такое случалось много раз.

Не покривив душой, могу сказать, что японские военные лошади охотно покидают строй, что недопустимо в английской кавалерии. Однако, как мне представляется, виновато скорее своенравие животных, чем некавалифицированная выездка. Раза два эта кавалерия бросалась ужасным галопом в атаку. Когда всадники хотели сдержать лошадей, то откидывались в седле назад, тянули за поводья — лошади упирались головой в землю, и... пиши пропало. Потом они «атаковали» меня, но я проявил снисходительность, воздержавшись от того, чтобы опустошить половину седла, хотя это можно было наверняка сделать, резко выбросив вперед руку с выкриком «Хи!». Однако печальнее всего выглядела та болезненная добросовестность, которую проявляли участники этого циркового представления. Они были обязаны превратиться в кавалерию, хотя не имели понятия о выездке, и все, что бы ни проделывали, было неправильно, но, несмотря на это, их «крысы» должны стать кавалерийскими лошадьми. Почему бы не осуществиться этому? На лицах кавалеристов было написано трогательное и жалкое изумление, и мне захотелось взять одного из них на руки, чтобы объяснить кое-что, например как пользоваться уздой и всю тщетность попыток «висеть на шпорах»... Когда закончился парад и войска перешли на иноходь, само провидение послало через плац по диагонали какого-то крупного, костистого мужчину верхом на взмыленной длинноногой рыжей американской лошади, идущей галопом. Зверь всхрапывал и, распустив хвост, словно стяг на ветру, буквально летел над плацем, а всадник, опустив одну руку, спокойно покачивался в седле. И лошадь, и этот всадник словно свели потуги кавалеристов к нулю. Действительно, должен же кто-то подсказать микадо, что японская лошадка никогда не станет драгунским конем.

Если случайности и переменчивость военной судьбы сведут вас с японскими войсками в бою, обойдитесь помягче с их кавалерией. Она не причинит никакого вреда. Положите несколько петард под ноги их лошадям, а потом снарядите команду подобрать останки. Однако при встрече с японской пехотой, ведомой офицером с континента, открывайте беглый огонь, и как можно раньше, с самой большой дистанции. Эти дурные человечки умеют слишком многое.

Окончательно определив военные способности этой нации на примере двух сотен людей, выбранных наугад, подобно тому как проделал ранее мой японский друг, который оценил нас в начале этого письма, я посвятил себя изучению Токио.

Устал от храмов. Их монотонное великолепие вызывает головную боль. Вы тоже устанете от храмов, если только не являетесь художником, но в таком случае опротивите самому себе. Одни говорят, что Токио не уступает по площади Лондону, другие — что город достигает не больше десяти миль в длину и восьми в ширину. Есть много способов разрешения этой задачи. Я отыскал чайный домик в саду на зеленом плато и забрался туда по пролетам лестниц, где на каждой ступеньке улыбалась хорошенькая девушка. С этой высоты я взглянул на город и увидел сплошные крыши — перспектива была отмечена бесчисленными фабричными трубами, — затем прогулялся несколько миль и нашел парк на другой возвышенности, где было еще больше прелестных девушек. Я снова посмотрел на город — он тянулся уже в другом направлении и снова — насколько хватало глаз. Если считать, что при ясной погоде дальность видимого горизонта — восемнадцать миль, получается, что ширина Токио — тридцать шесть миль, хотя нескольких миль я мог и недосчитаться.

Жизнь била ключом во всех кварталах. Вдоль главных артерий города миля за милей бежали двойные трамвайные линии; у вокзалов рядами стояли omnibusы; на улицах «Компани генераль дё omnibus дё Токью» демонстрировала свои красные и позолоченные вагоны. Трамваи были переполнены, общественные и частные omnibusы тоже, кроме того, улицы кишели рикшами. От берега моря до тенистого зеленого парка и далее, до самого горизонта, терявшегося в дымке, земля словно кипела людьми.

Здесь без труда наблюдалось, насколько западная цивилизация растлила японцев. Каждый десятый с головы до ног был одет по-европейски. Странная раса! Она пародирует любой тип людей, характерный для крупного английского города. Вот толстый самодовольный купец с бакенбардами бараньей котлеткой; кроткий длинноволосый профессор естественных наук в мешковатой одежде: школьник в итонской куртке и черных суконных брюках; молодой клерк во фланелевой теннисной рубашке — член клэпхемского атлетического клуба; мастеровой в сильно поношенном твиде; юрист с цилиндром на голове, выбритой верхней губой и черной кожаной сумкой в руках; безработный моряк; приказчик. За полчаса вы встретите в Токио всех их и многих других. Если желаете объясниться с такой «имитацией», учтите, что она говорит только по-японски. Прощупайте ее — она окажется вовсе не тем, чем казалась. Я фланировал по улицам, пытаясь завязать беседу с людьми, которые больше других смахивали на англичан. Их вежливость не соответствовала одежаниям, и все же они не знали ни слова на моем родном языке. Лишь мальчуган в форме военно-морского колледжа сказал неожиданно: «Я говорить английски» — и тут же осекся. Остальные изливали на мою голову потоки японских слов. Однако вывески магазинов и товары, трамвайная линия у меня под ногами, объявления на улицах были английскими. Я бродил словно во сне. Далеко от Токио, в стороне от железной дороги, я тоже встречался с подобными людьми, одетыми на английский манер и тоже «немыми». Наверное, таких очень много в этой стране.

«Боже правый! Вот Япония, жаждущая окупиться с головой в цивилизацию, даже не зная языка, на котором можно хотя бы сносно произнести «черт побери!» Это надо изучить». Случай привел меня к зданию газетного офиса, и я вбежал туда, требуя встречи с редактором. Он вышел ко мне, редактор «Токьо Паблик Опиныон», — молодой человек в темном сюртуке.

В других частях света отыщется немного редакторов, которые, прежде чем приступить к беседе, предложат вам чашку чаю и сигарету. Мой друг немного говорил по-английски. Его газета, хотя название печаталось по-английски, была японской. Однако он знал свое дело. Не успел я рассказать ему о

своем поручении, которое состояло в приобретении всевозможной информации, как он задал вопрос: «Вы англичанин? Что вы думаете о пересмотре Американского договора?»* Появилась записная книжка, и я облился холодным потом: мы вовсе не договаривались, что я буду давать интервью. — Очень многое, — ответил я, вспомнив блаженной памяти сэра Роджера, — очень многое необходимо сказать той и другой стороне. Пересмотр Американского договора... хм... требует тщательного изучения и может быть без риска отнесен...

— Однако Япония уже стала цивилизованной...

Итак, Япония заявляет, что она стала цивилизованной страной. Насколько я мог судить, в этом-то и заключалось все дело. «Давайте покончим с идиотской системой открытых портов и паспортов для иностранцев, выезжающих внутрь страны, — вот что в действительности заявляет Япония. — Предоставьте нам место в цивилизованном мире и тогда общайтесь с нами, торгуйте, пользуйтесь нашей землей. Однако подчиняйтесь нашей юрисдикции и согласитесь с нашими тарифами».

Поскольку к настоящему времени одно-два европейских государства уже добились обычными способами специальных тарифов на свои товары, они не слишком-то ревностно стремятся оказаться в числе, так сказать, «обыкновенных смертных». Японская точка зрения великолепно отвечает интересам отдельных европейцев, которые мечтают проникнуть в эту страну, чтобы делать там свои деньги, однако она не устраивает европейские государства в целом и особенно — наше.

Тем не менее я не был готов к тому, чтобы мое полнейшее неведение в наболевшем вопросе оказалось в чьей-либо записной книжке, кроме моей собственной. Я принялся «гладстонить»* в самых витиеватых выражениях. Мой друг записывал все это в манере графа Смортлорка*. Затем я атаковал его, то есть их цивилизованность. Мне пришлось говорить медленно, потому что редактор страдал привычкой записывать два моих слова одним, тем самым обращая их в нечто совершенно неожиданное.

— Вы правы, — сказал он, — мы лишь становимся цивилизованными. Но не очень быстро, и это неплохо. Мы имеем две партии: Либеральную и Радикальную; один вельможа возглавляет одну, другой — другую. Радикал

говорит, что нам необходимо как можно скорее превратиться в англичан. Либерал настаивает, что не надо торопиться, поскольку нация, которая поспешно перенимает привычки других народов, подвержена деградации. Вопросы цивилизации и Американский договор занимают все наше внимание. Сейчас мы уже не горим желанием сделаться цивилизованными, как хотели того два-три года назад. Не так скоро — вот наш девиз.

Если после зрелого размышления я должен был бы согласиться с вещами, которые, возможно, не совсем понял, то и тогда тем не менее все же страстно желал бы, чтобы Япония поторопилась. Некоторое время мы сравнивали наши цивилизации, и я стал слабо протестовать против застройки улиц Токио домами явно европейского типа.

— Есть ли необходимость в отказе от вашей собственной архитектуры? — сказал я.

— Ха, — выдохнул главный редактор «Токио Паблик Опиньон». — Вы называете ее живописной. Я тоже. Подождите, пока мы не загоримся и не вспыхнем как факел. Японский дом — готовая топка с дровами. Вот почему мы считаем, что нужно строить дома по-европейски. Говорю вам — и вы должны мне поверить, — мы ничего не изменяем, не подумав прежде. И мы вовсе не любопытны, как дети, хотя некоторые утверждают это. Прошло то время, когда мы, можно сказать, хватались за любые вещи, а потом отбрасывали их в сторону. Понимаете?

— В таком случае, где вы подобрали свою конституцию?

Я не знал, куда заведет вопрос, однако надо же было казаться мудрецом. Первое, с чем японец обращается к англичанину в железнодорожном вагоне: «У вас есть английский перевод нашей конституции?» Ее экземпляры продаются как на английском, так и на японском языках во всех книжных киосках. Все газеты обсуждают конституцию. «Ребенку» еще не исполнилось трех месяцев.

— Наша конституция? Нам обещали ее. Обещали двадцать лет. Четырнадцать лет назад провинциям разрешили избирать своих старейшин — губернаторов. Три года назад им позволили создавать ассамблеи. Таким образом были обеспечены гражданские свободы. Здесь я попал в тупик. Может быть, мне показалось, что муниципалитетам предоставили возможность в чем-то контролировать фонды полиции и назначать должностных

лиц? Возможно, я понял все совершенно иначе, однако главный редактор закружил меня в вихре слов. Размахивая руками, он раскачивался из стороны в сторону, потому что бился над разрешением двух проблем сразу: подбирал иностранные слова для выражения своих мыслей и одновременно объяснял всю серьезность намерений Японии. Его ладошка прошла по крохотному столу — и чайная посуда снова подпрыгнула. — Истинная правда, наша конституция пришла недостаточно скоро. Она приближалась шаг за шагом. Понимаете? Ваша конституция и конституции других иностранных держав — все они обгарены кровью. Наша пришла постепенно. Мы не дрались, как ваши бароны с королем Джоном при Раннимеде*.

Это была выдержка из речи, произнесенной несколько дней назад в Отсу членом правительства. Я ухмыльнулся над братством всех редакторов мира. Его рука снова поднялась в воздух.

— С нашей конституцией и нашим цивилизованным народом мы будем счастливы в лоне мировой цивилизации.

— Конечно, но что вы собираетесь делать с конституцией. Ведь это такая вещь, трудиться над которой после того, как проходит радость от выборов первых членов парламента, весьма утомительно. У вас есть парламент или еще нет?

— О да! С партиями. Либералы и радикалы.

— В таком случае обе партии вскоре начнут лгать вам и друг другу, потом займутся утверждением биллей и будут проводить время во взаимной борьбе. Вот тогда иностранные правительства установят, что у вас нет твердого политического курса.

— А...да. Но конституция... — Ручонки скрестились на коленях, сигарета безвольно вывалилась изо рта.

— Вот именно, нет твердого политического курса. Иностранные державы дождутся, когда либералы и радикалы схлестнутся понастоящему и тогда выведут вас на чистую воду.

— Вы не шутите? Я не совсем понимаю вас, — сказал он. — Ваши конституции все кровавые.

— Да, они именно таковы. А вы серьезно верите в то, что заявляете о своей или нет?

— О да. Мы только то и делаем, что говорим о политике.

— И конечно, пишете о политике. Кстати

сказать, на основе каких... хм, соглашений с правительством издается японская газета? Я хочу спросить, нужно ли кое-что заплатить, прежде чем приступить к изданию?

— Литературные, научные и религиозные издания — нет. Совершенно свободно. Все чисто политические газеты платят пятьсот йен, то есть передают правительству на сохранение... либо кто-то другой говорит, что заплатит.

— Вы должны предоставить гарантию? Вы это хотите сказать?

— Я не знаю. Но иногда правительство может задержать деньги. Мы — чисто политическая газета...

Затем он задал несколько вопросов, касающихся Индии, и, казалось, был сильно удивлен, узнав, что туземцы там значительная политическая сила и управляют округами.

— У вас есть конституция в Индии?

— Боюсь, что нет.

— А!

Здесь он разбил меня вдребезги, и я униженно покинул его, ободренный, однако, обещанием, что в одном из номеров «Токио Паблик Опиньон» появятся мои слова. К счастью, это почтенное издание выходит только на японском языке, так что «фарш» не будет подан к большому столу. Хотелось бы знать, какое значение он придал моему прогнозу относительно судьбы конституционного правительства в Японии...

«В эти дни все мы говорим о политике». Эта фраза предназначалась мне. Что ж, получился грандиозный разговор. Люди из департамента просвещения рассказывали, что студенты готовы говорить о политике часами, дай только волю. В настоящее время они абстрактно обсасывают новую игрушку — конституцию с ее Верхней и Нижней палатами, комитетами, вопросами снабжения, поставками, процедурными правилами и прочим вздором, которым мы забавляемся уже шестьсот лет.

Япония — вторая страна на Востоке, которая откасалась от власти одной «сильной личности». Она сделала это добровольно, а вот Индия была изнасилована Государственным секретарем и членами английского парламента.

Япония счастливее Индии.

*Баба
двигается*

показывает, в чем сходство между бабу и японцем; содержит крик души неверующего и объяснения мистера Смита из Калифорнии; приводит на борт корабля после соответствующего предупреждения всем, кто последует по моим стопам

Мы печально уезжаем, сдавши сердце под залог
За сосну, что смотрит в город, за доверчивый цветок,
И за вишни, и за сливы, и, куда ты ни взгляни, —
За детишек, ох, детишек, озорующих в тени!
На восток-хо! — через воды вдаль уходят корабли
Из страны детишек малых, где все дети — короли.

Профессор нашел меня в самом сердце Токио, когда я в окружении девушек из чайного домика предавался раздумьям в дальнем углу парка Уэно. Мой рикша сидел подле меня, попивая чай из тончайшего фарфора и заеда его макаруню *. Уставившись в голубое небо с бессмысленной улыбкой на устах, я размышлял об осле, который фигурирует у Стерна *. Девушки захихикали, когда одна из них завладела моими очками и, водрузив их на свой вздернуто-приплюснутый носик, принялась резвиться в кругу подружек.

— Запусти пальцы в локоны стройной как кипарис прислужницы, разливающей вино, — продекламировал неожиданно появившийся из-за беседки профессор. — Почему ты не на приеме в саду микадо?

— Потому что меня не пригласили. К тому же император и императрица, а следовательно, и все придворные одеваются по-европейски... Давай-ка присядем и обсудим все хорошенько. Эти люди озадачили меня.

И я поведал об интервью у редактора «Токио Паблик Опиньон». Кстати сказать, в то же самое время профессор занимался исследованиями в департаменте просвещения Японии.

— Более того, — сказал профессор, выслушав мой рассказ, — страстное желание образованного студента — подкопаться под правительство. За этим он приезжает в Токио и согласен на все, что угодно, лишь бы остаться в столице и не упустить своего шанса.

— Чей же он сын, этот студент?

— Сын фермера, крестьянина-йомена, лавочника, акцизного. Пребывая в ожидании, он впитывает наклонности республиканца — видимо, на него влияет Америка, которая расположена по соседству. Он говорит, пишет, спорит, будучи убежденным, что сможет управлять страной лучше самого микадо.

— И он бросает учебу и начинает издавать газету, чтобы доказать это?

— Да, он способен на такой поступок. Но, кажется, это неблагоприятный труд. Согласно действующему законодательству, газету могут прикрыть без объяснения причин в любое время. Мне только что рассказали, что на днях некий предприимчивый редактор получил три года самого обыкновенного тюремного заключения за то, что напечатал карикатуру на микадо.

— В таком случае не все так уж безнадежно в Японии. Однако я не совсем понимаю, как народ, наделенный бойцовскими качествами и острым художественным чутьем, может интересоваться вещами, которые доставляют такое удовольствие нашим друзьям в Бенгалии?

— Ты совершаешь ошибку, если рассматриваешь бенгальцев как явление уникальное. У них просто свой стиль. Я понимаю дело так: на Востоке опьянение политическими идеями Запада всюду одинаково. Эта одинаковость и сбивает тебя с толку. Ты следишь за моей мыслью? Ты сваливаешь в одну кучу и японца, и нашего Chatterjee * только потому, что первый сражается с проблемами, которые ему не по плечу, пользуясь фразеологией студента Калькуттского университета, и делает ставку на администрирование.

— Вообще нет. В отличие от японца Chatterjee не вкладывает капитал в железные дороги, не печется об улучшении санитарного состояния родного города, в общем-то его даже не интересуют дары новой жизни. Подобно «Токью Паблик Опинон», он — «чисто политический», то есть не владеет ни искусством, ни оружием и не склонен к ручному труду. Однако, подобно японцу, он с упоением занимается политикой. Ты когда-нибудь изучал Патетическую политику? Почему все же Chatterjee так похож на японца?

— Полагаю, оттого, что оба пьют, — ответил профессор. — Скажи этой девушке, чтобы она вернула твои стекляшки, — тогда ты сможешь поглубже заглянуть в душу Дальнего Востока.

— У Дальнего Востока нет больше души. Он променял ее на конституцию, принятую одиннадцатого февраля. Но разве конституция может нести ответственность за покроя европейского платья в Японии? Я только что видел леди-японку в полном снаряжении для визитов. Она выглядела гадко. Ты обратил внимание на позднее японское искусство: картинки на веерах и в витринах магазинов? Вот точное воспроизведение происшедших перемен: телеграфные столбы на улицах, стилизованные трамвайные линии, цилиндры, ковровые сумки в руках у мужчин. Художник в состоянии заставить эти вещи выглядеть сносно, однако когда дело доходит до стилизации европейской одежды — эффект отвратительный.

— Япония желает занять место среди цивилизованных наций, — сказал профессор.

— Вот откуда все страсти. Можно проследиться, наблюдая за усилиями, направленными не в ту сторону, за этим копанием в безобразном ради того, чтобы добиться признания у людей, которые белят свои потолки, красят черным каминные решетки, сами каминные — в серое, а экипажи — в желтое или красное. Микадо одевается в золото, в голубое и красное; его гвардия носит оранжевые штаны в голубую полоску; миссионер-американец обучает молоденькую японку носить челку, заплетать волосы в пороссячий хвост и перевязывать его лентой, окрашенной синей или красной анилиновой краской. Немец продает японцам оскорбительные хромолитографии и этикетки для пивных бутылок. «Аллен и Джинтер» наводнили Токио своими кроваво-красными и светло-зелеными банками с табаком. И перед лицом всего этого страна желает шествовать навстречу цивилизации! Я прочитал всю Конституцию Японии — за нее дорого заплачено ярко размалеванным omnibusом, катящимся по здешним улицам.

— Уж не собираешься ли ты выложить весь этот вздор о японцах у нас дома? — спросил профессор.

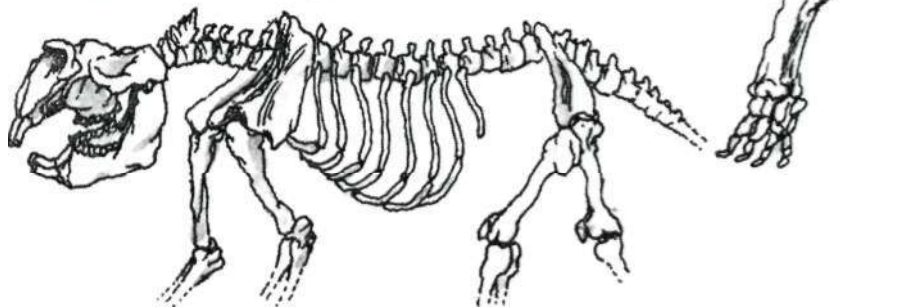
— Собираюсь. И вот почему. В грядущем, когда Япония променяет все свои, так сказать, первородные права на привилегию быть обманутой своими соседями на равных условиях, влезет в долги за свои железные дороги и общественные работы, финансовая помощь Англии и аннексия станут для нее единственным выходом из положения. Когда обеднев-

шие даймё снесут свои драгоценности торговцу древностями, а тот продаст их коллекционеру-англичанину; когда все японцы поголовно оденутся в готовое европейское платье; когда американцы поставят свои мыловаренные заводы на берегах японских рек, а бординг-хаузы — на вершине Фудзиямы, кто-нибудь обратится к подшивке «Пионера» и заметит: «Все это было предсказано». Тогда японцы пожалеют, что по собственной воле связались с гигантским сосисочным автоматом цивилизации. Что заложишь в приемную камеру, то и получишь, только в виде фарша, черт возьми! А теперь отправимся взглянуть на гробницу сорока семи ронинов*.

— Все это уже было сказано и намного лучше, — отозвался профессор аргорос тех мелочей, которые я подметил.

Расстояния в Токио измеряются минутами и часами. Сорок минут на джинришке, если рикша бежит изо всех сил, приблизят вас к городу; еще два часа, считая от Уэно-парка, приведут к знаменитой гробнице. По пути вы не минуете великолепных храмов Шивы*,

*Некое низкое
животное по
имени В. Гей
сочло для себя
уместным
нацарапать
по золоту свое
именно ничего
не говорящее имя.*



которые описаны в путеводителях. Лаки, накладная бронза и хрусталь, на поверхности которого выгравированы слова «Ом» и «Шри»*, — вещи, великолепные для обозрения, однако они не поддаются такой же изысканной обработке словом. В гробнице одного из храмов была комната с лакированными панелями и накладными золотыми листьями. Некое низкое животное по имени В. Гей сочло для себя уместным нацарапать по золоту свое никому ничего не говорящее имя. Потомки, конечно, отметят, что этот В. Гей никогда не стриг ногти и ему не следовало бы доверять что-либо изящнее свиного корыта.

— Обрати внимание на автографы, — сказал я профессору. — Скоро здесь не останется ни лака, ни золота — ничего, кроме отпечатков пальцев иностранцев. Все же давай помолимся за душу В. Гея. Возможно, он был миссионером.

* * *

Иногда японские газеты помещают следующие объявления, втиснув их между рекламами железной дороги, горнорудной промышленности и трамвайных концессий; «Прошлым вечером доктор... совершил харакири в своей личной резиденции на такой-то улице. Мотивом осуществления акта послужило осложнение семейных обстоятельств». Харакири ни в коей мере не означает обыкновенно-

го самоубийства каким-то особым способом. Хакари есть хакари, и интимное исполнение его еще более отвратительно, чем официальное. Трудно себе представить, что любой из этих подвижных человечков с цилиндрами на головах и с ридикулями в руках, добившихся собственной конституции, может в минуту душевного расстройства, раздевшись до пояса, сотворив молитву и напустив волосы на глаза, вспороть собственный живот. Когда приедете в Японию, взгляните на рисунки Фарсари, где изображается хакари, и выполненную им фотографию последнего распятия на кресте, которое имело место в этой стране двадцать лет назад. Когда будете в Декине, попросите показать вам копию головы джентльмена, не так давно казненного в Токио. В этом образчике позднего искусства проявлена какая-то мрачная скрупулезность, вызывающая чувство неловкости. В силу определенной общности в складе ума с другими обитателями Востока японцы наделены характерной жилкой кровожадности, которая сейчас тщательно завуалирована. Однако некоторые картины Хокусая обнаруживают кое-что, доказывая, что еще недавно люди упивались открытым проявлением жестокости. Тем не менее японцы относятся к детям с нежностью, намного превосходящей это чувство на Западе; они взаимно вежливы, немного опережая в этом англичан, и предупредительны к иностранцам как в больших городах, так и в провинции. Во что они превратятся, когда их конституция поработает три поколения, знает только провидение, которое сотворило их таковыми, каковы они есть.

Весь мир, кажется, готов снабжать японцев советами. Некто полковник Олкотт * бродит сейчас по Японии, убеждая японцев в том, что буддизм необходимо реформировать, предлагает свою помощь в этом и всем напоказ подает рисовую кашницу, которая подается ему в чашке восхищенными служанками. Путешественник, вернувшийся из Киото, рассказывает, что всего три дня назад в великольном Чион-Ине видел полковника в рядах буддийских монахов во время процессии, подобной той, которую я тщетно пытался описать: «Он ступал так, будто представление было организовано в его честь». Помпезность этого мероприятия вообще трудно вообразить, если вы не видели ни полковника, ни храм Чион-Ин. Оба сложены по различным

канонам и поэтому, кажется, не гармонируют. Под криптомериями Никко недостает лишь мадам Блаватской * с сигаретой во рту да появления мистера Кейна * (члена парламента) и того, чтобы они проповедовали против греховного употребления сакэ, — тогда зверинец будет полон.

Однако пора что-то делать с Америкой. В Японии много американских миссионеров, и некоторые из них наспех сколачивают дощатые церквухи и часовенки, но никакая духовная убежденность этих людей не в состоянии компенсировать безобразный вид подобных построек. Миссионеры еще глубже внедряют в сознание японцев дурную идею «прогресса». Они поучают, что обогнать ближнего просто необходимо ради улучшения своего положения, да и вообще следует разбиться в лепешку в борьбе за существование. Они не проповедуют этого буквально, но их неумная деловитость подает пример. Американец вызывает раздражение. И все же (эти строки писаны в Йокогаме) до чего обворожителен американец, чья речь очищена от дурных словечек и понижающей интонации! Я только что встретил одного такого — калифорнийца. Он был вскормлен в Испании, возмужал в Англии, вышколен в Париже, но везде он оставался непременно калифорнийцем. Его голос и манеры были одинаково вкрадчивы, суждения — умеренны и выражались умеренными выражениями, его житейский опыт был велик, юмор — неподдельный, а слова текли из его уст, едва их успевал отчеканить монетный двор разума. Только в самом конце беседы он несколько обескуражил меня.

— Насколько я понимаю, вы собираетесь провести некоторое время в Калифорнии? В таком случае разрешите дать вам небольшой совет. Я буду говорить о наших городах, которые все еще славятся грубыми нравами. Так вот, когда вам предложат выпить, немедленно соглашайтесь, а затем ставьте сами. Не хочу сказать, что вторая часть программы настолько же обязательна, как и первая, однако необходима для вашего полного спокойствия. Запомните прежде всего: куда бы вы ни пошли, не имейте при себе оружия. Люди, с которыми вам придется общаться, привыкли ко всякому. К несчастью, в некоторых районах Америки первым схватиться за оружие — вопрос жизни или смерти, равно как и обычной практики... Я знаю немало печальных случаев, которые произошли отто-

*К несчастью,
в некоторых
районах Америки
первым
схватится
за оружие —
вопрос
жизни или
смерти.*



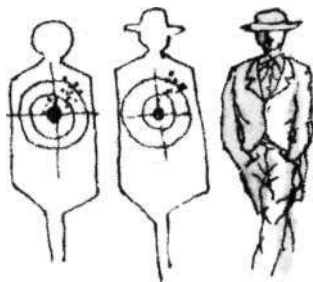
го, что человек, носивший револьвер, не умел им пользоваться. Вы смыслите что-нибудь в оружии?

— Н...нет, — пробормотал я, — конечно, нет.

— Вы собираетесь носить при себе револьвер?

— Разумеется, нет. Я же не самоубийца.

— В таком случае вы спасены. Но помните, что вы будете вращаться в кругу людей, которые ходят хорошо вооруженными, — услышите много рассказов и небылиц по этому поводу. Конечно, вы можете послушать эти рассказы, но не должны приобщаться к самой привлекательной ноше револьвер, как бы вас ни искушали. Вы лишь ускорите свою смерть, если прикаснетесь к оружию, в котором не разбираетесь. В местах с дурной репутацией никто не размахивает оружием зря. Оно извлекается с вполне определенной целью и прежде, чем вы успеете моргнуть глазом.



— Но ведь если обнажить оружие первым, то можно добиться преимущества перед соперником, — сказал я, расхрабравшись.

— Вы так думаете? Смотрите! Вообще я не пользуюсь оружием, но кое-что у меня все-таки есть. Унция демонстрации стоит тонны теории. Футляр вашей трубки лежит на столе. Мои руки тоже на столе. Попробуйте воспользоваться этим футляром как револьвером, и побыстрее.

Я действовал футляром в манере, одобренной грошовыми романами ужасов: нацелился напряженной вытянутой рукой в голову моего друга. Но, раньше чем я сообразил, что произошло, футляр вылетел из моей руки, которая была перехвачена «противником» у локтя. Прежде чем до моего сознания дошло, что от моей руки нет толка, над столом раздалось четыре щелчка. Джентльмен из Калифорнии успел в одно мгновение извлечь из кармана свой револьвер и, держа оружие у

бедр, четырежды нажать на спусковой крючок. Я не успел даже вытянуть руку.

— Теперь верите? — спросил американец. — Только англичанину или человеку из наших восточных штатов придет в голову стрелять с плеча, словно в мелодраме. Я разделался с вами, прежде чем вы успели изготoвиться, и все оттого, что мне знаком этот фокус. Однако есть люди, которые, когда надо, разделяются со мной так же легко, как я — с вами. Им не нужно тянуться за револьвером, как пишут романисты. Оружие всегда под рукой, спереди, у второй пуговицы на подтяжках. Эти люди стреляют не целясь прямо в живот. Теперь понимаете, почему, если вспыхнет ссора, необходимо четко показать, что вы не вооружены. Совершенно не обязательно поднимать руки вверх. Выньте их из карманов и держите где угодно, лишь бы ваши друзья видели их. Тогда вас пальцем не тронут. А если кто-нибудь посмеет, будьте уверены, что его тут же застрелят по единодушному приговору собравшихся.

— Своеобразное утешение для трупа, — сказал я.

— Понимаю, что обескуражил вас. Однако не думайте, что на любой территории Америки люди настолько безответственны и разнузданны. Только в немногих городах, где преобладают истинно крутые нравы, необходимо не иметь при себе оружия. В других местах — пожалуйста. Многие мои знакомые в Америке обыкновенно носят при себе что-нибудь, но это просто так, в силу привычки. Они даже не помышляют прибегать к помощи револьвера, правда если их к этому не принуждают. Беспокойство может причинить лишь тот, кто вытаскивает эту игрушку, чтобы привести веские аргументы в пользу консервирования персиков, выращивания апельсинов, раздела городских участков или прав на воду.

— Благодарю вас, — сказал я чуть слышно. — Я намереваюсь изучить это позднее. Весьма признателен за информацию.

Когда он ушел, я подумал, что, выражаясь языком, принятым на Востоке, меня, вероятно, «водили за нос». Однако не оставалось никаких сомнений относительно искусства этого человека владеть оружием, чему он нашел столь тонкое извинение.

Я представил этот случай на рассмотрение профессора. «Мы отправимся в Америку, прежде чем ты успеешь заклеить ее

окончательно, — сказал он. — В Америку мы поплывем на американском корабле и скажем «гуд бай» Японии».

В тот вечер мы подбили «выручку» от пребывания в «стране маленьких детей». Мы проделали это с большей тщательностью, чем многие подсчитывают свое серебро, и вот что вспомнили: Нагасаки с его серыми храмами, зелеными сопками и изумление от встречи с новым берегом; Внутреннее Японское море — тридцатичасовая панорама проплывающих мимо нас (к нашему восторгу) серых, бурых, серебристых, словно крашенных, островков; Кобе, где мы наелись досыта, а затем посетили театр; Осака — город каналов и цветущих персиковых деревьев; Киото — счастливый, ленивый и пышный Киото; голубые стремнины и невинные развлечения Арашимы; Отсу на безбрежном озере под дождем; Миношита в горах; Камакура на берегу ревущего Тихого океана, где Великий Будда с невозмутимым видом прислушивается к шуму столетий и грохоту прибоя; Никко — самое прелестное место под солнцем; Токио — на две трети цивилизованный и вполне прогрессивный людской садок; композитная франко-американская Иокогама. Мы освежили в памяти все эти места, сортируя и откладывая в сторону самые драгоценные воспоминания. Если бы мы задержались в Японии дольше, то могли бы испытать разочарование. Впрочем, это было бы невозможно.

— Какое умозрительное обобщение ты можешь сделать? — спросил профессор.

— Девушка из чайного домика, одетая в желтовато-коричневый креп, стоит под цветущим вишневым деревом. У нее за спиной зеленые сосны, два младенца и выгнутый, как спина борова, мост, переброшенный через реку цвета бутылочного стекла, которая бежит по голубым валунам. На переднем плане маленький полицейский в мешковатой европейской одежде попивает чай из белоголубой посуды на черном лакированном столике. Кудрявые белые облака над головой и холодный ветер вдоль улицы, — сказал я.

— Мое обобщение несколько иное. Японский мальчишка в плоской немецкой фуражке и мешковатой итонской куртке; Великий Повелитель из магазина игрушек; игрушечная железная дорога; сотни других игрушек; поля, словно намалеванные зеленой краской. Все вместе аккуратно упаковано в коробку

камфарного дерева и снабжено сопроводительной инструкцией под названием: «Конституция — цена двадцать центов».

— Ты обращал внимание на теневые стороны. Стоит ли вообще записывать свои впечатления, чтобы их читали другие? Каждый должен иметь наготове собственные. А что, если я и вправду опубликую путевые заметки?

— Ты не сделаешь этого, — ласково сказал профессор. — Кроме того, когда в Японии появится другой англоиндеец, здесь проложат новые сотни миль железнодорожного полотна, а порядки изменятся. Напиши, что человек должен ехать в Японию, ничего не планируя заранее. Кое-что ему расскажут путеводители, а встречные растолкуют в десять раз больше. Сначала пускай найдет в Кобе хорошего гида, остальное пойдет само собой. Путевые заметки — это очередное проявление того необузданного эгоизма, который...

— Я напишу, что человек получит удовольствие, если отправится в путешествие из Калькутты в Иокогаму, останавливаясь по дороге в Рангуне, Моулмейне, Пинанге, Сингапуре, Гонконге. Он сможет провести месяц в Японии примерно за шестьдесят фунтов, а то и меньше. Но если он станет приобретать редкости, то погиб. Пятьсот рупий достаточно, чтобы, ни в чем себе не отказывая, прожить в Японии месяц. Главное — захватить в дорогу тысячу черутов, то есть достаточное количество сигар, чтобы дотянуть до Сан-Франциско. Сингапур — последнее место, где еще можно приобрести бирманские сигары. За Сингапуром скверные люди продают манильские сигары со странными названиями по десять, а гавану — по тридцать пять центов за штуку. Учтите, что никто не станет заглядывать в ваши коробки, пока вы не доберетесь до Фриско. Поэтому смело берите с собой по меньшей мере тысячу черутов.

— Мне кажется, что у тебя очень странное чувство меры.

Это были последние слова профессора, которые он произнес на японской земле.

*Глава
двадцать первая*

рассказывает о том, как я прибыл в Америку раньше назначенного срока и был потрясен душой и телом

Дег капитан Шлоссенхайм сказал, Согласно с теорией Бога: «О Брайтман, ведь это суждение о Вами пройденной дег дорога. В свое удовольствие имеете жить, Пока понимал, старая, Что главное — саморазвить дег религиозный Идея».

Вот и Америка. Это — пароход, который принадлежит Тихоокеанской почтовой компании. Правда, называется он «Город Пекин», однако порядки на нем все же американские. Мы затерялись в толпе миссионеров и американских генералов. В свое время генералы (самые настоящие немцы) побывали на полях сражений под Виксбергом * и Шилоа * и поэтому считали себя более чистокровными американцами, чем сами американцы. Впрочем, строго конфиденциально они готовы были признаться, что никакие они не генералы, а просто бревет-майоры корпуса американской милиции *.

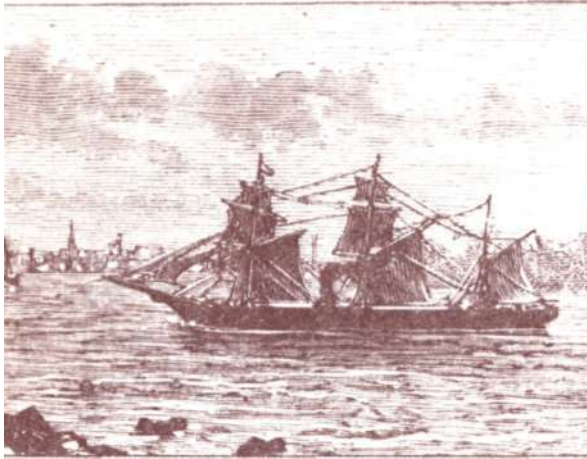
И все же миссионеры — самая необычная часть нашего груза. Вам не приходилось слышать, как священник-англичанин читает получасовую лекцию о накладных и вообще о грузообороте железной дороги, ну, скажем, такой, как Мидленд? * А вот профессору пришлось: он устроился в ноги у смуглого бородатого человека с пронзительным взглядом, а тот обстоятельно разъяснял ему нечто подобное, да с таким знанием дела, что лектору позавидовал бы маститый писака из финансового отдела любой газеты.

— Твой друг знает цифирь как свои пять пальцев, — сказал я профессору. — Кто он такой?

— Миссионер-пребистерианец из миссии для япошек, — ответил профессор.

Я прикрыл рот ладонью и больше не задавал вопросов.

Для разнообразия мы возьмем также народ из Манилы — тощих шотландцев, которые еже-



месячно играют в Манильскую государственную лотерею. Иногда кое-кому из них, так сказать, приходят в руки все козыри. Например, некто выиграл в декабре десять тысяч долларов и теперь спешит повеселиться в Новом Свете.

Похоже, что все моряки с американских пароходов, которые плавают по эту сторону их континента, играют в манильскую лотерею, и разговор в курительном салоне то и дело заходит о шальной удаче или деньгах, которые были проиграны благодаря случайному промаху. Лотерейные билеты продаются более или менее открыто в Иокогаме и Гонконге, а сам розыгрыш (тут все единодушны) не заслуживает упреков.

Мы покорились однообразию двадцатидневного путешествия. Рекламные объявления Тихоокеанской почтовой не соответствуют действительности. Их пакетботы с паровыми машинами способны покрыть положенное расстояние за пятнадцать суток только при самых благоприятных ветрах и надлежащем давлении пара в котлах. Например, «Город Пекин» развивал жалкие десять узлов, то есть тащился шагом, неподобающим его громоздкому корпусу.

«Вот поймает ветер, и дела пойдут веселее», — твердил капитан. Это четырехмачтовое судно может нести изрядное количество парусов. Дело в том, что далеко не безопасно гонять пароходы через эту океанскую пустошь, обходясь «голыми» мачтами, как на атлантических лайнерах.

Однообразие моря убийственно. Мы разминулись с опрокинутой тюленебойной шхуной. Ее днище было густо облеплено чайками. В прохладных предрассветных сумерках она походила на труп. Птицы чуть слышно повсвистывали, они словно управляли шхуной. Даже когда Тихий океан настроен миролюбиво, биение его пульса весьма ощутимо. Уже через сутки после выхода из Иокогамы нос судна то взлетал вверх, то с шумом окунался в воду, хотя на ее поверхности не было заметно ни единого гребешка. «Идет крупная зыбь, — сказал капитан, — но вообще-то «Пекин» — очень сухое судно. Случись что, справится как-нибудь... правда, мне кажется, на этот раз нам не придется подвергать его испытанию». Капитан ошибся. В течение четырех суток мы вызвали угрюмое раздражение северной части Тихого океана, и сутки эти завершила весьма тревожная ночь. Все началось с того, что море посерело, небо покрылось торопливыми облаками и поднялся встречный ветер, который сократил суточный переход на пятьдесят миль. Затем с юго-востока (прямо в борт) принесло зыбь, никак не связанную с ветром, который разгулялся в окрестностях, и шестнадцать убийственных часов мы валялись с борта на борт по ее склонам.

В тиши гавани, сидя за завтраком в салоне корабля, под бортом которого ползал паровой катеришко, некий газетчик воображал, что находится на борту «величественного лайнера». На просторе, когда рваное плечо волны заслонило горизонт, судно это превратилось в «старую калашу», «веселенькое местечко» и прочее не слишком лестное, так как тут уж пришлось заискивать перед стихией.

— Штормит юго-восточнее, — сообщил капитан. — Вот и разгулялась волна.

«Город Пекин» оправдал свою репутацию. Он довольно резво переваливал через гребни, но зачерпнув ни ведра воды... пока его к этому не принудили, то есть он все-таки хлебнул добрую порцию зеленоватой жидкости в назидание по меньшей мере одному из пассажиров, который не видел прежде переполненных шпигатов*.

Однако настоящее представление началось позже.

— О, кажется, недурно качает, — проворкотал старший стюард, распластавшись наподобие морской звезды на столе, заставленном посудой.

— Скажи пожалуйста, качает, — буркнуло



черное привидение, которое вылезло из кочегарки.

— Долго ли будет качать? — забеспокоились женщины, собравшиеся в так называемом «дамском салоне», который по американским обычаям именовался «общественным залом». В сумерках промелькнул старший помощник капитана. С его бородатой физиономии стекала вода.

— Не натянуть ли штормовые леера? — сказал он и, преследуемый волной, вразвалку побрел на корму.

— К вечеру судно будет купать свои загородки, — молвил пассажир из Луизианы. Там, в Луизиане, на речных пароходах понятия не имеют, для чего служат фальшборты.

Мы отобедали под оглушительный аккомпанемент посуды (эмансипированные пивные бутылки своими прыжками превзошли собственные пробки) и грохот разошедшегося

гонга, который приглашал пассажиров к столу, когда ему это заблагорассудится.

Но настоящая качка началась после обеда. Пароход действительно «купал свои загородки», как предсказывал человек из Луизианы. Каждые полчаса, с точностью до секунды, прибывала громадная волна — тогда гасло электричество, грохотал винт и сотрясались палубы. При этом нас норовило вытряхнуть со стульев, и довольно бесцеремонно. Иногда приходилось держаться за стол обеими руками.

И тогда я узнал, как выглядит настоящий страх. Он был разодет в черные шелка и сражался с самим собой. По вполне понятным причинам пассажиры сбились в стадо и приставали с расспросами к любому офицеру, которому случалось пробираться через салон. Никто не трусил — боже упаси! — но каждый проявлял повышенный интерес к любой информации. Беспокойство удвоилось, когда судно накренилось особенно зловеще.

Страх олицетворяла дородная красивая леди с изящными манерами; ей была точно известна

*Когда узнал,
как выглядит
настоящий страх.
Он был разодет
в черные шелка
и сражался
с самим собой*



цена человеческой жизни, и она наверняка разбиралась в духовной сущности Роберта Эльсмера*, современной поэзии, в общем, во всем, что полагается знать умной женщине. Когда качка усилилась, женщина вдруг быстро заговорила. Я никогда не поверю, что до ее сознания доходил смысл собственных слов. Качка достигла наибольшего размаха. Дама прилагала все старания, чтобы оживить общую беседу. По тому, как вздымалась ее грудь, пальцы нервно теребили скатерть и блуждали глаза, которые то и дело обращались в сторону трапа, ведущего наверх, легко было догадаться, до чего она испугалась. Дама не жалела самых обыденных слов. Они текли из ее уст непрерывным потоком, иногда прерываясь смешком, как речь всякой нормальной женщины. Кто-то предложил разойтись по каютам. Нет, она остается. Она хотела говорить и не сдавалась до тех пор, пока ей удавалось удержать рядом хотя бы одну живую душу. Когда компания расстроилась, даме все же пришлось отправиться к себе. Она проделала это с явной неохотой, оглядываясь через плечо на ярко освещенный салон. Контраст между непринужденностью ее речи, напряженным взглядом и судорожными движениями рук бросался в глаза. Теперь я знаю, во что ридится страх.

В ту ночь никто так и не сомкнул глаз. Приходилось держаться обеими руками за койку, а чемоданы, которые были внизу, смали ночные туфли и колотили в обшивку каюты. Однажды мне показалось, что все это сооружение, которое медленно пробивалось вперед, заключив внутри себя наши ни на что не годные судьбы, встало на голову и из этого неподобающего положения совершило отчаянный прыжок. Помнится, я дважды выскакивал из койки на пол, чтобы присоединиться к безобразничающим чемоданам. Тысячи раз грохот волн за бортом сопровождался ревом воды, бурлящей на палубе и вокруг надстроек. Когда наступало недолгое затишье, я слышал чьи-то быстрые шаги, крики и отдаленное хоровое пение. То чьи-то заблудшие души исполняли реквием.

24 мая (день рождения королевы). Если когда-нибудь вы познакомитесь с американцем, отнесите к нему с уважением. В тот день корабль разукрасила флагами с нося до кормы. Особенно выделялся Союзный Джек*. Нас, англичан, об этом не предупредили, и мы были приятно удивлены. Во время

обеда поднялся экс-комиссар из округа Лакнау (честное слово, Англо-Индия не знает границ) и провозгласил тост за здоровье Ее Величества и Президента.

Но позже из-за этого произошла заварушка. Какой-то невысокий американец загнал в угол дюжину англичан и зычным голосом прочитал им лекцию на тему о скудости британского патриотизма.

— И это называется днем рождения королевы? — бушевал он. — Зачем вы пьете за здоровье нашего президента? Какое вам дело до нашего президента в такой исключительный день? Допустим, вас — меньшинство. Тем больше оснований для демонстрации национальной гордости. Прошу не перебивать. Вы, британцы, делаете все наоборот. Вы перепутали все на свете. Я — американец до мозга костей, но, раз уж некому провозгласить тост в честь королевы иначе, чем швырнув его вам в лицо, так уж и быть, я беру это на себя.

Затем он закатил великолепную компактную речь, как говорится по существу. Стало ясно, что никто так не почитает королеву, как американцы. Мы, англичане, были ошеломлены. Хотелось бы знать, какое количество англичан, не обученных ораторскому искусству, смогли бы говорить хотя бы наполовину так складно, как тот джентльмен из Фриско.

— Видите ли, — промямлил один из нас, — все-таки это наша королева и была нашей последние пятьдесят лет. Но мы, присутствующие здесь, не видели Англию семь лет и поэтому отвыкли приходить в восторг. Надо же дожить до такого, чтобы американцы били нас мордой об стол за отсутствие патриотизма! В следующий раз придется вести себя предусмотрительней.

Совершенно естественно, разговор между англичанами, японцами (на борту находилось несколько японцев, которые ехали за границу) и американцами коснулся вопроса о формах правления. Мы перебрасывали этот «мячик» друг другу, придерживаясь золотого правила: «Не верь тому, кто поносит свою страну», и поладили.

— С точки зрения администрирования в Японии наблюдаются две крайности, — сказал свое слово низкорослый джентльмен (на родине он слыл богачом), — это остатки жестокого, типично восточного деспотизма и — как это у вас называется? — чиновничья волокита, смысл которой неясен даже самим исполнителям. Мы копируем ваш бюрократ-

тизм и, когда это удастся, думаем, что занимаемся администрированием. Вот оно — проклятие всех народов Востока. Ведь мы — люди Востока.

— Ну не скажите. Вы будете почище всяких западников, — промурлыкал убаюкивающим тоном американец.

Человек был польщен:

— Благодарю вас. Хотелось бы этому верить, но в настоящее время все обстоит далеко не так. Судите сами. К примеру, наш фермер владеет склоном холма, который разбит на крошечные террасы. Ежегодно он обязан представить правительству отчет о размерах своего дохода и выплаченного налога. Не со всей площади холма, а с каждой террасы в отдельности. Полный отчет — стопка бумаги высотой в три дюйма, от которой нет прока, если не считать того, что она задает работу тысячам чиновников, занятых подсчетом доходов. И это администрирование? Боже мой! Одно название. За последнее время число чиновников выросло раз в двадцать, но сами чиновники еще не администрирование. Где еще вы видели таких дураков? Возьмите наши правительственные учреждения — их съели чиновники. Придет день, уверяю вас, и мы обанкротимся.

Тут было для меня нечто новое, но раньше я как-то упускал это из виду. Действительно, ведь там, где в гражданских учреждениях носят мундиры и сабли, неминуемо поощряется самый бездумный бюрократизм.

— Вам бы побывать в Индии, — сказал я, — убедились бы в том, что мы разделяем ваши трудности.

Услышав это, джентльмен из департамента просвещения Японии подверг меня перекрестному допросу, интересуясь, как поставлено его ремесло в Индии, и за четверть часа выудил то немногое, что мне было известно о начальном и высшем образовании и значении титула «магистр филологии». Он знал, чего добивался, и отстал только тогда, когда зуб его любознательности добрался до голой кости моего невежества.

Затем вперед выступил американец и принялся дергать за струну («Как обстоят дела в самой Америке?»), которая звучала в моих ушах уже не раз.

— Вся система прогнила сверху донизу, — сказал он, — гнилее и быть не может.

— Совершенно справедливо, — поддакнул человек из Луизианы, пыхнув трубкой.

— Нас называют республикой. Может быть, это и так. Однако я думаю иначе. Только у вас, в Британии, существует республика, которая стоит этого названия. Вы украсили государственный корабль позолоченной носовой фигурой. Но мне-то, как и всякому, кто задумывался над этим, хорошо известно: королева не стоит вам и половины того, во что нам обходится система истинной демократии. Что? Политическая жизнь в Америке? Да ее у нас вовсе нет! Мы заняты одним — распределением должностей среди членов партии, победившей на выборах. Вот и все. Мы мотаем друг другу душу из-за контрактов на трамваи, газ, дороги, то есть любой гадости, которая может обернуться нечестно нажитым долларом. Это и называется политикой. В конгресс и сенат рвутся одни негодяи. Этот Сенат так называемых свободных людей на земле практически состоит из рабов какой-нибудь дурацкой монополии. Будь у меня достаточно денег, я купил бы сенат Соединенных Штатов, Орла и Звездно-полосатое знамя, вместе взятые.

— И голоса ирландцев? — вставил кто-то, по-видимому из числа англичан.

Присутствующие американцы принялись хором поносить Ирландию и ее народ, какими те им представлялись. Каждый предвещал «кары небесные», которые призывал на их головы, словами: «Я родился в Америке. Я — американец в нескольких поколениях».

Наверно, нелегко жить в стране, где необходимо доказывать свою принадлежность к ней. Шум усилился, страсти разгорелись...

— Едва ли они верят тому, что болтают. Вы только послушайте этого парня, — ответил я.

— А вот я (а я трижды объехал вокруг Шарика и жил почти во всех странах на Континенте), знаю, что не существует народа, который способен самоуправляться.

— О аллах! Услышать такое от американца!

— Да кому же еще знать, как не американцу? — прозвучала реплика.

— Невежды, а их большинство, признают только один довод — угрозу, угрозу смерти. У нас ведь как — стоит любому прохвосту пересечь океан, и он немедленно получает равные с нами привилегии. Вот тут-то мы и совершаем ошибку. В знак благодарности они начинают валять дурака, и тогда приходится стрелять. Я был свидетелем того, как в Чикаго бросили бомбу в наших полицейских, и тех разнесло на куски. Я заметил знамена в

процессии, откуда швыряли бомбы. Девизы были написаны по-немецки. Это шли чужаки, и мы пристрелили их как собак. Я видел также бунты рабочих. Наша милиция прошла толпу, словно палец — папиросную бумагу.

— Я наблюдал подобное в Новом Орлеане, — влез в разговор человек из Луизианы. — Однажды там пустили в ход Гэтлинг, и толпе не поздоровилось.

— Тыфу ты! Интересно, что было бы, если бы Гэтлинг применили для усмирения беспорядков в Вест-Энде? — сказал англичанин. — Если бы английский полисмен прикончил хотя бы одного возмутителя спокойствия, его судили бы за убийство, а кабинету пришлось бы выйти в отставку.

— В таком случае у вас все еще впереди. Чем больше прав у народа, тем больше неприятностей он доставит. Что касается нас, то высшие классы поражены коррупцией, а те, которые внизу, не хотят подчиняться законам. У нас миллионы полезных, послушных граждан, которым это не по вкусу, поэтому мы и вершим правосудие на улицах. От залов судебных заседаний у нас мало пользы. Возьмите, например, дело чикагских анархистов. Все, чего мы добились для них, так это смертной казни через повешение. Тогда как труп на улице — мертвяк наверняка. Тут уж никаких сомнений. Теперь смекайте, почему мы стреляем по толпе без проволочек.

И тем не менее это нечестно. Нам достается весь этот сброд: анархисты, социалисты и прочее хулиганье — вот и приходится возиться с ними, стрелять. И без того уж в каждом штате своя республика. Нам негде использовать желающих проделывать эксперименты с конституцией. Мы — самый многочисленный народ на богом данной земле. Всем это известно. Мы утверждаем также, что являемся и самым великим народом, и никто, кроме нас самих, даже и не пытается нам противоречить. Остается гадать: то ли мы в самом деле, за что выдаем себя? Бог с ним! Но вам, британцам, еще придется пройти через такие же испытания. Ваши советы графств доведут вас до ручки, потому что вы наделяете властью людей, не искушенных в политике. Когда достигнете нашего уровня, то есть добьетесь равноправия граждан, права торговать своим голосом и выдвигать соплеменников, чтобы провалить более достойных людей, то превратитесь в то же самое, что и мы — в дерьмо, в дерьмо, в дерьмо!

Оратор смолк, и никто не встал, чтобы возразить ему.

— Как-нибудь переживем, — вздохнул человек из Луизианы. — Что сослужило бы нам добрую службу, так это большая война в Европе. Мы превращаемся в нерадивых эгоистов. Война за границей заставила бы нас сплотиться. Но мы не дождемся такой роскоши.

— А нельзя ли начать войну на своей территории? — брякнул я, хорошенько не подумав, так как хотел отделаться от тягостных мыслей о нации слепцов, готовых ухватиться за меч из-за собственной непоседливости. Мое замечание оказалось неудачным.

— Надеюсь, что нет, — ответил американец очень серьезно. — Мы и так слишком дорого заплатили зато, чтобы объединиться. Едва ли мы безропотно согласимся на новый раскол. Правда, кое-кто поговаривает, что мы слишком уж разрослись, а другие сетуют, что, мол, Вашингтон и восточные штаты помыкают всей страной. Если разделимся (да поможет нам бог, когда такое случится), то теперь уже на Восток и Запад.

— Старая калоша, которую мы соорудили, оказалась слишком длинной, — сказал американец, который до сих пор не произнес ни звука. — Мы устроили машинное отделение в корме и рискуем разломиться пополам. Снизь ли нашим праотцам, что мы так развернемся?

— Очень большая страна. — Оратор вздохнул, будто ее вес, от Нью-Йорка до Фриско, давил на его плечи. — Если произойдет раскол, с нами будет покончено. В Штатах слишком тесно для четырех первоклассных империй. Ведь раскол неминуемо породит следующий. Что толку в болтовне?

Что толку? Вот как протекал разговор в день рождения королевы. Что вы думаете об этом?

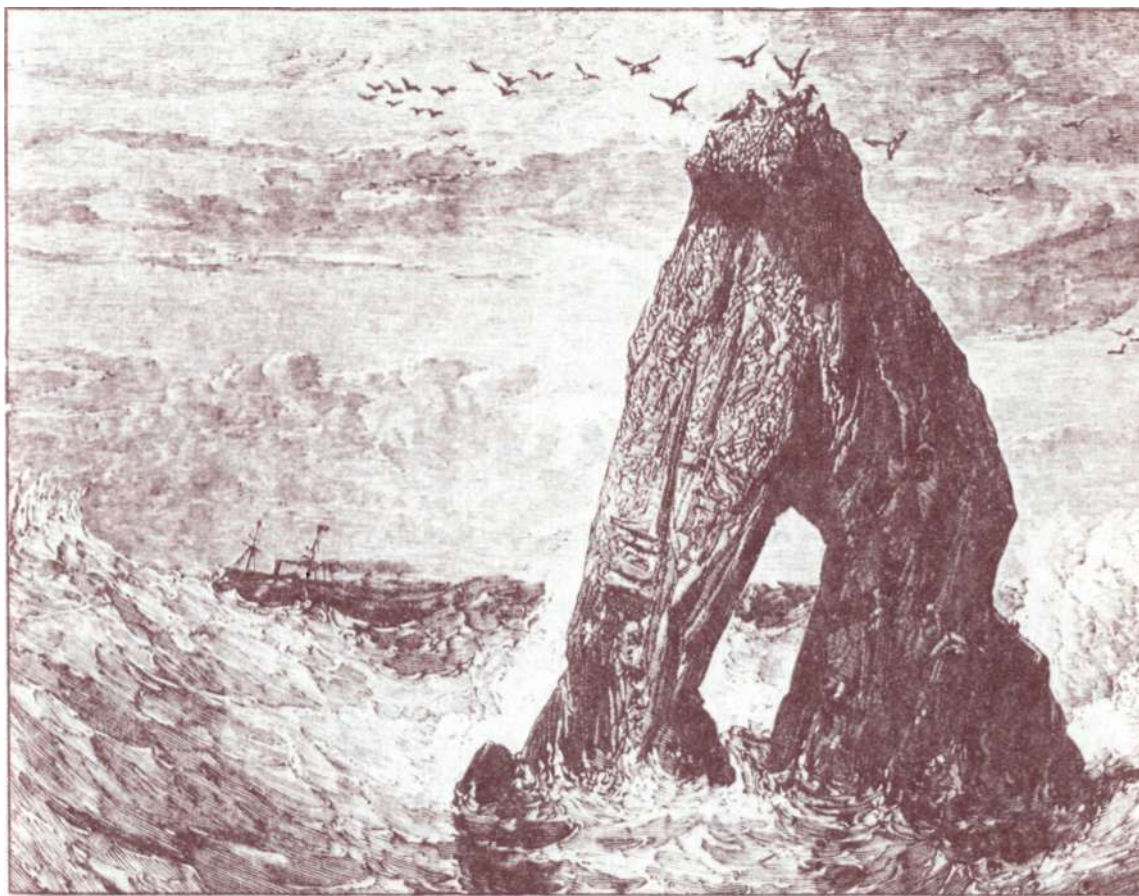
Глава двадцать вторая

Как я очутился в Сан-Франциско и распивал чай с местными жителями

Ты, безразличен, тих и горд,
Стоишь у Западных Ворот,
Где ветры мнут морской покров.
О сторож двух материков!
За всем, что есть на лоне вод,
Следишь у Западных Ворот.

Брет Гарт

Вот какие слова написал Брет Гарт о великом Сан-Франциско, и последние две недели я пытаюсь понять, что же заставило писателя так изобразить город. Ведь в этих краях не встретишь ни безразличия, ни тишины. Плохо пришлось бы континенту, если бы его охрану поручили такому ненадежному сторожу. Вообразите, как после двадцатисуточного пребывания в открытом море, лишенный руководства, предоставленный самому себе во всем, что касается вынесения суждений, я окунулся с головой в водоворот Калифорнии. Прошу защитить меня от гнева возмущенной общины, попадись эти строки на глаза американцам. Сан-Франциско — сумасшедший город, населенный помешанными, чьи женщины, несомненно, блещут красотой. Когда «Город Пекин» проходил через Золотые Ворота, я отметил с удовлетворением, что



блокгауз, охранявший горло «самой удобной гавани в мире, сэръ», можно без всякого риска, быстро и аккуратно успокоить огнем двух гонконгских канонерок.

Затем на борт прыгнул репортер и, не успев и рта открыть, принялся меня обрабатывать. Пока я выбирался на берег, он успел выкачать из меня все, что касалось Индии, прежде всего интересуясь состоянием журналистики. Ужасно ступить с ложью на устах на незнакомую землю. Однако я ни в чем не соврал таможеннику, который был не в духе и вывалил мои пожитки, вплоть до интимных частей туалета, на пол, который состоял из отходов конюшни и сосновой щепы. Что касается репортера — тот ошеломил меня скорее своим нахальством, чем поразительным невежеством. Жаль, что я не наговорил ему кучу лжи, когда входил в этот город, переполненный тысячами белокожих людей.

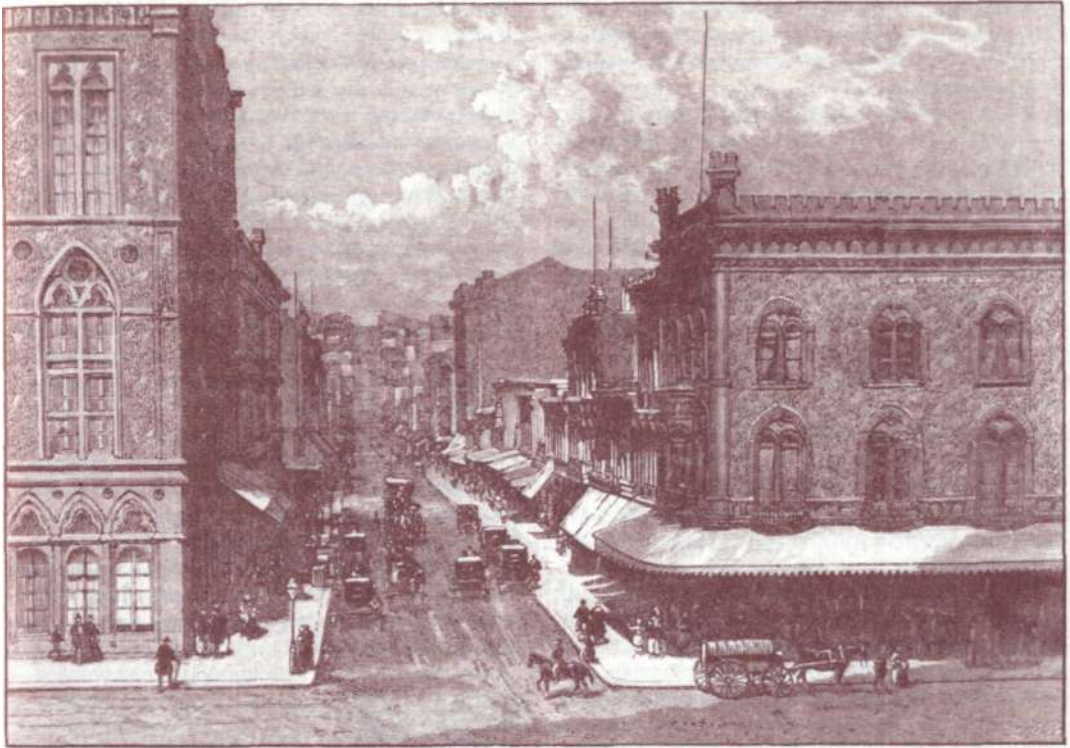
Подумать только — триста тысяч белых мужчин и женщин! Они собрались вместе и скопом разгуливают по настоящим тротуарам перед неподдельными витринами зеркального стекла, изъясняясь на каком-то наречии, похожем на английский язык.

Я понял, в чем состоит эта похожесть, когда безнадежно заблудился в пыльном лабиринте деревянных домишек, мусорных куч и ребятишек, которые играли пустыми жестянками из-под керосина.

— Хочешь попасть в отель «Палас»? — любезно спросил какой-то юнец, управлявший подводой. — Какого же черта здесь делаешь? Это самая низкая часть города. Пройди шесть кварталов на север до угла Гери и Маркет, затем поворачивай, иди, пока не «уткнешься» в угол Гаттера и Шестнадцатой, — и будешь на месте.

Я не ручаюсь за точность воспроизведения





этих указании и цитирую их по памяти, с которой у меня явно не в порядке.

— Аминь, — сказал я. — Однако кто я такой, чтобы «тыкаться» в чьи-то углы, как ты их там называешь? А что, если они окажутся почтенными джентльменами и дадут сдачи? Повтори-ка снова, сынок.

Я думал, что парень исколотит меня, но этого не случилось. Он объяснил, что никто не пользуется словом «стрит», да и вообще каждому полагается знать расположение улиц, потому что иногда их названия пишут на фонарях, а чаще — нет. Подкрепившись этими сведениями, я отправился дальше и оказался на широкой улице с великолепными зданиями в четыре-пять этажей, мощенной необработанными булыжниками по моде начала летосчисления. Вагончик фуникулера, который держался неизвестно на чем, втихомолку подкрался сзади и чуть было не ударил меня в спину.

В сотне ярдов поодаль наблюдалось движение. Там собралась толпа из трех-четырех человек и что-то блестящее мелькало посере-

дине. Тучный джентльмен-ирландец со шнурами священника на шляпе и небольшим никелированным значком на необъятной груди отделился от клубка человеческих тел, поддерживая китайца, которого ранили ножом в глаз. Зеваки пошли своей дорогой, а пострадавший с помощью полицейского — своей. Конечно, это меня не касалось, но очень хотелось знать, что стало с джентльменом, который нанес удар. То обстоятельство, что волнующаяся толпа не запрудила улицу, чтобы поглазеть на происшествие, говорит о совершенстве мер, принимаемых муниципальными властями для охраны порядка в городе. Я оказался шестым и последним человеком, который присутствовал на этом представлении. Мое любопытство было раз в шесть сильнее, но я постыдился проявить его.

По дороге в отель не произошло никаких инцидентов. Отель — семиэтажный людской садок на тысячу номеров. Любой путеводитель расскажет, как поставлено гостиничное дело в этой стране. Но чтобы понять,

необходимо увидеть. Зарубите себе на носу (эти строки написаны после тысячемильного митарства), что на Западе деньги не гарантируют сервиса.

Когда клерк (служащий, который награждает вас комнатой и обязан снабжать информацией), когда сей блистательный индивидуум снисходит до того, чтобы обслужить вас, то проделывает это насвистывая или напевая какой-нибудь мотив; иногда он ковыряет в зубах либо разговаривает со своими знакомыми. Подобные демонстрации служат, наверно, для того, чтобы довести до вашего сознания тот несомненный факт, что он — свободный человек и ваш ровня, который, однако, судя по его внешности и размеру бриллиантов, все же стоит повыше. И я спрашиваю вас: есть ли необходимость в таком чванливом проявлении независимости? Дело есть дело, и человеку, которому платят за обслуживание других, следовало бы обратить все внимание на работу.

В просторном зале с мраморным полом при ослепительном электрическом освещении сидело человек пятьдесят. Ради их развлечения кругом расставили изрядное количество вместительных плевательниц с широким зевом. Большинство мужчин были в сюртуках и цилиндрах. Мы в Индии надеваем подобное только на свадьбу, да и то, если эти вещи отыщутся в гардеробе. Мужчины минутно сплевывали, вероятно из принципа. Плевательницы стояли на лестницах, в спальнях и даже в интимных отделениях, а особенно щедро «украшали» бар, сводя к нулю окружающее великолепие. Они не занимали места зря и смердели всюду.

Не успел я почувствовать, что мне дурно, как со мной схватился еще один репортер. Он во что бы то ни стало хотел установить точную площадь Индии в квадратных милях. Я посоветовал ему обратиться к Уитейкеру *. Он не слышал этого имени и желал получить сведения только из моих уст, но я не сказал ни слова. Тогда он, как и первый, перешел на журналистику. Я рискнул высказать мысль, что людей, которые занимаются этой профессией в нашей стране, очень заботит экономия бумаги. «Это как раз то, что нас интересует», — сказал он. — А что, газеты в Индии содержат репортеров, как у нас?» — «Нет», — отвечал я, сдержавшись, чтобы не добавить «слава богу». «Почему?» — спросил он. «Они погибли бы».

Это напоминало разговор с ребенком — маленьким невоспитанным человечком. Каждый вопрос он начинал примерно так: «Теперь расскажите об Индии вот что» — и далее перескакивал с одного на другое без всякой последовательности. Это не раздражало, а скорее интриговало меня. Человек стал настоящим откровением. Я предлагал уклончивые лживые ответы — в конце концов они не имели значения, все равно репортер не смыслил ни в чем. Молю только об одном: — чтобы никто из читателей «Пионера» не познакомился с тем чудовищным интервью. Этот малый выставил меня идиотом, способным нести много больше чепухи, чем было дозволено свыше, а его циничность и невежество исказили даже те жалкие сведения, которые он сумел заполучить. Тогда я подумал: «Американской журналистикой стоит заняться. А пока позабудемся».

Никто не поднялся навстречу, чтобы рассказать о достопримечательностях, не вызвался оказать помощь. Я остался в полном одиночестве посреди огромного города белых. Инстинктивно мне захотелось подкрепиться, и я «ткнулся» в бар, увешанный плохонькими салонными полотнами. Какие-то люди в шляпах, сбитых на затылки, словно волки, глотали что-то прямо со стойки. Оказалось, что я угодил в заведение под названием «Бесплатный ленч» (платишь только за спиртное и получаешь еды вдоволь). Даже если вы обанкротились на сумму чуть меньше рупии, в Сан-Франциско можно великолепно насыщаться целые сутки. Запомните это — вдруг сядете на мель в этих краях.

Позднее я приступил к всестороннему, но бессистемному изучению улиц. Я не интересовался названиями. Мне было достаточно того, что тротуары кишели белыми мужчинами и женщинами, сами улицы — грохочущим транспортом, и рев большого города действовал успокаивающе. Вагончики-фуникулеры сновали во все четыре стороны света. Я пересаживался с одного на другой, пока ехать стало некуда. Сан-Франциско разбит словно на песчаных россыпях пустыни Биканир *, и любой старожил расскажет, что примерно четверть территории города отвоєвана у моря. Остальные три четверти — унылые песчаные холмы, усеянные домишками.

С точки зрения англичанина, здесь ничего не предпринято для того, чтобы хоть как-то выровнять местность. Впрочем, с таким же

успехом можно нивелировать бугры Синда *. Вагончики-фуникулеры практически привели город к одному уровню. Им все равно — подниматься или опускаться. Они плавно скользят по маршрутам из одного конца шестимильной улицы в другой, могут поворачивать почти под прямым углом, пересекать другие линии и, насколько мне известно, прижиматься вплотную к стенам домов. Чем они приводятся в движение — скрыто от глаз, однако время от времени навстречу попадаются пятиэтажные здания, где гудят машины, которые наматывают бесконечные канаты, и всякий посвященный расскажет, что там спрятаны механизмы. Но я вообще перестал чем-либо интересоваться. Если провидению угодно гонять вагончик фуникулера вверх и вниз по какой-то трещине в земле и за два с половиной пенса мне дозволено ездить в этом вагончике, зачем докапываться до истоков такого чуда? Предпочтительнее выглядывать из окна, наблюдая, как магазины уступают место тысячам деревянных домишек, достаточно вместительных, чтобы вселить человека с семейством. Позвольте уж погла-



зеть на людей и попытаться установить, чем же они отличаются от нас — своих предков.

Они заблуждаются, полагая, что говорят по-английски (на «инглиш»). Меня успели пожалеть за мой «английский акцент». Сам соблезнувший пользовался языком воров. Остальные тоже. Там, где мы ставим ударение впереди, они смещают его назад и vice versa. Там, где мы тянем «а», они делают его кратким, а слова настолько простые, что их нельзя исказить, произносят под самым куполом головы. Как это им удается?

Оливер Вендель Холмс * утверждает, что за носовой акцент несут ответственность школьные мэм-янки, яблочный сидр и соленая треска восточного побережья.

Индиец (Хинду) остается индийцем, он — брат человеку, который понимает его наречие. Француз остается французом, потому что говорит на родном языке. У американцев нет своего языка. Это диалект, слэнг, провинциализмы, акцент и прочее. Наслушавшись американцев, я перестал ощущать красоту прозы Брета Гарта, потому что теперь в раскатах ритмических строк писателя мне мерещатся каденции своеобразной речи его соотечественников. Попросите американку прочесть вслух «Как Санта Клаус пришел в Симпсон-бар», тогда узнаете, что останется от изящества оригинала.

Мне очень жаль Брета Гарта. С ним вот что случилось. Репортер спросил, что я думаю о городе. Я уклончиво отвечал, что эта земля для меня священна благодаря Брету Гарту. Это было правдой. «Что ж, — сказал собеседник, — Брет Гарт заявляет право на Калифорнию, зато та не претендует на Брета Гарта. Он прожил в Англии слишком долго и теперь — почти англичанин. Вы видели наши дробилки и новый офис «Игземина»? Репортер просто не понимал, что для остального мира сам город значил гораздо меньше, чем писатель.

* * *

Над Тихим океаном сгустилась ночь, и белесый морской туман проник в улицы, заставив потускнеть великолепное электрическое освещение. Здесь так заведено, что с восьми до десяти часов вечера мужчины и женщины прогуливаются по одной из улиц, называемой Кирни-стрит, где находятся самые фешенебельные магазины. Каблуки стучат там по тротуару особенно громко, ярче горят огни, а грохот уличного движения

ошеломляет. Наблюдая за молодежью Калифорнии, я заметил, что она по меньшей мере очень дорого одевается, щеголяет непринужденными манерами и притязательна в разговоре. Все женщины — настоящие красавицы — высоки ростом, холены и разодеты так, что даже мне ясно, что их туалеты стоят немалых денег. В десять часов вечера Кирни-стрит уравнивает все ранги не хуже могилы. Снова и снова преследовал я по пятам какую-нибудь блестящую парочку, но вместо уверенного голоса культуры улавливал лишь отрывистое: «Он сказал», «Она сказала» — слова, которые выдают с головой всех белых служаков в мире. Это угнетало, несмотря на то, что по одежке встречают, а по уму провожают.

Город блистал роскошью, казавшейся безграничной, однако на улицах нельзя было услышать ни единого человеческого слова, за которое можно отдать хотя бы пятьдесят центов.

Несмотря на то что я не переставая думал обо всех окружающих меня людях как о варварах, меня вскоре убедили в обратном, заставив понять, что американцы тоже достойные наследники столетий и в конце концов тоже цивилизованны.

Передо мной возник приветливый незнакомец располагающей наружности, который смотрел невинными голубыми глазами. Назвав меня по имени, он заявил, что мы встречались в Виндзоре (Нью-Йорк). Я дипломатично согласился с ним, хотя не припоминал такого, но, поскольку незнакомец был убежден в этом (почему бы и нет?), мне оставалось ждать, как разовьются события. «Как вам понравилась Индиана? Ведь вы проезжали этим штатом?» — последовали очередные вопросы, которые приподняли завесу над тайной нашего «предыдущего» знакомства, а также еще кое над чем.

С небрежностью, достойной порицания, мой голубоглазый друг подсмотрел имя своей жертвы в списке гостей отеля, но прочитал Индию как Индиану. Ему и в голову не пришло, что англичанин может пересекать Соединенные Штаты с запада на восток, вместо того чтобы следовать обычным маршрутом. Я опасался, как бы от восторга, вызванного моей отзывчивостью, он не стал расспрашивать меня про Нью-Йорк и Виндзор. Он на самом деле предпринял кое-что в этом направлении, спросив раза два что-то о некоторых улицах, которые (как я

догадался по его тону) были далеко не фешенебельными. До чего утомительно беседовать о неизвестном Нью-Йорке, находясь в почти незнакомом Сан-Франциско. Однако мой приятель оказался снисходительным человеком и, уверив меня, что я пришелся ему по душе, уговорил попробовать каких-то редких напитков в нескольких барах. Я принимал угощение с благодарностью, так же как и сигары, которыми были набиты его карманы. Он предложил показать мне жизнь города. Не желая смотреть потасканную пьесу снова, я уклонился от предложения и получил взамен дьявольской лекции еще большую дозу грубой лести.

Странно скроена душа человека. Я догадался, что передо мной лжец, лениво дожидаясь финала и в то же время, когда незнакомец бормотал мне комплименты прямо на ухо, испытывал тихое волнение удовлетворенного тщеславия.

— С первого взгляда видно, что вы — мудрый, дальновидный, искушенный в мирских делах человек, — продолжал он. — О таком знакомстве можно только мечтать. Вы пьете из чаши жизни, не теряя головы.

Это льстило мне и в какой-то степени заглушало подозрения. Потом мой голубоглазый друг обнаружил (он даже настаивал на этом), что у меня есть вкус к карточной игре. Последнее получилось довольно неуклюже, в чем отчасти я был сам виноват, так как слишком поспешно согласился с ним, лишив шанса показать актерское мастерство. Я склонил голову набок, изображая святую мудрость, и, ужасно перевирая, стал цитировать карточные термины. Ни один мускул не дрогнул на лице моего друга (он умел держаться), и через пять минут мы заскочили (снова мимоходом) в некое заведение, где играли в карты и свободно распространялись лотерейные билеты штата Луизиана.

— Сыграем?

— Нет, — отрезал я. — Не испытываю к картам ни малейшего интереса. Однако предположим, что я сел бы за стол. Как вы и ваши друзья взяли бы за дело? Пошли бы в открытую или попытались напоить? Я — газетчик и был бы весьма признателен, если бы меня просветили по части срывания банка.

Мой голубоглазый друг крыл меня почем зря, призывая своих святых — козырных и некозырных валетов. Он даже припомнил сигары, которыми угощал меня. Когда шторм мино-

вал, он все объяснил. Я извинился за то, что испортил ему вечер, и мы недурно провели время. Неточность, провинциальность и поспешные выводы — вот те углы, которые выпирали наружу, выдавая его. Однако он отомстил мне: «Как бы я стал играть с вами? Судя по той чепухе, которую вы несли, я играл бы в открытую и наверняка ободрал бы вас. Стоило спавать! Вы ни черта не смыслите в покере. Не могу простить себе одного: как я мог ошибиться?» Он посмотрел на меня так, будто я нанес ему оскорбление. Теперь-то мне известно, как изо дня в день, из года в год шулер, играющий на доверии (этот мошенник с краплеными картами, овладевает жертвой в заморских странах. С помощью лести он парализует ее, словно змея — кролика.

Этот случай испортил мне настроение, напомнив, что невинный Восток остался далеко позади и я нахожусь в стране, где не следует разевать рот. Даже отель пестрел печатными предупреждениями, где говорилось, что двери необходимо хорошенько запиравать, а ценности хранить в сейфе. Белый человек стадом — плохой человек. Оплакивая разлуку с О Тойо (тогда мне и в голову не приходило, что мое сердце будет обливаться кровью), я заснул в шумном отеле.

На следующее утро я вступил во владение наследством с отсроченным платежом. В Америке нет принцев (по крайней мере с коронами на головах), но некий великодушный член некой королевской фамилии получил мое рекомендательное письмо. Не успел завершиться день, как я стал членом двух клубов и был приглашен на всевозможные обеды и приемы. Этот принц (да сопутствует успех его финансовым предприятиям) не имел никаких оснований (так же как и его друзья, тоже принцы) появляться в свете ради еще одного британца, однако он не успокоился до тех пор, пока не устроил для меня все, что только может предпринять любящая мать для своей дочери-debutante.

Вы слышали о богемном клубе Сан-Франциско? Молва о нем бежит по всему свету. Он чем-то напоминает клуб Диких*. Его учредители — люди, которые кое-что пишут или что-то рисуют, и клуб утопал отнюдь не в республиканской роскоши. Хранитель этого собрания — сова, которая сидит на черепахе и скрещенных костях, зловеще символизируя мудрость литератора и тщет-

ность его надежд на бессмертие. Ее статуя фута в четыре высоты стоит на лестнице; она вырезана на деревянных панелях, порхает на потолочных фресках, отпечатана на гербовой бумаге и висит на стенах. Это древняя, почтенная птица. Под сенью ее крыл я удостоился чести быть представленным белокожим людям, которые не прикованы к рутине каждодневного труда, сами сочиняют газетные статьи, а не проглатывают их во время обеденного перерыва, пишут картины, вместо того чтобы довольствоваться дешевыми эстампами, приобретенными на распродаже имущества.

Теперь-то я вправе заявить публично, что Индия, эта бессердечная мачеха англоиндийцев, надула всех нас. Ступая по мягким коврам, вдыхая фимиам первосортных сигар, я слонялся по комнатам, изучая живописные полотна, на которых члены клуба изображали в карикатурном виде друг друга, своих знакомых и свои замыслы. В искусстве этих людей было что-то по-французски смелое, нечто такое, что доходило до сердца ценителя. И все же они отличались от французев. Суховатая, мрачная манера трактовок сюжетов (почти голландская) выдавала отличие. Эти люди писали так же, как и говорили, — очень уверенно.

Время от времени клуб устраивает веселые сборища, так называемые «капустники» (дешево и сердито), и каждое неизменно остается запечатленным руками тех, кто знает свое дело. В клуб не допускаются дилетанты, которые портят холст, полагая, что маслом можно работать, не зная законов светотени и анатомии, а также праздные джентльмены, которые любят поиграть на нервах у издателей и разваливают и без того пошатнувшийся рынок, пытаясь писать только оттого, что «в наши дни все что-нибудь да пишут». Меня принимали люди, которые работали ради хлеба насущного или успели на него заработать и поэтому вели самые что ни есть восхитительные профессиональные разговоры. Они широко раскрывали свои объятия и были для меня братьями, а я воздал дань уважения сове и прислушивался к их беседам. Накануне рождества любой клуб в Индии, если его хорошенько расшевелить, приносит обильный урожай необычных рассказов, однако там, где собираются американцы, съехавшиеся с отдаленнейших уголков своего континента, истории длиннее и непристойнее,

в них больше «соли», «прозрачности», чем в их индийских разновидностях. Здесь о войне вспоминал бывший офицер-южанин, который сидел за рюмкой с бывшим полковником-северянином. Лицо, представившее меня, — бывший кавалерист армии северян время от времени вставлял замечания.

Встревали другие голоса, повествуя не менее невероятные истории о метании реаты * в Мексике или Аризоне, об азартных играх на армейских постах в Техасе, о газетных войнах в безбожном Чикаго, внезапной, насильственной смерти в Монтане или Дакоте, любви девушек-метисок на Юге и фантастической погоне за золотом на таинственной Аляске. Часто вспоминали строительство старого Сан-Франциско, когда «лучшая часть человечества этой божьей земли, сэз, заложила этот город, а вода подступала тогда к нынешней Рыночной улице...». Некоторые рассказы поражали ужасом, в других звучал мрачный юмор, и люди, одетые в тонкое черное сукно и превосходное белье, сами принимали в них участие.

«Когда становилось совсем уж невтерпеж, бывало звонили в городской колокол — появлялся Комитет бдительности и вешал всех подозрительных. В те дни человек считался чистым, пока не совершал по крайней мере одного преднамеренного убийства», — сказал представительный ясноглазый джентльмен.

Я разглядывал картины, висевшие вокруг, смотрел на бесшумного подтянутого официанта, который стоял у меня за спиной, на отделанный дубом потолок, бархатный ковер под ногами. Трудно было представить себе, что лет двадцать назад в этих краях можно было стать свидетелем того, как с помпой вешают человека. Но позднее я обоснованно изменил эту точку зрения.

Рассказы вызвали головную боль и наводили на размышления. Как же все-таки удалось освоить хотя бы тысячную часть территории этого гигантского, ревущего, многогранного континента? В тиши роскошной библиотеки покоилась книга профессора Брайса об американской республике. «Вот знамение, — сказал я. — Этот человек серьезно поработал, и его труд стоит купить за полгиней. Желающим получить достоверные сведения следует обратиться к его страницам. А мне подавайте круглосуточное бродяжничество в погоне за обыденными происшествиями, беседу со слу-

чайным попутчиком. Я вовсе не собираюсь «делать» этот континент».

Вот уже десять дней, как я, позабыв об Индии, посещаю обеды, где наблюдаю людей, привычки которых совершенно непохожи на наши. Меня представляли хозяевам миллионов долларов. Они совершенно безобидны в начальной стадии. Скажем, человек с тремя-четырьмя миллионами еще может оказаться приятным собеседником, умницей, острословом, то есть быть светским человеком. Того, кто удвоил сумму, следует избегать, а человек с двадцатью миллионами — просто двадцать миллионов. Вот вам пример. Я попросил знакомого газетчика устроить мне свидание с владельцем журнала. Мой друг возмущенно фыркнул: «Увидеть его? Боже правый! Ни за что! Если ему вздумается показаться в офисе, мне приходится иметь с ним дело, но, слава богу, вне работы я вращаюсь в обществе, где он просто не может появиться».

И все же первое, что я узнал, — деньги в Америке — это все!

Как из-за собственной глупости я присутствовал при совершении убийства и до смерти испугался; правление демократии и деспотизм чужестранцев

Бедняга человек — создание божье и так далее!

Дело получилось скверное. Единственно, что утешает меня, — я сам во всем виноват. Мне показали китайский квартал, а на самом деле — один из административных районов Кантона, который перенесли в подходящую деловую часть Сан-Франциско. С присущим им умением китайцы обзавелись добротными, несгораемыми кирпичными зданиями и, следуя своим инстинктам, запахали в каждое по сотне душ, которые влачили там жалкое существование в грязи и убожестве. Оценить последнее можете только вы, живущие в Индии.

Казалось бы, беглого осмотра вполне достаточно, но я захотел узнать, как глубоко «поднебесные» пустили свои корни, и решил исследовать китайский квартал вторично, и на этот раз в одиночку, что было весьма неосмотрительно. Никто не мешал мне передвигаться по грязным улочкам (если бы не морские бризы, Сан-Франциско, очевидно, ежегодно страдал бы от эпидемий холеры), хотя многие встречные просили cumshaw *. Потом я наткнулся на четырехэтажное здание, переполненное китайцами, и нырнул в эту нору. Говорят, что подобные обиталища строятся по принципу айсберга, то есть на две трети они спрятаны под землей.

Я пробирался мимо китайцев, которые спали на нарах или курили опиум, мимо борделей и игорных притонов, пока, заблудившись в лабиринте этого крольчатника, не достиг второго подвального этажа.

Китайская мудрость не знает границ. Во время народных волнений толпа может стереть этот дом с лица земли, и все же он укроет своих обитателей за железными дверями и воротами в подземных галереях, которые

выложены кирпичом и укреплены бревенчатыми балками.

Кто-то попросил cumshaw и проводил меня в нижний подвал, где воздух был густ, как масло; горящие лампы прожигали в нем дыры не более квадратного дюйма в поперечнике. Там собрался покерный клуб. Игра была в полном разгаре. Китаец обожает «покел», играет довольно искусно, а проигрывая, ругается по-кошачьи. Картежники сидели вокруг стола, почти все были одеты наполовину по-европейски и прятали косички под шляпами. Один из них выглядел евроазиатом, хотя мог оказаться и мексиканцем. Расспросы подтвердили эту догадку. Живописная компания напоминала благовоспитанных дьяволов, которые слишком увлеклись игрой, чтобы обратить внимание на появление незнакомца. Мы находились глубоко под землей; сверху не проникало ни звука. Слышны были только шорох рукавов голубых халатов и таинственный шепот тасуемых и сдаваемых карт. В подвале было невыносимо жарко. Мексиканец и человек, сидевший от него слева, заспорили. Последний вскочил на ноги, мгновенно оказался по другую сторону стола и, когда стол отгородил его от мексиканца, потянулся худой желтой рукой за выигрышем соперника.

Заметьте, насколько человек подвержен влиянию инстинктов. Мне редко приходилось смотреть в пистолетное дуло, но стоило мексиканцу приподняться со стула, как я оказался на полу. Никто не подсказывал мне, что это наивыгоднейшая позиция, когда вокруг свистят пули, но я распростерся ниц, прежде чем успел что-либо сообразить. Падая, я услышал гул орудийного залпа (в тесном, замкнутом пространстве хлопок пистолетного выстрела распространяется не дальше порохового дыма) и почувствовал едкий запах. Второго выстрела не последовало. Наступила тишина, и я осторожно приподнялся на колени.

Китаец держался обеими руками за край стола, глядя прямо перед собой, на опустевший стул мексиканца. Тот исчез, и лишь маленький завиток дыма плавал под потолком. Все еще цепляясь за стол, китаец сказал: «А!», словно человек, которого внезапно оторвал от дела вошедший приятель, затем кашлянул и повалился на правый бок. Я успел заметить, что он был ранен в живот.

Потом до моего сознания дошло, что, за

исключением двух человек, склонившихся над упавшим, в комнате никого не было. Животный страх, до сих пор пересиливаемый любопытством, пронзил все мое существо. Мне страстно захотелось глотнуть свежего воздуха. Я вообразил, что, возможно, китайцы спугают меня с мексиканцем (в те минуты могло произойти самое ужасное) и, вероятнее всего, на время охоты за убийцей лестницы подземелья будут перекрыты. Человек на полу зашелся ужасным кашлем, но я услышал это, уже пустившись в бегство, когда один из друзей китайца потушил лампу. Лестницы казались мне бесконечно длинными, и, к моему ужасу, в доме не раздавалось ни звука. Однако никто не препятствовал мне и даже не взглянул в мою сторону. Мексиканца и след простыл. Я отыскал дверь (у меня дрожали колени) и оказался под защитой туманной, дождливой ночи. Я не осмеливался бежать (как ни старался), не мог даже идти и, очевидно, проделывал нечто среднее, потому что мне запомнились свет уличных фонарей и тень человека, который, должно быть в

порыве сдерживаемого восторга, вытанцовывал караколи * на тротуаре.

Да, это был страх, смертельный ужас, основанный на прежнем знакомстве с Востоком. Единственный белый свидетель... трехэтажное подземелье... кашель китайца на глубине сорока футов у меня под ногами. До чего приятно видеть витрины магазинов и электрический свет! Ни за что на свете я не стал бы обращаться в полицию, потому что был убежден, что с мексиканцем разделались там, в подземелье, прежде, чем мне удалось выбраться на поверхность. К тому же, удалившись от места происшествия, я уже не сумел бы указать, где все произошло.

Паническое бегство завело меня на целую милю в сторону от отеля. Постукивание лифта, который доставлял меня в постель на шестом этаже, звучало в моих ушах сладкой музыкой.

Этим рассказом я хочу убедить тех, кто последует за мной, не бродить в одиночку по китайским кварталам. Там вы можете напороться на любопытные образчики челове-



ства, которые испортят настроение на полсутки.

Совершенно естественно, это наводит на размышления о великой проблеме пьянства. Как известно, американец не пьет за столом во время еды, как полагается благоразумному человеку. Вообще-то он понятия не имеет, что такое еда. Он насыщается за десять минут раза три в сутки и не следит за солнцем. Ему безразлично, где оно находится — на уровне нока реи или скатилось за горизонт. Он накачивается своим тщеславием в самое богопротивное время и ничего не может поделывать с самим собой. Вы и понятия не имеете, что такое «угощение» по «западную сторону Американского континента». Это нечто большее, чем институт, — это религия. Многие говорят, что настоящее положение дел ничто по сравнению с тем, что было.

Возьмем обыденный случай. В десять тридцать утра человека одолевает желание отведать стимуляторов. Он в компании двух приятелей. Троица направляется в ближайший бар (до него не дальше двадцати ярдов), и каждый принимает там порцию неразбавленного виски. Они разговаривают минуты две, затем заказывают приятели. Когда двое выходят на улицу, «осовеv» от трех порций виски, залитых за галстук, оказывается, что третий проглотил на две порции больше, чем желал. Отказываться от угощения считается неприличным, а результат довольно своеобразен.

Признаюсь, что я еще не встречал пьяных на улице, зато понаслышался о пьянстве белых и видел приличных людей в состоянии гораздо более сильного подпития, чем это допустимо. Зло проникло во все слои общества. Я изумился, когда однажды на весьма приличном приеме услышал, как прелестная дама, характеризуя самочувствие некоего джентльмена, о котором шла речь, сказала без обиняков: «Он был пьян». Это было замечено совершенно бесстрастным тоном, что и удивило меня.

Однако климат Калифорнии обходится весьма мягко со случаями излишества, предательски скрывая последствия. В здешнем сухом воздухе человек не пухнет и не превращается в мумию от пьянства. Он продолжает жить-поживать с фальшивым румянцем на щеках, не тускнеет его взгляд, по-прежнему твердо очерчен рот, не дрожат руки. Но приходит день расплаты, и пьяница внезапно сдает,

что-то происходит у него с головой, и друзья сочиняют ему эпитафию. Почему люди, которым нередко вообще вредно спиртное, обращаются с ним так беззаботно, предоставляя гадать другим. Однако это скорбное обстоятельство приводит к неплохим результатам в деле, о котором я сейчас расскажу.

В самом сердце делового квартала, там, где банки и банкиры встречаются на каждом шагу и телеграфные провода натянуты особенно густо, открыт полуподземный бар, который содержит немец с длинными белокурыми локонами и хрустально-ясными глазами. Зайдите туда, ступая на цыпочках, и закажите буттон-пунш. Его приготовление займет десять минут. Потом вам подадут самый возвышающий и благородный продукт нашего века. Только хозяин бара знает составные части этого напитка. Согласно моей теории, его варят из перышек херувимовых крыльев, великолепия тропического рассвета, алеющих облаков заката и фрагментов забытых эпосов умерших поэтов. Отведайте этого пунша, не забыв поблагодарить меня, человека, который помнит о своих ближних.

Однако хватит болтать о затхлой атмосфере питейных заведений. Обратимся к величественному спектаклю, который разыгрывает Правительство людей, Правительство для людей, как все это понимается в Сан-Франциско. Книга профессора Брайса расскажет, что каждый гражданин Америки, достигший возраста двадцати одного года, имеет право голоса. Он может не справляться с собственными делами, оказаться неспособным держать в повиновении супругу, не внушать уважения своим детям, ополоуметь от пьянства, обанкротиться, распутничать или быть просто дураком от рождения — все равно он имеет голос. Если ему нравится, он волен голосовать почти все свободное время: за губернатора штата, муниципальных служащих, различные закупки, контракты на прокладку канализации и прочее, о чем и понятия не имеет.

Каждые четыре года американец избирает нового президента, а в промежутках — судей, то есть людей, которые вершат над ним же, избирателем, правосудие. Последние избираются сроком на два-три года, а переизбрание зависит от их популярности. Это рассчитано на то, чтобы воспитать независимого, беспристрастного администратора.

В наши дни основная масса избирателей

Америки разбита на две партии: республиканцев и демократов. Члены каждой партии единодушно считают, что другая сторона старается свергнуть их детище, то есть Америку, в геенну огненную. Кроме того, демократы как представители партии пьют сильнее республиканцев и в нетрезвом состоянии любят обсуждать так называемый Тариф, не понимая, в общем-то, что это такое. И все же они думают, что Он — опора страны или самое надежное средство для ее разрушения. Демократ заявляет то одно, то другое, лишь бы противоречить республиканцу, который постоянно противоречит самому себе. Вот вам ясный и краткий отчет о лицевой стороне американской политики. Изнанка — дело другое.

Итак, каждый имеет голос, голосует по любому поводу, а из этого следует, что находятся мудрецы, которые разбираются в искусстве приобретения голосов в розницу и продажи их оптом тому, кто срочно нуждается в этом. Современный американец, занятый устройством своего дома, не располагает временем для голосования за заведующих водопроводом, окружных прокуроров и тому подобных скотов, а вот у безработных времени достаточно, потому что они болтаются по улице, иными словами, они находятся всегда под рукой. Их называют «бойз», и это особый класс. «Бойз» — молодые ребята, которые не смыслят ни в военном, ни в каком-либо ином ремесле. Они никого не убили, не крали скота, не вырыли ни единого колодца. Выражаясь чистым, правильным языком, можно сказать, что люди с улицы готовы превозносить до небес все что угодно, если только им поднесут стаканчик для увеселения души. Они всегда жаждут, всегда под рукой, а последнее — гордость и красугольный камень американской политики.

Мудр тот, кто содержит питейное заведение и умело распределяет спиртное, чтобы держать под рукой группу людей, которые станут голосовать за все на свете или против всего на свете. Не каждый хозяин салуна способен на это. Такое искусство требует тщательного изучения политической ситуации в городе, такта, умения примирять и нескончаемого запаса анекдотов, с помощью которых можно смешить и приманивать толпу из вечера в вечер, пока салун не превратится в настоящее заведение. Важнее всего — не ждать от алкогольной стороны дела немедленной отдачи.

«Бойз», которые пьют так беспечно, рано или поздно оплатят долги сторией. Ирландец, именно ирландец, умеет приводить в действие салунный парламент. Понаблюдаем за развитием операции. Рядовых угощают и снабжают мелкими денежными подачками. Они голосуют. Тот, кто контролирует десяток голосов, получает соответствующее вознаграждение. Распорядитель тысячи голосов достоин уважения. Цепочка тянется вверх до тех пор, пока мы не выйдем на наиболее удачливого работника общественных заведений — самого изощренного человека, способного держать в узде остальных, чтобы использовать их когда надо. Такой человек правит городом как король. Знаете, откуда поступают барыши? Все выборные должности в городе (за исключением немногих, где нужны специальные знания) — должности краткосрочные и распределяются в зависимости от политической ситуации. Что же получается? Большому городу необходимо много служащих. Каждая должность приносит оклад и влияние, которое вдвое важнее. Эти должности достаются представителям тех, кто держится вместе и всегда под рукой, чтобы вовремя проголосовать. Скажем, особый уполномоченный по сточным водам избран голосами республиканцев. Он не разбирается в канализации, ему и дела-то до нее нет, но у него достаточно здравого смысла, для того чтобы приставить к насосам и подметальным машинам тех самых джентльменов, которые избрали его. Комиссар полиции заполучил должность во многом благодаря усилиям «бойз» из таких-то салунов. Он может выступать хранителем морали в городе, однако не поощряет своих подчиненных, которые пытаются заставить хозяев тех самых салунов закрывать свои заведения пораньше или пресечь там азартные игры. Большинство должностных лиц избираются на четыре года, и будет дураком тот, кто не воспользуется своим положением для обогащения, пока сидит на соответствующем месте.

Единственные люди, которые страдают от этого «счастливого» устройства, — это фактически те, которые сами же придумали такую милую систему. Они действительно страдают, и это — сами американцы. Попытаюсь объяснить. Как известно, каждый крупный город Америки имеет по меньшей мере один преобладающий «иностранный» голос. Обычно ирландский, часто немецкий. Сан-Франциско



(сборное место всех национальностей) считается с голосами итальянцев, однако ирландцы важнее. Оттого-то ирландец не утруждает себя работой. Он создан для благодушного распределения спиртного, вечной лести и обладает удивительно остро развитой способностью разбираться в слабостях менее одаренных натур. У него не сохранилось ничего похожего на совесть, и он имеет лишь одно твердое убеждение — глубоко укоренившуюся в его сердце ненависть к Англии. Он держится улиц, всегда под рукой, голосует с воодушевлением и весело проводит время, а время — самый дорогой американский товар. Результат прямо-таки потрясающий. В наши дни город Сан-Франциско управляется головами ирландцев под руководством некоего джентльмена с испорченным зрением, который на улице нуждается в услугах поводыря. Официально его называют «босс Бакли», а за глаза — «слепым белым дьяволом».

Передо мной написанная черным по белому

*... город
Сан-Франциско
управляется
под руководством
некоего джентльмена,
с испорченным
зрением, который
нуждается
в услугах поводыря*

хроника его занятой карьеры. Это четыре колонки, набранные мелким шрифтом. Возможно, вы сочтете ее безобразной. Вкратце все выглядит так: благодаря развитому чувству такта и глубокому знанию изнанки жизни города босс Бакли снискал уважение избирателей, сам он не домогался должности, но, по мере того как число его сторонников увеличивалось, продал их услуги лицу, предложившему наивысшую цену, а сам пожинал урожай, приносимый каждым доходным местом. В Сан-Франциско он контролировал демократическую партию. Необходимо назначить судей? Люди босса Бакли назначали судей. Конечно же, эти судьбы становились его собственностью.

Посещая обеды, я слышал, как образованные люди, далекие от политики, рассказывали о правосудии (гражданском и уголовном), купленном по сходной цене у самих же судей. И подобное упоминалось без пылу, без жару, как нечто вполне обычное.

Контракты на ремонт дорог, общественное строительство и прочее находятся под контролем Бакли. Недаром его сторонники сидят в Городском Совете. С каждого контракта босс Бакли взыскивает проценты для себя и своих союзников.

Республиканская партия в Сан-Франциско тоже имеет своего босса. Он не так гениален, как Бакли, но я склонен думать, что не отличается большей добродетельностью. Он держит под рукой меньшее число голосов.

Глава Общая четвертая

рассказывает о том, как я окунулся в политику и куда более нежные чувства; содержит рассуждение о морали американских девиц и этнологический трактат о неграх; завершается банкетом и пишущей машинкой

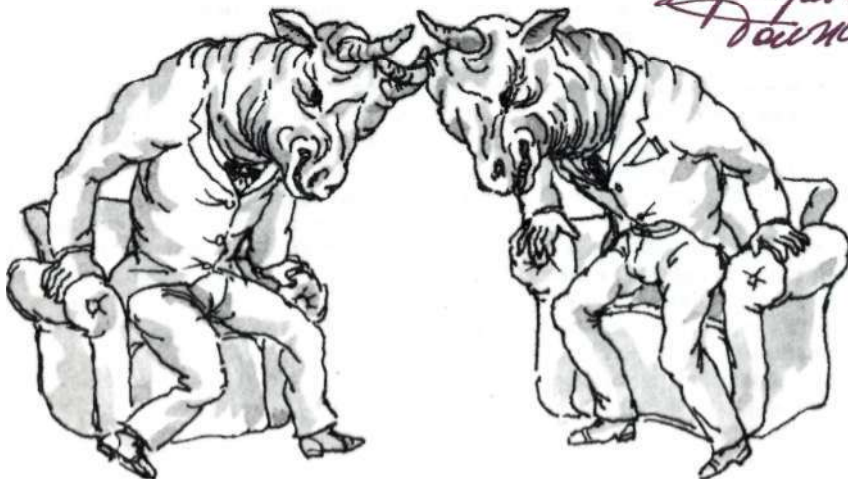
Я наблюдал за отдыхающим механизмом, предварительно прочитав о принципе его действия. Дело в том, что некий именитый джентльмен, о котором почтительно отзываются журналы, написал статью (он во многом повторял ораторствования Дизраэли *) о «вызывающем благоговение природном чутье старейшин» (то есть сильных мира сего). В статье утверждалось, что старейшинам этим можно с полной уверенностью поручить управление любыми делами, упоминалось и о той быстроте, с какой они добиваются поставленной цели. Автор называл это изложением принципов или статусом американской политики.

Я немедленно отправился в салун, где вечерами собираются джентльмены, заинтересованные в закулисной политике. Непривлекательные, подчас обрюзгшие люди все до единого спорили с таким азартом, что тяжелые золотые цепочки на их толстых животах

поднимались и опускались в такт разговору. Эти джентльмены потягивали спиртное с видом людей, наделенных властью и имеющих неограниченный доступ к важным постам и барышу. Журнальный писака лишь обсасывает теорию правления, эти же люди занимались практикой. Они молотили кулаками по столу, толковали о политических «нажимах», купле-продаже голосов и были совсем не похожи на деревенских говорунов, которые «вершат судьбы народов». Эти сильные, похотливые мужи бились не на живот, а на смерть за распределение должностей и прекрасно разбирались в средствах для достижения поставленной цели.

Я внимательно вслушивался в говор, который понимал только местами. Однако это и был глас бизнеса, и во мне нашлось достаточно здравого смысла, чтобы воспринять хоть это и посмеяться позже, за дверью. Мне стало ясно, отчего мои радушные высокообразованные друзья из Сан-Франциско с таким горьким презрением отзывались о гражданских обязанностях вроде голосования и участия в распределении должностей. Десятки людей заявляли без обиняков, что скорее согласятся

Эти сильные, похотливые мужи бились не на живот, а на смерть за распределение должностей.



разгребать навоз, чем связываться с государственными делами или городским самоуправлением.

Для начала почитайте о политике, как ее представляет себе искушенный журнальный писака, а уже потом постарайтесь проникнуться уважением к джентльменам, которые имеют дело с мрачной действительностью.

Я устал брать интервью у выпускающих редакторов, которые на мои просьбы рассказать о карьере выдающихся граждан неизменно отвечали: «Видите ли, он начинал с салуна». Хотелось бы верить, что мои информаторы попросту обращались со мной так же, как когда-то и я, грешный, с нашими глобтроттерами в Индии. Однако редакторы клялись, что говорят правду, и позднее, когда, так сказать «по пьянке», кто-нибудь доверительно сообщал мне нечто новенькое из области «собачьей» политики, я начинал было верить... и все же не верил. Ведь люди только и ждут, чтобы облить грязью все на свете, и делают это так же беззаботно, как и я сам.

Помимо всего прочего я безнадежно влюблен приблизительно в восемь американских девиц. Каждая представлялась мне верхом совершенства, пока в комнату не входила следующая.

О Тойо была мила, но ей многого не доставало, например разговорчивости. Нельзя пробавляться одними смешками, и она будет спокойно жить-поживать в Нагасаки, в то время как я поджариваю свое разбитое сердце перед храмом — рослой блондинкой из Кентукки, которую в детстве нянчила негритянская мамми. В результате из девочки выросла калифорнийская красавица, сочетающая парижские платья, «восточную» культуру и поездки в Европу с необузданной оригинальностью Запада и странными, туманными предрассудками негритянских кварталов. Эффект потрясающий. Но это всего лишь одна из множества нижеперечисленных звезд:

№ 1 — девица, которая верит в силу образования и обладает им, а кроме того, сотнями тысяч долларов и страстью посещать трущобы с благотворительной целью. № 2 — лидер какого-то неофициального салона для девиц, где они собираются почитать газету, смело обсудить проблемы метафизики и сладостей, — чернобровая, властная особа с глазами как терновая ягода. № 3 — девушка маленького росточка, которая понятия не имеет, что



такое почтительность, и может одной фразой, выпаленной скороговоркой, положить на лопатки с полдюжины молодых людей, оставив их в таком положении, с разинутыми ртами. № 4 — миллионерша, обремененная деньгами. Одинокая, язвительная дама с языком, острым как бритва. Она жаждет деятельности, но остается прикованной к скале своего обширного состояния. № 5 — девушка-машинистка, которая сама зарабатывает на хлеб в этом огромном городе, поскольку считает, что девушке не пристало висеть на шее родителей. Она цитирует Теофиля Готье * и мужественно продвигается по жизни, пользуясь большим уважением, несмотря на свои двадцать неискушенных весен. № 6 — женщина без прошлого из Клаудленда *, которая ведет себя сдержанно в настоящем и добивается благосклонности мужчин на почве «симпатии». Нельзя сказать, чтобы это был совсем новый тип. № 7 — девушка из «забегаловки». Одарена античной головкой и глазами, где, кажется, лучится все самое прекрасное, что есть в этом мире. Но, о горе мне! Ни в этом, ни в следующем мире она не ведает ни о чем, кроме потребления пива (комиссионные с каждой бутылки), и уверяет,

что имеет более чем смутное представление о содержании песенок, которые по воле судьбы ей выпало распевать еженощно.

Милы и пригожи девушки Девоншира, нежны и полны грации те, что проживают в привлекательных уголках Лондона; несмотря на свою притворную скромность, очаровательны молоденькие француженки, которые жмутся к матерям, дивясь на этот падший мир большими, широко открытыми глазками; на своем месте превосходно смотрится по второму сезону (для тех, кто понимает в этом) англоиндийская старая дева.

Однако девушки Америки затмевают всех. Они умны и любят поговорить. Бытует мнение, что даже способны думать и, конечно, выглядят так, что в это можно поверить. Они оригинальны и смотрят вам прямо в глаза без смущения — как сестра на брата, хорошо знают мужские чудачества и тщеславие, потому что растут вместе с мальчиками, умело расправляются с этими пороками и могут мило осадить их обладателя. Однако у них есть своя жизнь, независимая от мужчин, свои общества, клубы, званые чаепития, куда приглашаются только девушки. Они отличаются самообладанием, не разлучаясь при этом с нежностью, присущей их полу, в состоянии понять человека, умеют постоять за себя и совершенно независимы. Когда спрашиваешь, что же делает их такими очаровательными, отвечают: «Понимаете ли, мы лучше образованны, чем ваши девушки, и смотрим на мужчин, вооружившись большей долей здравого смысла. Мы умеем повеселиться, но не приучены видеть в каждом мужчине будущего мужа. От него тоже не ждут, чтобы он женился на первой встречной». Да, они хорошо проводят время, пользуясь, но не злоупотребляя неограниченной свободой. Они могут отправиться на прогулку с молодым человеком и принять его у себя, не выходя за рамки, которые заставили бы любую английскую мать содрогнуться от ужаса. Обе стороны даже не помышляют о чем-нибудь ином, кроме приятного времяпрепровождения. Очень верно сказал о них некий американский поэт:

Мужчина — огонь, женщина — пакля.
Приходит дьявол и начинает дуть.

В Америке «пакля» пропитана огнеупорным составом, что не лишает ее абсолютной свободы и широкого кругозора. Вследствие

этого количество «несчастных случаев» не превышает обычного процента, установленного дьяволом в каждом климате, для каждого класса под этими небесами. Однако свобода девушки оборачивается и недостатками. Не хочется об этом говорить, но она — особа непочтительная, начиная со своей сорокадолларовой шляпки и кончая пряжками восемнадцатидолларовых туфелек. Она дерзит родителям и людям, которые годятся ей в дедушки. По какому-то давнему обычаю, она обладает правом первенства при общении с любым посетителем, и родители терпят это, что иногда приводит к неловкостям, особенно когда заходишь в дом по делу.

Предположим, он — известный торговец, она — светская дама. Минут через пять хозяин исчезает, вскоре скрывается жена, оставляя вас наедине с очаровательной девушкой (это не подлежит сомнению), но все-таки вовсе не с тем, ради кого вы пришли. Она болтает без умолку, и вам приходится улыбаться. В конце концов вы уходите, сознавая, что потратили время зря. Раза два я тоже испытал подобное. Однажды даже осмелился настаивать: «Я пришел именно к вам». — «Приходите тогда в контору. А дома распускаются женщины, вернее, моя дочь». И он говорил правду. Богатый американец — раб своей семьи. Его эксплуатируют ради презренного золота, и мне кажется, что его удел — одиночество. Женщины получают монеты, ему достаются только шишки. Дочери американца ничем не угодишь (я говорю, конечно, о людях с деньгами). Девушки принимают подарки как само собой разумеющееся. Однако, если разражается катастрофа, они быстро взрослеют, и, куда обладатель миллионов сражается с превратностями судьбы, дочери принимаются за стенографию или пишущую машинку. Я понаслушался о таком героизме из уст девушек, среди друзей которых числились сильные мира сего. Семья обанкротилась, и Мэми, Хэтти или, скажем, Сэди отпустила горничную, расставалась с экипажем, сладостями и, вооружившись «Ремингтоном № 2», скрепя сердце отправлялась на заработки.

— И вы думаете, что я вычеркнула ее из списка друзей? Нет, сэр, — молвило видение с алыми губками, разодетое в кружево, — такое может случиться и со мной. Скорее всего именно ощущение возможной катастрофы, которое носится в самом возду-

хе Сан-Франциско, заставляет местное общество вращаться с такой пленительной стремительностью. Безрассудство словно витает там, хотя я не могу объяснить, откуда оно. Прежде всего вас опьяняют буйные ветры Тихого океана. Безудержная роскошь вокруг усиливает это ощущение, и, пока на свете существуют деньги, вы будете вертеться волчком по вечной колее, проложенной звонкой монетой (кстати сказать, к западу от Скалистых гор мелкую монету не признают). Там делают большие деньги и не скупаются на расходы. Это относится не только к богачу, но и к мастеровому, который выкладывает по пять фунтов за костюм и соответственно за другие предметы роскоши.

Молодые люди берут от молодости все. Они играют в азартные игры, гоняются на яхтах, играют на скачках, бьются на матчах боксеров, увлекаются петушиными боями (одни открыто, другие тайно), собираются вместе и учреждают фешенебельные клубы, готовы сломать себе шею, объезжая лошадей, вспыхивают как порох. В двадцать лет они знают толк в бизнесе, пускаются на отчаянные предприятия, заводят таких же, как и они сами, искушенных партнеров и вылетают в трубу с таким же треском, как и соседи. Вспомним, что люди, наводнившие Калифорнию в пятидесятые годы (по своим физическим и грубым нравственным достоинствам), составляли цвет нашей планеты. Слабые и неспособные умирали en route или гибли в дни «строительства Калифорнии». К этому ядру добавились представители всех рас старого континента: французы, итальянцы, немцы и, конечно, евреи. Результат — ширококостные, полногрудые женщины с изящными руками и высокие, гибкие, прекрасно сложенные мужчины. Совсем не обязательно увидеть у человека маленький золотой брелок на часовой цепочке, чтобы догадаться, что перед вами сын Золотого Запада — отпрыск Калифорнии. И я люблю его, потому что он не ведает страха, ведет себя как мужчина и имеет сердце не меньшего размера, чем его сапоги. Мне кажется, он умеет распорядиться дарами жизни, которыми его так щедро снабжают. По крайней мере я слышал, как некое крысopodobное создание с плечами рейнвейнской бутылки со скрытой завистью объясняло, что будто по части бизнеса житель Чикаго обскочит любого калифорнийца. Что ж, если бы я жил в стране фей, где вишни крупнее

слив, сливы крупнее яблок, не говоря уж о клубнике, где шестые плодов земных во все времена года напоминает пышную процессию из пантомимы Друри Лейн *, где сухой воздух пьянит как вино, я время от времени пускал бы бизнес на самотек, а сам выкаблучивался бы в компании своих приятелей.

Рассказ о богатствах Калифорнии (растительных и минеральных) напоминает волшебную сказку. Загляните в книги, иначе вы мне не поверите. Всевозможные продукты питания (от морской рыбы до свинины) очень дешевы. Все люди прекрасно выглядят и не страдают отсутствием аппетита. Они требуют десять шиллингов за ничтожный ремонт чемоданного замка, получают по шестнадцать шиллингов в день за плотницкую работу. Они тратят немало шестипенсовиков на очень плохие сигары и сходят с ума от матчей боксеров. Если уж они расходятся во мнении, то совершенно бескомпромиссно, с огнестрельным оружием в руках, тут же на улице.

Не успел я миновать Мишн-стрит, как между двумя джентльменами возникло недоразумение, и один из них продырявил другого. Когда полицейский, чье имя я никак не могу припомнить, «смертельно ранил Эд. Керни» за попытку избежать ареста, я был уже на другой улице.

Подобная решительность вызывает чувство благодарности. Я с удовлетворением замечаю заряженный револьвер у полицейского, когда тот, присаживаясь в трамвае, откидывает в стороны полы своего сюртука. Достаточно сказать, что половина посетителей салунов вооружена.

Китаец подстерегает своего противника и методично крошит его на котлеты сечкой — газета возмущенно ревет от зверской жестокости язычника. Итальянец перевоспитывает своего приятеля длинным ножом — пресса сетует на своенравность чужестранцев. Ирландец и уроженец Калифорнии пользуются револьвером, и не один раз, а целых шесть. Пресса фиксирует факт, а в соседней колонке задается вопрос: может ли остальной мир провести параллель с прогрессом в Сан-Франциско?

Патриот-американец скажет вам, что подобное относится только к низшим классам, однако... В эти дни какой-то бывший судья, которого засадили в тюрьму по приказу другого судьи (честное слово, не понимаю, значат ли что-нибудь эти титулы), пишет

пламенем мщения. Газеты взяли интервью у обоих и доверительно предсказывают фатальный исход...

В Соединенных Штатах насчитывается до шести миллионов негров, и их число увеличивается. Сделав их гражданами, американцы уже не в состоянии отнять у них права. В газетах пишут, что следует повышать их уровень с помощью образования. Последнее пытаются предпринять, но на это уйдет слишком много времени...

Когда негра вооружают религией, он, словно пчела в улей, возвращается к первородным инстинктам своего племени. Как раз в эти дни волна религиозного экстаза катится по некоторым южным штатам. Уже объявились два мессии и один Даниил. Несколько человек было принесено в жертву этим воплощениям. Даниил умудрился заставить трех молодых людей, которые, как он сам заявил, были Седрахом, Мисахом и Авденаго, войти в горящую топку*. Им гарантировали несгораемость. Они не вернулись. Сам я не видел ничего подобного, зато побывал в негритянской церкви. На конгрегацию снизошел дух, повергнув всех в стоны и слезы. Один из прихожан, пританцовывая, последовал к скамье плакальщиков. Возможно, его поведение было совершенно искренно. Движения трясущегося тела напоминали занзибарские танцы с посохами, которые можно увидеть в Адене на лодках-«угольщиках».

По мере того как я наблюдал за этими людьми, все звенья цепи, которая связывала их с белыми, рвались одна за другой...

Что же делать Америке с неграми? Юг не желает общаться с ними. В некоторых штатах смещение крови — уголовное преступление. С каждым годом Север нуждается в услугах негров все меньше и меньше. Но они не собираются исчезать. Они становятся проблемой. Их друзья будут настаивать на том, что чернокожий не хуже белого человека. Его враги... Не очень-то приятно быть негром в «стране свободы и доме храбрых»*.

Однако это не имеет никакого отношения к Сан-Франциско, его веселым девицам, сильным самоуверенным мужчинам, его золоту и гордыне. Меня привезли на банкет, устроенный в честь бравого лейтенанта Карлина с корабля «Вандалия», который угодил в циклон у Апии. Лейтенант вел себя как подобает настоящему офицеру. По этому случаю (дело было в клубе «Богемия») я выслушал оратор-

ствования с самым типичным «оканьем» и проглотил обед, воспоминание о котором сойдет со мной в голодную могилу. Было произнесено около сорока спичей, и ни одного посредственного или банального. Меня впервые представили Американскому орлу, клекочущему от избытка силы. Героизм, проявленный лейтенантом, послужил отправной точкой, от которой и пошли и поехали эти распоясавшиеся велеречивые личности. В поисках тропов и метафор они ободрали облака заката, громы и молнии небесные, глубины ада, великолепие воскресения, обрушив все это на головы приглашенных. Как я узнал, никогда еще утренние звезды не пели так радостно, изумленное творение никогда еще не присутствовало при таком проявлении сверхчеловеческого мужества, подобного тому, какое было продемонстрировано военными моряками Америки во время циклона у берегов Самоа. Это богоравное мужество не будет предано забвению до тех пор, пока земля не сгнет в фосфоресцирующей звездно-полосатой слизи разложения Вселенной. Сожалею, что не могу привести всего сказанного дословно. Моя попытка воспроизвести хотя бы дух высказываний выглядит жалкой и бесцветной. Я сидел, подавленный сверкающей Ниагарой — каскадом болтовни. Это было великолепно, это было изумительно. Я испытывал гадкое желание закрыть лицо салфеткой и рассмеяться. Затем в соответствии с правилами они вытащили на свет божий своих мертвых, проволокли по белоснежным скатертям трупы павших в Гражданской войне и бросили вызов «нашему исконному врагу (Англии, если вам будет угодно) со всеми его крепостями, разбросанными по земному шару», после чего снова подвергли славословию свою нацию (с самого начала, на тот случай если они упустили что-нибудь раньше), и мне стало неловко за них. Возможно ли, чтобы белый человек, саиб нашей крови, мог вот так запросто встать и расточать похвалу собственной стране? Он волен мыслить так высоко, как ему вздумается, но это неистовое славословие (во весь рот) поразило меня нескромностью. Мои хозяева говорили добрых три часа и, казалось, были готовы продолжать еще столько же. Однако, когда на ноги поднялся сам лейтенант — этакий верзила, этакий храбрый и великодушный гигант, то он закатил речь, которая стала гвоздем вечера. Я запомнил ее почти целиком.

Говорилось примерно следующее: «Джентльмены, весьма любезно с вашей стороны устроить в мою честь обед и сказать в мой адрес все эти комплименты, но вот что хотелось бы... чтобы вы уяснили... дело в том... мы хотим, то есть нам следует немедленно обзавестись военным флотом... побольше кораблей... очень много кораблей».



*...Америка
не принимает
участия в сватке
и оттого / чтобы
не остаться обманом /
изображает
мешок из своей
родокамышницы,
оставая ее
дарамми при
первой
возможности,*

Только Америка не принимает участия в свалке и оттого (чтобы не отстать от моды) изображает мешок с песком из своей родоначальницы, осыпая ее ударами при первой возможности. Человек, который прошелся насчет «цепи крепостей» (удивительный говоруn), объяснил мне после обеда, что был вынужден спустить пар. Все, мол, ждали этих слов. Когда спели «Звездно-полосатое знамя» (по меньшей мере раз восемь), все разошлись. Америка — очень большая страна, но еще не превратилась в отделанный плюшем небесный рай с электричеством, как были склонны думать ораторы. Мои мысли обратились на политиканов из салунов, которые не тратили времени на пустые разговоры о свободе, а спокойно навязывали свою волю гражданам. «Судья велик, но одари писца», — гласит поговорка.

Что еще остается сказать? Не удастся писать связно, потому что я влюблен во всех упомянутых девушек, как, впрочем, и в других, которые не фигурируют в накладной. Девушка с пишущей машинкой — общественный институт, на котором зарабатывают капитал юмористические издания, поскольку это безопасно. Обычно она вместе с подругой снимает комнату в деловом квартале и за шесть аннов копирует страницу рукописи. Только женщина может управляться с пишущей машинкой, потому что перед этим практикуется на швейной. Она умудряется зарабатывать до ста долларов в месяц и открыто признает такую форму заработка совершенно естественной, то есть своей судьбой. Но как она ненавидит все это в глубине сердца! Когда я оправился от изумления по поводу делового сотрудничества с молодой женщиной холодной, чиновничьей наружности, занявшей оборону за парой очков в золотой оправе, то принялся расспрашивать о прелестях такой независимости.

Им это нравилось, несомненно, нравилось. Это естественно, это судьба почти всех девушек Америки (обычай, признаваемый всеми), и я был бы варваром, если бы не сумел разглядеть это в правильном свете.

— Хорошо, а что потом? — спросил я. — Что дальше?

— Мы работаем ради куска хлеба.

— На что вы надеетесь?

— Все на то же — работать ради куска хлеба.

— До самой смерти?

— Д-да... если только...

— Если что? И мужчина работает до самой смерти.

— Так же и мы. — Это было сказано без особого энтузиазма. — Я думаю...

Ее партнерша сдержала:

— Иногда мы выходим замуж за наших работодателей — по крайней мере так пишут в газетах. Ее рука молотила по десятку клавишей одновременно. — Ну и что из этого? Мне все равно. Как все надоело, надоело, и не смотрите на меня так.

Ее старшая подруга взглянула на бунтовщицу с осуждением.

— Я так и думал, — сказал я. — Полагаю, что американские девушки не отличаются по своим инстинктам от англичанок.

— Не Теофиль ли Готье говаривал, что вся разница между странами заключается только в жаргоне и мундирах полиции?

Что же остается теперь сказать именем всех богов сразу молоденькой леди (в Англии она стала бы личностью), которая самостоятельно зарабатывает себе на жизнь, конечно же, ненавидит свою работу и, словно из пращи, мечет вам в голову неуместные цитаты? В нее непременно влюбляешься, но этого недостаточно.

Необходимо учредить миссию.

*Глава
Общая картина*

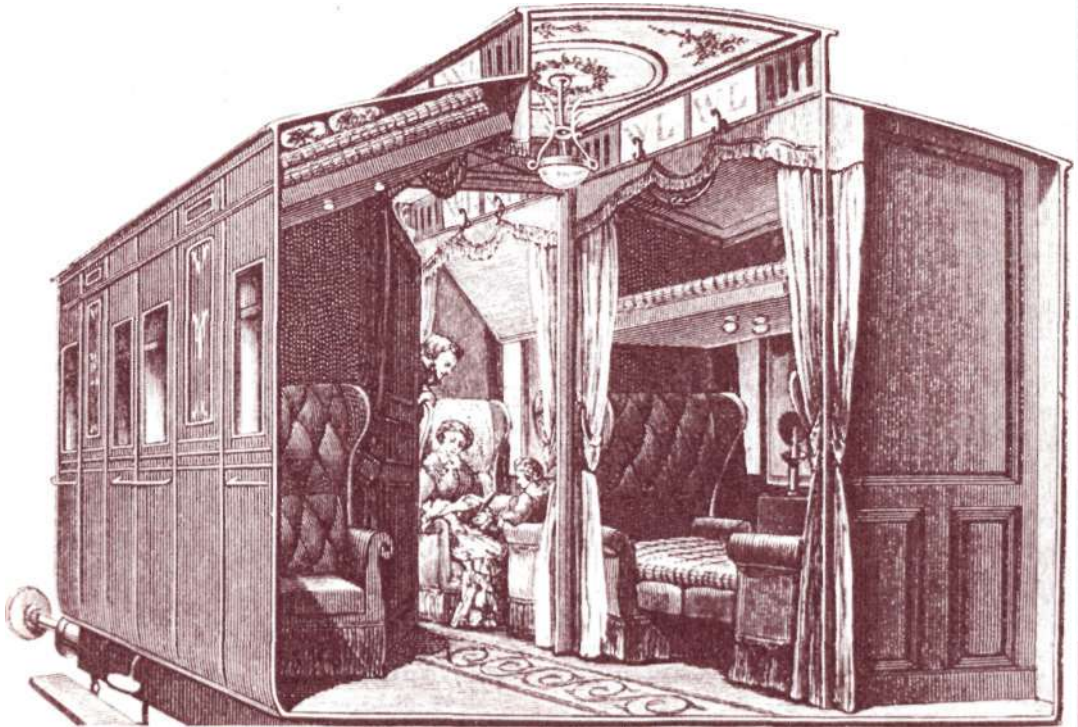
уводит в путь по земле Брета Гарта и далее, до Портленда, в сопровождении старины Калифорнии; объясняет, отчего, увидев, как живут другие люди, двое бродяг затосковали по дому

Я брел одиноко дорогою старой.
О, был кто печальней меня,
Когда я увидел, как юная пара
Шла мимо, смехом звеня?

У Сан-Франциско только один недостаток: с ним трудно расстаться. Подобно набожному Гансу Брайтману, я «ухожу из этого города у моря», сожалея о тех чудесных местах, которые покидаю. Я прощаюсь со смышлеными мужчинами и остроумными женщинами, «забегаловками», биржевыми конторами, где

занимаются спекуляцией, покерными притонами, откуда с песнями и криками люди катятся к дьяволу под грохот игральных костей в стаканчиках. Я с радостью осталась бы, да боюсь, что, поинстратившись, окажусь на улице, и тогда мне не сдобровать. Внутренний голос подсказал мне: «Убирайся подброду на север. Приударь-ка по Виктории и Ванкуверу*, отдохни денек-другой под сенью старого флага». И вот я направил свои стопы в Портленд, штат Орегон, что сулило полуторасуточное путешествие по железной дороге.

Вокзал Окленда, откуда начинаются все пути, не располагает чем-либо похожим на перрон. На огромном асфальтированном дворе проложены пути, и пассажир, тяжело нагруженный ручной кладью, весело перескакивает через рельсы в поисках своего поезда. Гудки доброго десятка маневрирующих паровозов, словно погребальные колокола, многозначительным эхом отдаются в ушах. Если пассажира переедут колесами, тем хуже для него. «Услышав свисток локомотива, осмотритесь по сторонам!» Многолетняя практика приучи-



ла нацию обращаться с поездом как с хорошо знакомой вещью, презирая его так, как это не предусмотрено самим господом богом. В Англии, даже в сельской местности, женщины обычно семяют через переезд, подобрав юбки и робко озираясь по сторонам; здесь же, под самым носом локомотива, они болтают о модах и своих детях, а ребятишки заигрывают с движущимися вагонами так, что и смотреть страшно.

Мы тронулись в путь с весьма умеренной скоростью (миль двадцать пять в час, не более) по пригородным улицам, где проживало тысяч пятьдесят народу, и, продвигаясь сквозь толпы экипажей и ребятишек, мимо витрин магазинов, ухитрялись никого не задеть. Я был разочарован.

Когда негр-проводник снабдил пассажиров всем необходимым для ночлега и тут же, на полке, удалось разрешить проблему раздевания, меня озарила счастливая мысль: случись что-нибудь, придется оставаться на своем месте в ожидании, когда керосиновые лампы подожгут опрокинувшийся вагон и поджарят всех живьем. Значительно проще выбраться из переполненного театра, чем из пультмана.

Когда я понял, что обилие никеля, плюша и красного шелка не спасает от духоты и пыли, поезд вырвался на залитые ярким солнечным светом берега реки Сакраменто. Полки были преобразованы в сиденья, поспешно открыли несколько окон, однако в длинном вагоне, похожем на гроб, не стало прохладнее. Мы сидели там словно чумазая команда. Было шесть утра, становилось нестерпимо жарко, однако своими заспанными глазами я увидел за окном страну Брега Гарта и возликовал. Там были сосны и холмы, те самые, поросшие мадронью холмы, где сражались с судьбой его рудокопы. Там раскинулась пышущая жаром красноватая земля, которая словно демонстрировала, откуда они намывали золото. Промелькнули узкое высохшее ущелье и красная пыльная дорога, где бывало сам Гемлин* останавливал почтовые кареты, чтобы развлечься после элегантного времяпрепровождения и блестящей карточной игры.

В лучах солнца лежали срубленные деревья, словно потом истекая смолой. Все это обнимала вездесущая, вибрирующая жара, точно такая, как и в рассказах Брега Гарта, жара, которую он своим волшебным пером словно загоняет в голову читателя. Когда мы остано-

вились возле коллекции ящиков, очастливленных званием города, радость переполнила меня. Название местечка звучало как-то вызывающе — не то Амбервилль, не то Джексонбург. Он владел литым чугунным фонтаном, достойным города с тридцатитысячным населением. Рядом с фонтаном находился отель, который вместе с трубой был не выше семнадцати футов, а по соседству, на склонах холмов, стояли дубы и сосны, буйствовал кустарник. Бурый медвежонок (настоящий Малыш Сильвестра) был привязан к пеньку, торчавшему из земли напротив отеля; в пыльном мареве дремал навьюченный мул; какой-то человек в красной рубашке и шляпе с обвислыми полями подпирал плечом отель; рудокоп в синей рубашке завернул за угол, а двое других подались внутрь, чтобы опрокинуть стаканчик. Из соседнего домика вышла девушка и, прикрыв лицо загорелой ладонью, стала смотреть на тяжело отдувавшийся паровоз. Она не узнала меня, но я догадался, кто она, — это была Млисс. Она так и не вышла замуж за школьного учителя и, вечно юная и прекрасная, осталась навсегда среди этих сосен. Краснорубашечника я тоже признал. Он был одним из тех бородачей, которые стояли за спиной Теннесси, когда тот вырвал компаньона из лап правосудия. Река Сакраменто, протекавшая тут же, кричала, что все это — правда. Поезд тронулся, Малыш Сильвестра остался стоять на своей мохнатой голове, а Млисс взмахнула чепчиком.

— Нравится? — спросил адвокат, мой попутчик. — Ведь это для вас в диковинку?

— Нет. Хорошо знакомо. Хотя я не был нигде, кроме Англии, мне кажется, что я уже видел все это.

Последовал быстрый как молния ответ:

— Да, так когда-то жили в Венеции, когда шахтеры-водолазы были там королями.

Адвокат понравился мне с первого взгляда. Мы выпили за Брега Гарта, который, как вы, наверно, помните, «заявил права на Калифорнию, но та отказалась от него. Он превратился в англичанина».

Откинувшись на спинку дивана, я ждал, когда миля за милей передо мной пройдут страницы давно прочитанной книги. Я получил все, что хотел: от «Незначительного человека», который, сидя на пеньке, играл с собакой, до «Той саркастической личности» — тихого мистера Брауна, который влез в поезд, появившись из

леса, и из его уст действительно словно изливались сера и яд. Он только что проиграл дело в суде. А вот Юба Билл так и не показался. Поезда лишили его работы. Совершенно незнакомый хулиган прижал меня в угол и начал рассказывать о богатствах страны и о том, что должно было из этого получиться. Я запомнил из его лекции, что Сакраменто, та самая река, изгибам которой мы так преданно следовали, изобилует форелью.

Затем в наш разговор влез крепкий жилистый старик с сильной проседью в волосах и тоже стал расспрашивать о форели. Ему вторил секретарь страховой компании. Думаю, что тот шел по следам лиц, умерщвленных поездами, но тоже оказался заядлым рыболовом. Оба повернулись в мою сторону.

Откровенность «западника» просто восхитительна. Говорят, что в восточных штатах я встречу людей иного склада, намного сдержаннее. Калифорнийцы считают, что люди из Новой Англии принадлежат к другой породе. Это напоминает соперничество наших пенджабцев и мадрасцев, только здесь это выражается более ярко.

Старик взял отпуск, чтобы половить рыбу. Встретив «товарища по оружию», он предложил составить союз удилиц. Агент страховой компании промолвил: «Я не задержусь в Портленде, но могу представить вас человеку, который наведет на рыбу». Потом оба рассказывали небылицы, а поезд мчался через леса. Вдали виднелась снежная голова какой-то горы. Там, где местность была открытой, появились виноградники, фруктовые сады, пшеничные поля, и каждые десять миль — два-три десятка деревянных домишек и не менее трех церквушек (большой город имел бы тысячи две населения и безграничную веру в свое великое будущее). Время от времени мелькали яркие рекламные стенды, которые призывали людей оставаться на постоянное жительство, строятся и осваивать землю. В больших городах нам удавалось покупать местные газеты, узкие, как лезвие ножа, но вдвое острее, — издания, переполненные рекламами на новые жатки и сноповязалки, сведениями о ценах на скот, перемещениях именитых граждан («чья слава простирается далеко за пределы их местожительства — на целые мили по Гарлемской дороге»). Эти листочки не отличались изяществом, но все они призывали добрых людей ходить за

плугом, строить школы для ребятишек и заселять холмы. Только однажды я обратил внимание на резкую, весьма патетическую смену настроения. Мне показалось, что чья-то молодая душа изливала свое горе в стихах. Редактор втиснул строки между цветистыми объявлениями агента по продаже земельных участков (человека, торгующего землей с помощью лжи) и портного-еврея, который распродал «шикарные» костюмы по «сногшибательно низким ценам». Вот эти четверостишия. Думаю, они говорят сами за себя.

Бог создал и укоренил сосну,
Вершину в небо вознес.
Они выжгли сосну, чтоб поднять цену
На пшеницу, на рожь и овес.
Процент за душу погибшей сосны
До самого неба возрос,
А цена на пшеницу не меньше цены,
Подскокившей на рожь и овес.

Люди с поджатыми губами и пронзительным взглядом, которые садились на поезд, не станут читать эти строки, а если прочтут, то ничего не постигнут. Да хранит небо ту бедную сосну, которая подпирает небо в пустыне.

Когда к составу прицепили дополнительный паровоз и оба локомотива тяжело задышали, кто-то сказал, что мы начали подниматься в горы Сискию*. Собственно говоря, подъем начался от самого Сан-Франциско, и вот, проезжая сплошными лесами, мы оказались на высоте свыше четырех тысяч футов над уровнем моря, затем, совершенно естественно, спустились вниз, но спуск этот на две тысячи футов проделали на отрезке пути всего в тринадцать миль. Меня заставили призадуматься вовсе не скрип тормозов или открывшийся вид на три крутые извилины дороги, которые, судя по всему, лежали на целые мили под нами; даже созерцание туннеля или товарного поезда, который проезжал чуть ли не у нас под колесами, не произвело на меня столь сильного впечатления, как те эстакады высотой в сотню футов, словно сложенные из спичек, по которым мы проползали.

— Думаю, что строевой лес — наше проклятие и благо одновременно, — сказал старик из Южной Калифорнии. — Эти эстакады выдерживают пять-шесть лет, а потом их невозможно отремонтировать. Иногда их уничтожают пожары, а поезда срываются вниз.

Это было сказано на самой середине стонущего пролета, который ходил под нами ходуном. Изредка попадался обходчик, следивший, как мы спускаемся вниз, однако железнодорожная компания не слишком заботилась об осмотре путей. Очень часто скотина выходила на полотно, и тогда машинист гудел по особому дьявольски громко. В молодости старик сам был машинистом и поэтому скрасил путешествие рассказами о том, что может произойти, если мы зацепим молодого бычка.

— Видите ли, иногда они застревают ногами под решеткой — скотосбрасывателем, и тогда паровоз сходит с рельсов. Помню случай, когда боров пустил под откос поезд с туристами. Было убито шестьдесят человек. Но я прикидываю — наш машинист будет повнимательней того.

Эта нация уж слишком часто «прикидывает» все на глазок. Некий американец объяснил это довольно выразительно: «Мы «прикидываем», что эстакада вроде бы простоят вечно, «прикидываем», что авось залатаем размытую колею, что дорожное полотно будет чистым, и «доприкидываемся» иногда до того, что вместо депо попадаем в ад».

Спуск доставил нас в глубь Орегона — страны пшеницы и леса. Путь пролегал по соснякам, по полям пшеницы, и так продолжалось до самого Портленда, где проживают более пятидесяти тысяч жителей. Само собой разумеется, они пользуются электрическим освещением и, конечно же, лишены мостовых. Портленд — морской порт примерно в сотне миль от океанского побережья, и туда заходят большие пароходы. Город довольно беден, он не вправе прихвастнуть, что на Тихоокеанском побережье ему нет равных, и жалуется на это обстоятельство соснам, которые сбегают к городу с тысячефутового гребня. Там можно посидеть в пестро разукрашенном баре, оборудованном телефоном и музыкальным ящиком, а через полчаса оказаться в глухом лесу.

В Портленде производят пиломатериалы и строительные детали из дерева, пиво и экипажи, кирпич и бисквиты. На тот случай, если вы забыли обратить внимание на эти факты, для вашего сведения повсюду развешаны плакаты с великолепными видами города, снабженные надписями, уточняющими стоимость произведенных продуктов в долларах. Все это превосходно и вполне

уместно для осваиваемой земли. Однако, когда утверждают, что это цивилизация, приходится возражать. Цивилизованные люди в первую очередь умалчивают о долларах, потому что те — всего лишь смазочное масло, которое помогает машине жизни гладко катиться вперед.

Жители Портленда настолько занятые люди, что им некогда позаботиться об устройстве канализации или асфальтировании улиц. Вследствие этого четырехэтажные кирпичные блоки выходят фасадами на булыжные мостовые, дощатые тротуары и прочее, что и того хуже. Я наблюдал, как копали фундамент. Сточные воды, которые накопились, пожалуй, за два десятилетия, так пропитали почву, что моим глазам предстало истинно восточное зрелище — полные лопаты компоста. Однако, как и полагается, местная пресса клялась, что нет места на земле, подобного Портленду (Орегон, США), вела хронику достижений орегонцев и заявляла, что все выдающиеся граждане США — выходцы из Орегона. Газеты дрались не на живот, а на смерть за осуществление проектов строительства складов, причалов и железной дороги. В них легко отыскать имена людей, которые отдали свои жизни этому городу, были тесно связаны с ним и не жалели сил ради того, что принималось за его материальное процветание.

Очень жаль, что неделю назад в этом кипучем, трудолюбивом городе был зарегистрирован случай применения огнестрельного оружия. Некий почтенный гражданин застрелил другого на улице и теперь заявлял, что действовал в порядке самообороны, потому что тот, другой, имел при себе револьвер (либо убийца попросту предполагал это). Не удовлетворившись тем, что он подстрелил противника, убийца легко и просто разрядил револьвер в поверженного человека. Я читал его показания, и мне стало тошно. Насколько я понимаю, если бы при мертвом теле нашли оружие, убийца остался бы на свободе. Мало того, что это было самое настоящее убийство, гнусное само по себе, заявление преступника о собственной невиновности отдавало утонченной трусостью. Этот оставшийся в живых скот просто испугался, вообразив, что другой человек потянулся к заднему карману, что в центре цивилизованного города застрелят его самого и так далее. В конце концов присяжные разошлись во мнениях. Но хуже всего

следующее: процесс освещался репортером, который, по-видимому, сам знал толк в оружии; дело разбиралось присяжными, от лично осведомленными в тонкостях «револьверной» этики, обсуждалось на улицах людьми, тоже искушенными в особенностях «игры».

Однако вернемся к более веселому. Агент страховой компании представил нас как своих друзей человеку, занимавшемуся продажей земельных участков; тот быстро препроводил нас на денек-другой на берега Колумбии, чтобы и самому успеть навести справки о рыбной ловле. Он обошелся с нами без лишних формальностей. Он называл старика Калифорнией, я спокойно отзывался на Англию или Джона Буля, а страховой агент стал Портлендом. Какая возвышенная и великолепная форма обращения!

Итак, я и Калифорния сели на пароходик и прелестным голубым утром поплыли по реке Уилламетт навстречу великой Колумбии — реке, где производят лосося, попадающего затем в банки, опустошаемые, когда мы в Индии принимаем нежданных гостей. Калифорния представил мне пароходик и пейзаж. Он показал рубку парохода, рассказал, чем отличается хохлатая птица крохаль от какой-то другой птицы, и описал природу местных заводов. Все, что я запомнил в этой поездке, — восхитительное ощущение реальности марк-твеновских Гекльберри Финна и лоцмана с Миссисипи. Я чуть ли не узнавал те плёсы, по которым плыли на плоту Гек и Джим. Мы находились на границе штатов Орегон и Вашингтон, но это не имело значения. Колумбия заменила мне Миссисипи. Мы плыли между поросшими лесом островками, где берега изобиловали оползнями; в поисках фарватера наш пароходик метался из стороны в сторону на протоке шириной в добрую милю (совсем как его миссисипский собрат), а когда мы хотели подобрать или высадить пассажира, то выбирали местечко помягче и тыкались носом в берег.

Калифорния разговаривал с каждым новичком и называл мне место, где тот родился. Длинноволосый коровий пастырь проломился сквозь чащобу кустарника, помахал шляпой и был принят на борт. «Южная Каролина, — сказал Калифорния, почти не глядя на парня. — Выговор мягче моего». Все оказывалось так, как говорил Калифорния. Я удивлялся, а тот только прищелкивал языком.

Каждый островок нес на спине бремя тучных пшеничных полей, фруктовых садов и беленый деревянный домишко. Если сосны густо покрывали остров, там обязательно стояла лесопилка. Дрожащий визг пил звенел над водой, напоминая жужжание уставшей пчелы. По обрывкам фраз, которые ронял Калифорния, я узнал, что он владеет судами-лесовозами, несколькими ранчо, торгует пиломатериалами, имеет партнера и получает неплохой доход, проделав за тридцать пять лет весьма пеструю карьеру. Однако он выглядел таким же беспутным бродягой, как и я.

— А теперь, молодой человек, мы увидим неплохой пейзаж. Вы будете петь и плясать от радости, — сказал Калифорния, когда лесистые острова с мягкими очертаниями сменились более суровым ландшафтом.

Пароходик очутился посреди осиного гнезда подводных скал, которые таились на глубине не более одного фута от поверхности кипящей, бугрившейся воды. Потом мы пытались пробиться напрямик какой-то протокой, и штурвальное колесо ни разу не переключивалось дважды на один и тот же борт. Затем мы столкнулись с плавающим бревном, отчего по всему пароходу словно пробежала судорога, а чуть позже — с великолепным лососем, который плыл кверху брюхом, растворив жабры, — величественная двадцатифунтовая рыбина из реки Чинук, погибшая в расцвете сил.

— Скоро увидим лососевые колеса, — сказал человек, который жил «там, в Уошугле». Его шляпу, словно блески, украшали форелевые мухи. — Лососи из Чинука не идут на муку. Консервные заводы черпают их колесом.

За очередным поворотом мы увидели эту адскую машину, которая состояла из проволочных сеток. Она вращалась течением и была установлена на барже, привязанной к берегу. Калифорния длинно и замысловато выругался, а когда ему сообщили вес хорошего ночного улова (несколько тысяч фунтов), поток ругательств усилился.

Только вообразите это подлое и кровавое убийство! Но вы там хотите во что бы то ни стало отведать консервированной лососины, и заводы не могут существовать, если перестанут опускать в воду свои снасти.

А вскоре Калифорния чуть было с ума не сошел. Он приплясывал на носу парохода, вскрикивая: «Посмотрите, какой красавец!»

Голубчик ты мой!» Он заметил водопад — облачка белого пара, растрепанные ветром и срывающиеся вниз с гребня горы. Настоящий водопад на высоте восемьсот пятьдесят футов! Голоса его струй звучали громче самой реки.

— Невестина фата! — воскликнул судовой казначей.

— Да пропади пропадом казначей и те, которые его так окрестили! Почему бы не назвать его «Брабантские кружева», что идут по пятьдесят долларов за ярд? — возмущался Калифорния, и я согласился с ним.

В этой стране немало водопадов с названием «Невестина фата», но говорят, что лишь некоторые из них прекраснее тех, что низвергаются в Колумбию. Затем потянулись пейзажи, какие природа выставляет напоказ с беззаботной щедростью, словно желая проявить обычную любезность, и оказывается деспотически пышной. Река была стиснута гигантскими каменными стенами, увенчанными развалинами восточных дворцов. Потом, попав в окружение поросших соснами гор, полоса зеленоватой воды сделалась шире. Посреди потока, словно коготь с большого пальца самого дьявола, торчала скала высотой в сотню футов. Коса ослепительно белого песка, казалось, сулила общее понижение ландшафта, но за поворотом глазам открылось иное. О! Мы неслись под стенами мрачных трехъярусных крепостей, украшенных сверху шапками лавы и соснами. Вдали выдвигался в небо (на высоту четырнадцать тысяч футов) массивный купол горы Худ, а внизу клубилась река, опоясанная тополями. Я присел и стал наблюдать за Калифорнией, который теперь висел чуть ли не за бортом, стараясь рассмотреть оба берега разом. Он заметил в моих руках блокнот и оскорбился:

— Молодой человек, оставьте бумагу в покое. Ни вы, ни вам подобные не сумеете это обрисовать. Вот Блэк, романист, так тот смог и даже описал, как ловят лосося. Так-то.

Он сверкнул на меня глазами, словно ждал, что я встану и сделаю то же, что Блэк.

— Конечно, ничего у меня не получится. Отлично знаю, — промямлил я.

— Тогда благодарите судьбу за то, что вам посчастливилось увидеть такое!

Мы достигли островка, где была проложена железнодорожная ветка. С ее помощью нам предстояло перебраться на другой пароходик. Казначей объяснил, что здесь много парогов.

Мы проехали миль шесть в игрушечных вагончиках по самому краю речной кручи. Иногда мы ныряли в душистые сосновые рощи, пламеневшие лесными цветами. Река сузилась, превратившись в турбулентный поток. Там, где она по-настоящему взбунтовалась, правительство Соединенных Штатов соорудило шлюз. Вода — кипящая, брызжущая пеной масса. Бревно, которое несло вниз по течению, наскочив на камень, раскололось вдоль и исчезло в пенном водовороте. Я содрогнулся. Злополучная колода промелькнула в каких-то шестидесяти футах у меня под ногами, и я испугался, как бы она не задела нас, выскочив на поверхность.

По плавучей эстакаде поезд словно въехал в реку, и я, сам не знаю как, очутился на другом пароходке. Перекаты остались ярдах в двухстах ниже по течению. А когда мы отчалили и колеса еще не ударили по воде, нас потащило назад с такой силой, будто пароход волокли на буксире. Холмы расступились, и перед нами открылась равнина.

Калифорния начал сокрушаться по поводу утери круч и обрывов, как мы едва не наткнулись на каменную стену футов четыреста высотой, увенчанную гигантской фигурой человека, словно наблюдавшего за нами. На скалистом островке белела могила одного из первых переселенцев, который, как рассказали, сделал большие деньги в Сан-Франциско, а потом предпочел обрести покой посреди индейского захоронения. Сгнивший деревянный *wickup**, где были сложены кости умерших индейцев, стоял по соседству с могилой.

Река побежала по каналу с базальтовыми берегами, которые были окрашены индейцами в желтое, ярко-красное и зеленое, а куда более грубыми скотами — заляпаны плакатами, рекламировавшими всякую дрянь. Мы достигли Далласа (центр овцеводства и производства шерсти, а также речной порт). Когда американец приезжает в незнакомый город, чувство долга обязывает «приобщить его» к себе. Жестом человека, которому ни к чему не привыкать, Калифорния забросил куртку на плечо, и часов в восемь вечера мы вместе отправились исследовать Даллас.

Солнце еще не зашло, и было светло в течение часа. Казалось, каждый старожил владел здесь небольшой виллой и собственной церквушкой. Молодые люди прогуливались парочками, а старики посиживали себе на

крылечках (не у парадного входа, что ведет в благоговейно зашторенные гостиные, а сбоку); супружеские пары подвязывали грушевые деревья или собирали вишни. Я почувствовал запах сена и услышал звон колокольчиков. Это коровы возвращались домой дугами, усеянными кусками застывшей лавы. Калифорния мчался по дощатым тротуарам, критикуя вслух хозяйскую мальву и более совершенные способы пересадки груш, а когда мимо проходила парочка, принимался рассказывать увлекательные истории из своей молодости. Я чувствовал себя так, будто знал этих людей прежде, настолько меня заинтересовали их быт и они сами. Какая-то женщина висела на калитке, болтая с подругой. Проходя мимо, я услышал, как она сказала «юбка» и снова «юбка... я дам тебе выкройку». Я догадался, что женщины обсуждали покрой платья. Мы наткнулись на парня и девушку, которые прощались в сумерках, и до меня донеслось: «Когда мы увидимся снова?» Я понял, что для сердца, обуреваемого сомнениями, этот крохотный городок, который мы обежали за двадцать минут, может показаться огромным, как Лондон, и непреодолимым, как военный лагерь. Я благословил обоих, потому что вопрос «Когда мы увидимся снова?» понятен каждому, кто живет в этом мире. Громко хлопнула чья-то калитка, и ее стук прокатился по опустевшей улице.

— Послушай, Джон Буль, как-то одиноко становится на сердце от всего этого, — сказал Калифорния. — У тебя есть кто-нибудь дома? У меня вот жена и пятеро ребятишек. Ведь я только в отпуске.

— И я только в отпуске, — отозвался я, и мы побрели в пропахший плевательницами отель. Увы! Все же нашлось нечто недостойное мирного, опрятного городка, о котором я только что лепетал. В укромном углу какой-то лавки была комната с предусмотрительно занавешенными окнами, где играли в покер, пили и сквернословили те самые молодые люди, которые совсем недавно ворковали с девушками. Там продавались дешевенькие книжонки, поучавшие, как проливать кровь (чтобы отравить мальчишеские мысли), и смаковались грязные истории о похотливых служанках (для растления молодых девушек). Калифорния мрачно рассмеялся. Он сказал, что так обстоит дело во всех городках Соединенных Штатов.

*Тави
обладывать шестая*

рассказывает о том, как я поймал лосося в реке Клакамас

Сраженье, скачка не за тем, кто сильней,
резвее нас; всем равный выпадает шанс.

Вот это жизнь! Да поглотит теперь море Американский континент! Я получил от него все самое лучшее, и это не доллары, любовь или недвижимое имущество. Послушайте мой рассказ, джентльмены из Пенджабского рыболовного клуба, вы, исхлеставшие спиннингами просторы Тави, и те, кто в поте лица занимается импортом форели в Утакаманде! Я поведаю, как старина Калифорния и я отправились на рыбную ловлю, и вы сгорите от зависти.

Мы вернулись из Далласа в Портленд той же дорогой. En route пароходик останавливался у одной из лососевых мельниц, чтобы забрать ночной улов и доставить его на заводик, который стоял ниже по течению. Когда владелец мельницы сказал, что это две тысячи двести тридцать фунтов живой рыбы («не слишком большой улов»), я ему не поверил. Однако, когда начали грузить ящики, я насчитал сотни рыбин — огромные еще живые лососи фунтов на пятьдесят, десятки двадцати-тридцатифунтовых экземпляров и множество мелочи.

Позже на пустынном плесе пароходик причалил к грубому бревенчатому складу на сваях и стал разгружаться. Я пошел вслед за рыбой вверх по запачканному чешуей, скользкому настилу, который вел внутрь завода. Немыслимая постройка сотрясалась от грохота работающих машин. Сверкающая гора металлических обрезков обозначала место, куда бросали отходы баночного производства.

Здесь работали только китайцы. В потоках солнечного света, лежавшего пятнами на полу, они походили на желтых дьяволов, забрызганных кровью. Когда прибыл груз, грубые деревянные ящики стали сваливать в чаны с водой. Ящики разваливались сами собой, и лососи заструились словно поток ртuti. Китаец поддел двадцатифунтовую

рыбину и отрубил ей голову и хвост двумя быстрыми ударами ножа, третьим — освободил лосося от внутренностей и швырнул в резервуар, обогранный кровью. Обезглавленные рыбыны выскакивали из-под рук с такой быстротой, как неслись по стремнине. Другой китаец вытаскивал рыб из чана и швырял под резак какого-то устройства, похожего на соломорезку и разрубавшего их на неприглядные багровые куски под размер банок. Несколько китайцев желтыми заскорузлыми пальцами запикивали эти куски в банки, и те скользили дальше, к чудесной машине, которая запаивала крышки.

Каждая банка мгновенно испытывалась на герметичность, а затем вместе с сотней других погружалась в чан с кипящей водой. Там их парили несколько минут. После этой операции они слегка вздувались, а затем по конвейеру доставлялись к рабочим, вооруженным иглами и паяльниками. Те протыкали крышки, выпуская из банок воздух, и тут же запаивали отверстия. Оставалось наклеить ярлык: «Колумбийский лосось высшего качества» — и партия была готова к отправке. Меня потрясла не столько скорость производства, сколько сам заводик. Внутри, в помещении футов девяносто на сорок, было смонтировано самое современное смертоносное оборудование. Снаружи, в трех шагах от него, стояли сосны и простирались бескрайние холмы. Пароходик задержался там не долгие двадцати минут, но я, прежде чем покинул забрызганный кровью и жиром, запачканный чешуей скользкий дощатый настил и пахнущих рыбьими потрохами китайцев, насчитал двести сорок банок, изготовленных из того ночного улова.

Тоскуя по лососям, я и Калифорния достигли города Портленда и встретили на улице знакомого агента по продаже недвижимости, заботам которого нас предоставил Портленд (страховой агент). Он сказал, что в пятидесяти милях от города есть местечко под названием Клакамас, где мы, пожалуй, отыщем вождеденное. Калифорния (фалды его сюртука развевались по ветру) помчался в платную конюшню и тотчас нанял фургон с упряжкой. Фургон можно было толкать одной рукой, настолько легкой оказалась его конструкция. Упряжка была чисто американской, то есть лошади отличались покладистым характером и чуть ли не человеческим интеллектом.

Кто-то сказал, что дорога на Клакамас не слишком-то хороша, и предупредил, чтобы мы берегли рессоры. Портленд, наблюдавший за нашими приготовлениями, в конце концов «прикинул», что «он тоже поедет», и вот под благословенными небесами наша тройца (в общем-то случайные попутчики) тронулась в путь. Когда Калифорния тщательно крепил в экипаже наши рыболовные принадлежности, зеваки, стоявшие вокруг, забрасывали нас всевозможными указаниями о лесопилках, которые должны были встретиться по дороге, о парамах, на которых предстояло переправляться, и прочих дорожных знаках. В полумиле от этого городишка на пятьдесят тысяч душ мы наткнулись (здесь это следует понимать буквально) на дощатую дорогу, которая опозорила бы даже ирландскую деревеньку.

Затем последовало шесть миль щебеночной дороги, и наша упряжка продемонстрировала, на что способна. От берега реки Уилламетт нас отделяла железная дорога, другая проходила над нами по склонам гор. Окрестности изобиловали небольшими поселениями, и нам навстречу часто попадались фургоны фермеров. На копнах сена позади хозяев восседали широкоглазые мальчуганы с кудельными волосами. Как правило, мужчины выглядели оборванцами, а вот женщины были разодеты. Впрочем, гусарские шнурки на доломанах, пошитых у портного, не совсем вяжутся с возком для сена. Затем мы углубились в лес и покатали по вполне приличной дороге, которую Калифорния обозвал «*santina reale*», а Портленд — «просто отличной дорогой». Она петляла между обгоревшими пеньками, ныряла под кроны сосен, огибала углы бревенчатых изгородей, пробиралась лощинами, которые зимой, наверное, превращались в непроходимые болота, и устремлялась вверх по немыслимым склонам, однако нигде я так и не заметил следов строительства настоящей дороги. Существовало нечто напомиравшее просеку (сбиться с нее было невозможно), и поэтому не оставалось ничего другого, как держаться ее. Сама проезжая часть была покрыта слоем пыли чуть ли не в фут толщиной, а под ним скрывались обломки досок и связки валежника, которые заставляли фургон подпрыгивать высоко в воздух. Иногда приходилось проламываться сквозь заросли папоротника, и однажды там, где густо росла куманика, мы наткнулись на

крохотное кладбище. Деревянные ограды покосились, и жалкие надгробия (обыкновенные пеньки), пьяно накренившись, кивали головами светло-зеленым кустам коровяка. Затем — под звуки проклятий и треск сучьев — показалась пара мощных волов, которые волокли по грубо сколоченному желобу бревно длиной футов сорок. Потом открылась долина с пшеничными полями и вишневыми садами. Мы остановились подле одного из домишек, меньше чем за рупию купили десять фунтов сладкой черной вишни и уж совершенно задаром напильки ледяной воды, а наши лошади, предусмотрительно поедать молодые побеги придорожных кустов.

Однажды мы наткнулись на лагерь торговцев лошадьми. Они расположились у воды и даже там были готовы к торгу. В другом месте два загорелых подростка верхом на индийских лошадах галопом скатились с холма. К высоким седельным лукам были приторочены корзины, полные рыбы. Мальчишки оказались рыболовами, а значит, и нашими братьями. Затем мы орали хором, пугая дикого кота; поспорились, обсуждая причины, заставившие змею переползти дорогу; швыряли кусочками коры в отважного бурундука, который на самом деле был индийской белкой. Она выбежала из чащи, чтобы поздороваться со мной.

Мы заблудились, застряли на крутом склоне, а потом привязывали два задних колеса, чтобы спустить фургон вниз. Помимо прочего были рассказы Калифорнии о Неваде и Аризоне; об одиночестве золотоискателя, об убое оленей и охоте за лядьми; о женщине, прекрасной женщине, — возмутительнице спокойствия в городках Дикого Запада, ради обладания которой люди палят из револьверов; о внезапных поворотах колеса Фортуны, которая испытывает удовольствие, когда ей удастся превратить простого старателя или лесоруба в четырехкратного миллионера или разжаловать железнодорожного короля.

Этот день запомнился мне навсегда, но начался по-настоящему, когда мы натянули поводья у крохотного фермерского домика на берегу реки Клакамас. Мы искали корм для лошадей и ночью и уже потом хотели поспешить к реке, которая переливалась через запруду в четверти мили от нас.

Вообразите поток семьдесят ярдов шириной, разделенный надвое галечным островком.

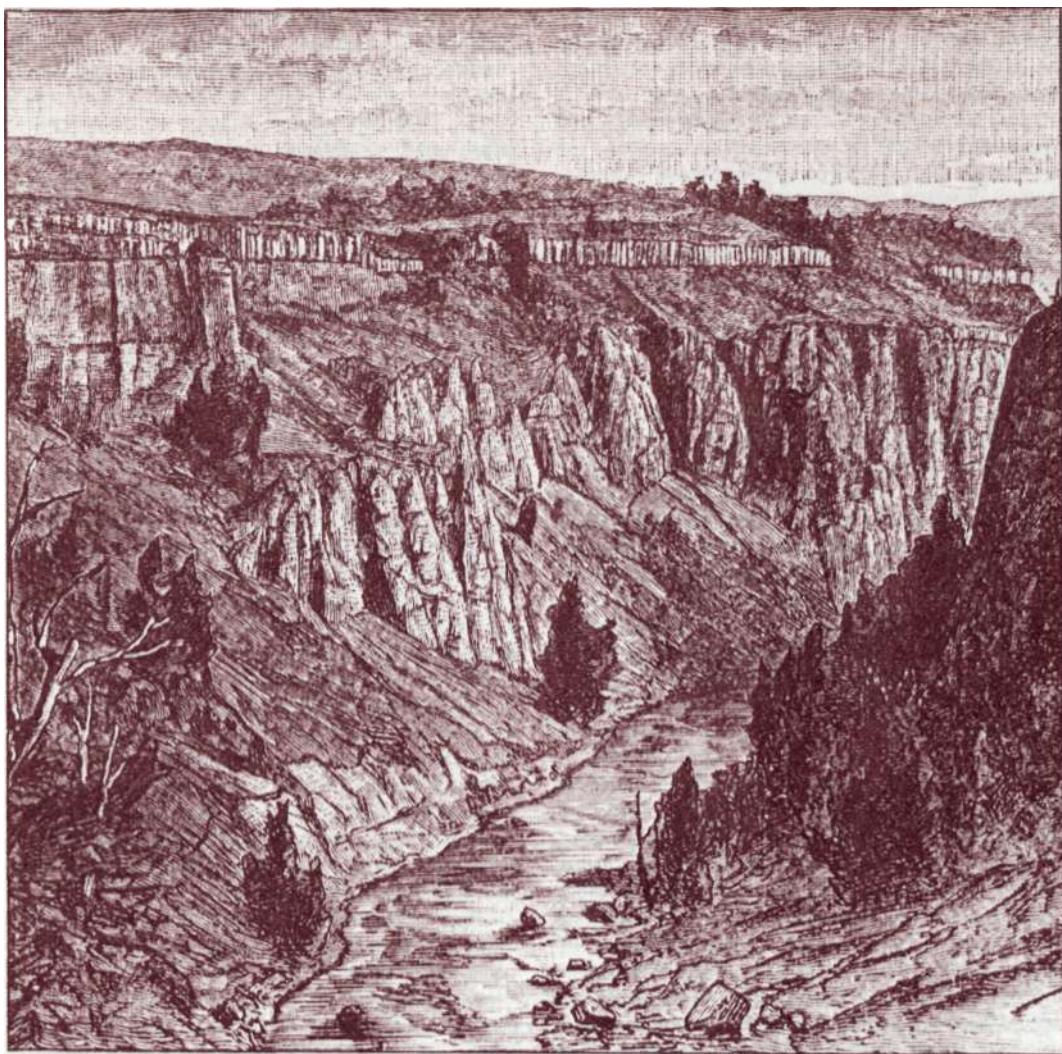
Поток бежал через соблазнительные отмели, вливался в глубокие тихие заводи, где всякий уважающий себя лосось имеет обыкновение выкурить трубку после обеда. Поместите такой поток посреди хлебов «по грудь» в окружении холмов и сосен, добавьте озерцо, пастбища, обнесенные бревенчатыми изгородями, и обрыв высотой этак футов сто (чтобы пейзаж не казался слишком монотонным), и вы получите какое-то представление о здешнем крае.

У Портленда не было удилища. Он вооружился острой и бутылкой виски. Выбирая позицию, Калифорния, словно пес, порыскал вверх и вниз по течению и, наконец, забросил сверкающую блесну в хвост переката. Я был занят сборкой удилища, когда услышал визг катушки и радостные вопли Калифорнии. Затем над водой промелькнуло три фута живого, трепещущего серебра. Противники сошлись, чтобы померяться силами. Лосось рванулся вверх по течению. Тугая леска вспарывала воду словно вежа, противостоящая приливному течению; легкое бамбуковое удилище согнулось так, что чуть было не переломилось надвое.

Я не в силах описать того, что произошло потом. Калифорния ругался и молился разом. Портленд выкрикивал советы, а я делал то и другое. Казалось, что прошло полдня, а на самом деле — пустынные четверть часа. Наконец наша рыбина неохотно вышла к берегу, время от времени обнаруживая характер. Она куда-то рвалась, вытанцовывала сарабанду в воздухе, однако подвигалась к нам, и неумолимая катушка дюйм за дюймом укорачивала нить ее жизни.

Мы вывели рыбу на берег в маленькой бухточке, и пружинные весы зафиксировали одиннадцать с половиной фунтов трепещущей лососины! Тут же, на гальке, мы исполнили военный танец, и Калифорния с такой силой сжал меня в объятиях, что едва не сломал мне ребра, пока выкрикивал: «Партнер! Дорогой партнер! Ведь это великолепно! Поймай-ка теперь своего! Я ждал этого часа двадцать четыре года!»

Я зашел в ледяную воду и забросил блесну чуть выше запруды, но, увы, зацепил лишь черно-голубую водяную змею с коралловым ртом, которая, свернувшись кольцом на камне, шипела проклятия. Другая попытка — о миг, достойный королей! Трепет, пробегающий по телу с головы до пят! Рыбина

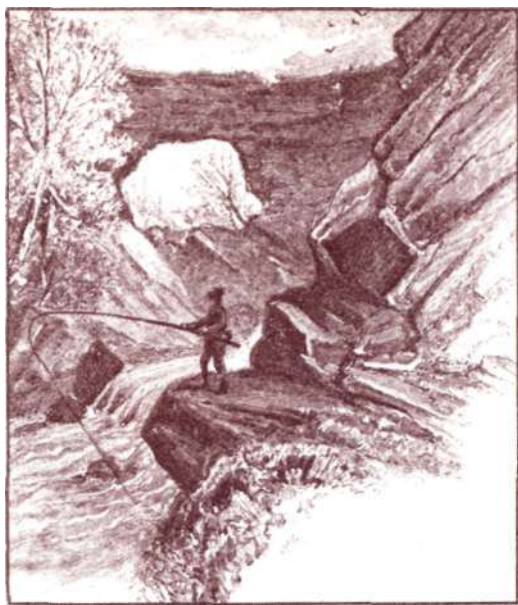


кинулась на блесну и схватила ее! Во мне еще оставалось немного здравого смысла, для того чтобы позволить ей побеситься, когда она, подпрыгнув в воздух (и не раз, а все двадцать), совершила полет, оставивший на катушке всего с полдюжины витков лески, так что показался никелированный барабан. Я обжег большой палец, прежде чем сумел задержать леску, но ощутил боль позже, потому что моя душа была там, в бесноватом потоке, где умоляла лосося сдаться, прежде чем ему удастся вырвать снаряд из моих рук. Молитвы были услышаны. Когда я изогнулся

назад, уперев удилице в левую тазобедренную кость (в этот миг оно напоминало ветку плакучей ивы), лосось повернул, и мне удалось до последнего дюйма выбрать всю слабинку лески.

В этом мире удача (когда ощущаешь полную радость победы) существует в нескольких видах, и я спрашиваю вас: — не является ли самой сладкой из них беззвучное умыкание лески у полнокровного лосося, которому точно известно, для чего это делается?

Подобно рыбине Калифорнии, лосось ринулся на меня головой вперед, а затем, подпрыг-



нув, рванул леску, однако в этот миг всевышний вооружил меня двумястами пятьюдесятью пальцами. Берег реки и сосны плясали вокруг как сумасшедшие, а я наматывал леску на катушку, словно от этого зависела моя жизнь. Казалось, прошли часы, но я продолжал делать свое дело, пока мне не удалось ударить лосося по голове, когда он дулся на меня в заводи. Калифорния стояла выше по течению, и уголком глаза я видел, как он широкими, размашистыми движениями умело забрасывал спиннинг. Он подцепил что-то, и в тот же миг мой лосось рванулся в сторону запруды. Калифорния и я одновременно тронулись вниз по течению. Наши катушки, словно звезды на заре, в унисон запели песню. Первородный энтузиазм добытчиков поостыл. Теперь мы оба были серьезно озабочены тем, чтобы упредить стремительные броски лососей на глубину перед плотиной и не перехлестнуть наши лески; одновременно мы старались загнать добычу на мелководье ниже по течению, где было удобно «приземлять» ее. Портленд пожелал нам набраться мужества и предложил перехватить у меня удилице. Я скорее предпочел бы умереть тут же, на гальке, чем уступить свое право продолжать игру до конца, право с помощью восьмиунциевой удочки «сделать» своего пер-

вого (еще неизвестного веса) лосося. Я услышал, как Калифорния задыхаясь шептал мне чуть ли не в самое ухо: «Настоящий боец из Файтервилля *». Уж будь уверен!»

В это время его рыбина совершила очередной бросок поперек реки. Потом Портленд с сачком в руке налетел на бревенчатую изгородь, порушив небольшой обрыв, и застучал сапогами по гальке, а я опустился на колоду, чтобы немного передохнуть. Когда я перевел дух, мои руки чуть дрогнули, и я не успел хватить лосося по голове. Неистовое бегство, всплеск и прорыв на глубину Клака-маса были мне наградой. Возобновилась горячая работенка: снова пришлось выбирать леску, держа один глаз под водой, а другой — на верхнем сочленении удилица. Самое худшее было в том, что я загораживал Калифорнии путь к маленькой заводи, о которой уже говорилось, и ему пришлось остановиться и изматывать свой приз на месте. «Отец всех лососей! — закричал он. — Ради всего святого, Джон Буль, поскорее вытаскивай свою форель!» Но я не мог ничего поделать. Даже оскорбление не сдвинуло меня с места.

Конец игры остался за лососем. С наигранным восторгом он позволял подтянуть себя к гавани, где я стремился его заполнить. Однако стоило ему почувствовать отмель под своим грузным брюхом, как он отработывал задним ходом, словно торпедный катер, и сердитое ворчание катушки говорило о том, что мои труды пошли насмарку. Такое случалось раз пятнадцать, пока наконец-то леска не намекнула, что противник все же проиграл сражение и разрешает буксировать себя.

И лосось был отбуксирован. Из-за его размеров сачок оказался бесполезным, но мне не хотелось портить рыбину острогой. Я ступил на мелководье и со всем уважением подхватил лосося под жабры. За проявление такой доброты он ударил меня хвостом по ногам. Я ощутил его силу и почувствовал гордость. Калифорния занял мое место на отмели: его рыбина держалась стойко. Я упал во весь рост на душистую траву, задыхаясь вместе с моим первым лососем, добытым с помощью восьмиунциевой удочки. Мои изрезанные руки кровоточили, я истекал потом, промок с головы до ног и был украшен чешуей, словно арлекин — блестками; мой нос облупился под солнцем, но я был бесконечно, в высшей степени, совершенно счастлив. Он,

этот красавец, мой дорогой, милый Лосось-багадур *, весил двенадцать фунтов, и целых тридцать семь минут ушло на то, чтобы вытащить его на берег! Он был подвешен за правый уголок челюсти, и крючок не беспокоил его. В тот миг я словно сидел посреди принцев и прочих коронованных особ, чувствуя себя выше всех их.

Мы слышали, как, изрыгая испанские проклятия, Калифорния сражался со своим лососем под береговым обрывом. Портленд и я присутствовали при поимке. Рыбина чуть было не сломала пружину весов. Те были созданы для того, чтобы выдерживать тяжести до пятнадцати фунтов. Мы уложили всех трех лососей на траве (одиннадцать с половиной, двенадцать и пятнадцать фунтов весом) и поклялись, что все пойманные позже будут подвергнуты взвешиванию и отпущены на свободу.

Как же рассказать о тех славных победах, чтобы вас проняло? Снова и снова я и Калифорния гарцевали к маленькой бухточке вниз по течению, ведя на буксире лосося, чтобы приземлить его на отмели. Затем Портленд одолжил у меня удилище и тоже поймал несколько рыбин (фунтов на десять каждая), а мою черпалку унес какой-то левиафан. Благодаря заслугам тех первых, что умерли так достойно, каждый пойманный лосось подцеплялся на крючок весов и отправлялся обратно в реку. Портленд отмечал вес каждого в записной книжке — недаром же он был агентом по продаже недвижимости. Рыбины оказывали сопротивление в меру своих достоинств, но ни одна не боролась так отчаянно, как задорный шестифунтовик. Через шесть часов мы подвели итог: шестнадцать лососей общим весом сто сорок два фунта. Подробный отчет выглядит так (конечно, он интересен только для тех, кто увлекается рыбной ловлей): пятнадцать, двенадцать, одиннадцать с половиной, десять, девять и три четверти, восемь и так далее. Как я уже говорил, ни одной рыбины менее шести фунтов и три — по десять.

Мы торжественно сложили спиннинги (славное же было времечко!) и тут же, на плёсе, заливаясь слезами радости, зарыдали друг у друга в объятиях. Затем мы вернулись в лоно простой, босоногой семьи, которая жила на берегу реки в домике, построенном из упаковочных ящиков. Престарелый фермер вспоминал деньки, когда шла война с индейцами

(«давно, еще в пятидесятых»), и каждый всплеск на реке Колумбии и ее притоках мог означать затаившуюся опасность.

Господь наделил его странным, косноязычным красноречием и заботами о благе своих сыновей — загорелых, застенчивых ребяташек, которые ежедневно посещали школу и с удивительным произношением разговаривали на правильном английском языке. Жена фермера была замкнутой, суровой, а когда-то, наверно, доброй и красивой женщиной. Годы невзгод лишили ее гибкого стана и мелодичного голоса. Она казалась ни на что не годной, кроме уничижительно мелочной домашней работы, а затем помиги где-нибудь на вершине холма под соснами среди кустов куманики. Однако она относилась с симпатией (правда, как-то уж слишком угрюмо) к своей старшей дочери — маленькой молчаливой девушке лет восемнадцати, мысли которой, по-видимому, витали далеко от кастрюль, которые ей приходилось чистить.

Дело в том, что мы познакомились с семейством, когда его постиг удар, но даже в таком положении они проявляли друг к другу немало искреннего человеческого чувства. Какой-то дрянной и нечестный портной обещал сшить девушке платье к завтрашнему дню для поездки по железной дороге, и, хотя босоногий Джорджи, боготворивший свою сестру, прочесал лес верхом на лошади, портного так и не удалось отыскать. Скрепя сердце, в сотый раз бросая на дорогу взгляды сестры Анны *, девушка прислуживала незнакомцам и (я в этом не сомневался) проклинала нас за необходимость молчать, которая пролегла между ней и потребностью выплакаться.

Это была настоящая маленькая трагедия. Глухим, бесстрастным голосом мать бранила дочь за нетерпение, а сама все же склонялась над каким-то шитьем. Я наблюдал за этой сценой при свете медлительного заката, а позже — трепетной ночью, пропахшей ноготками, когда бродил вместе с Калифорнией вокруг домика. Калифорния распустился словно цветок лотоса при лунном свете. Лежа на крохотной дощатой кровати в нашей «спальне», я обменивался всяческими историями с Портлендом и стариком. Большинство их побасенок начиналось примерно так: «Рыжий Ларри был ковбоем. Однажды он вернулся из графства Лоун, штат Монтана», либо «Некий перегонщик скота заметил большого

зайца, который сидел на кактусе», либо «В те дни, когда начался земельный бум в Сан-Диего, одна женщина из Монтерея» и так далее. Можете себе представить, что это были за истории.

На следующий день Калифорния взял меня под свое крылышко и сказал, что собирается взглянуть на город, пораженный бумом, и половить форель. Мы сели на поезд, убили корову (она не пожелала убраться с дороги, и локомотив зацепил ее, прибив насмерть) и, перебравшись через реку, очутились на территории штата Вашингтон. Там мы попали в город Такома, который находится в вершине Пюджет-Саунда*, по дороге на Ванкувер и Аляску.

Калифорния оказался прав. Такома на самом деле была поражена самым что ни на есть бумистым бумом. Я не совсем отчетливо помню, на каких природных ресурсах он был основан, хотя каждый второй встречный выкрикивал мне в ухо довольно длинный перечень. В него входили уголь, железо, морковь, картофель, лес, и местные жиденькие газетенки хором убеждали жителей Портленда, что дни их города сочтены.

Мы напоролись на Такому в сумерках. Грубые дощатые тротуары на главной улице грохотали под каблуками сотен сердитых людей. Каждый был занят активными поисками спиртного и подходящих аукционов, но прежде всего спиртного. Сама улица представляла собой чередование пятиэтажных деловых кварталов (относящихся к более позднему, самому отвратительному архитектурному стилю) и дощатых хибар. Над головой пьяно звенели спутанные телеграфные, телефонные и электрические провода. Они висели на шатающихся столбах, снизу обструганных ножами бродяг. На главной магистрали (грунтовой, почерневшей от сажи) проходила линия конки — ее рельсы торчали на три дюйма выше уровня дороги. В конце улицы проглядывали холмы, да и сам город напоминал беспорядочную кучу фишек домино. Паровой трамвай (он сошел с рельсов, едва я единственный раз сел на него) грохотал вдоль холмов, однако главными достопримечательностями ландшафта были фундамент гигантского оперного театра (из кирпича и камня) и почерневшие пни.

Калифорния окинул город оценивающим взглядом. «Солидный бум, — произнес он, а потом добавил: — Думаю, самое время уб-

раться восвосяи». Он хотел сказать, что бум достиг своего апогея, и самый целесообразным было бы не совать нос в это дело.

Мы прошли по неровным улицам — они внезапно обрывались пятнадцатифутовыми откосами и зарослями куманики. Тротуары из сосновых досок упирались в конце концов в настоящие деревья. Мы прогуливались мимо отелей с бесстыдными куполами, которые, словно турецкие мечети, были украшены всевозможными безделушками. Перед каждой дверью торчали пеньки. Нам попалась на глаза женская семинария — высокое мрачное красное строение, полюбоваться которым посоветовал один из уроженцев города. Там было много домов в стиле района Ноб-Хил в Сан-Франциско (на манер голландского), не ощущалось недостатка в зданиях, обезображенных резьбой, выполненной машинными ножовками, а также в других постройках, которые относились к готической школе. Последние выставляли напоказ всевозможную чепуху вроде деревянных замков и бастионов.

— Нетрудно определить, когда и почему парни соорудили все это, — промолвил Калифорния. — Вон тот, поодаль, хотел быть итальянцем. Архитектор сотворил то, чего он хотел. Новые здания из красного кирпича, с низкими покатыми крышами — голландцы. Это крик моды. Здесь можно прочитать историю города.

Но меня лишили такой возможности. Местные жители рады сами с гордостью рассказать обо всем. Стены отеля были расписаны пламенеющей панорамой Такомы, но мой верный глаз обнаружил лишь слабое сходство с оригиналом. Фирменные канцелярские принадлежности отеля рекламировали то обстоятельство, что Такома несла на своем челе признаки самой высокой цивилизации. Газеты подпевали, но на октаву выше. Агенты по продаже недвижимости за тысячи долларов распределяли участки под строительство домов в нескольких милях от города на еще не существующих улицах. А на реальных, примитивных и грубых проспектах, где свет голых электрических лампочек сражался с мягкими северными сумерками, люди лепетали о деньгах, городских участках и снова о деньгах, о том, как некто Альф или Эд сделали то-то и то-то, что принесло им такие-то деньги. И тут же, за углом, в скрипучем дощатом сарае, солдаты «Армии спасения»* в

красных фуфайках призывали человечество отречься от всего земного и последовать за их крикливым богом. Люди забегали по двое, по трою, какое-то время безмолвно слушали, молча исчезали, и напрасно гремели им вслед кимвалы.

Мне кажется, что острую тоску по дому наваял сырой запах свежих опилок. Я вдруг вспомнил свою первую, страшную ночь в школе. Тогда ее заново побелили, и легкий аромат испаряющегося раствора смешивался с запахом бревен и мокрой одежды. Я был мальчуганом, и школа представлялась мне чем-то совсем новым...

Скиталец среди скитальцев, еще не стесненных воротничками, я слонялся по улице, заглядывая в витрины небольших магазинов, где продавали рубашки по фантастическим ценам; я позднее читал в газетах, что это были фешенебельные магазины.

Калифорния отправился в собственную исследовательскую экспедицию, но вскоре вернулся, корчась в приступе беззвучного смеха.

— Они сумасшедшие, — сказал он, — все до единого. Какой-то парень чуть было не вытирал револьвер, когда я не согласился с ним, что Такома сможет обставить Сан-Франциско по части моркови или картофеля. Я попросил рассказать, что производит город, и ничего не выжал, за исключением этих проклятых овощей. Что ты на это скажешь? Я твердо отвечал:

— Ненадолго собираюсь переправиться на британскую территорию, чтобы перевести дух.

— Я тоже собираюсь отправиться вверх по проливу и тоже ненадолго, — сказал он, — но я вернусь к нашему лосою на Клакамасе. Кое-кто пытался заставить меня приобрести недвижимость. Мой юный друг, не покупайте здесь никакой недвижимости.

Добродушно взмахнув полами пальто, Калифорния исчез в ином мире, отличном от моего. Да сопутствует ему удача, потому что он — настоящий спортсмен! А я сел на пароход, который шел по Пюджет-Саунду в Ванкувер — конечный пункт Канадской Тихоокеанской железной дороги.

Я совершил занятное путешествие. Гладкие, как масло, воды, стесненные тысячами островков, стлались перед форштевнем, а след от винта разрушал неподвижные отражения сосен и утесов в миле за кормой. Мы словно наступали на стекло. Никому, даже

правительству, неизвестно количество островов в заливе. Даже теперь при желании легко заполучить любой из них в собственность. Там можно выстроить дом, развести овец, ловить лосося, в общем, сделаться царьком, а подданными будут индейцы из резервации, которые скользят на каноэ среди островов, а на берегу почесываются на манер обезьян. Местные индейцы несимпатичны и только по воле случая выглядят живописно. Гребет обычно жена, а сам индеец — закоренелый моряк — может совершенно неожиданно подпрыгнуть в своем утло суденышке и наградить жену ударом весла по голове, не рискуя при этом окупнуть все сооружение в воду. Я видел, как один из них без малейшего повода проделал подобное. Мне кажется, он попросту рисовался перед белыми.

Рассказывал ли я о Сиэтле, о том, как несколько недель назад этот город сгорел дотла, а люди в Сан-Франциско, которые занимаются страхованием, с ухмылкой восприняли эту потерю? Когда в призрачных сумерках на далеких островах засветились лесные пожары, мы «уткнулись» в город — тяжело столкнулись с ним, потому что причалы были сожжены, — и привязались там, где смогли, ткнувшись, словно свинья в высокую траву, в сгнившее основание лодочного сарая. Как и Такома, Сиэтл стоит на холме. В самом сердце деловых кварталов зияла ужасная чернота. Словно чья-то рука стерла их с лица земли. Теперь я знаю, что это значит. Пустошь тянулась примерно миллю и оживлялась лишь пятнами палаток, где люди занимались делами и довольствовались запасами, которые удалось спасти. С временного причала доносились крики, кто-то отвечал с парохода. Причал был завален кровельной дранью, стульями, чемоданами, ящиками с продовольствием и прочими планками и бечевками, которые идут на изготовление города на Западе. Вот о чем гласили крики:

— Эй, Джордж! Что у тебя новенького?

— Ничего. Вытирал старый сейф. Остальное сгорело. Все книги пропали.

— Спас что-нибудь еще?

— Бочонок галет и шляпку супруги. Начнем с них.

— Молодчина! Где этот универмаг? Надо бы заглянуть туда.

— Там, на углу, где сходились Четвертая и Главная, небольшая коричневая палатка рядом с милицейским постом. Скажи пожалуйста

ста! Живем по законам военного времени — все салуны закрыты!

— Всего хорошего, Джорджи! Кое-кто и так сходит с ума, а несколько капель сделают его еще хуже.

— Ты же знаешь: каждый проклятый создателем сукин сын, умудрившийся потерять все свои сбережения, собирается обложить голову льдом и мчаться в конгресс. А что остается делать нам?

Утешитель Иова*, кричавший с парохода, заткнулся; «Эй, Джордж» нырнул в бар.

Постскриптум. В числе многих достопримечательностей я откопал нечто любопытное. На пароходе обнаружилось Лицо—лицо над острой бородкой цвета соломы, лицо с тонкими губами и выразительными глазами. Мы разговорились, и вскоре я получил доступ к его идеям. Несмотря на то что в течение девяти месяцев в году это Лицо проживало в дебрях Аляски и Британской Колумбии, оно слыло знатоком в области каноники англиканской церкви* и было ревностным поборником приоритета этого учреждения. В то время как пароход тащился сквозь отраженные в воде звезды, Лицо излило в мои изумленные уши боевой клич самой воинствующей из церквей этой земли. Как вопиющая несправедливость был преподнесен тот факт, что в тюрьмах Британской Колумбии протестантские капелланы не всегда принадлежат этой церкви. Как оказалось, само Лицо не состояло в официальной связи с высоким учреждением и в силу житейских обстоятельств вообще очень редко посещало церковную службу.

— Но признаюсь вам, — с гордостью произнесло Лицо, — что посещение каких-либо иных мест богослужения, не предписанных мне, было бы прямым неподчинением порядкам, установленным моей церковью. Однажды я три месяца жил в таком месте, где была лишь Веслианская методистская часовня, но я туда ни ногой, сэр. Ни разу. Это явилось бы проявлением ереси с моей стороны. Самой обыкновенной ереси.

Когда я перегнулся через ограждение палубы, мне показалось, что звездочки в воде тряслись в приступе самого обыкновенного смеха. Но, может быть, то была рябь, поднятая пароходом.

*Лицо
объясняет себя*

уводит из Ванкувера в Йеллоустонский национальный парк*

Кто даст нам хронику путей
Простых людей, ночей и дней
Средь козьих стад, в снегах, где худо,
И путников, пришедших ниоткуда?

Сегодня я почувствовал себя дезертиром. Сюда, в город Виктория, который находится в ста сорока милях от границы Соединенных Штатов, почта доставила мне весте из нашего дома—страны грусти. Я отдыхал на берегу форелевого ручья и испытывал раскаяние за каждый глоток благодатного, чистого, как алмаз, воздуха. Мне писали, что вас поражают болезни. От Ревари до южных границ умирают хорошие люди. Мне доставили известие о кончине двух значительных лиц. Совсем недавно мы разделяли трапезу, шутили, и кажется несправедливым, что я нахожусь вдали от ярма и муштры нашей утомительной жизни. Ведь нет иной жизни, кроме той—в Индии. Американцы—это американцы, их миллионы; англичане остаются англичанами, но мы в Индии—это Мы, англоиндийцы, где бы ни находились. Мы разделяем тайны друг друга и скорбим об утере собрата. Вправе ли я распинаюсь перед вами о безыскусном счастье оставаться в живых?

Новости отравили радость, мне сделалось стыдно. В корзине лежат семьдесят форелей, которых я выловил в ручье Гэррисон-Хот-Спрингс, но даже они не утешают меня. Эти рыбки подобны украденным яблокам, уличающим прогульщика в праздности. Готов расстаться с этой рыбой, с моей собственностью в лесах, со свежим воздухом, проститься с новыми друзьями ради того, чтобы запрячься в жесткую сбрую нашей привычной жизни и душными, пыльными вечерами снова толкаться в толпе у теннисных кортов, присутствовать на скучных обедах в клубе, когда женщины, все до единой, отправлены в горы, а четверо-пятеро выживших мужчин расспрашивают доктора про симптомы инкубационной оспы. Я страдал бы телом, но отдыхал душой. О блестящее, многострадальное об-

шество, и вы, побратимы, — февральские новички, прибывшие с войсками, — и джентльмены, ожидающие расчета, берегите себя и свое здоровье! Больно узнавать о вашей смерти. Нас ведь так мало, и мы слишком близки друг другу.

Три года назад Ванкувер был уничтожен огнем за четверть часа. Сохранилось только одно здание. Сегодня население города насчитывает четырнадцать тысяч человек. Возводятся кирпичные постройки, которые потом облицовывают гранитом. Однако Ванкувер словно погружен в глубокий сон и этим отличается от любого американского города. Люди здесь не летают по улицам, изощряясь во лжи, и пловательницы в удивительно комфортабельных отелях стоят без дела. Тут бесплатные ваннные комнаты, которые не запираются на замок. Если хотите принять ванну, совсем не обязательно рыскать в поисках служителя. Во всем этом и заключается неполноценность Ванкувера. Какой-то американец обратил внимание на отсутствие суеты на улицах и сильно встревожился, когда я громким, отчетливым голосом поблагодарил за это господа бога. «Мне подавай гранит, тесаный гранит и тишину, — молвил я. — Оставьте себе ваши вывески и суматоху». Все же вокзал Канадской Тихоокеанской железной дороги — не слишком внушительное здание. Тем не менее там могут посадить пассажира чуть ли не из окна вагона на палубу лайнера, который через четырнадцать суток доставит его в Июкогаму. Когда я прибыл, «Парсия» водоизмещением, скажем, в пять тысяч тонн ожидала пассажиров у причала, и мне было приятно взглянуть на бывшего «Кунарда»*. Ванкувер располагает почти совершенной гаванью, если не считать течений (о них не стоит даже говорить), которые несколько затрудняют там плавание парусников. Город раскинулся вокруг гавани, он тяготеет к ней и, несмотря на свою молодость, имеет более благоустроенные улицы, чем любой город американского Запада. Кроме того, кое-где развешается «старый» флаг, и это успокаивает. В городе полно англичан, которые чисто говорят по-английски, прибегая к богохульству только при необходимости, и никуда не торопятся, когда проводят время за стаканчиком. Это и прочее, о чем я понаслышался здесь, как, например, превосходные мастерские и многое другое, что собираются построить для Канадской Тихо-

океанской железной дороги, убедили меня вложить средства в недвижимость.

Мной занимался восхитительный английский мальчишка. Он пытался поступить на службу в армию, но потерпел неудачу, а затем каким-то образом угодил в контору по продаже недвижимости и начал преуспевать. Я не стал бы покупать что-либо у американца — тот сильно преувеличил бы значимость сделки, пытаюсь доказать, что я вхожу в обладание Эдемом. Мальчишка же сказал очень просто: «Даю вам честное слово, участок не находится на вершине горы или под водой. Город действительно скоро будет развиваться в ту сторону. Советую вам согласиться». И я согласился с такой же легкостью, с какой покупал пачку табаку. Ме voisi я стал владельцем четырехсот высоченных сосен, нескольких тысячетонных гранитных глыб у подножия этих сосен и горстки земли. Таков городской участок в Ванкувере. Вы или ваш агент придерживаете его до тех пор, пока не поднимутся цены, затем продаете и покупаете еще больше земли подальше от города, и все повторяется снова. Правда, мне не совсем понятно, как таким образом растут города, однако мальчишка-англичанин сказал, что в этом суть «игры» и все будет в порядке. Но все же хотелось бы, чтобы на моем участке оказалось поменьше сосен и еще меньше гранита.

Подгоняемый любопытством и страстью к форели, я проехал семьдесят миль по Канадской Тихоокеанской в одном из трансконтинентальных вагонов, которые чище и вентилируются лучше, чем пульманы. Путешественника, пересекающего Канаду, возможно, ждет разочарование. И дело не в пейзажах, а в развитии страны. Так мне объяснили бродячие политические деятели из Англии. Но, пожалуй, они все-таки зашли слишком далеко, когда заявили, что восточная Канада — это вообще «провал» и отсутствие прибылей. Они жаловались на то обстоятельство, что страна топчется на месте и целые графства (они называли их провинциями) находятся под влиянием романо-католических священников, которые работают лишь о том, чтобы люди не перегружали себя земными заботами в ущерб спасению душ. Меня особенно интересовала сама дорога (по-настоящему современная железная дорога), которая в один прекрасный день займется переброской войск на Восток, когда наши силы

на Суэцком канале временно ослабнут. В чем нуждается Ванкувер — так это в добротном земляном укреплении на вершине горы (вокруг множество гор, и есть что выбрать), батарее тяжелых орудий и парочке пехотных полков, а позднее — в хорошем арсенале. Незрелость Америки заставит ее думать, что подобные приготовления устраиваются в ее честь, но Америку можно просветить на этот счет. Не оставлять же без прикрытия конечный пункт железной дороги...

Когда я перебрался на пароходе через пролив в нашу военно-морскую базу на острове Ванкувер, то нашел в этом спокойном, типично английском городке с красивыми улицами целую колонию стариков, которые не занимались ничем, кроме рыбной ловли и болтовни в своем клубе. Это значит, что все отставники едут в Викторию. С пенсией в тысячу фунтов в год человек чувствует себя в тех краях миллионером, а на четыре сотни можно жить вполне прилично. Именно там мне рассказали историю пожара в Ванкувере. В шесть часов вечера жители Нью-Уэстминстера (в двенадцати милях от Ванкувера) увидели зарево, но приняли его за лесной пожар; позднее по улицам стало разносить обрывки обгоревшей бумаги, тогда догадались, что случилось несчастье; а еще через час в городе появился верховой, который кричал во весь голос, что от Ванкувера не осталось и следа. Все было уничтожено пламенем за какие-то четверть часа. Два часа спустя мэр Нью-Уэстминстера посредством голосования получил от муниципального совета девять тысяч фунтов — и поток спасательных фургонов с продовольствием и одеялами устремился туда, где когда-то стоял Ванкувер. Сначала считали, что погибло всего четырнадцать человек, но даже сейчас, при закладке новых фундаментов, откапывают обугленные скелеты.

«В ту ночь, — продолжал рассказчик, — все жители Ванкувера остались без крова. Деревянный городишко исчез в мгновение ока. На следующий день принялись возводить кирпичные здания, и вы сами видели, чего сумели достичь».

Когда я возвращался пароходом в Такому, меня сильно утешил вид трех больших британских кораблей и одного миноносца, которые стояли вдали.

Между прочим, я обнаружил, что пресытился

ландшафтом. Я понял того разочарованного путешественника, который сказал: «Если вы видели великолепный лес, обрыв, реку и озеро, значит, вы наблюдали природу западной части Америки. Иногда сосна или скала достигают там трехсот футов в высоту, а озеро — сотню миль в длину. Так повсюду. Разве это неизвестно?» Я тоже почувствовал разочарование, но, видимо, просто от переутомления. Вот было бы здорово, если бы провидению было угодно распределить всю эту красоту там, где ее недостает, например в Индии. И все же красоты природы en masse ошеломляют, но никто, кроме жующего табак шкипера речного парохода, не видит ее. Говорят, что на Аляске острова поросли лесом еще гуще, снежные вершины там выше, а реки еще прекраснее. Это заставило меня отказаться от поездки на Аляску. Я отправился на восток, в Монтану, проведя еще одну ужасную ночь в Такоме среди людей, которые плюются. Отчего плюется житель Запада? Ведь это не доставляет ему удовольствия, а тем более окружающим.

Однако я становлюсь недоверчивым. Считается, что все хорошее, как и все плохое, исходит с Востока. Вступают ли там в перестрелку именитые граждане? О, там вы не встретите ничего подобного. Бытует ли там нечто более из ряда вон выходящее, чем линчевание? Там этим не занимаются. Вот попаду туда сам, тогда узнаю, действительно ли такое неестественное совершенство имеет место.

Итак, на восток, в Монтану! Я направил свои стопы в Йеллоустонский национальный парк, прозванный путеводителями «страной чудес». Однако истинные чудеса стали совершаться уже в поезде. Я попал в веселую компанию. Некий джентльмен заявил о своем намерении не платить за проезд, а затем сцепился с кондуктором, который весьма точным ударом отправил нарушителя головой вперед сквозь двойное зеркальное стекло, отчего эта голова оказалась вскрытой местами в четырех. Врач-пассажир поспешно заштопал самую глубокую рану, и пострадавшего выбросили из вагона на ближайшей станции. Он являл отвратительное зрелище: кровь, казалось, сочилась из-под каждого корешка волос на его голове. Кондуктор намекнул, что джентльмен, наверное, умрет, и довел до сведения пассажиров информацию о том, что с Канадской Тихоокеанской шутки плохи.

Когда на землю опускалась ночь, мы выехали из лесов и поплыли по диким полымным просторам. Пустынность Монтгомери*, дикость Синда или холмистой пустыни Биканир вселяют в душу радость, если сравнить их с жалкой скудостью полымных пустошей. Это нечто чахлое, пыльное и голубое. Оно обволакивает волнистые холмы словно заплесневевшим саваном, вызывает слезы и навевает ощущение одиночества. От него нет спасения. Когда Чайлд Роланд* пришел в Черную башню, он наверняка проследовал полымными зарослями.

Однако на свете существует нечто ужаснее нетронутой полыни. Это — город в прерии. Мы остановились в Паско-Джанкшене, и кто-то сказал, что это королева всех городов в прерии. Жаль, что американцы такие вруны. Я насчитал около пятнадцати бревенчатых домишек и увидел дорогу, которая казалась раной на девственно голубой поверхности полымного моря. Она убежала от города все дальше и дальше вослед заходящему солнцу. Моряк спит, отгородясь от смерти полудюймовой доской. Мы чувствуем себя как дома среди горстки людей, которые свернулись калачиком в койках, и только хрупкая (не толще одеяла) обшивка вагона отделяет экипаж от полымного одиночества.

Поезд дважды останавливался, стойкое безмолвие полыни словно поднималось из прерии и, казалось, вливалось нам в уши. Это напоминало кошмар, и даже спальное место в вагоне для иммигрантов не приносило успокоения. Вагоны были переполнены. Под утро у нас произошел скандал: кто-то умудрился напиться. Вмешался какой-то корнуэллец. Растягивая в улыбке рот до ушей, этот рыжеголовый стратег отлупил буяна ремнем, а миниатюрная женщина, которая лежала на скамейке поодаль, наблюдая за дракой, обозвала пьяного проклятым боровом, кем тот на самом деле и был, хотя даме не следовало бы так выражаться.

В вагонах для иммигрантов поддерживается чистота, однако сами помещения грубостью под стать койкам.

Позднее, когда мы переваливали через Скалистые горы, нам пришлось лечь на эти койки костью. Если нужно, американский поезд поползет по стене, хотя сидеть в нем будет не слишком удобно.

Стало ужасно холодно, но мы карабкались вверх до тех пор, пока не добрались до



индейской резервации, и благородные дикари вышли навстречу. Они выглядели уныло и непривлекательно. Большинство американцев высказываются об индейцах довольно откровенно: «Надо поскорее освободиться от них. Нам некуда их приспособить». Некоторые считают, что мы в Индии тоже уничтожаем местное население. Меня даже просили назвать точную дату окончательного исчезновения арийцев. Я отвечал, что дело, наверно, затянется. Очень многие американцы страдают отвратительной привычкой называть индейцев язычниками. По их понятиям, магометане, индуисты тоже язычники и поэтому также заслуживают названия «идолопоклонники» и «басурмане». Однако это не относится к делу, потому что нас интересовал туннель Стампид — вершина перевала в Скалистых горах. Слава богу, мне не придется снова ехать этим туннелем. Его длина — около двух миль. В действительности это штрек шахты, подпертый бревнами и освещенный электричеством. Полнейшая темнота была бы предпочтительнее, так как свет лампочек обнажа-

ет грубо обтесанную поверхность скалы, а это очень неприятное зрелище. Поезд вползает внутрь, тормозит, и тогда становится слышно, как капли воды и обломки породы стучат по крыше вагона. Затем вы начинаете молиться и молитесь горячо, потому что воздух в туннеле становится все неподвижнее и вы не осмеливаетесь отвести глаза от бревенчатых подпорок (как бы те не завалились!), так как уже не надеетесь на опору моральную. До появления туннеля здесь проходила подвесная дорога с открытыми вагончиками. Обходчик проверяет путь после каждого поезда, но это не гарантирует безопасности. Ведь он



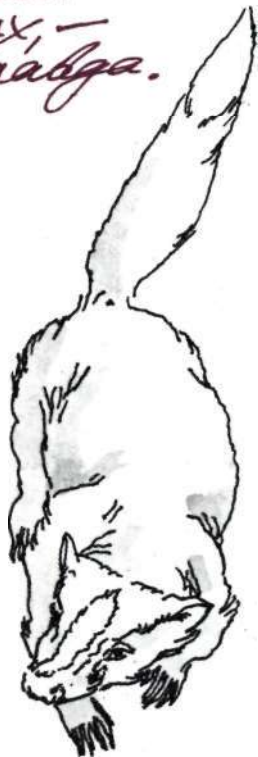
попросту «прикидывает», пройдет ли следующий поезд, и машинист каждого паровоза «прикидывает» то же самое. В один прекрасный день случится обвал. Тогда какой-нибудь предприимчивый репортер распишет крики и стоны заживо погребенных и героические усилия прессы заполучить информацию на месте происшествия. Этим все и кончится. Человеческая жизнь ничего не стоит.

На всем пути до Хелены я прислушивался к болтовне пассажиров в пульмане для курящих, и, за редким исключением, каждая история была основана на диком насилии, убийстве, совершенном с помощью утонченного или варварского обмана, на преступлении, не отпущенном законом либо вызвавшем ответную вспышку беззакония. И всякий раз меня уверяли, что старые времена миновали и все эти анекдоты состарились на пять лет. Особенно старался какой-то мужчина. Он восхищался подвигами ковбоев (его знакомых), их искусством обращения с револьвером. Каждая боль-ужас неизменно венчалась словами: «Вот каким парнем он был», словно рассказчик хотел подчеркнуть — иди и поступай так же. Стоит напомнить, что все эти перестрелки и поножовщина не были следствием каких-либо военных действий. «Героев» никто не заставлял драться, чтобы защитить свою жизнь. Совсем наоборот. Скандалы были результатом попок, в которых принимали участие сами «герои». В салунах и игорных притонах они «предъявляли револьверы», и в подавляющем большинстве случаев — без всякого повода. Эти рассказы вызвали у меня тошноту, однако кое-чему научили.

Человек, который носит при себе револьвер, — трус, личность, которую стоит выставить за дверь любого приличного заведения, клуба или иного цивилизованного собрания. В ношении личного оружия нет ни капли рыцарства, ни романтики, что бы ни писали на этот счет американские авторы. Я хочу, чтобы вы поняли, до какой меры презрения настроили меня некоторые стороны жизни Дикого Запада.

Попробуем провести параллель. Порой молодому человеку, почти юноше, не успевшему обтрепать фрак, который сверкает новизной, случается подпить в компании старших. Когда дамы удаляются, он начинает говорить. Он говорит, если помните, как человек светский, который познал жизнь, как знаток

Поздно ночью,
в полной темноте мы
переехали скунса.
Все, что
рассказывают
о скунсах, —
истая правда.



всего земного и неземного. Седые головы склоняются все ниже и ниже перед его нелепыми утверждениями. Когда молодчик выходит за рамки приличия, кое-кто пытается изменить тему разговора, ловко убирает графин из-под его рук. Все толпятся вокруг стола. В общем, вам знакомо чувство неловкости (помесь жалости и презрения) за юношу, который делает из себя посмешище.

Подобное чувство овладело мной, когда тот пожилой человек в вагоне (которому все сказанное выше было известно лучше, чем мне) время от времени искал у слушателей

одобрения своим утверждениям, о которых можно было только пожалеть. Оскорбление, насилие и даже убийство казались ему делом правым. Выходило так, что прав всякий, кто обходит закон, когда тот силен, или наступает закону на горло, когда тот слаб; прав тот, кто прибегает к обману в политике, распространяет ложь в делах государственных, вершит предательство в вопросах муниципального администрирования. Вагон был переполнен детьми, которые не слушались родителей, детьми капризными, скандальными, испорченными до пределов, невиданных мной в Англо-Индии. Придет время — из них вырастут настоящие мужчины, подобные тем, что сидели со мной в вагоне для курящих. Они тоже не будут уважать закон и станут заправлять газетами, которые проводят линию открытого неповиновения закону. Однако, как говорит мистер Тутс, не стоит обращать на это внимания.

Спускаясь со Скалистых гор, мы проехали по «козлам» высотой в каких-то двести восемьдесят шесть футов. Они были сделаны из железа, но два года назад составы следовали здесь по деревянному сооружению, которое стояло еще долгое время после того, как использовать его запретили гражданские инженеры. Однажды эта железная постройка, как и туннель Стампид, рухнет вниз. Последствия будут еще более ужасными.

Поздно ночью, в полной темноте, мы переехали скунса. Все, что рассказывают о скунсах, — чистая правда. Это божественный запах.

*Глава
Вздохнуть восточной*

рассказывает, как на берегу реки Йеллоустон Янки Джим представил меня Диане из Кроссвейза; как немецкий еврей заявил, что я не являюсь истинным гражданином; заканчивается описанием празднования 4 июля* и извлеченных из него уроков

Ливингстон — город с двумя тысячами жителей, узловая станция, и от него небольшая ветка ведет в Йеллоустонский национальный парк. Город стоит в прерии, но за ним ландшафт резко меняется, река Йеллоустон устремляется в горный проход. В Ливингстоне только одна улица, где ковбойские лошади и жеребенок от племенной кобылки, запряженной в легкую двухместную коляску с откидным верхом, нежатся под лучами солнца, покауда сам ковбой бредет у единственного в городе парикмахера. Я «вобрал» в себя весь этот городишко, включая салуны, за десять минут, а затем удалился в волнуемое море трав, чтобы передохнуть. У подножия холма, где я расположился, пронесся табун лошадей под присмотром двух верховых. Не скоро забудется это зрелище. Над зеленой травой, потревоженной копытами, взметнулось легкое облачко пыли, задернув, словно вуалью, три сотни незнакомых с путами дьяволов, которым очень хотелось попасться. «Йоу! Йоу! Йоу!» — словно коиты, распевали дуэтом всадники. Лошади, словно кавалерийский эскадрон, шли рысью, потом, встретив по дороге бугор, разделились на два отряда и рассыпались веером на окраине Ливингстона. Я услышал щелканье бича, несколько «Йоу!», и с пронзительным ржанием табун снова соединился (молодняк то и дело взбрыкивал) и коричневой волной покатила к предгорью.

Я находился в двадцати футах от вожака — серого жеребца, господина многих племенных кобылиц, которые были глубоко озабочены благополучием беспokoйных жеребят. То был настоящий зверь кремовой масти (я сразу узнал его по дурной выучке его войска), который рванулся назад, уведя за собой

несколько своенравных лошадок. Снова слышалось щелканье бичей, которое доносилось до меня из-за пыльной завесы, и кобылицы, ошарашенные и недовольные, вернулись легким галопом. Их преследовали оба живописных хулигана, которые пожелали узнать, «какого черта» я здесь делаю, помахали мне шляпами, а затем понеслись вниз по склону, догоняя своих подопечных. Когда топот табуна замер вдали, в прерии наступила удивительная тишина, та самая тишина, которая, как говорят, навечно поселяется в сердце закоренелых охотников или трапперов, обособляя их от прочих людей. Город растворился в темноте, и молодая луна показалась над усыпанной снегом вершиной. Река, которая скрывалась за стеной осоки, возвысила голос и спела горам песенку, а старая лошадь, которая подкралась сзади в сумерках, вопросительно задышала мне в затылок.

Вернувшись в отель, я заметил, что приготовления к празднованию 4 июля были в полном разгаре. Какой-то пьяница с винчестером на плече прохаживался по тротуару. Не думаю, чтобы он подкарауливал кого-то, потому что держал ружье так, словно это был обыкновенный дорожный посох. Тем не менее я постарался выйти из сектора обстрела и далеко за полночь слушал проклятия и богохульства рудокопов и пастухов.

В каждом баре Ливингстона лежал экземпляр местной газеты, и каждый внушал жителям, что они самые лучшие, самые храбрые и самые прогрессивные люди самой прогрессивной нации на земле. Газеты Такомы и Портленда льстили своим читателям точно так же. Однако мои подслеповатые глаза видели только замызганный городишко, переполненный людьми в грязных воротничках и совершенно неспособных произнести хотя бы одну фразу, не вставив в нее три ругательства. Они занимались коневодством, добычей руды в окрестностях Ливингстона, но вели себя так, словно разводили херувимов с алмазными крыльями.

Поезд полз в национальный парк горным проходом вдоль реки, а дальше — по земле вулканического происхождения. Какой-то незнакомец, заметив, что я не отрываю глаз от ручья, пробежавшего под окном вагона, чуть слышно пробормотал: «Если хотите половить рыбку, задержитесь у Янки Джима».

Затем поезд остановился в горле узкой долины, и я выпрыгнул из вагона буквально в объятия Янки Джима — единоличного владельца бревенчатой хижины, неподсчитанного количества сенокосных лугов, а также конструктора двадцатисемимильной узкоколейки, на которую сохранял право взимания пошлины. А вот и сама хижина, река в пятидесяти ярдах поодаль и отполированные линейки рельсов, скрывающиеся за утесом, — и все. Узкоколейка служила как бы завершающим мазком на этой картине уединения.

Янки Джим, живописный старик, был наделен незаурядным талантом рассказчика, которому позавидовал бы сам Ананий *. Мне показалось (поскольку я был самонадеян в своем неведении), что будет вполне уместным, если я вставлю в беседу несколько собственных историй, намеренно приукрасив кое-какую ложь, собранную в процессе бродяжничества. Янки Джим внимательно выслушал меня и тут же, не сходя с места, переплюнул. Ведь ему приходилось иметь дело с медведями и индейцами (не менее чем с двумя десятками разом), он превосходно знал реку Йеллоустон и носил на теле следы индейских стрел. Его глаза видели, как, привязав к столбу, сожгли живьем женщину из племени Ворон. Он сказал, что она пронзительно кричала. И только в одном старик действительно не врал — в том, что касалось достоинств местного плёса, кишевшего форелью.

Это была правда. Я вылавливал форель с полудня до наступления сумерек, и рыба клевала так, будто упитанная форелевая муха никогда прежде не садилась на воду. Семь часов подряд я трудился на галечных берегах, дрожавших в мареве, где мои ноги запинались об обрубки деревьев, аккуратно срезанных резцами бобров; трудился у самой кромки зарослей осоки, которые были густо заселены насекомыми и кишели жабами и водяными змеями; стоял над дрейфующими по воде бревнами в благодатной тени больших деревьев, затенявших омуты, в которых пряталась самая крупная рыба. Склоны гор по обеим сторонам долины излучали тепло, как это бывает в пустыне, а сухой песок вдоль железнодорожного полотна, где я наткнулся на гремучую змею, казался на ощупь раскаленным железом.

Форель не обращала внимания на жару. Она рассекала грудью кипящую воду реки в погоне за мухой и получала ее. Не хочу

прослыть хвастуном, но я прекратил счет на сороковой рыбине, а поймал ее уже через два часа. Рыбки были небольшие (весили не более двух фунтов), но сражались, словно тигрята, и я потерял не одну муху, прежде чем приспособился к их уловкам. О боги! Это была настоящая рыбная ловля, несмотря на то что кожа лоскутами слезала с моего носа.

Когда наступили сумерки, Янки Джим, протестуя, оторвал меня от этого занятия и утащил ужинать в хижину. Рыбной ловлей я был подготовлен к любым неожиданностям и поэтому, когда он представил меня молодой женщине лет двадцати пяти, с глазами, опущенными ресницами, словно у молодой газели («На шейке покоилась очаровательная головка, колеблющаяся, словно колокольчик на грядке»), я не сказал ни слова. Все это словно входило в программу дня. Она выросла в Калифорнии и была замужем за владельцем скотоводческой фермы, которая стояла «неподалеку, вверх по реке». Она гостила вместе со своим мужем у Янки Джима. Мне известно, что эта женщина носила комнатные туфли и не пользовалась корсетом, но я знаю также, что она соответствовала всем стандартам красоты, а приготовленная ею форель годилась на королевский стол.

После ужина из глубины изысканнейших сумерек стали возникать странные люди. Они приносили новости истекшего дня: «Телка у Никольсона заплутала; вдова из Грантс-Фока не желает расстаться с сенокосным участком, хотя она и ее большие братья справляются только с половиной собственной земли. Она чертовски гордая». Диана из Кроссвейза принимала всех словно королева, а ее муж и Янки Джим приглашали пришельцев присесть и располагаться как дома. Затем старик пускался в свои лживые рассказы о былых индейских войнах. Фляжка с виски ходила по кругу. Муж Дианы гудел о том, что свободно владеет лассо, но звал людей, которые по заказу набрасывали веревку на любую ногу или рог быка. Затем Диана сняла камень с сердца, пожаловавшись на соседей. Ближайшее жилье находилось в трех милях, но «женщина там неприветливы, хотя и соседи», сплетничают, будто им больше нечего делать. Если женщина пошла на танцы и вдоволь повеселилась, начинаются разговоры. Если надела шелковое платье, то любопытствуют, как это простые люди с ранчо могут позволить такое. От них достается всем — от

Гарднер-Сити до Ливингстона. Сами они, почти все, из Монтаны и нигде больше не бывали. «Как они сплетничают! Бывает ли такое в таком свете, — спрашивала Диана, — там, откуда вы появились?» — «Да, — отвечал я, — такое происходит повсюду», а сам подумал о далеком поселении в Индии, где новое платье или веселье на танцах возбуждает кудактанье пусть более правильное с точки зрения грамматики, но куда более ядовитое по сравнению со сплетнями кумушек из Монтаны, которые живут на ранчо у реки Йеллоустон.

На следующий день я снова ловил рыбу и выслушал рассказ Дианы о ее жизни. Я забыл, что она говорила, зато убедился в том, что у нее были глаза королевы и губы, которым позавидовали бы сотни графских дочерей, до того эти губы были маленькими и изящными. «А вы приезжайте снова, — говорили эти прямодушные люди. — Приезжайте проведать нас — покажем, как ловится шестифунтовая форель там, в горле каньона».

Сегодня я приехал в парк. Жаль, что я не умер по дороге. Поезд остановился на станции Синнабар, и всех нас распределили по экипажам (запряженным совершенно по-разному), чтобы мы совершили восьмимильное путешествие к первой достопримечательности парка — месту под названием Мамонтовы горячие ключи.

— Что означает эта нетерпеливая, волнующаяся толпа? — спросил я возчика.

— Вы угодили в одну из экскурсионных партий Раймента. Вот и все. В основном — толпа проклятых идиотов. Разве вы не с ними?

— Нет, — сказал я. — Можно присесть рядом с вами, великий вождь, вещающий золотым языком? Я не знаком с мистером Райментом. Я принадлежу Т. Куку и Сыновьям.

То, другое лицо, то есть мистер Раймент, судя по товару, с которым работает, должно быть, является сыном кока. Он собирает массы американцев-восточников из Новой Англии и вообще отовсюду и мчит их через континент на экскурсию в Йеллоустонский парк. Европейские туристы Кука, которые катапультируются из Парижа (я сам видел их), — сущие ангелы света в сравнении с экскурсантами Раймента. Отвращение вызывает не столько безобразная вульгарность или прилипчивая, неистовая и крепкая, словно бессемеровская сталь, самонадеянность и невежество муж-

чин, сколько проявление тех же качеств у женщин.

В экипаже я познакомился с новым для меня типом американца, и все мечты о более совершенном Востоке рассеялись как дым.

— Вот эти... э... лица... что, они важные персоны у себя дома? — спросил я пастыря, который, судя по всему, погонял их.

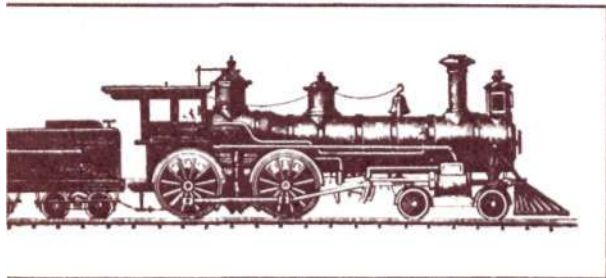
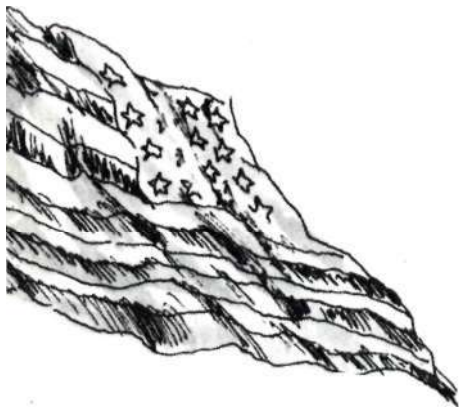
— А как же! Среди них много выдающихся и представительных граждан из семи штатов. Многие очень богаты. Да, сэр, выдающихся и представительных...

Мы ехали по жаре меж голых холмов под обстрелом острот, которые летели со стороны «выдающихся» граждан.

Было 4 июля. Оголовья уздечек у лошадей были разукрашены американскими флажками, некоторые женщины тоже держали в руках флажки, а за поясом — пестрые носовые платки. Какой-то молодой немец, сидевший рядом со мной на козлах, оплакивал утрату коробки с пиротехникой. Он сказал, что его посылали на континент для завершения образования и оттого он утратил американский акцент. Однако никакое европейское образование не переделает немецкого еврея. Он был истовым американским гражданином. Это тот самый тип американца, сойтись с которым невероятно трудно. Как правило, его необходимо неумеренно и всесторонне восхвалять. Подобная политика помогает держать таких в состоянии покоя. Однако некоторые, если вам не удалось поддержать потока похвал, тут же начинают оскорблять страны Старого Света. Они считают себя американцами почистокровнее самих американцев и настроены особенно агрессивно.

Этот молодец начал с нападок на английскую армию. Он видел где-то наши войска на параде и презрительно назвал людей в медвежьих шапках рабами. Кстати сказать, истинный американский гражданин презирает даже свою армию и много сильнее, чем любой самый яркий представитель непросвещенной Англии. Я согласился, что наша армия действительно очень плохая, не совершила ничего стоящего и не бывала нигде. Мои слова вызвали у него раздражение, потому что он ожидал ответных доводов, и тогда он обрушился на британского льва в целом. Когда ему не удалось вывести меня из равновесия, он стал доказывать, что во мне нет ни капли патриотизма, подобного его собственному. Я сказал, что действительно нет, и рискнул

даже заявить, что многим англичанам вообще не свойственно чувство патриотизма. Если подумать хорошенько, то это, в общем-то, правильно. Когда он убедительно доказал, что, прежде чем принц Уэльский взойдет на престол, мы превратимся в никчемную республику, экипаж выехал на такую извилистую дорогу, нависавшую над рекой, что мой интерес к «политике» сменился восхищением перед искусством возчика, который ловко управлялся с четверкой крупных лошадей. Для ошибок не оставалось места: любая неосторожность привела бы к падению с высоты шестьдесят футов в ревущую реку Гарднер. Кто-то заметил, что пейзаж выглядит «элегантно». Вот почему с риском для собственной жизни я пожелал, чтобы немедленно случилось несчастье, которое привело бы к массовой гибели выдающихся граждан. Режьте меня на куски, но я не мог понять, что «элегантного» в нагромождении скал цвета меда, в этих тысячефутовых пиках, бастионах и даже в главном пике, который был вызывающе увенчан орлиным гнездом, откуда в бездну смотрел орленок, отчаянно требуя пищи. Американцы вообще говорят на странном языке.



En route мы разминулись с экипажами, переполненными экскурсантами, которые уже успели завершить свои пять суток в парке и по-братски кричали нам что-то, пока не скрылись в облаке красной пыли. Затем мы напоролась на «Маммот Хот Спрингс-отель» (огромный амбар желтого цвета), и доска крупными буквами известила, что мы находимся на высоте шесть тысяч двести футов над уровнем моря.

Парк — это обширная территория площадью три тысячи квадратных миль, переполненная всевозможными чудесами необузданной природы. Компания, которая содержит отель, вероятно, пользуется поддержкой государственного секретаря по внутренним делам и контролирует всю территорию парка. Отели расположены во всех пунктах, которые представляют интерес; там стоят киоски, где продаются путеводители, образцы минералов и прочее, совсем как на летних швейцарских курортах.

Туристы (да настигнет их покровителя — мистера Раймента лютая смерть под колесами сумасшедшего паровоза!), словно река, вкатились туда с радостным гиканьем и, не успев смыть с себя дорожную пыль, принялись праздновать 4 июля. Они называли это «проявлением патриотизма». Они избрали в президенты какого-то клерикала их собственной веры и, усевшись на площадке второго этажа, стали произносить речи и читать вслух Декларацию независимости *. Президент поднялся во весь рост и сказал, что они — самый великий, самый свободный, гордый, рыцарский и самый богатый народ на земле, а собравшиеся ответили «Аминь». Другой священник заявил языком все той же Декларации, что все люди равны и имеют право на жизнь, свободу и счастье. Хотелось бы знать, на самом ли деле грубый и дикий Запад признает первое из перечисленных прав, как на это надеялись люди, его даровавшие. Затем оратор обратил внимание собравшихся на тот факт, что в число туристов входят представители семи штатов Новой Англии. Мне стало жаль эти штаты. Он также выразил мнение, что перемещения по земле под покровительством превосходного мистера Раймента способствуют сближению американцев из разных уголков Америки, особенно если жители Запада узнают, каким опасностям подвергаются они, жители Востока, путешествуя по рекам и железным дорогам. Через точно

рассчитанные интервалы времени конгрегация спела «Страна моя» на мотив «Боже, храни королеву» (в этом случае они не встали) и «Звездное знамя» (тут они встали), под конец взвинтив себе нервы какой-то бессмыслицей собственного сочинения на мотив «Джона Брауна», в коей весьма трогательно перечислялись все опасности, на которые уже были сделаны ссылки. Затем туристы перешли на веранду и несколько часов наблюдали за хилым, трескучим фейерверком.

Что изумило меня сильнее всего, так это невозмутимость, с какой они собрались вместе, чтобы превозносить собственное благородство, собственную страну, ее «завидения» и все прочее, что было Их. Речи звучали в моих увядших ушах грубой рекламой, бахвальством, трескотней и прочим, что лежит за рамками здравого смысла. Архангел, продающий участки на Зеркальном море, покраснел бы до корней перьев на своих крыльях, если бы ему пришлось расписывать свою собственность подобными красками. Затем все собрались вокруг пастора и сказали, что его короткая проповедь была «просто великолепна, просто величественна, грандиозна» и так далее, а он, как подобало лицу его сана, сдержанно принимал похвалы.

В заключение на меня набросился незнакомец и спросил, что я думаю об американском патриотизме. Я ответил, что в Старом Свете не встретите ничего подобного. Кстати сказать, всегда говорите эти слова американцам. Они служат для них утешением.

— Собираетесь ли вы просить о натурализации?

— Зачем? — спросил я.

— Полагаю, что вы занимаетесь бизнесом в этой стране и делаете деньги, поэтому мне кажется, что это было бы вашим долгом.

— Сэр, — произнес я медовым голосом, — за морем лежит маленький, всеми забытый остров, который называется Англия.

Он немногим больше Йеллоустонского парка. На этом острове любой гражданин вашей страны может работать, вступить в брак, найти себе одно или двадцать состояний и спокойно умереть. В течение его карьеры ни одна живая душа не спросит, является ли он подданным Британии или сыном самого дьявола. Вы меня понимаете?

Думаю, что он понял, потому что пробормотал что-то о «британцах», а это далеко не комплимент.

*Ты два
дважды дьявол*

рассказывает о том, как я вошел в Мазендеран * персов и встретил там разноцветных дьяволов и нескольких кавалеристов; об Аде и престарелой леди из Чикаго; о капитане и лейтенанте

Где Биг-Хорн и Йеллоустон,
Той страны пустынный стон
Вниз летит по горным склонам...

Дважды я переписывал эти строки, дважды рвал написанное в клочья, опасаясь, как бы те, кто живет за морем, не подумали, что я внезапно сошел с ума. Итак, приступим к рассказу в третий раз, на трезвую голову, собравшись с мыслями.

Я проехал по Йеллоустонскому национальному парку в легкой двухместной коляске в компании предприимчивой престарелой леди из Чикаго и ее мужа, который не одобрил увиденного и назвал пейзаж безбожным. Наверное, они просто испугались.

Если помните, мы начали с Мамонтовых горячих ключей. Это не что иное, как гигантское «издание» розовых и белых террас, какие недавно были разрушены землетрясением в Новой Зеландии *. В конце небольшой долины, где стоял отель, известковые источники, бьющие по склонам поросших соснами холмов, намыли окаменелый водопад из каких-то белых, лимонно-желтых и бледно-розовых образований. По этому водопаду пузырится, каплет и сочится теплая вода. Затем она стекает из бледно-зеленой лагуны в изящно отделанный водоем. Земля под ногами гудит, словно пустая банка из-под керосина, и в один прекрасный день отель, его гости и прочее провалится в пещеры и превратятся в сталактиты. Когда я ступил на первый ярус террас — площадку, будто покрытую сероватым налетом парши и истоптанную ногами туристов, то увидел красный, как раскаленное железо, поток, который, словно кролик, нырнул в какую-то нору. Сначала послышалось сдерживаемое хихиканье, затем — глубокий вздох, исходив-

ший неизвестно откуда, и струя пара устремилась на пятьдесят футов вверх, растав в голубизне. Это было похуже Жгучей горы в Миношите. Грязно-белый налет уступил место белоснежной извести, и я увидел водоем, который некий ученый владелец отеля прозвал Кувшином Клеопатры, или Фляжкой для виски Марка Антония, или еще как-то по особому поэтично. Этот водоем был словно окован серебром и заполнен прозрачной, как небо, водой. Я не знаю, какова глубина этого чуда. Мой взгляд устремился сквозь нагромождения берилловых гротов и пещер, вниз в бездну, которая сообщалась непосредственно с пламенем, бьющим из центра земли. Бассейн словно корчился от боли и поэтому не мог не жаловаться, беспрестанно бормоча, журча и стелая. С губ известковых уступов, которые находились в сорока футах под водой, взлетали вверх струйки серебристых пузырьков, нарушая хрустально чистый покой на поверхности. Затем, постепенно мутнея, водоем начинал колыхаться, и тогда слышались странные звуки. Я отошел в сторону и обнаружил не менее беспокойные водоемы и трещины, где бежала, словно раскаленная докрасна, вода, скользкие пласты отложений, притопленные мутно-зеленой горячей влагой, сухие колодезные дыры, похожие на ограбленные могилы в Индии, потому что были такими же пыльными и обезвоженными. Адские воды сначала обдавали кипятком, а потом бальзамировали окрестные кусты и сосны. Однако местами деревья держались стойко, скрашивая зеленой листвой сплошную корку известковых образований. Содрав этот покров, можно было установить, что под ним беснуется пламя. Думается, что со временем сосны все же выиграют сражение, потому что природа, которая сначала выковышивает свои изделия в гигантской кузнице, почти завершила работу и теперь готовится охладить поковку в мягкой бурой земле, а пламя в кузнице замирает.

Отель стоит на том самом месте, где террасы переходят в плоские пустоши. Сосны завладели территорией, расположенной выше, там, откуда начинаются террасы. Однако изломы водопада остаются голыми. Солдаты с шестизарядными револьверами охраняют водопад от туристов, чтобы те не швырнули туда ограждение, не пытались откалывать затейливые кружева отложений геологическими молотками и не сварились по собственной

глупости, провалившись сквозь хрупкую корку.

Я маневрировал вокруг солдат. Это были кавалеристы в неряшливом обмундировании: темно-синие блузы и голубые брюки-галифе без ремней, торчавшие из сапог на манер ложки; пояс с патронами, револьвер, фуражка с козырьком и шерстяные перчатки с черными кнопками. Повинуясь воле аллаха, я вступил в разговор с очкастым шотландцем. Он отслужил королеве в морской пехоте и линейном полку и, поскольку был непоседлив по натуре, перекочевал в Америку, чтобы порадовать для дядюшки Сэма.

Мы присели на краешек небольшого иссякшего источника, который при более счастливым стечении обстоятельств мог бы вырасти в гейзер, и начали разговор вообще. Подошел другой солдат. Не стоило даже спрашивать о его национальности, совсем не обязательно было подслушивать, как товарищи называли его «инглишем», для того чтобы понять, что это кокни*. Он повидал виды в Египте и вышел в запас из мушкетерского полка, название которого не скажет вам ни о чем.

— Ну и как дела?

— Во многом к нашему удовольствию, — отвечали солдаты.

— Если сравнивать с королевской службой, здесь в половину меньше дисциплины, даже еще меньше... столько же и работы. Но если доходит до дела, иногда достается. Наш сержант, например, ходит с фонарем под глазом. Ему засветил один из наших. Конечно, никто не жалуется. Что, взыскания? В основном штрафы, а если уж перегрузишься — отправляют охладиться, то есть в каталажку. Да, сэр. Как лошади? Лошади из Монтаны — сущие дьяволы. В основном бронко*. Но мы не скоблим их для парадов. Так-то. Времени, что тратят в английской армии на обучение одной лошади, здесь хватит на эскадрон этих тварей. Вы еще встретите наших в парке. Обратите внимание на их обмундирование. Наверно, вы удивитесь. Что, покупной галстук с булавкой? Ну и что особенного? Надеваю все, что вздумается. Здесь мы не слишком разборчивы. Конечно, я не рискнул бы показаться на параде дома... Нет, пока что обходится без таких занудностей... У нас это не имеет значения.

Однако не стоит забывать, сэр, что здесь меня научили полагаться на самого себя и на эту

железку, то есть на револьвер. Мне не нужно полсотни команд, чтобы изловить браконьера в парке. Да, иногда балуются. Приезжают со своим снаряжением, обманом ввозят пару винтовок и стреляют бизонов. Стоит вмешаться — стреляют в тебя. Тогда конфискуешь все снаряжение и лошадей. Там, ниже, у нас целый загон. А вот и наш капитан. Если хотите узнать что-либо интересное, поговорите с ним. Здешняя служба — ничто по сравнению со службой дома. Впрочем, если поставить дело по-настоящему, все можно превратить в сущий ад. Гражданские презируют нас — ведь посылают на дорожные работы и прочее. Так можно развалить любую армию. Когда мои друзья удалились, я обратился к капитану. Мне сказали, что добрая половина американских офицеров экипируется из запасов французского снаряжения. Капитана действительно можно было принять за офицера легкой французской кавалерии, да и сам он был учтивее любого француза. Конечно, он многое читал о пограничной войне в Индии и поражался сходством наших операций с военными действиями против индейцев. Он сказал, что, когда я доберусь до следующего кавалерийского поста, который расположен между двумя гейзерами, стоило бы представиться тамошним капитану и лейтенанту. Они смогут кое-что показать. Сам он занимался исключительно сохранностью террас (посвящал этому все свободное время) и горячих вод, тайком утекающих в высохшие бассейны, из которых потом могли бы получиться новые водоемы.

— Это очень интересно, хотя не имеет отношения к службе, но именно ради них меня здесь и поставили.

Затем, точно так же как и его коллеги в Индии, он принялся рассказывать о своей части: — Вот это вояки! Их недурно муштруют, и о них неплохо заботятся. Не хотелось бы с ними расставаться. Не думаю, чтобы хоть один из них пожелал уволиться. Кажется, у нас все по-другому по сравнению с англичанами. Ваши офицеры дорожат лошадьми, мы же делаем ставку на людей и тратим на их обучение больше времени, чем на лошадей.

Позднее я расскажу подробнее об американском кавалеристе. С этим джентльменом шутки плохи.

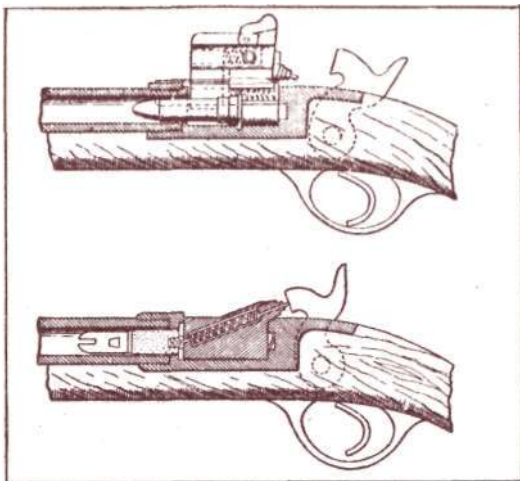
С рассветом, усевшись в коляску вместе с пожилой четой из Чикаго, я пустился в

опасное предприятие. Мы отправились прямоком в гору и с ее вершины увидели белые домики Кук-Сити, который расположился милях в шестидесяти на другой горе. Туда, словно бич, вилась дорога. Живительный горный воздух опьянил меня. Если бы Том, наш возчик, предложил ехать к городу по прямой, я согласился бы; согласилась бы и пожилая леди, которая не переставая жевала резинку и жаловалась на всевозможные симптомы.

Тупомордая горная собачка, разновидность ее лугового собрата, бросилась через дорогу под копыта лошадей; поодаль плясали от испуга кролик и бурундук; ревела река; дорога куда-то завернула. С одной стороны от нее высилась груда скал и сланцев, своим видом напоминавших о том, что здесь необходимо соблюдать тишину, дабы не вызвать обвала. С другой стороны чернел глубокий провал, а далеко внизу шумно дурачилась река.

Затем на середине дороги (очевидно, для того, чтобы наша поездка не показалась прогулкой) вырос форт из обломков скал, а за ним — каменная стена. Мой желудок куда-то провалился (так случается, когда раскачиваешься на качелях), потому что мы выехали из грязи, служившей по меньшей мере гарантией безопасности, и покатили вокруг утеса по дощатой дороге, которая была пристроена к нему вроде полки. Доски были прибиты гвоздями и чуть слышно, но все же изрядно скрипели. Это называлось «Золотыми Воротами». Я получил желудок обратно, когда мы выбрались рысью на обширное плоскогорье, украшенное озером и холмами. Вам приходилось видеть земли, не тронутые человеком, — лицо девственной природы? Довольно впечатляющее зрелище. Мы были буквально «подавлены» лесом. Только штормовой ветер прокладывает себе там дорогу, и сотни тысяч деревьев, словно скошенные, лежат вповалку. Каждое дерево покоится там, где легло, а его ветки и ствол (как и человеческое тело) возвращаются земле. Каждая частица дерева словно роет собственную могилу. Вскоре оно зарастет травой, и от него останется одно воспоминание.

Затем мы ползли у подножия двухсотфутового утеса из обсидиана, похожего на стекло. Дорога была тоже из черного стекла, которое хрустело под колесами. Это было уже не интересно, потому что полчаса назад Том



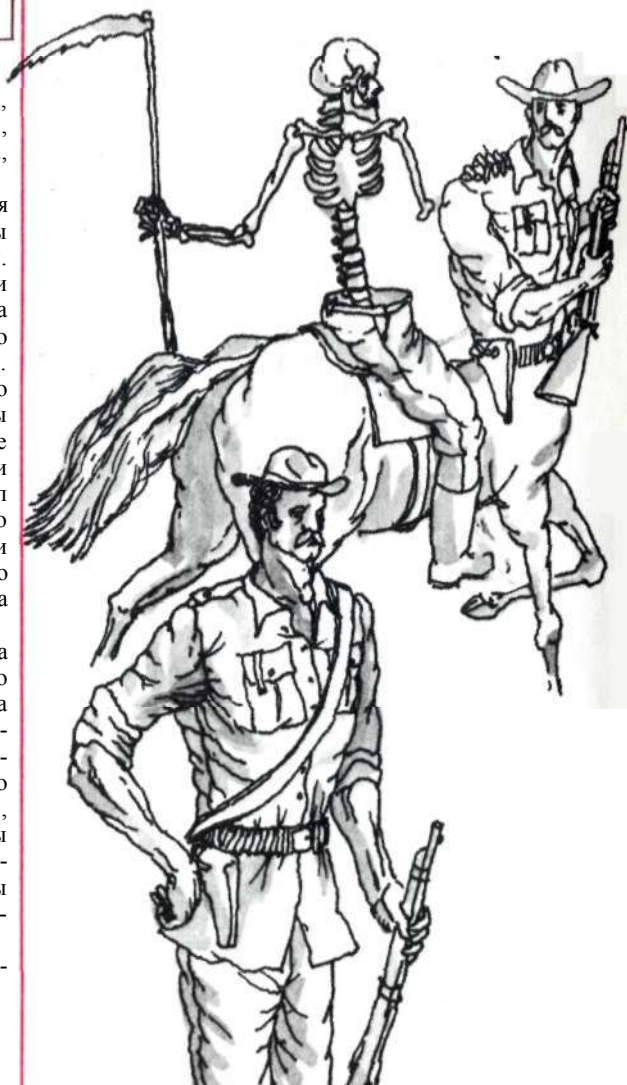
завез нас в дремучий лес и там остановился, чтобы мы вдоволь налюбовались горой, которая, сотрясаясь от смеха или гнева, висела в воздухе.

В одном месте над озером возвышался стекловидный утес, а на самом озере бобры возвели плотину мили полторы в длину. Плотина шла зигзагом, как этого требовали бобриньи нужды. Правительство взялось за охрану зверей, и позже вы узнаете, что бобр — чертовски неосторожное животное. Едва пожилая леди успела рассказать все, что знала из естественной истории бобров, как мы взобрались на какие-то высоты (это уже не имело значения, потому что мы и так могли дотянуться до звезд) и под ужасный скрип тормозов, очертя голову понеслись вниз по крутому пыльному склону. Кобылы цокали копытами по невидимым камням, нас, словно туман, обволакивало густое облако пыли, а деревья обступали с обеих сторон.

«Как вы умудряетесь проехать здесь на четверке?» — спросил я у Тома, вспомнив, что полчаса назад этой же дорогой проследовала компания в двадцать три человека. «Ходом!» — ответил Том, сплевывая пыль. Конечно же, вскоре наступила очередь крутого поворота со спуском к мосту. К счастью, никто не подвернулся нам по дороге, и мы подкатили к бревенчатой хижине (так называемому отелю) как раз ко времени, чтобы отведать немислимый тиффин, который подавали пышные, розовошекие официантки. Когда здоровье не позволяет человеку про-

явить себя в других, более возвышенных сферах деятельности, сезон «на подхвате» в одном из отелей Йеллоутона восстановит самую хилую конституцию...

После тиффина мы группами отправились в нагорное отделение преисподней. Здесь на земле его называют Гейзеровый бассейн Норрис. Казалось, тут только что схлынул прилив отчаяния, который опустошил бесчисленные акры ослепительно белых гейзерных отложений и был готов вскоре вернуться назад. Здесь не было террас, зато попадались другие ужасы. Не далее чем в пятидесяти ярдах от дороги каждые несколько секунд к небу взлетал ревущий столб пара. Вулкан





плевался грязью; потоки кипятка журчали у нас под ногами, струились между стволов умерших сосен, падали дымящимися водопадами и исчезали на побелевших пустошах, где бурозеленые, желтые с черным и розоватые водоемы рокотали, шипели, пузырились и вопили, как им подсказывало их собственное дурное воображение. С виду местечко казалось замороженным, однако ступни ног ощущали тепло.

Я отважился прогуляться между водоемами, строго придерживаясь тропинок, но оступился и начал тонуть. Из-под ноги ударил фонтанчик воды, и я, не желая погружаться в Гофет*, поспешил вернуться на берег, залепленный грязью и безымянными жирными водорослями реки Леты*. Тем не менее тропинка звенела под ногами, словно чугунная. Кроме того, мне было неизвестно, когда сумасшедшим парам станут тесны их отдушины и они захотят отправить все окружающее в Нирвану*. Сильно пахло тухлыми яйцами, кристаллики серы скрипели под ногами, солнечные блики на белых утесах слепили глаза.

Я присел на бережку, когда передо мной предстал молодой кавалерист из наших бывших конных стрелков (настоящий американец не стремится поступить в свою армию) верхом на лошади, почти ополумевшей от шума, пара и дурных запахов. Кавалерист был вооружен шестизарядным револьвером, а на поясе носил патронташ.

При исполнении служебных обязанностей всадник дополняет свою экипировку карабином Спрингфильда (весьма неуклюжим) и патронташем, который надевается накрест через грудь. При пограничной войне от сабли мало прока, и ее (за исключением парадов) никогда не носят. Седло — деревянный остов системы Мак-Клеллана* поверх одеяла, сложенного четверо. Потник, крытый сверху кожей, приобретается за собственные деньги. Во-первых, преимущество деревянного седла в том, что приходится крепко затягивать подпругу, а также до тонкостей знать искусство подкладывания одеяла, чтобы не доставлять лошади неудобств (бронко раздувается за ночь, если дорвется до корма), а во-вторых, требует от всадника прочной посадки, чтобы не натереть лошади спину. Однако кавалеристы обращаются довольно небрежно с личным снаряжением, подхвостник и подперся им неизвестны, а в рот лошади вкладывается только ломающий челюсть мундштук, который можно увидеть на американских батальных полотнах.

Молодой человек был очень красив, и поля серой форменной шляпы отбрасывали великолепную тень на его волевое лицо.

Его лошадь вздрагивала, пятилась, шла бокком, рвалась вперед, но всадник, как ни в чем не бывало, вел свой рассказ, выставив вперед одну ногу в стремя и похлопывая ладонью по потной шее лошади: «Этот зверь еще не привык к парку. Слишком норовист для парадов, но мы понимаем друг друга». — «Уф!» — сухо выдохнул столб пара неподалеку от дороги. Военная лошадь завертелась волчком, приготовилась понестись вскачь, но, поскольку ее порыв был немедленно подавлен, засемила назад. Мне показалось, что она вот-вот упадет на всадника.

— Э, нет, номер не пройдет. Мы уладили это между собой, когда я объезжал его, — сказал Кентавр. — Он всегда норовил подмять меня под себя. Ну не черт?! Думаю, что вы позабавитесь, когда увидите наших полковых лошадок. Иной раз зверюгу из Монтаны, вроде этого, увидишь бок о бок с бронко. Это раздражает, если вы знавали что-нибудь более стоящее. О! Тут научишься прямо держаться в седле. Ничего не попишешь. Признаюсь вам, что под конец утомительного марша, когда готов свалиться с седла мешком, не очень-то хочется заработать дополнительную езду в наказание за плохую посадку.

Если нас и выводят в поле, то уж не ради пятнадцатимильного перехода рысью, а, как говорится, для пользы дела всех северных штатов.

Мне приходилось бывать в Аризоне. Один из наших, который служил в Индии, говорит, что Аризона — это как Афганистан: ничегошеньки нет, кроме рогатых жаб, гремучих змей и... индейцев. Беда в том, что мы имеем дело только с индейцами, а у них многому не научишься. Да и гражданские смотрят на нас свысока и такое прочее. Фактически мы не что иное, как конная пехота, но имейте в виду, сэр, что мы — лучшая конная пехота в мире.

В доказательство его слов лошадь стала выплясывать фанданго.

— Боже мой! — воскликнул я, разглядывая пыльную блузу, серую шляпу, пропитанное потом кожаное снаряжение и гибкую, словно китовый ус, спину всадника. — Если остальные такие же молодцы, как вы, то охотно верю.

— Благодарю вас, кем бы вы ни были. Конечно, если вывести нас на теннисный корт, чтобы сразиться, скажем, с вашей тяжелой... нас сотрут в порошок. Для стоящей атаки у нас нет ни веса, ни хорошей выучки. Например, по английским стандартам, моя лошадь наполовину испорчена и, как все остальные, не держит строя. Однако встречный кавалерийский бой случается нечасто, а уж если дойдет до такого, что ж, все наши отлично знают, что на дистанции до сотни ярдов мы в полной безопасности благодаря этой испытанной игрушке. — Он постучал пальцами по кобуре револьвера. — В полнейшей безопасности от вашего огня. Кто в тридцати ярдах может положить на револьвер, даже если от этого будет зависеть его жизнь? Из ваших — никто. Они не умеют стрелять, как мы. Вы еще услышите об этом в парке.

Затем весьма учтиво добавил:

— Похоже, что сейчас только англичане поставляют людей в нашу армию. Может быть, поэтому она чего-то стоит.

Пожелав друг другу всего хорошего, мы расстались. Он отправился на какой-то отдаленный пост милях в пятнадцать от места нашей встречи, а я — к моей коляске, где сидела пожилая леди, которая при виде огнедышащих дыр каждые полминуты вскрикивала: «Боже милостивый!» Муж твердил только об «ужас какой потере дармовой

энергии». Так мы и ехали в этот ясный, бодрящий полдень, рассуждая о гейзерах.

— Я вот что думаю и, больше того, скажу, посмотрев на все это, — взвизгнула леди аргорос дел теологических, — Господь сотворил Ад таковым за неверие в его труды милосердные.

Нотабене. Том грубо выбранил кобылу за то, что она оступилась. Потом долго молча смотрел прямо перед собой, однако подмигнул мне левым глазом.

— Ежели, — продолжала пожилая леди, — ежели мы видим пар и серу — ужас, какие вещи, — которым дозволено лежать наверху, то разве мы не должны уверовать в то, что внизу на нашу погибель уготовано нечто раз в десять ужасней?

Некоторые личности умеют необычайно ловко находить во всем утешение. Стыдно признаться, но я вслух согласился с престарелой дамой. Она выразила личную точку зрения.

— Теперь-то мне есть что сказать Анне Финчер по поводу ее поведения. Не правда ли, Блейк? — обращалась она к мужу.

— Да, — ответил тот, с трудом ворочая языком после обильного тиффина. — Но она — неплохая девушка.

И они начали препираться по поводу необходимости наставления несчастной Анны на путь истины с помощью рассказов об адском пламени. (Наверно, она была повинна в том, что ходила на танцы.)

Я вышел из коляски и в облаке пыли пошел рядом с Томом.

— Иной раз возишь странных людей, — сказал он. — Чертовски странных. Жалко, что им приходится ехать так далеко, чтобы сравнить бассейн Норрис с адом. Уж если сравнивать, Чикаго подошел бы в самый раз. Мы обогнули холм и въехали в еловый лес. Дорога серпантинном вилась меж древесных стволов, и колеса повозки беззвучно катили по земле, которая поросла мхом с времен незапамятных. Кроме нас, в лесу не было никого живого. Только справа, глубоко внизу, о чем-то сердито твердила река. Так мы ехали несколько миль, пока наконец Том не попросил нас сойти, чтобы взглянуть на какие-то водопады. Мы вышли из леса и чуть было не свалились с обрыва, который охранял взъерошенную реку. Мы потребовали другого чуда. Если бы водопад низвергался вспять, тогда, возможно, мы обратили бы на него внимание,

но это был обыкновенный водопад, и я не помню, текла ли в нем теплая или холодная вода. Неподалеку пробегала река по прозвищу Файрхол, которую питают всевозможные гейзеры и водоемы. Это горячий, но безжизненный поток. В нем не водится рыба. Кажется, мы пересекли его в сотый раз.

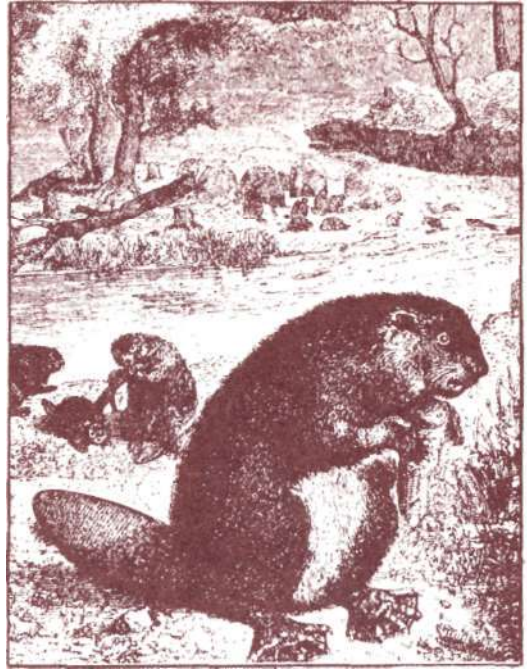
Затем солнце стало склоняться к горизонту, повеяло холодом, и мы выехали на открытое пространство, потом промчались через реку Файрхол и очутились у бревенчатой хижины (еще примитивнее, чем предыдущая), где после сорокамильного перегона собирались отужинать и переночевать. В полумиле от хижины стояла бобровая хатка. Ходили слухи, что по соседству с ней бродят медведи и прочее зверье.

Вдыхая прохладный, словно хрустящий, вечерний воздух, я прошелся до реки и обнаружил там вороха свежесточенных палок и веток. Бобер работает верным резцом, и нескольких искусных надрезов достаточно, чтобы свалить четырехдюймовый ствол. Вдалеке, у противоположного берега, белела безобразно обглоданными древесными стволами какая-то беспорядочная куча. Это была бобровая хатка. Ниже по течению ее обитатели построили плотину, превратив реку в уютное озерцо. Меня интересовало одно — выйдут ли бобры на работу до наступления полной темноты. Они вышли (благодаря господи их тупые мордочки), появившись как тени, и поплыли вниз по течению, не шевеля ни лапками, ни хвостами. Их было трое. Один проверял состояние плотины, двое других искали что-нибудь на ужин.

Пожалуй, лишь неслышную поступь тигра в джунглях можно сравнить с бесшумным движением бобра в воде. Как я ни напрягал слух, до меня не доносилось ни звука до тех пор, пока звери не принялись поедать толстые зеленые стебли «бобровой травы».

Согнувшись в три погибели за кучей бревен, я затаил дыхание и просмотрел все глаза. До бобров было меньше десяти ярдов, и, храни я абсолютную тишину, они так и продолжали бы мирную трапезу. Это были милые, привлекательные зверьки, но только я собрался подвинуться ближе, как проклятая леди из Чикаго с зонтиком в руке застучала каблуками по берегу, вскрикивая: «Бобры! Бобры! Молодой человек, где же эти бобры? Боже правый, что это там такое?»

Послышалось что-то вроде пистолетного



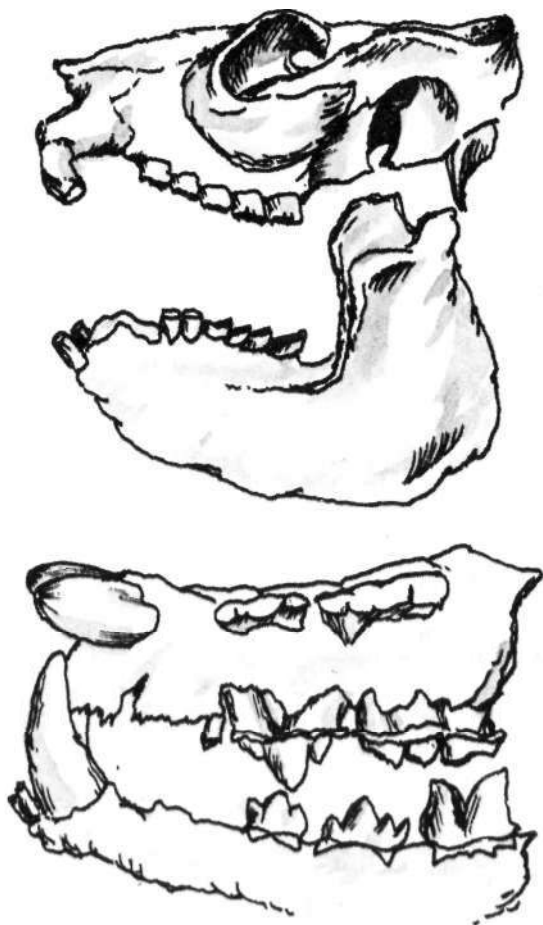
выстрела. Жаль, что он не убил престарелую леди. Это бобер ударил хвостом по воде, предупреждая своих об опасности. Звук действительно напоминал «фуканье» пистолета, заряженного сырым порохом. Бобры бесследно исчезли, вплоть до кончиков своих бакенбардов. Однако хатка осталась на месте, и некое животное, стоящее по своему развитию гораздо ниже бобров, стало швырять в нее камнями, потому что пожилая леди из Чикаго сказала: «Может быть, если их потревожить, они выйдут? Так хочется взглянуть на бобров».

И все же приятно вспомнить, что мне довелось увидеть этих зверьков на воле. Никогда в жизни не пойду теперь в зоопарк.

В тот вечер после ужина (назвать это обедом было бы грубой лезтью) в отель заглянули капитан и лейтенант, о которых говорил капитан в Мамоновых ключах. Лейтенант прочитал все, что только мог разыскать, о нашей индийской армии, особенно о кавалерии, и вынашивал планы рекрутского набора краснокожих на пограничную службу (что-то вроде нашей Хайберской * стражи), хотя, в общем-то, совершенно необязательно, чтобы из каждого из них получился кавалерист.



... некое животное,
стоящее по своему
развитию гораздо
выше обезьян,
стало швырять
в нее камни.



«Однако границы больше не существует, — уныло признался лейтенант, — и война почти прекратилась».

Капитан рассказывал о пограничной войне: о засадах со стрельбой в спину; жаре, которая раскалывает череп лучше всякого томагавка; холодах, от которых съезживается печень; ночных вспышках паники среди обозных мулов; угонах скота; безнадежных преследованиях неприятеля в негостеприимных холмах, когда сознаешь, что противник не только опережает, но и следит за тобой. Затем он поведал, как какое-то племя сразилось с ними в открытом бою на равнине и кавалеристы атаковали, не обнажая сабель, расстреливая индейцев направо и налево из револьверов. Исход битвы оказался исключительно неблагоприятным для племени. Я поделился всем, что слышал о подобной охоте в Бирме, о деле на Черной горе и прочем.

— Вы совершенно правы! — воскликнул капитан. — Никто ничего не знает, и никому нет дела. Не все ли равно им там, на Востоке, кто такой был Подожди Хвост?

— А кого в Британии интересует Бо-Хла-О? — откликнулся я.

Затем мы оба разом сказали:

— Все оттого, дорогой сэръ, что в наших странах армия — это институт, который ужасно недооценивают. Потому-то и испытываешь удивление, когда встречаешь человека, который... Мы все трое согласно кивали головами и клялись в вечной дружбе. Потом лейтенант заявил нечто сильно меня изумившее. Он сказал, что из-за отсутствия дела здесь многие американские офицеры все же имеют кое-какую практику, которая связана с беспорядками в южноамериканских республиках. Мол, когда надо, они вернутся на родину. «Здесь так мало работы, а государство заставляет обрабатывать денежки рытьем канав и возведением изгородей. Конечно, не так уж плохо заниматься на службе дорожными работами, однако непрерывное землекопание способно вытрясти душу из любой армии».

Я согласился с ним, и мы просидели до утра, обмениваясь неблизкими о Востоке и Западе. Как сказал однажды агенту в резервации прославленный вождь по имени Человек, который боится розовых крыс, «меликански офицер — холосый человек. Очень холосый человек. Пью я. Пьет он. Пью я. Пьет он. Я готов. У, какой холосый человек!»

*Глава
тридцатая*

подводит итог каньону Йеллоустон; девица из Нью-Гэмпшира; Подожди Хвост; Том; престарелая леди из Чикаго; некоторые явления природы, включая одного британца

Кто станет читать за повтором повтор
И, так же как мельница мрамор дробит,
Приглаживать гладким умом повелит
Прошедших следов прошлогодний узор,
Когда есть леса и неведомый людям простор?

Лоуэлл

Жил да был некий возчик, который однажды, не подумав хорошенько, приехал вместе с другом в Йеллоустон. Очень скоро они набрали на тамошние достопримечательности, и возчик врезался в упряжку приятеля, вопя во все горло: «Сматываемся отсюда, Джим! Адское пламя горит у нас под ногами!» С тех пор это место называется Чертовы пол-акра. Пожилая леди из Чикаго, ее муж, Том, его добрые лошадки и я тоже прибыли к Чертовым пол-акрам (на самом деле — около шестидесяти акров), и, когда Том предложил: «Поедем напрямик?» — мы сказали: «Ни за что. Только посмейте — пожалуемся властям».

Перед нами расстилалась отвратительная, словно облупленная, равнина, покрытая волдырями, где шумно хозяйничали дьяволы, которые выбрасывали вверх струи пара, швыряли друг в друга грязью, кричали, кашляли и изрыгали проклятия. Здесь пахло отбросами преисподней, и аромат этот, примешиваясь к чистому, здоровому благоуханию сосен, преследовал нас целый день. Да будет известно, что парк разбит на манер Оллендорфа, то есть все его прелести обнаруживаются постепенно. Чертовы пол-акра лишь предвляли десяти-пятнадцатимильный ряд гейзеров. Мы проезжали мимо потоков кипятка, струившихся в лесной чаще, видели облачка пара, которые поднимались за лесом, а другие облачка — еще дальше, над смутными очертаниями зеленых холмов; мы попирали ногами серу и обоняли вещи, которые были почище любой серы, известной в верхнем мире, и

наконец оказались в настоящем парке. Тогда Том предложил выйти из коляски и поиграть с гейзерами.

Вообразите обширные зеленые луга с известковыми клумбами, где к самой кромке извести подступали всевозможные летние цветы. Так выглядел первый бассейн гейзеров. Коляска подкатила вплотную к какому-то грубому конусу высотой десять-двенадцать футов, покрытому волдырями и похожему на кучу хлама. Здесь происходили беспорядки: слышались стоны, всплески, бульканье и постукивание механизмов. Струя кипящей воды взлетела в воздух. Престарелая леди из Чикаго взвизгнула. «Какая безрассудная трата энергии!» — сказал муж. Это место, кажется, называлось Риверсайд-гейзер. Его горло напоминало орудийный ствол, в котором разорвался снаряд. Какое-то время гейзер глухо ворчал, а затем утихнул.

Я вскарабкался на гребень дымящейся извести (настоящее ложе сатаны) и со страхом посмотрел вниз. Не советую заглядывать в рот гейзеру. Мне открылась ужасно скользкая, вязкая труба, наполненная водой, которая то проваливалась футов на десять вниз, то неслась вверх. Затем вода стремительно поднялась до уровня «губ», и, прежде чем сердитый гребень волны переклестнул через край, адское бульканье огласило эту Бетезду * дьявола, обратив меня в бегство. Такова человеческая природа! Поначалу я трепетал от благоговения, если не от страха, а уходил со склонов Риверсайд-гейзера со словами: «Фу! И это все, на что он способен?» Все же он, она или, может быть, оно обладал, обладала или обладало весьма непостоянным характером. Мы не спеша ехали по долине чудес. Вокруг возвышались холмы высотой от пятнадцати до тысячи футов, сплошь покрытые лесом. Насколько хватало глаз, впереди поднима-



лись столбы пара, громоздились бесформенные глыбы извести, похожие на доисторических животных, расстилались безмятежные бирюзовые водоемы, поляны, сплошь покрытые васильками; речка раз двадцать свивалась кольцом вокруг самой себя; лежали странного цвета булыжники и гряды, сверкающие ослепительной белизной.

Пожилая леди из Чикаго тыкала зонтиком в водоемы, словно они были живыми существами. Однажды, стоило ей отвернуться от одной особенно невинной лужицы, как тотчас же у нее за спиной выросла двадцатифутовая колонна воды и пара. Дама пронзительно заверещала и выразила свое неудовольствие словами: «Никогда не думала, что он способен на это!» Ее старик невозмутимо жевал табак, сокрушаясь по поводу утечки дармовой энергии. Я облокотился на обрубок невысокой сосны, которая росла слишком близко от горячих губ водоема, и она подалась под рукой. Такое можно увидеть только в кошмарном сне. Я ступил ногой в водоем, окаймленный кивающими васильками и заполненный давно высохшей кровью — та обратилась в чернила. Затем кровь и чернила были смыты струей сернистого кипятка, который брызнул с края васильковой лужайки. Какой-то бред, не правда ли?

Луноликий кавалерист — уроженец Германии (парк никогда еще так тщательно не патрулировали) — подошел к нам и сообщил, что мы еще не видели настоящих гейзеров. Они находились приблизительно в миле отсюда, с большим вкусом расположившись вокруг отеля, в котором нам предстояло провести ночь. Америка — свободная страна, однако ее граждане смотрят на солдат свысока. Развлекать этого пришлось мне. Пожилая леди из Чикаго не пожелала с ним зняться, и мы прогулялись вдвоем: перелезли через подгнившие стволы сосен, которые утопали в болотистой почве, перебирались через звенящие гребешки гейзерных образований, брели по полянам, увязая по колено в траве.

«Как вы завербовались?» — Лицо-луна пришло в движение. Я подумал, что с солдатом вот-вот случится припадок, но вместо этого он рассказал занимательную историю об испорченной девочке, которая писала любовные письма двум парням сразу. Она была деревенской простушкой, но даже безнравственная графиня из «Фэмили Новелтт» не смогла бы обделывать такие делишки



тоньше. Одного парня она умудрилась свести с ума милым предательством, а другой бросил ее сам и отправился на Дикий Запад, чтобы забыться там. Луноликий и был тем вторым... Мы обогнули низкий отрожек холма и очутились на равнине, сверкавшей снежной белизной. Эта долина, как бы устланная полотном, раскинулась более чем на полмили вокруг. Ее словно перекутили узлами, порубили на куски в форме звезд и алмазов. В этом прибежище отчаяния находились самые большие гейзеры, которым известно, когда случаются неприятности на Кракатау*. Они предупреждают сосны о циклонах на Атлантиче-

ском побережье и представляются посетителям под милыми, причудливыми именами. Первый холмик, попавший мне навстречу, принадлежал домовому, который плескался в ванне. Я слышал, как тот ворочался, направлял струи на свои плечи, кряхтел, хрустел суставами и растирался полотенцем. Затем он выпустил воду из ванны, как полагается делать всякому разумному существу. До прибытия следующего домового воцарилась тишина. Как ни странно, это место называется Львица с котятами. Гейзер располагается неподалеку от Льва — угрюмого, громогласного зверя. Говорят, что, если он очень активен, другие гейзеры вскоре тоже вступают в игру. Мне рассказали, что после извержения Кракатау все они словно с ума посходили — с мычанием выбрасывали фонтаны, и возникло опасение, что само поле взлетит на воздух. Их отношения покрыты тайной, и, когда говорит Гигантесса (о ней сейчас расскажу), остальные хранят молчание.

Я наблюдал за уединенным источником, когда на фоне неба далеко в поле возник великолепный плюмаж радужного витого стекла. «Это Старый служака, — сказал кавалерист. — Каждый час, с точностью до минуты, он дает жару, а затем минут пять играет, посылая воду на сто пятьдесят футов вверх. К тому времени, как вы осмотрите остальные гейзеры, он будет готов порезвиться».

Мы подивились на гейзер, чья пасть напоминала пчелиный улей (гейзер так и назывался), на Тюрбан (он совсем не похож на тюрбан) и многие другие гейзеры, ключи и горячие дыры. Некоторые громыхали, шипели или бились в истерике, иные дремали в постелях, устланных сапфирами и бериллами.

Поверите ли, но даже эти ужасные гиганты должны охраняться кавалеристами, чтобы помешать неугомонной братии туристов разбивать молоточками конусы или, что и того хуже, вызывать у гейзеров тошноту. Если взять бочонок мягкого мыла и бросить гейзеру в рот, тот вскоре выложит перед вами содержимое бочонка и еще несколько дней будет страдать расстройством желудка. Когда я услышал это, то проникся к гейзерам особой симпатией. Жаль, что я не украд немного мыла, чтобы провести подобный эксперимент с каким-нибудь одиноким маленьким зверьком — лесным гейзером. Как это правдоподобно и человечно!

Однако надо быть храбрецом, чтобы предложить рвотное Гигантессе. У нее совершенно плоские губы, и кажется, будто она вообще не имеет рта. Она скорее напоминает бассейн длиной футов пятьдесят и тридцать шириной, не носит украшений и заговаривает через неравные промежутки времени, но сначала выпускает струю воды футов на двести вверх. Потом она пребывает не в духе от полутора до двух суток. Благодаря странной привычке Гигантессы приходиться в бешенство по ночам, только немногие видели ее во всей красе. Однако подобное ночное смятение (так говорят люди) сотрясает бревенчатые стены отеля и разносит громовым эхом среди холмов. Когда я увидел ее, безобразия еще не сварились. Бассейн кипел с самыми серьезными намерениями. Каждые пять минут уровень воды падал фута на два, затем поднимался; вода переплескивала через край, и тогда на поверхности лопались огромные пузыри. Перед началом извержения вода куда-то исчезла. Как только увидите, что в кратере пропала вода, уносите ноги. Я заметил, как небольшой гейзер задержал дыхание, и инстинкт тотчас же подсказал мне ретироваться, в то время как гейзер улюлюкал мне вслед. Оставив Гигантессу ругаться, плевать и биться в конвульсиях, мы подошли к Старому служаке. Ввиду его пунктуальности рядом установили скамейки для зрителей. В назначенный час мы услышали, как в его пасти заходила вода — словно в пещере разбивались волны. Полетели первые брызги, раздался рев, началось смятение, и колонна сверкающих алмазов поднялась над землей, затрепетала в воздухе и с минуты стояла неподвижно, затем с ворчанием рассыпалась, превратившись в горб не выше тридцати футов. Молоденькие леди-туристки (числом около двадцати) отметили, что это было «элегантно», и принялись вычерчивать свои имена на дне мелких бассейнов. Здешняя природа заботится о том, чтобы эти каракули остались неизгладимыми. Годы спустя можно будет установить, что Хэтти, Сэди, Мэми, Софи и так далее царапали здесь своими заколками лицо Старого служака.

Конгрегация вернулась в отель, чтобы на веранде демонстративно записать впечатление. Все изнемогали от жары, хотя мы находились несколько выше вершины Якко*. Я покинул этот скрипучий караван-сарай и отправился в тенистую сосновую рощу, где

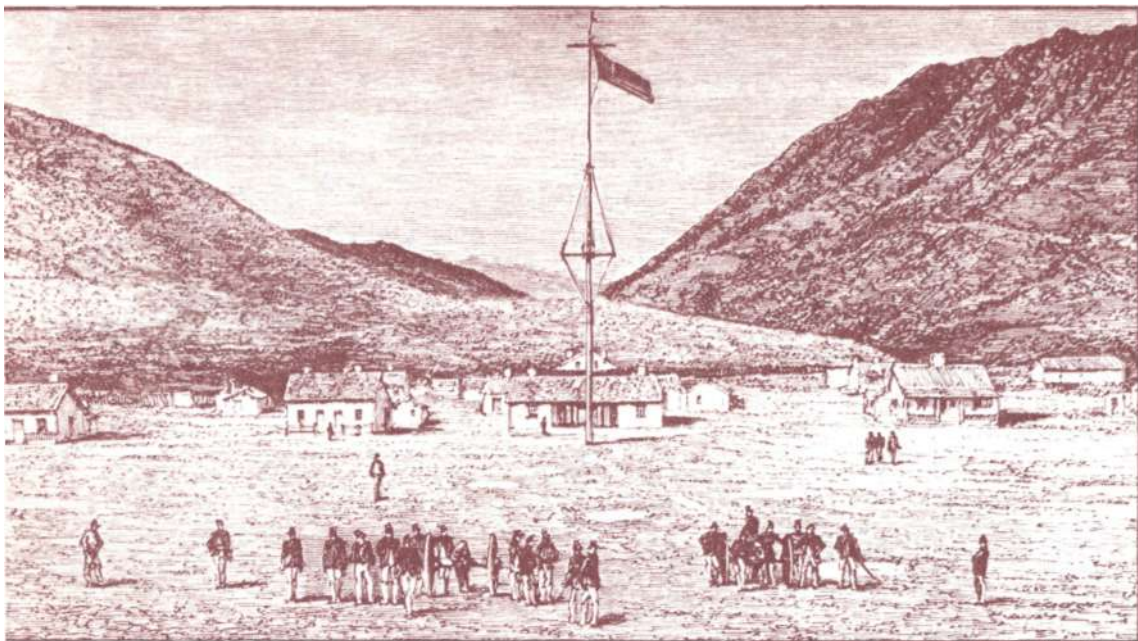


белели брезентовые палатки. Группа кавалеристов двигалась по дороге, а затем нестройными рядами понеслась по пересеченной местности. «Меликанский» кавалерист отлично ездит верхом, хотя и содержит свое снаряжение в грязи, а за лошадью ухаживает как за коровой.

Через пять минут я был уже в лагере. Никто не мешал мне поиграть тяжелым, неуклюжим карабином, расседлать лошадь и с видом знатока пнуть ее кулаком под ребро. Один из военных участвовал в боях с Подожди Хвостом, о котором уже говорилось. Он рассказал, как, вызывая американцев на

... кавалерист
отлично ездит
верхом, хотя
и содержит свое
снаряжение
в грязи, а за
лошадью
ухаживает,
как
за коровой.

поединок, великий вождь щеголял перед строем кавалеристов верхом на лошади, хвост у которой был украшен куском красного ситца. Он погиб вместе с несколькими соплеменниками. «Как ни крути, от индейцев нет никакой пользы», — заметил мой новый знакомый.



Двое ковбоев (самых настоящих, а не циркачей в стиле Буффало Билла *) со звоном проскакали сквозь лагерь под градом беззлых насмешек. Кажется, ковбои направлялись в Кук-Сити, но я знаю точно, что они никогда не умывались. Эти разбойники выглядели живописно: длинные шпоры, закрытые стремяна, шляпы с обвислыми полями, меховые накидки, переброшенные через колени, рукоятки револьверов, которые торчали так, чтобы быть всегда под рукой.

— Ковбоя видишь все реже и реже, — сказал мой приятель. — Как только в этой стране все станет на свои места, они исчезнут. Но сейчас от них немало пользы. Что бы мы делали без ковбоев?

— Как это? — спросил я. Лагерь затрясся от хохота.

— У них водятся деньжонки, а у нас — ключ от этих деньжонок. Зимой они приезжают на военные посты поиграть в покер. Многие тут играют. Когда ковбой продуется, мы напаиваем его и отпускаем на все четыре стороны. Правда, иногда можно не на того нарваться.

И он рассказал об одном простодушном парне, который со всем своим капиталом приехал на пост и играл часов тридцать шесть

поряд. Обчищенным оказался пост, а длинноволосый А-Син с Кавказа встал из-за стола, туго набив карманы жалованьем кавалеристов: он отказался от предложенной выпивки. — Не-е... теперь я не сажусь с ковбоем, если тот сначала не выпьет хорошенько, — заключил мой собеседник.

Прежде чем я ушел, многие подтвердили, что на дистанции в сотню ярдов каждый кавалерист чувствует себя в полной безопасности «под защитой» своего револьвера.

— Я понимаю, — молвил гибкий юноша с Юга, — в Англии не принято играть огнестрельным оружием. Револьвер попадает в руки, когда завербуешься. А вот мне не надо было учиться стрельбе: я умел еще до того, как стал служить дядюшке Сэму. Вот такие дела. Но вы говорили что-то о своей конной гвардии?

Я коротко рассказал об особенностях снаряжения нашей прославленной кавалерии. Стыдно признать, но лагерь раскололся от смеха.

— Пустить бы их через болото. Пускай покрутятся, пускай прежде смоят крахмал с амуниции, а тогда, если мы преспокойно не подстрелим всех их, я, ей богу, готов съесть свою лошадь.

— Ну а предположим, они атакуют в открытом поле? — сказал я.

— Пусть атакуют хоть в самой преисподней. Отыщись миль на двадцать в округе древесный ствол — у них не получится в открытую. Джентльмены, господа офицеры, вы когда-нибудь серьезно задумывались о существовании на этой земле кавалерии, которая предпочитает сражаться на лесоскладе? Очевидная искренность этих замечаний поразила меня. Я размышлял об этом по дороге в отель, где присоединился к исследовательской экспедиции, которая, нырнув в лес, откопала там шурф каленой воды, обрамленный черным как смоль песком, тогда как почва вокруг сияла ослепительной белизной. Однако и чудеса надоедают, когда попадают на глаза раз двадцать за день. Пестрая стрекоза пролетела над водоемом, закружилась на месте и упала в воду, даже не шелохнув блестящими крылышками. Водоем промолчал, послав навстречу горящему небу тонкие завитки пара. Я предпочитаю говорящие водоемы.

Там была одна девица (очень нарядная), которая словно сошла со страниц романа мистера Джеймса *. Ее сопровождали очаровательная мамаша и равный ей по очарованию папаша — джентльмен с осоловелыми глазами и вялым голосом. Сразу видать человека из мира финансов. Родители решили, что дочери необходимо развлечься. Они жили в Нью-Гэмпшире. Соответственно дочка поволокла родителей на Аляску, затем — в Йосемитскую долину * и теперь возвращалась домой через Йеллоустон, чтобы застать хвост летнего сезона в Саратоге. Раза два мы уже встречались в парке, и меня сильно изумили и позабавили ее похвалы по адресу местных чудес, не лишённые критики. Этот решительный ротик прочитал мне лекцию по американской литературе, рассказал о закулисной жизни вашингтонского общества, дал точную оценку работам Кейбла *, сравнил их с «Дядюшкой Римусом» Гэрриса *, и многому другому, что было очаровательно, но не имело никакого отношения к гейзерам.

Любая девушка-англичанка, наткнись она на извозившегося в извести пешехода без воротничка, с лицом, облупившимся на солнце, который появился неизвестно откуда и направлялся бог знает куда, посмотрела бы на него как на беспутного бродягу (мамаша стала бы нервничать, а папаша — размахивать зон-

том). Совершенно иначе вели себя эти очаровательные люди из Нью-Гэмпшира. Они были достаточно любезны, чтобы обращаться со мной (звучит почти невероятно) как с человеческим существом, которое, возможно, заслуживает уважения и, по-видимому, не намеревается просить немедленной финансовой помощи. Папашу было приятно послушать, так как он говорил по существу. Крошка старалась изо всех сил на своем наречии, которое уже унаследовала от рождения и развила чтением, а мамаша, добродушно улыбаясь, держалась сзади.

Сравните их с молодым англичанином идиотской наружности, который в своих высоких воротничках околачивался там в сопровождении лакея. Он соизволил обратиться ко мне: «Приходится быть не слишком разборчивым — кого только не встретишь в этих краях» — и надменно удалился, я полагаю, ежеминутно опасаясь, как бы не уронить собственное достоинство. Он был варваром (пользуюсь случаем сказать ему об этом), потому что вел себя в манере охотников за головами из Ассама, которые постоянно враждуют между собой.

Вы, наверно, догадываетесь, что эти нехитрые рассказы представлены здесь для того, чтобы скрыть бессилие моего пера, пасующего перед великолепием гейзеров Верхнего бассейна. Я провел вечер в компании кавалеристов под сенью Гейзера Замок, сидя на поваленном стволе дерева. Я разглядывал кипевшую сорокафутовую главную башню баронского замка, и мои новые друзья пояснили, что, если он разразится первым, Гигантесса будет молчать и vice versa. Затем потекли рассказы, пока не взошла луна. Потом туристы, разбившие лагерь в лесу, накормили нас.

На следующее утро Том погнал свой возок дальше, обещая показать новые чудеса. Через несколько миль он подъехал к каким-то зарослям, в глубине которых, казалось, тонула целая армия. Я слышал предсмертные вздохи и всплески, но, когда пробрался сквозь кустарник, духи исчезли. Остались бассейны, полные розовой, черной и белой извести, густой, как засахарившийся мед. Каждые две минуты они, задыхаясь, постреливали кусочками извести. Зрелище было жуткое. Стоит ли удивляться, что индейцы избегали долину Йеллоустон! Гейзеры еще можно вынести, но грязь нестерпима. Престарелая леди из Чика-

го подобрала кусочек извести, но через полчаса тот рассыпался в пыль и вытек сквозь пальцы. Всё майя — иллюзия, сами видите! Затем под колесами закрипели кристаллики серы; был какой-то водопад кипятка; затем совершенно ровная парковая зона, на которую претендовали бобры. Каждую зиму они строят плотину и затопляют низины. Каждое лето правительство разрушает плотину. С полмили пашешь воду, утонув по ступицы колес. Ивовые ветви касаются коляски. Маленькие ручейки разбегаются вправо и влево. Главное русло речонки — это и есть дорога, подобная затопленному Боланскому перевалу*. Если попытаться прорваться в объезд, считайте, что вас нет на свете, и бобры используют вашу коляску при строительстве очередной дамбы.

Затем потянулись лесистые торфяники, заглушавшие стук колес, и два кавалериста, которые выполняли какое-то особое поручение, бесшумно выехали на дорогу позади нас. Один из них оказался тем парнем, который рассказывал о Подожди Хвосте, и мы весело поболтали. Лошади, выбиваясь из сил, тащились между деревьями, пока не выбрались к подножию холма, словно усыпанному агатами, и всем пришлось выйти из коляски, задыхаясь от разреженного воздуха. Каким пьянящим он был! Престарелая леди из Чикаго кудахтала, словно эмансипированная курица. Она суетилась на обочине дороги и откальвала кусочки скалы, складывая их в ридикюль. Она отправила меня на пятьдесят ярдов вниз по склону, чтобы подобрать осколки бутылки, так как настаивала, что это были агаты. «У меня дома есть несколько таких. Как они сверкают! Идите же достаньте их, молодой человек».

Мы карабкались вверх по тропе, которая с каждым шагом становилась все непроходимее, пока наконец, оставив всякое притворство, не превратилась в русло какого-то потока. Когда мы пошли по совсем уже голым камням, показалось небольшое сапфировое озеро (никогда не видел таких голубых сапфиров). Оно называлось озером Мэри. Это было на высоте восьми-девяти тысяч футов над уровнем моря. Затем последовали травянистые спуски, такие крутые, что наша коляска катилась в основном на двух колесах. Это продолжалось до тех пор, пока мы не скатились чуть ли не вниз головой к броду, затем поднялись на утес, снова понеслись

вниз, снова нырнули и, совершенно истерзанные, остановились у Ларри, чтобы позавтракать и с часок отдохнуть. Только Ларри мог содержать палатку для устройства школьных пикников на голом склоне горы. Стоит ли напоминать о том, что он был ирландец? Его запасы находились в состоянии «самой малой воды», однако Ларри обернул нас в золотую оболочку таких увлекательных слов, что палатка с грубым столом-козлами стала дворцом, нехитрая пища — деликатесами «Дельмонико»*, а мы сами превратились в пристыженных просителей, пресмыкавшихся перед величественным, щедрым Ларри. Значительно позже я обнаружил, что заплатил восемь шиллингов за консервированную говядину, бисквиты и пиво. Однако спросил же меня Ларри: «Прикажете забить для вас бизона?» Я сразу понял, что ради меня, ради меня одного, он сделал бы это. Остальные почувствовали то же самое. Да сопутствует Ларри удача!

«А теперь прополощите свои носовые платки в отличном горячем источнике, там, за углом, — сказал Ларри. — Вот мыло и стиральные доски. Не каждый день получаешь горячую воду даром». — Он размашисто показал нам рукой куда-то вниз, а сам принялся приводить тент в порядок.

В этом воздухе мышцы не знают усталости, а глаза утрачивают чувство дистанции. Горы и доли, казалось, сидели в самом зрачке. Пожалуй, я мог ухватиться за горные пики, стоило только протянуть руку. Никогда еще воздух не был таким хмельным. Зачем мы стирали носовые платки — знает только Ларри. Наверно, это было чем-то вроде религиозного обряда. В небольшой долине, окруженной пестрыми скалами, бежал поток цвета розовато-бурого бархата. Он был нестерпимо горячим на ощупь и по пути окрашивал огромные валуны.

Девушка из Нью-Гэмпшира, престарелая леди из Чикаго, папа, мама, женщина, жующая резинку, и все остальные, вооружившись мылом, с самым серьезным видом склонились над стиральными досками. Этот таинственный поток обладал чудесными свойствами. За пять минут он отстирывал белье до снежной белизны. Затем мы валялись на траве и хотали от переполнявшей нас радости. Однажды я испытал подобное в Японии, в другой раз — на берегах Колумбии, когда подцепил лосося, а старина Калифорния

ревел от восторга, а теперь вот — в Йеллоустоне под лучистым взглядом девушки из Нью-Гэмпшира. У меня под рукой было четыре водоема: один с черной водой (холодной), другой с прозрачной (довольно теплой), еще один тоже с чистой водой (горячей), четвертый кипел красной водой. Мой добела отстиранный платок мог накрыть всех их разом. Мы удивлялись, как дети.

— Сходим вечерком на Большой каньон, — предложила девушка.

— Вместе? — спросил я, и она кивнула в ответ.

Солнце клонилось к горизонту, когда мы услышали рев падающей воды и вскоре вышли к широкой реке. И тогда, о, тогда! Одним росчерком пера я сумел бы описать преисподнюю, но не эту местность. Да будет вам известно, что река Йеллоустон протекает восьмимильным ущельем. Чтобы добраться до его дна, нужно сделать всего два прыжка вниз — один футов на сто двадцать, другой — на все триста. Я обследовал верхний, меньший водопад, низвергавшийся неподалеку от отеля. До этого места с рекой не происходит ничего особенного. Ее берега примечательны только своей крутизной, скалами и соснами. К водопаду она выскакивает из-за поворота украшенным пеной сплошным зеленым потоком не шире тридцати ярдов. Затем она падает вниз, оставаясь такой же зеленой, но кажется более монолитной. Сидя на скале над самым водопадом, через минуту-другую начинаешь понимать, что вокруг творится нечто невероятное. Река, сжатая массивными стенами ущелья, совершает гигантский прыжок, и то, что кажется сверху легкой рябью, которая лижет камни внизу, на самом деле игра больших волн. Река громко вопит, но ее крики не уходят дальше теснины.

Экскурсия, предпринятая из любопытства, окончилась тем, что я ощутил страх. Мне стало казаться, что весь этот хризолитовый мир ускользает у меня из-под ног. Чтобы добраться до края каньона, пришлось огибать скалу. Мы взбирались по почти отвесному склону (почти — только в начале подъема), так как по мере того, как падает река, берега становятся круче. Величественные сосны окаймляют разверстую пасть каньона с обеих сторон. Это и есть Горло Йеллоустона.

Вот что можно еще сказать: совершенно неподготовленный к такому испытанию, я заглядывал в пропасть глубиной в тысячу

семьсот футов с орлами и ястребами-рыболовами, которые парили подо мной. Стены пропасти — мешанина красок: малиновой, изумрудно-зеленой, кобальтовой, охры, цвета меди, смешанного с портвейном, белоснежной, киновари, лимонной, серебристо-серой. Они лежали широкими мазками. Нельзя сказать, чтобы отвесные стены были абсолютно гладкими: вода и время высекли в них чудовищные изваяния голов королей, мертвых вождей, каких-то мужчин и женщин древности. Далеко внизу, так далеко, что шум бесноватей реки не достигал нас, сама она казалась ленточкой нефритового цвета в палец шириной. Солнечный свет падал на эти волшебные стены, создавая новые оттенки там, где природа положила свои цвета. Мне доводилось видеть рассвет над озером в Раджпутане и заход солнца над Уди-Сагар в окружении Холман-Хант-Хиллза. На этот раз я видел оба спектакля одновременно, но с той разницей, что здесь картина была перевернута (понимаете?), а краски были настоящими. Каньон пылал, словно Троя. Однако он будет гореть вечно, и, слава богу, ни кисть, ни перо не смогут воссоздать это. Академия художеств отвергнет такое полотно как хромотографию, а публика станет глумиться над статьей, помещенной в «Дейли телеграф». «Оставлю-ка я каньон в покое, — подумал я. — Это моя собственность, и я не хочу ею делиться».

Сквозь сосны, которые накрыли нас тенью, пробирался вечер, но великолепный день все еще пламенел на стенах каньона, пока мы выбирались на выступ скалы (кроваво-красной или розовой), нависавшей над бездной всех бездн. Теперь я знаю, что значит восседать на троне среди облаков при закате. Легкое головокружение словно уничтожило осязание и ощущение формы. Остались только ослепительные краски. Выбравшись на твердую почву, я был готов поклониться, что мы только что куда-то плыли. Девушка из Нью-Гэмпшира долгое время не произносила ни слова, а потом стала читать стихи. Пожалуй, это было самое лучшее, что следовало тогда сделать.

— Подумать только, что такая выставка устраивается здесь каждый день и никто из нас до сих пор не видел ее, — сказала престарелая леди из Чикаго, кисло взглянув на мужа.

— Да, никто, кроме краснокожих, — ответил он совершенно бесстрастно.

Я и девушка долго смеялись. Вдохновение мимолетно, красота тщетна, а умственное восприятие прекрасного ограничено. Поднимись в эту минуту со дна ущелья сами ангелы, распеваящие хором, им не удалось бы помешать папе, а также еще одному низкому созданию скатывать камни вниз по изумительным склонам, окрашенным во все цвета радуги. Надо же было сотвориться такой глубине, чтобы в нее швыряли бревна и булыжники. Итак, мы кидали туда эти предметы, любуясь, как они набирали скорость, отскакивая от белой скалы к красной или желтой, волоча за собой эти потоки цвета, пока не замолкал грохот их падения, а сами они в свободном полете устремлялись к воде.

— Я был там, внизу, — сказал Том в тот вечер. — Попасть туда нетрудно, но надо соблюдать осторожность — садись и съезжай. Подниматься куда трудней. Там я нашел две скалы, которые украшены во все цвета каньона. Я не продал бы их даже за пятнадцать долларов.

Я и папа сползли к реке чуть выше первого водопада и наудачу смочили наши лески. Взошла круглая луна и окрасила серебром утесы и сосны. Двухфунтовая форель тоже «взошла», и мы убили ее среди камней, едва не свалившись в бурную реку.

* * *

Прочь отсюда — снова Ливингстон. Девушка из Нью-Гэмпшира куда-то исчезла вместе с папой и мамой. Исчезли престарелая леди из Чикаго и все остальные, а я размышлял над тем, чего так и не увидел: лес окаменевших деревьев с аметистовыми кристаллами в глубине почерневших сердец; Великое озеро Йеллоустон, где в одном из источников ловится форель, а в другом можно ее сварить; таинственный Худу *, где демоны, которые не работают на гейзерах, занимаются убоим бродячих лосей и медведей только ради того, чтобы до смерти перепуганные охотники находили в ущелье смерти сваленные в кучу скелеты животных, не убитых человеком. Я миновал страны Худу, где шумят над головой птицы, бегают звери и стоят скалы-дьяволы с их лабиринтами и бездонными колодцами. На обратном пути Янки Джим и Диана из Кроссвейза сердечно приветствовали меня, когда поезд на минуту задержался у дверей их

дома, а в Ливингстоне кого же мне оставалось навестить, как не возчика Тома.

— Я решил покончить с Йеллоустоном. Подамся на Восток, — сказал он. — Твои рассказы о беззаботном бродяжничестве разбредили душу, и я надумал тронуться с места. Прости нас, господи, за нашу ответственность друг перед другом.

— А твой партнер? — спросил я.

— Вот он, — сказал Том, представляя неуклюжего юношу с узлом в руке.

Я заметил, как оба молодых человека посмотрели на восток.

Об американской армии и городе святых; храм, Книга мормонов * и девушка из Дорсета; восточная точка зрения на многоженство

Дурак и многословен по-дурацки. Никто не знает, кого что ждет.

Вот о чем я подумал, дорогие читатели: какое удовлетворение ни доставляли бы мне собственные статьи, их длина, ширина и глубина могут показаться вам в вашем далеком уютном мире слишком значительными. Постараюсь держать себя в рамках, но все же хотелось бы предложить вашему вниманию доклад об американской армии и возможностях ее расширения.

Американская армия — это превосходная маленькая армия. В один прекрасный день, когда все индейцы почивут вечным сном, а оставшиеся в живых сопьются, в этой армии, вероятно, будут организованы невиданные доселе научно-топографические службы. Даже в наши дни она продвигает великолепную исследовательскую работу, но в самой ее основе заложен существенный недостаток. Беда в том, что офицерские кадры поставляют Вест-Пойнт *, и складывается впечатление, что это учебное заведение создано для того, чтобы распространять военные знания среди гражданского населения. Ведь туда может поступить любой мальчишка. Затем он заканчивает курс обучения и может вернуться на «гражданку», но уже с опасным грузом познаний из Мольтке *, которые при случае легко применить на практике. При определенных обстоятельствах такой выпускник Вест-Пойнта наделает неприятностей, потому что, скажем для начала, он, как всякий американец, отвратительно энергичен, самоуверен, как петух, не ставит ни во что чужую человеческую жизнь, а эти качества и служат основой его полупрофессиональной военной карьеры. Как видно из газет, в этой стране немало людей, которые то и дело встречаются в конфликты с полицией и дружат с тюрьмой; подобные личности любят создавать соб-

ственные, чуть ли не военные организации и, вместо того чтобы разбежаться при виде регулярных войск, предпочитают вступать с ними в перестрелку, что напоминает любительские военные действия. И такое положение нельзя признать нормальным, тем более что узы, которые связывают штаты, удивительно непрочны. Правда, подобные люди еще не вошли маршем в округ Колумбия *, не оседлали статуй в Вашингтоне и не придумали собственного флага, зато им дозволено законодательствовать, строить железные дороги, охотиться за неграми по болотам, расторгать браки и буйствовать по собственному усмотрению. Впрочем, им совершенно необязательно сознавать свою силу, чтобы с легким сердцем творить беззаконие.

Что касается регулярной армии (этой милой крохотной армии), то она предоставлена самой себе. Ее удел — истекать кровью в отдельных экспедициях, преуспевать на поприще науки и время от времени собираться на мasonicкие празднества и так далее в этом роде. Регулярная армия слишком немногочисленна, для того чтобы играть видную политическую роль. А вот бессмертные остатки Великой армии Республики — иное дело. Это действительно крупная беспринципная политическая сила...

Исходя из всего сказанного, приходится сделать вывод, что нельзя намеренно закладывать фундамент любительской военной машины, которая слепа и безответственна... Благодарите меня за то, что я умеряю «размахи маятника», то есть диапазон этой лекции, и приглашаю звуки той какофонии, которую мне пришлось выслушать в Ливингстон-Сити, и, кроме того, умалчиваю о некоем редакторе и его заместителе (последний обладал нравом ручного кугуара или горного льва), который, как мне рассказали, весьма умело «редактировал» диспансеров в офисе ливингстонской дневной газеты.

Упуская тысячи других важнейших подробностей, я поведу нить своих рассуждений с рассказа об узкоколейке, которая тянулась к Соленому озеру. Поездка из Дели в Ахмадабад майским днем показала бы блаженством в сравнении с этим путешествием, которое было настоящей пыткой. Вокруг расстились только выжженная солнцем пустыня и пыльные солончаки. Помещение для курящих не было предусмотрено, и я сидел в уборной вместе с кондуктором и

старателем, который голосом засыпающего младенца рассказывал о жестокостях индейцев. Ругательства одно за другим лились из его рта так же свободно, как простокваша — через кувшинное горлышко. Не думаю, чтобы он сознавал, что произносит нечто неподобающее, но девять из десяти выражений были для меня в диковинку, а одно заставило приподнять брови даже кондуктора.

— Когда человек один и ведет лошадь на поводу через холмы, он заговаривает с самим собой, потому что ничего другого не остается, — сказал высушенный всеми ветрами вещатель ужасов.

Передо мной возникло видение — этот человек, который при свете звезд попирал ногами тропу Баннак-Сити, изрыгая при этом проклятие за проклятием.

Время от времени на поезд садились какие-то кучи тряпья, то есть индейцы. Привилегия их расы — бесплатный транзитный проезд на площадке вагона. Конечно, вход в купе для них запрещен и ради них не делают остановку. Я видел, как скво присоединилась к нам на ходу и точно так же покинула поезд, когда тот притормозил на повороте. Подобно пенджабцам, краснокожие сходят с поезда там, где им вздумается, на какой-нибудь безбрежной равнине, и с бесстрастным видом бредут к горизонту, никому не сообщая, куда уходят. Солт-Лейк-Сити. Я озабочен состоянием души мистера Фила Робинсона. Как вы, наверно, помните, он написал книгу «Святые и грешники», в которой весьма убедительно доказал, что мормон — личность вполне достойная уважения. Прибыв в этот город, я не переставая думал о том, что же заставило автора создать эту книгу. После более зрелого размышления и долгой прогулки по городу я пришел к выводу, что во всем виновато слишком жаркое солнце.

По счастливой случайности злонамеренный поезд, который опоздал на двенадцать часов из-за пожара на мосту, доставил меня на место в субботу, проследовав долиной, которая после многих усилий мормонов расцвела, как роза. Но уже за несколько часов до моего прибытия я очутился в странном мире, в мирке, где, судя по разговорам в вагоне, каждый был либо мормоном, либо немормоном.

В здешнем крае свободному и независимому гражданину не следует открыто заявлять, что

он немормон, однако мэр города Огдена (город немормонов в этой долине) высказал мнение, что то и другое стадо, то есть мормоны и немормоны, все же должны отличаться друг от друга. Задолго до того, как мы достигли фруктовых садов Логана * и сверкающих равнин Соленого озера, этот мэр (сам не мормон, но человек, известный своими торговыми связями с ними) сказал мне, что наболевший вопрос существования государства в государстве постепенно разрешается с помощью образования и системы голосования.

— Вокруг нас горы, богатые золотом и серебром, — сказал он, — и даже силы ада, что стоят на страже мормонской церкви, не помешают немормонам стекаться в эту долину. В Огдене — это в тридцати милях от Солт-Лейк-Сити — мы провалили мормонов на муниципальных выборах, а на будущей год надеемся повторить успех в самом Солт-Лейк-Сити. Немормоны составляют там лишь треть населения, но в основном это взрослые люди с правом голоса. А мормоны обросли домочадцами. Думаю, что стоит нам занять все должности и взять под контроль политику в городе, как мормонам не поздоровится. Им придется потесниться и вскоре уйти. Мое мнение таково: именно пожилые мормоны составляют оппозицию и мешают нам. Но что бы ни твердили их старейшины, молодежь станет охотно общаться с немормонами и читать наши книжки. Каждый поцелуй обыкновенного немормона действует словно печать обращения, особенно когда девушка уверена в том, что мужчина не считает необходимым перегружать свой дом другими бабами ради спасения ее души. Думаю, что молодое поколение мормонов доставляет ощутимые неприятности своим старикам. Вы спрашивали о многоженстве? Согласно недавно принятому биллю, это уголовное преступление. Мормону приходится выбирать одну жену и держаться ее. Если его поймут у другой женщины... Видите то мирное темное здание из кирпича на склоне горы? Это исправительный дом. Мормона отправляют туда поразмыслить о своих грехах, и, кроме того, приходится заплатить штраф. Однако большинство полицейских в Солт-Лейк-Сити — мормоны, и я не думаю, чтобы они были слишком строги со своими друзьями. Полагаю, что тайное многоженство распространено достаточно широко.

Труднее всего заставить мормона понять, что мы не трижды проклятое зверье, как доказывают их старейшины. Позвольте нам закрепиться в штате, и тогда все мормонское предприятие полетит к черту.

Желание — отец мысли, и я сказал: «Ну что ж, пожалуй» — и начал осваивать долину Дезерта * — прибежище поздних святых и, по всей видимости, чашу таких страданий, каких только люди могут натерпеться за сорокалетие.

Людям добрым в Англии многое невдомек, но вы-то поймете, отчего все это получается. Вы же понаслышаны о многоженстве в Бенгалии и знаете, как ненавидит свою будущую соперницу молодая бенгалка (сама почти ребенок), которая готовится впервые переступить порог дома своего мужа. А ведь бенгальскую женщину, можно сказать, приучали к многоженству столетиями. Вы, наверно, слышали также об ужасной, прикрытой паранджой ревности жены, которая стала матерью, к бесплодной жене-сопернице, ревности, которая взрывается порой отравлением собственного ребенка?

Время от времени англичанки на Востоке нанимают кормилиц-мусульманок высокой касты, и тогда им приходится невольно выслушивать странные, страшные рассказы о многоженстве. Ведь женщины осенены единым Евиным проклятием, и они способны совершенно свободно общаться между собой, невзирая на разницу в цвете кожи. Да, женщина Востока привычна к многоженству (мормоны считают это благом для женщины) и тем не менее проклинает свою судьбу. Вы же знаете, как обращаются с ней в доме мужа и призывают все кары небесные на ее голову («проклятая из проклятых», «дочь навозной кучи», «паршивка и скотина»). К подобной же участи, к участи бенгальской женщины, некое вероучение (одно из многочисленных учений белого человека) готовит и белую женщину, несмотря на то что из столетия в столетие она привыкла считать, что только она одна безраздельно царствует в сердце одного мужчины.

Для того чтобы подавить естественное сопротивление женщины, мормонизм, это фантастическое вероучение (изумительное смешение магометанства, законов Моисея и криво истолкованных фрагментов масонства), прибегает к поистине дьявольским ухищрениям, которые тщательно продуманы бездушными

канавокопателями и любителями громоздить ограды. Недурное обозрение, не правда ли? Даже красота долины не могла заставить меня забыть об этом. Долина действительно чудесна. Плоские, как стол, террасы, которые прилепились к склонам окружающих гор, отмечали уровни Соленого озера по мере того, как оно постепенно проваливалось, превращаясь из внутреннего моря в озеро длиной пятьдесят миль и тридцать шириной. Пройдет немного времени, и террасы будут застроены домами. В настоящее время постройки прячутся под кронами деревьев в низине. Вы, должно быть, не раз читали о широких улицах Солт-Лейк-Сити. Они обсажены тенистыми деревьями, и вдоль проложены желоба с проточной пресной водой. Это правда, но я попал в город, когда началась засуха, та самая засуха, во время которой рдеют стада в Монтане. Листва на деревьях завяла, а сверкающие ручейки, о которых вы так часто читали, превратились в пыльные каменные канавки.

Главная улица города, по всей видимости, заселена немормонами из торгового сословия, и они превратили ее в широкую шумную магистраль, где на глазах у солнца неблагочестиво потягивают пиво и день-деньской непристойно курят сигары. Этим они мне и нравятся.

В самом начале улицы находятся достопримечательности города: храм, молитвенный дом протестантских сектантов, Доходный дом (биржа) и дома Бригама Янга *, чьи портреты продаются почти во всех книжных лавках. Между прочим, следует упомянуть, что покойный эмир штата Юта даже отдаленно не напоминал Его Высочества эмира Афганистана, которого удостоились чести видеть мои счастливые глаза. Должен сказать, что у меня нет ни малейшего желания попасть в лапы местного эмира.

Прежде всего стоило осмотреть храм, так сказать фасад вероучения. Вооружившись экземпляром Книги мормонов (чтобы все было ясно), я отправился составлять «скандальные суждения». Когда-нибудь строительство храма завершится. Оно было начато всего тридцать лет назад, и до сего времени в эту гранитную глыбу вложили более трех с половиной миллионов долларов. Толщина стен храма — десять футов, высота самого здания — более ста, а башен — двести. Вот и все, что можно сказать о храме. Если у вас

есть желание изучить это сооружение более тщательно, тогда загляните в Книгу мормонов, и все станет ясно до конца. Тогда удивительное ребячество проекта становится очевидным. Эти люди, вдохновляемые прямо свыше, громоздят камень на камень, колонну на колонну, не достигая ни величия, ни изящества, ни пользы. Вон там, например, над главным порталом, жалкие царпины на камне изображают всевидящее око, масонское рукопожатие, солнце, луну, звезды и, кажется, много прочего вздора. Банальность и бессмысленность этого заставляют едва ли не плакать. Когда видишь нагромождение великолепных гранитных плит, вспоминаешь о настоящем искусстве, которое эти три миллиона долларов могли бы призвать в помощь церкви. Только ребенок может заявить: «Давайте нарисуем большущий, красивый дом» — и, старательно высовывая язык в такт движению своей нетвердой руки, начать вычерчивать бессмысленные линии и круги.

Потом я присел на тачку и, углубившись в Книгу, понял, что дух ее соответствует духу камней, которые вздымались передо мной. Достопочтенные Хирум и Джозеф Смиты *, которые бились над тем, чтобы сочинить заново Библию (не зная ничего о Новом и Ветхом заветах), и архитектор, который вдохновенно творил всякий вздор из кирпича и камня, были братьями. Однако Книга была интересней здания. В ней написано (и весь мир прочитал это), как к Джозефу Смицу спустился небесный ангел, доставив ему «небесные очки», с помощью которых первый сумел расшифровать откопанные им же в земле золотые таблицы, испещренные точечками и царпинами. Эти таблицы Джозеф Смит перевел (правда, сам он пишет почему-то с ошибками) и из этих царпин и точек состряпал том в шестьсот страниц, набранных убористым шрифтом. Эта мормонская Библия содержит книги: Нефи (первую и вторую), Яков, Енох, Джаром, Омни, Мормон, Мойша, а также Житие Зенифа, Книгу Элма Хелмана, Третью книгу Нефи, книгу Эфира (кстати сказать, это сильно действующее анестезирующее средство) и заключительную книгу Монони. Трое людей, из которых один здравствует и по сей день, торжественно поклялись, что ангел с очками спускался к ним, восемь других не менее торжественно заявляют, что видели таблицы откровения

своими глазами. На этих свидетельствах зиждется достоверность мормонской Библии.

Эта история ведет начало с дней Зедекии — царя Иудеи, а заканчивается сумбурным описанием вражды каких-то племен, обрывками откровений и объемистыми списками из настоящей Библии. Пробираясь по страницам совместной продукции братьев, я искренне симпатизировал им. Будучи их скромным собратом по перу на поприще беллетристики, я понимаю, насколько трудно подобрать подходящие имена персонажам. Но Джозефу и Хируму пришлось намного труднее, и все же они оказались смелее меня, создав Тинкума, Кориантуми Пахорана, Кишкумена, Гадиянтонна и другие бессмертные имена, которые не в силах удержать моя память. Что касается географии, так братья постарались держаться от нее подальше, довольно хитро избегая ссылок на местонахождение некоторых пунктов, потому что, как сами видите, были не совсем уверены в том, какие земли находятся по соседству с их собственным графством. На страницах этой Книги кровожадные военачальники совершали марши и контрмарши, а авторы добавляли к Ветхому завету новые удивительные главы, переделывали небеса и землю, что в писательском ремесле считается делом вполне законным. Однако они не смогли выработать единства стиля, и было довольно неумно с их стороны вставлять в эту сверхъестественную «Моисееву» мозаику целые куски из настоящей Библии. К тому же трудолюбивое перо нет-нет, да и вправляло в утомительную пародию парочку предложений на отвратительном английском, вроде подобного кошмара: «И сказал Моисей народу Израиля: — Какого черта вы делаете?» Буквально такой фразы в Книге мормонов нет, но тон воспроизводится верно.

Вокруг мормонизма сложилось немало утонченных побочных явлений. Во-первых, их церковь более абсолютна, чем римская: помалкивайте о многоженстве и в то же время смотрите сквозь пальцы на некоторые случаи неумеренности; позаботьтесь о том, чтобы умственный уровень новобранцев был как можно ниже, но одновременно следите за тем, чтобы новейшие достижения агрономии были доступны старейшинам, — и вы получите первоклассное орудие для пионерной работы. Мишурный мистицизм и заимствования из франкмасонства служат переселенцам: шве-



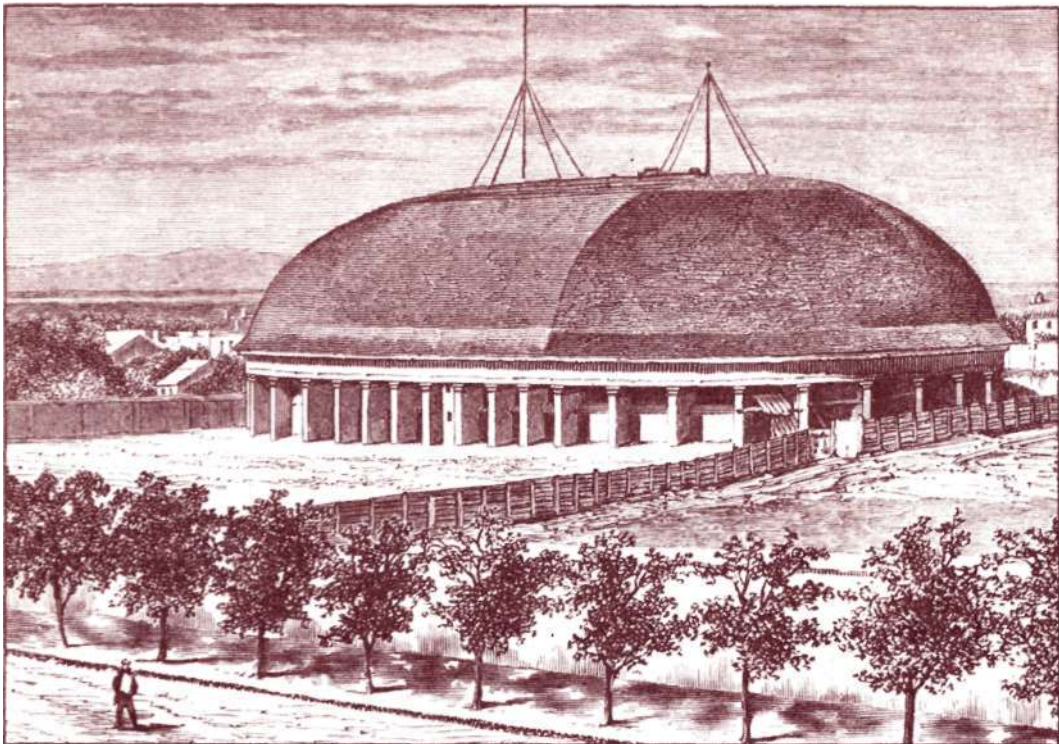
дам, датчанам, валлийцам и корнуэльскому батраку не хуже четко организованных Небес.

Я прошелся по улицам, заглядывая в окна, и заметил, что комнаты были обставлены по моде пятидесятых годов. Главная улица кишела окрестным сельским людом, собравшимся поторгать с Сионским торгово-кооперативным обществом. По-моему, церковь контролирует финансы этого предприятия, и оно соответственно приносит неплохие дивиденды.

Женские лица не отличались привлекательностью. Это верно, но, несмотря на то что люди некрасивые внешне так же иррациональны в неразделенной любви, как и красавцы, складывалось впечатление, что многообразие —

благословенный институт для женщин и только духовное убеждение могло загнать в его рамки неуклюжих широколицых мужчин. Женщины одевались ужасно, а мужчины, казалось, были связаны веревками. Сегодня весь день они будут торговать на рынке, а завтра, в воскресенье, отправятся в молельню. Я пытался поговорить кое с кем, но люди бормотали в ответ нечто нечленораздельное на непонятном мне языке и вообще вели себя как коровы. И все же одна женщина (вовсе не безобразная) призналась, что ненавидит саму идею превращения Солт-Лейк-Сити в выставку для развлечения немормонов.

— Оттого, что мы имеем свои учреждения, другим незачем приезжать сюда паяться на нас, ведь верно?



Особенность речи выдала ее с головой.

— Когда вы уехали из Англии? — спросил я.

— Летом тысяча восемьсот восемьдесят четвертого. Я из Дорсета, — ответила она. — Агент мормонов обошелся с нами приветливо, а мы были бедняками. Сейчас нам намного лучше — матери, мне и отцу.

— Значит, вам нравится?..

Сначала она не поняла.

— О, многоженство меня не касается. По крайней мере еще нет. Я не замужем. Мне нравится жить самой по себе. У меня появились собственные вещи и есть немного земли.

— Но я полагаю, что вы...

— Только не я. Мне не по душе эти датчане и шведы. Мне нечего сказать ни за, ни против многоженства. Это дело старейшин, но, только между нами, я не думаю, что это продержится долго. Завтра вы услышите, как они рассуждают в церкви, будто бы это распространяется по всей Америке. Шведы верят всему, а я знаю, что это не так.

— Тем не менее вы получили землю.

— О да, мы ее получили. Но конечно же, мы никогда не говорим ничего против многоженства — ни отец, ни мать, ни я.

Поразительно, но где-то все же скрывается обман. Вы что-нибудь слышали о рисовых христианах?

Мне очень хотелось продолжить разговор с девицей, но та нырнула в Сионский кооператив, а меня поймал какой-то мужчина и сказал, что мой долг — осмотреть достопримечательности города. Они включали: молитвенный дом в форме яйца, Улей, городские владения Бригама Янга, надгробие на могиле этого хулигана с полным ассортиментом его жен, спящих вокруг (точно так же одиннадцать верных почил над пеплом Рунджит Сингха за стенами форта в Лахоре), и парочку других диковин. Но все они были уже описаны более даровитыми перьями. Зверинцы Бригама, где он держал своих жен, — обыкновенные запущенные виллы. Молельный дом — обман, крытый гонтом. Улей — дом, куда сносят церковную десятину, — похож на хлев. Мормоны печатают свои бумажные деньги —

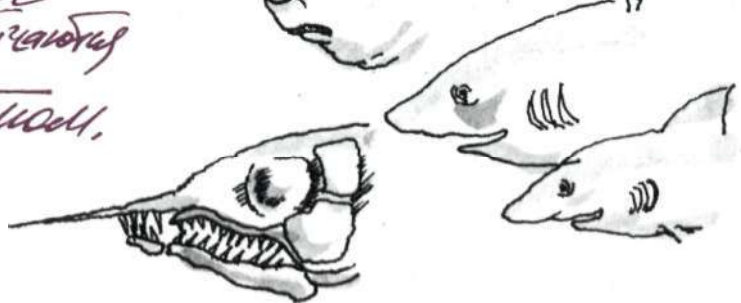
церковные банкноты, которые затем обмениваются на продукты местного производства. Однако молодежь предпочитает золотого тельца немормонов. Не очень-то приятно ходить по городу, когда гид указывает на каждое третье здание: «Вот здесь старейшина такой-то содержал Амелию Безершинс, свою пятую жену... простите, третью. Амелию он взял после Кезии. Та была его любимицей, и он не позволял Амелии встречаться с Кезией, опасаясь, как бы та не испортила ее красоту».

Мусульмане совершенно правы: с той самой минуты, когда домашние тайны гарема оказываются у всех на устах, этот институт готов рухнуть.

Я отделался от гида, когда тот рассказал мне очередную сомнительную историю, и дальше пошел сам. Особенность города — порядок, тишина и спокойствие, в которых пребывает роскошь. Дома стоят посреди обширных ухоженных газонов, и каждое владение почти не отличается от соседнего. Фасады домов увиты растениями, и в ветвях деревьев слышится благозвучная музыка ветра, которая разносится по улицам вместе с запахом сена и летних цветов.

На плоскогорье, с которого просматривается весь город, стоит гарнизон войск Соединенных Штатов — пехота и артиллерия. Штат

Юта волен делать все, что ему вздумается, но лишь до того желанного часа, когда голоса мормонов будут заглушены голосами немормонов. Гарнизон содержит на всякий случай. Крупные, с акульими ртами и свиными ушами ширококостные фермеры нередко отличаются диким фанатизмом и за последние годы сильно испортили жизнь немормонам, когда те составляли ощутимое меньшинство. Однако сейчас, когда миновали дни открытых и тайных убийств, поджогов ферм немормонов, ревнители мормонизма осмеливаются лишь осторожно бойкотировать тех, кто мешает им явно. Газеты мормонов открыто проповедуют неповиновение правительству Соединенных Штатов, и по воскресеньям в молельном доме проповедники, так сказать, ходят в масть. Когда я зашел туда, дом был полон народа, которому лучше было бы заняться стиркой.



*Крупные,
с акульими
ртами
и свиными ушами
ширококостные
фермеры
нередко отличаются
диким
фанатизмом.*



Поднялся какой-то человек и сказал собравшимся, что они, избранники божьи и Израиля, должны подчиниться пастырям и близится час, когда наступит благо. Я полагаю, что они слышали это столько раз, что проповедь не производила должного впечатления. Самые возвышенные положения любого вероучения теряют «соль», когда их твердят постоянно.

Толпа шумно дышала через нос, все смотрели прямо перед собой и были пассивными, словно камбала.

В тот же вечер я посетил гарнизон (один из тех, куда жаждут попасть армейские офицеры) и оттуда разглядывал панораму города святых, лежавшего передо мной в окружении непривлекательных гор.

Можно долго рассуждать о тех несчастьях, забугленной любви, разбитых сердцах и сильных душах, совращенных с пути жизни и наставленных на непреклонную дорогу смерти, которые видели эти годы. Как же это было? Иммигранты со стертymi в кровь ногами прорывались в этот круг, а потом вдруг понимали, что отныне они навсегда отрезаны от друзей и нет надежды на возвращение, а сами они попали в лапы других «друзей», которые называли себя священниками Всевышнего. «Но, слава богу, вот идет

Ричард Бэкстер», как выразился однажды некий знаменитый богослов.

Я очень рад, что судьбой мне не уготована участь быть кирпичом в стене мормонского храма, который так ловко приткнулся к берегу озера горького и безнадёжного.

Как я познакомился с важными персонами по дороге из Солт-Лейк-Сити в Омаху

Много видал городов и людей.

Не поймите меня превратно. Я люблю этих людей, а если уж отыщется повод для уничтожающей критики в их адрес, возьму это на себя. Не знаю почему, но я подарил им свое сердце, отдав предпочтение перед другими народами. Снаружи американцы, так сказать, недожарены и кровоточат по краям; они тщеславнее англичан и чудовищно вульгарны, словно египетские пирамиды, если покрыть их сахарной пудрой наподобие рождественского кулича. Они по-петушиному самоуверенны, соответственно необузданны, небрежны. Я понял, что обожаю американцев, когда повстречался с соотечественником, который насмехался над ними. Он видел в них только дурное, начиная с тарифа и кончая принципом государственности «поступай как знаешь», и поэтому считал их недостойными внимания истинного британца.

«Все допускаю, — сказал я. — Их правительство похоже на временное, законы — обыкновенное текущее мнение, железные дороги сделаны из спичек и заколок для волос; их удачливость зиждется на обилии леса, вод и руды, но не является результатом умственной деятельности. И все-таки это самые крупные и прекрасные люди на земле! Пройдет сотня лет, и вы увидите, что произойдет, когда им закрутят гайки и они забудут некоторые патриархальные заветы покойного мистера Джорджа Вашингтона...» Когда я оставил своего оппонента, то весьма нуждался в подкреплении своих мыслей, потому что попал в объятия совершенно обворожительного человека, которого случайно встретил на улице сидящим на стуле посреди тротуара. Он покуривал огромную сигару, оказался коммивояжером, и его пути проходили по Южной Мексике. Он рассказывал истории, от которых у меня волосы

вставали дыбом: о забытых городах; каменных изваяниях богов, по глаза затянутых дикой порослью; мексиканских монахах; восстаниях и диктатурах. Он-то и затащил меня на Соленое озеро, чтобы искупаться. Озеро находится в пятнадцати милях от города, и туда часто ходят поезда — обыкновенные трамвайные вагоны без крыши. Железнодорожное полотно, как, впрочем, повсюду в Америке, поражало своими ухабами. На подступах к озеру местность стала совсем уже скудной. На твердых плоских берегах озера были устроены купальные мостки, эстрады, буфетные стойки, но они только подчеркивали унылость пейзажа. У американцев еще руки не доходят до своих пейзажей.

— Крепитесь, — сказал коммивояжер, входя в тяжелую, как ртуть, воду. — Входите же! Я вошел и шел до тех пор, пока не всплыли мои ноги. Пришлось продвигаться вперед так, словно я противостоял напору сильного ветра, но мои голова и плечи продолжали торчать над водой. Ужасное ощущение — невозможность утонуть. Плыть было тоже бесполезно. От воды нельзя было отталкиваться, поэтому я просто-напросто сел на нее и остался на плаву, словно роскошный анемон, посреди сотен других, барахтавшихся вокруг. Купаться в этом теплом, липком рассоле можно хоть три четверти часа, не опасаясь дурных последствий. Однако на берег выходишь покрытым с головы до пят белой солью. Если проглотить добрую порцию этой воды, можно считать себя покойником. Это истинная правда: я глотнул только полпорции и вследствие этого покойник наполовину.

На обратном пути через плоскую равнину, которая окаймляла озеро, коммивояжер обратил мое внимание на некоторые народные обычаи. Большая железнодорожная платформа вмещала около сотни мужчин и женщин, «с песней на устах возвращавшихся с морей». Они пели, кричали, сыпали довольно солеными остротами, в общем, вели себя словно их заморские сестры и братья — арийцы и арийки из Старого Света.

Позади меня сидели две скромницы в белом. Никто не сопровождал их. На девиц обратил чары своей неиссякаемой любви избранник этого сборища — молодой человек с голосом великолепного диапазона. Девушки рассмеялись, но ничего не ответили. «Сватовство» было возобновлено в самых экстравагантных

выражениях. Сидящие рядом заплотировали. Когда мы приехали в город, девушки пошли своей дорогой, парни своей. Улица была густо затенена кронами деревьев. Увидев это, я вспомнил лондонских хулиганов и удивился, что никто не пристаёт к девушкам. — Ничего особенного, — сказал коммивояжер. — Пусть кто-нибудь посмеет — его пристрелят на месте.

На следующий день точно в таком же вагоне по дороге с озера кого-то действительно пристрелили. Убитый оказался «уркой», что означает законченный тип уголовника. Он пререкался с полицейским, и тот прикончил его. Я видел, как по улице тянулась похоронная процессия: около тридцати экипажей, до отказа заполненных сомнительного вида мужчинами и подобными им женщинами. Местные газеты сообщили, что у покойного были свои достоинства, но это уже не имеет значения, потому что, если бы шериф не укокошил его, тот наверняка укокошил бы шерифа. Я почему-то расстроился и уехал, хотя коммивояжер с радостью принял бы меня в своем доме, несмотря на то что не знал даже моего имени. Я дважды встречался с ним душными длинными ночами, и мы разговаривали о будущем Америки, покачиваясь на стульях, вынесенных на тротуар.

Стоит послушать Сагу об Америке из уст молодого энтузиаста, который только что обзавелся собственным домом, куда поместил милую маленькую женушку, а сам на свой страх и риск готовился вступить на поприще коммерции. Я склонен верить, что пистолетные выстрелы — случайность, достойная сожаления, а необузданность — всего лишь накипь на поверхности человеческого моря. Я вправе полагать, что спокойная, хотя и поджаренная на солнце, пыльная Юта осталась далеко позади.

Вскоре по воле случая я попал в объятия другого коммивояжера, но совершенно иного склада. Это произошло, когда мы выбирались из Юты, чтобы попасть в Омаху через Скалистые горы. Он занимался бисквитами (об этом я сейчас расскажу). Когда-то судьба круто обошлась с этим человеком, одним ударом разбив его жизнь. И вот наш бедняга путешествовал с полным ящиком образцов, а его глаза не замечали вокруг ничего радостного. В отчаянии коммивояжер обратился к религии (он был баптистом) и говорил о ее утешениях с безыскусной легкостью, прису-

щей американцам, когда они заводят речь о делах сугубо личных. За Ютой расстилалась пустыня — горячая, голая, как Миан-Мир в мае. Солнце поджаривало крышу вагона, пыль залепила окна, и в потоке солнечного света, который пробивался через эту пыль, человек с бисквитами приводил доказательства силы своей веры, которая, казалось, составляла одно из чудес света. С помощью средств, схожих с теми, что привели на путь истины самого Павла, она сулила мгновенное и осознанное искупление души, но самому страждущему не было дано ни предвидеть, ни предсказать, когда это произойдет с ним.

— Религиозное чувство нужно испытать, — повторял он. Его рот подергивался, а под глазами темнели круги — следы понесенных утрат. — Религию надо прочувствовать. Нельзя угадать, когда и как это произойдет. Но это придет, сэр, подобно вспышке молнии, и еще предстоит побороться с самим собой, прежде чем снизойдут полное блаженство и вера.

— Сколько времени требуется для этого? — спросил я с благоговением.

— Часы, а то и сутки. Я звал человека из Сен-Джо, который убеждался месяц, а затем к нему снизошел дух, как и должно быть.

— Что же потом?

— Тогда вы спасены. Вы ощущаете это и способны вынести все, что угодно. — Он вздохнул. — Да, все, что угодно. Мне, например, все равно, хотя признаюсь, что некоторые испытания все же тяжелее других.

— В таком случае вам, очевидно, приходится ждать, когда чудо сотворят какие-то внешние силы. А если этого не произойдет?

— Должно произойти. Говорю вам — должно. Так бывает со всеми, кто исповедует веру.

По мере того как наш поезд тащился вперед, я узнал многое об этом вероучении и, познавая, не переставал удивляться. Странно было наблюдать за этим сломанным человеком, согнувшимся под тяжестью утрат, всякий раз при новых ударах судьбы убеждавшим себя в том, что спасается от мук адовых.

Стояла невыносимая жара. Мы миновали пустыню и пустились дальше по волнистым зеленым равнинам Колорадо. Я был разбужен (пребывая в состоянии забытья, я снял с себя все до единой тряпки, какие можно было снять) порывом ужасающе холодного ветра и дробью сотен барабанов. Поезд стоял. Насколько хватало глаз, земля фута на два была

покрыта градинами величиной с пробку от шерри-бренди. Рядом с полотном дороги я увидел жеребенка. Он мчался к поезду неистовым галопом, но угодил задними ногами в яму, до половины заполненную водой и льдом. Минуту-другую он бил по земле передними ногами, а затем завалился на бок. Его забило градом насмерть.

Когда буря утихла, мы продолжили путь, пробираясь по рельсам на ощупь, потому что они могли разъехаться в любое мгновение. Машинист с американского Запада понукает своей паровоз, подобно субалтерну, укрощающему строптивого коня, можно сказать, с равным риском. Если нога коня попала не туда, куда следует, — что поделаешь, на то божья воля. Если все идет хорошо, значит, все в порядке, на то божья воля. Но я предпочел бы сидеть на спине такого коня, а не в поезде.

Поезд — подходящий объект для беседы на тему об одаренности американцев. Когда мистер Хоуэлс * пишет роман, когда отчаянный герой запруждает реку, опрокинув в нее с помощью динамита целую гору, или священник, ищущий популярности, венчает парочку на воздушном шаре, всемогущая американская пресса встает на задние лапы и начинает ходить по кругу, торжественно разглагольствуя о многосторонности американского гражданина. Они действительно разносторонне одарены — просто ужас! Неограниченное проявление права на личное мнение (а это такое оружие, что только один из десятка умеет обращаться с ним), крикливая петушинная самоуверенность и непоседливость южанина, заставляющая американца ерзать на стуле, когда он говорит с вами, — все это вместе и делает его разносторонним.

Однако то самое, что зовется разносторонностью, беспристрастный англондиец склонен оценивать как обыкновенную небрежность очень опасного свойства. Никто не в состоянии схватить на лету секреты какого-нибудь ремесла с помощью одного только разума, даже если этот разум — республиканский. Человек должен побывать в подмастерьях и изучать свое дело изо дня в день, если, конечно, желает добиться совершенства. В противном случае он попросту «проталкивает» дело. Часто и это не удается. Но в чем же состоит секрет такой формы умственного совершенства? Помнится, старина Калифорния, которого я буду любить и уважать вечно,

рассказал мне парочку анекдотов об американской разносторонности и ее последствиях — их-то я и припомнил, и они снова поразили меня.

Мы так и не опрокинулись, но думаю, что ни машинист, ни те, кто прокладывал эту колею, тут ни при чем. Прочтите с десятков отчетов о последних железнодорожных авариях (их легко отыскать), не происшествиях, а перво-классных катастрофах, когда опрокидываются и загораются вагоны, поджаривая живьем несчастных пассажиров. В семи случаях из десяти вы найдете в конце следующее жизнеутверждающее заявление: «Происшествие, по-видимому, явилось результатом расстыковки рельсов». Это означает, что рельсы были прикреплены к шпалам с таким многосторонним умением, что костыли и прочие железки вследствие непрерывного движения поездов подались от вибрации и просто не удержались на месте. За подобные пустяки никого не вздергивают.

Мы начали подниматься в гору, а затем остановились в полной темноте. Какие-то люди подсыпали песок под колеса, выравнивали рельсы ломами, а затем «прикидывали», можно ли ехать дальше или нельзя. Не желая встречаться с Создателем, будучи в полусонном состоянии и с заспанными глазами, я прошел вперед, в общий вагон, и был вознагражден двухчасовой беседой с актрисой, которая села на мель, которую бросил муж и тем самым разбил ее сердце.

Она работала в четвероразрядной труппе, тоже севшей на мель, распавшейся и лишившейся импрессарио. Актриса одурела от выпитого пива, в кармане у нее остался единственный доллар, и она сильно волновалась оттого, что в Омахе ее якобы никто не встретит. Время от времени она заливалась слезами, потому что отдала кондуктору пятидолларовый билет для размена и тот все не возвращался. Кондуктор был ирландец и не мог украсть, поэтому я обратился к утешениям. По прошествии солидного отрезка времени я был вознагражден таким диким рассказом, историей, настолько запутанной и невероятной (и в то же время вполне вероятной), настолько стремительной (быстрой тут не подходит) в своих калейдоскопических переменах, что «Пионер» наверняка отвергнет любое, даже самое краткое ее обозрение. Таким образом вы никогда не узнаете, что эта подвыпившая блондинка со спутанными воло-

сами была когда-то девчонкой на ферме в Нью-Джерси; как он, странствующий актер, сначала разжалобил, а потом покорил ее (но Па всегда был настроен против Альфа); как он и она вручили свой крохотный капитал обманщику-импрессарию, поверив ему на слово, а тот распустил труппу в сотне миль от какого-то города; как она и Альф и некое третье лицо, которое еще не издало ни звука в этом мире, брели по железнодорожному полотну, занимаясь попрошайничеством на фермах; как третье лицо появилось на свет и тут же с плачем покинуло его; как Альф приобщился к виски и прочим вещам, рассчитанным на то, чтобы делать жен несчастными; как после странствующей актерской жизни, оскорблений, жалких спектаклей и провалов несчастных трупп она все же добилась вызова «на бис». Выслушивать все это было не слишком весело.

В пульмане ехала настоящая актриса (из тех, что путешествуют в роскоши, со служанкой и костюмерным ящиком), и несчастная порывалась обратиться к коллеге за помощью, но ей становилось плохо всякий раз, когда она пыталась, как и подобает сестре по профессии, развязно пройти в следующий вагон. Затем появился кондуктор (пятидолларовый билет разменен должным образом), и девица разревелась от избытка пива и благодарности. Затем она постепенно уснула, совсем одна в вагоне, тут же превратившись чуть ли не в красавицу, которую не грех поцеловать.

Все это время Человек, исполненный печали, стоял в дверях, разделяющих актрис, и читал мрачные псалмы по поводу конца всякого, кто не выправит пути свои и не достигнет перерождения посредством чуда баптистского убеждения. Да, странная компания собиралась взобраться на Скалистые горы.

Я оказался самым удачливым, потому что, когда случилась поломка и нас задержали на двенадцать часов, я съел все образцы баптиста. Они были разные, но все довольно питательные. Всегда путешествуйте с «коробейником»!

Глава тридцать третья

Через Великий перевал; как человек по имени Гринг показывал мне одеяния для покойниц

После многих проволочек и длительного восхождения мы подошли к перевалу, похожему на все боланские перевалы в мире. Этот назывался Черным каньоном реки Ганнисон. Мы поднимались уже много часов и достигли скромных семи-восьми тысяч футов над уровнем моря, когда перед нами открылось узкое ущелье, куда не проникали солнечные лучи, где скалы стояли отвесной стеной высотой в две тысячи футов. Река, усеянная острыми камнями, ревела и выла в десяти футах под нами.

Железнодорожное полотно было устроено по очень простому принципу: в поток свалили кучу мусора, а сверху уложили рельсы. В этой сумасшедшей езде было нечто таинственное, вызывающее изумление, захватывающее дух. Я остро переживал все это до тех пор (в путеводителе, наверно, отыщется хорошенько приукрашенное описание), пока не пришлось молить всевышнего за безопасность поезда. Нельзя было рассмотреть, что творится ярдов на двести впереди. Казалось, что по прихоти безответственного потока мы въезжали в земные недра. Затем показалась массивная скала, а за ней открылся удивительно извилистый поворот. Машинист увеличил давление пара до предела, и мы обогнули скалу чуть ли не на одном колесе. Река Ганнисон скрежетала зубами под нами. Вагоны нависали над водой, и, случись что-нибудь хотя бы с одним рельсом, ничто на свете не спасло бы нас от гибели. Я чувствовал, что в конце концов что-нибудь да произойдет. Страшное, мрачное ущелье, шипение воды цвета нефрита и забавные рассказы кондуктора убедили меня в том, что катастрофа неминуема.

Миновав Черный каньон и другое ущелье, мы плавно выезжали на открытую местность на высоте девять тысяч футов над уровнем моря, когда за очередным поворотом неожиданно наткнулись на плотину, переброшенную через пустынные воды. Была ли это дамба или

наполовину разрушенная каменоломня — сказать трудно.

Локомотив успел издать дикое «Уу!», но слишком поздно. Бык был великолепен. Бог знает, почему этот скот и его супруга выбрали для моциона именно железнодорожное полотно. Ее отбросило влево, а его захватил скотосбрасыватель и, перекатив разик-другой, зашвырнул по самые плечи в воду. Меня поразило бессмысленное, изумленное, тупое выражение его величественной физиономии. Он даже не рассердился. Не думаю, чтобы он успел испугаться, несмотря на то что пролетел по воздуху около десяти ярдов. Единственное, что он хотел знать, — «не будет ли кто-нибудь настолько любезен подсказать пожилому респектабельному джентльмену, что все-таки произошло?»

Минут через пять поток, кусавший нас за пятки в теснине, разделился на прохладном нагорье на дюжину серебристых нитей, превратившись в невинные форелевые ручейки, а мы сделали остановку в каком-то наполовину вымершем городишке, название которого не сохранилось в моей памяти. Он возник когда-то на гребне волны процветания. Тогда около десяти тысяч жителей бродили по его улицам, однако бум миновал. Большие кирпичные здания и фабрики пустовали. Обитатели ютились по окраинам в бревенчатых лачугах. Там были железнодорожные мастерские и еще что-то, а местный отель на сто с лишним номеров (его тротуар служил одновременно и станционной платформой) обезлюдел. Местечко выглядело пустынное Амбара или Читора*.

Кто-то произнес: «Форель... шесть фунтов... в двух милях отсюда». И этого было достаточно, чтобы Человек, исполненный печали, и я отправились на ее поиски. Город стоял в окружении холмов, оживляемых крохотными грозами, которые раздражались над мягкой зеленью равнины, нависая над ней в виде мазков серого или янтарного дыма.

К нашей небольшой экспедиции присоединился адвокат из Чикаго. Мы посоветовались по вопросу о мухах, но я не ожидал встретить самого Элиджа Пограма* — во плоти. Он произнес речь о будущем Англии и Америки, а также о Великой Федерации, которая сложится с годами, когда обе страны, взявшись за руки, обнимут весь глобус. По британским понятиям, он валял дурака, но, несмотря на некоторую надуманность, в его

словах было определенное количество здравого смысла.

Можно закатыть четырехмесячное турне по Англии и не найти ни одного человека, способного выразить словами страстный патриотизм, подобный тому, каким был одержим маленький адвокат из Чикаго. Можно лет десять разъезжать по всей Англии, прежде чем удастся разыскать человека, который способен предложить незнакомцу хотя бы сэндвич, и еще лет двадцать — чтобы выжать из британца хоть каплю энтузиазма. У этого были свои достоинства, так как он предложил мне поохотиться денька три в Иллинойсе, если у меня появится желание отклониться от избранного маршрута. В тот душный день мы говорили о политике, наживке и без устали бродили вдоль отмелей упомянутого ручья. Мал золотник, да дорог. Я потратил два часа, стегая водную рябь в предвкушении форели, которая (я знал это) была там, и под вечер, пропахший лугами, поймал рыбку фунта на три. Я взял ее на порядком истрепанную, коричневую приманку и «приземлил» после довольно жаркого десятиминутного спора. Это была настоящая красавица. Если кому-нибудь из вас доведется «работать» на форелевых протоках Запада, вы правильно поступите, если захватите с собой самых тусклых мух. Местные жители смеются над крохотными английскими крючками, но тем не менее они держат, а ответственная серая, тускло-коричневая или светло-серая муха, кажется, угождает эстетическим вкусам местной форели. Выходя на лосося (прошу не выдавать меня), воспользуйтесь блесной, позолоченной с одной стороны и посеребренной с другой. Она пойдет наверняка, впрочем как и на рыбу другого калибра. Местные жители, похоже, пользуются снастями погубее.

Я попытался найти мальчугана, который знал бы реку, и столкнулся с неизвестным мне образом жизни, жизни неторопливой и жалкой, но весьма любопытной. На окраине города, в хибаре, сложенной из упаковочных ящиков, проживало семейство. Они знавали времена, когда город был на вершине расцвета и претендовал на звание метрополии в Скалистых горах. Когда бум прошел, семейство осталось на месте. Она была приветлива, но покрыта грязью с головы до ног. Он — мрачный, чумазый тип. Что касается детей, те были просто вываляны во всевозможных

отбросах. Однако жили они, можно сказать, в убогой роскоши — шестером или восьмером в двух комнатах. Их устраивало местное общество. Я пытался сманить их восьмилетнего сынишку (тот занимался ловлей форели всю жизнь), но ему «что-то не хотелось идти», хотя я предлагал шесть шиллингов за работу, которая не сулила ничего, кроме удовольствия. «Я останусь с Ма», — сказал он, и я не сумел вывести его из этого состояния. Ма даже не пыталась спорить с ним. «Раз он сказал, что не пойдет, значит, не пойдет», — сказала она, будто мальчишка был какой-то неодолимой стихийной силой, а не обыкновенным пострелом, которого можно отшлепать. Что касается Па, развалившегося у печки, так тот наотрез отказался встречать в это дело. Ма рассказала, что в своей еще недавней молодости была учительницей, но я не услышал того, что хотел бы узнать прежде всего, — что привело ее в эту глушь и бросило в унавоженное обиталище. Сохранив приятный говор Новой Англии, она тем не менее привыкла считать стирку роскошью. Па, то и дело сплевывая, жевал табак, а когда раскрывал рот с иной целью, говорил как человек образованный. Тут крылась какая-то история, но я не мог проникнуть в ее тайну.

На следующий день Человек, исполненный печали, я и прочие пассажиры начали настоящее восхождение в Скалистых горах. Наши недавние усилия ничего не стоили. Поезд добрался до ужасной кручи, и его расформировали. Пять вагонов прицепили к двум локомотивам, а два других — к одному. Это было милосердным и предусмотрительным мероприятием, но сам я оказался настоящим идиотом, потому что мне взбрело в голову посмотреть, как чувствует себя муфта сцепления двух концевых вагонов, в которых ехали Цезарь и его сокровища. Кто-то потерял или съел нормальную муфту, а машинист нашел в тендере какую-то железку не толще проволоки для изготовления жилетных цепочек, и... «авось сойдет». Вы поймете, что я пережил, когда на крутых подъемах эта сцепка работала во всю мощь. Вообразите, что вас влекут по симлинскому утесу на крючке дамского зонтика. Далеко впереди, на две тысячи футов над нашими головами, вздымалось плечо горы, накрытое, словно эполетом, длинным противоположенным туннелем. Первая партия вагонов тащилась на четверть мили впереди. Позади извивалось и петляло железнодорож-

ное полотно, слева чернела бездна. Мы поднимались все выше и выше до тех пор, пока и без того разреженный воздух поредел еще сильнее, и «чанк, чанк, чанк» пыхтящего паровоза стало ответствовать тяжелое биение изнуренного сердца.

Мы прокладывали путь сквозь пестроту светотени туннелей (кошмарные пещеры, сложенные из неотесанных бревен), время от времени останавливаясь, чтобы пропустить поезд, идущий вниз. Одно такое чудовище, составленное из сорока платформ, груженных рудой, едва сдерживали под дружный хохот и вопли тормозов четыре локомотива. Наконец после краткого обозрения доброй половины Америки, распростертой в нескольких лигах под нами на манер географической карты, мы остановились перед входом в самый длинный туннель на гребне перевала (около десяти или одиннадцати тысяч футов над уровнем моря). Локомотив пожелал перевести дух, а пассажиры — заняться сбором цветов, которые нахально просовывали головы сквозь щели в обшивке вагонов. У какой-то пассажирки пошла носом кровь, остальные дамы распростерлись на скамьях, хватая воздух широко открытыми ртами в такт пыхтению паровоза, а ветер, острый, как лезвие ножа, предавался разгулу в мрачном туннеле.

Затем, приказав ведущему паровозу уступить дорогу, мы приступили к исполнению заключительной части нашего путешествия — теперь уже вниз, нажимая на все отчаянно визжащие тормоза, и через несколько часов оказались на равнине, а чуть позже — в городе Денвере. Человек, исполненный печали, отправился своей дорогой, предоставив мне добираться до Омахи в одиночестве после беглого осмотра Денвера. Пульс жизни этого города напоминал ритмы могучего ветра, бушевавшего в туннелях Скалистых гор. Прогулка утомила меня, потому что незнакомые люди хотели, чтобы я порадел для каких-то шахт, пробитых в горах, либо помог затащить строительные лебедки на макушки недоступных утесов, а некая дама потребовала, чтобы я снабжал ее спиртными напитками. Я совсем забыл, что подобные нападения в общем-то возможны в любой стране, а чисто внешние, видимые невооруженным глазом знаки приличия в американских городах обычно не соблюдаются. За это я и уважаю этот народ.

Омаха (штат Небраска) была лишь остановкой по пути в Чикаго, но она помогла мне раскрыть такие ужасы, какие, пожалуй, я не хотел бы оставить без внимания. Складывается впечатление, что этот город населен исключительно немцами, поляками, славянами, венграми, хорватами, мадьярами и прочими людьми Восточной Европы, но заложен был все-таки американцами. Никакой другой народ не станет перерезать движение по главной улице двумя потоками восьми-девятиколейных железнодорожных путей и с воодушевлением гонять поперек трамвайные вагоны. Время от времени на таких переездах происходят ужасные столкновения, но, кажется, никто не думает о строительстве моста. Это помешало бы законным интересам гробовщиков.

Наберитесь терпения и выслушайте рассказ об одном из представителей этого класса. Я нашел магазинчик, подобных которому не встречал никогда. В его витринах были выставлены мужские фраки и женские платья, однако манжеты рубашек были сложены на груди, а к фракам не полагалось брюк — ничего, кроме куска дешевой черной материи, ниспадавшей наподобие поповской рясы. В дверях сидел молодой человек, занятый чтением «Течения времени» Поллака *, и я сразу догадался, что передо мной — гробовщик. Его звали Гринг (очень красивое имя), и мы разговорились о секретах его ремесла. Это был энтузиаст и художник. Я рассказал, как сжигают трупы в Индии. Он ответил: «У нас дело поставлено на более широкую ногу. Мы сохраняем, так сказать бальзамируем, наших мертвых. Вот!» И он предъявил отвратительные орудия своего производства, наглядно показав, как человек «сохраняется» от разложения, что является его законным правом от рождения.

— Хорошо бы пережить несколько поколений, чтобы посмотреть, как «сохраняются» мои люди. Впрочем, я и так убежден, что все в порядке. После бальзамирования к ним не пристанет ни одна зараза.

Затем он извлек один из тех жутких костюмов. От прикосновения моей дрожащей руки тот обратился в ничто. Так получилось потому, что фрак оказался без спинки! О ужас! Одежние было скроено на манер щита черепахи.

— Мы одеваем в это, — сказал Гринг, изящно расправляя костюм на прилавке. — Как види-

те, у наших гробов спереди устроены оконца («Боже правый, это отверстие на крышке было окантовано плюшем, словно окно в экипаже!»), и вам все равно не видно, что там, ниже жилета. Следовательно...

Он развернул страшное, черное покрывало, которое должно ниспадать на окоченевшие ноги. Я отпрянул.

— Конечно, можно облачить покойника в его собственную одежду, если ему угодно, но это — настоящие вещи. Для женщин мы приготовили это! — И он показал глухое платье светло-лилового цвета, отделанное черным. Как и мужской костюм, оно оказалось без спинки и ниже талии переходило в саван.

— Костюм старой девы. Девушкам мы предлагаем белое с фальшивыми жемчугами по горлу. Они прекрасно смотрятся через оконце. Обратите внимание на подушечку для головы... и всюду цветы.

Можно ли представить себе что-нибудь более ужасное, чем позволить своим бранным останкам (словно обманщику, жившему одной ложью) уйти в мир иной, когда одна их половина побрита, прибрана и приодета, словно для торжественного приема, в то время как другая завернута в бесформенную черную простыню?

Мне известно кое-что об обычаях захоронения в разных частях света, и я настойчиво пытался втолковать мистеру Грингу хотя бы немного об ужасном кошунстве, хихикающем гротеске ужаса, в котором тот был повинен. Это не дошло до него. Он даже показал мне последнее одеяние для мальчика. Бальзамирование, лицемерное украшательство ни в чем не повинного покойника были для него в порядке вещей, включая гроб с оконцем на крышке и с подушечкой, отделанный по высшему разряду.

Погребите мое тело, завернутое в брезент, словно рыболовная удочка, в глубоком море; сожгите мой труп на сырых дровах и без керосина в заводи на реке Хугли; пусть сделает свое дело паровозная топка; поджарьте меня электрическим током; да поглотит меня ил размытой дамбы, но не дай бог отправиться в бесспинном пиджаке в преисподнюю, усмехаясь через оконное стекло на гробовой крышке. Нет, нет и нет, даже если обещана «сохранность» от разрушительных сил могилы. Аминь!

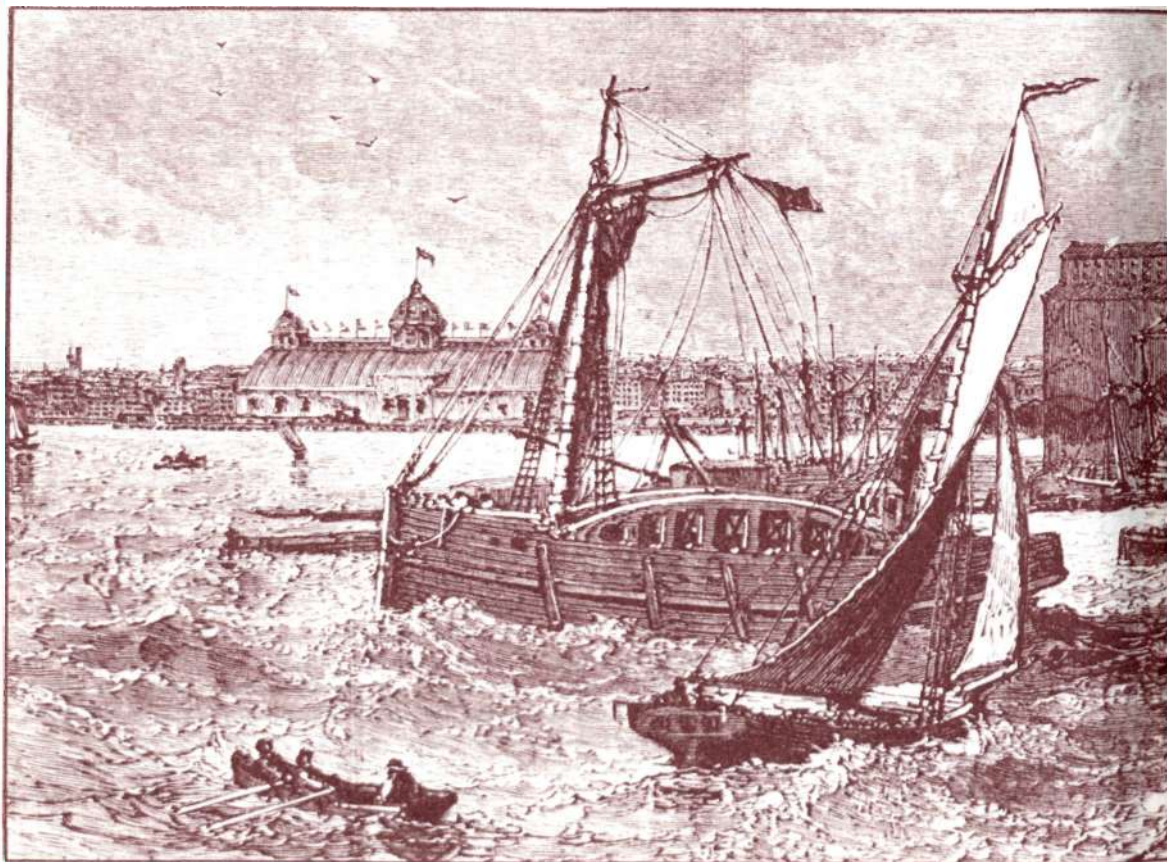
*Глава
тридцать четвертая*

Как я поразил Чикаго и как Чикаго поразил меня; о религии, политике, охоте с копьем на кабана и олицетворении города, которое явилось мне посреди бойни

Я знаю всю хитрость и жадность твою,
Капризы и похоть твои узнаю,
И вся твоя слава кричит на углах
О грубом богатстве и пошлых дарах.

Я напоролся на город, настоящий город, который зовется Чикаго. Остальные не в счет. Сан-Франциско, конечно, город, но помимо всего прочего — популярный курорт. Солт-Лейк-Сити — необыкновенное явление. А Чикаго — первый по-настоящему американский город, который оказался на моем пути. Он вмещает более миллиона человек вместе с органами самоуправления и заложен на той же основе, что и Калькутта. Глаза мои не смотрели бы на него. Чикаго населен дикарями. Его воды — воды Хугли, а воздух — сплошная грязь. Говорят, что этот город — «босс» всей Америки.

Не верится, чтобы Чикаго имел какое-либо отношение к стране. Мне посоветовали поселиться в отеле «Палмер Хаус». Это не что иное, как раззолоченный крольчатник, увешанный зеркалами. Я вошел в огромный зал,



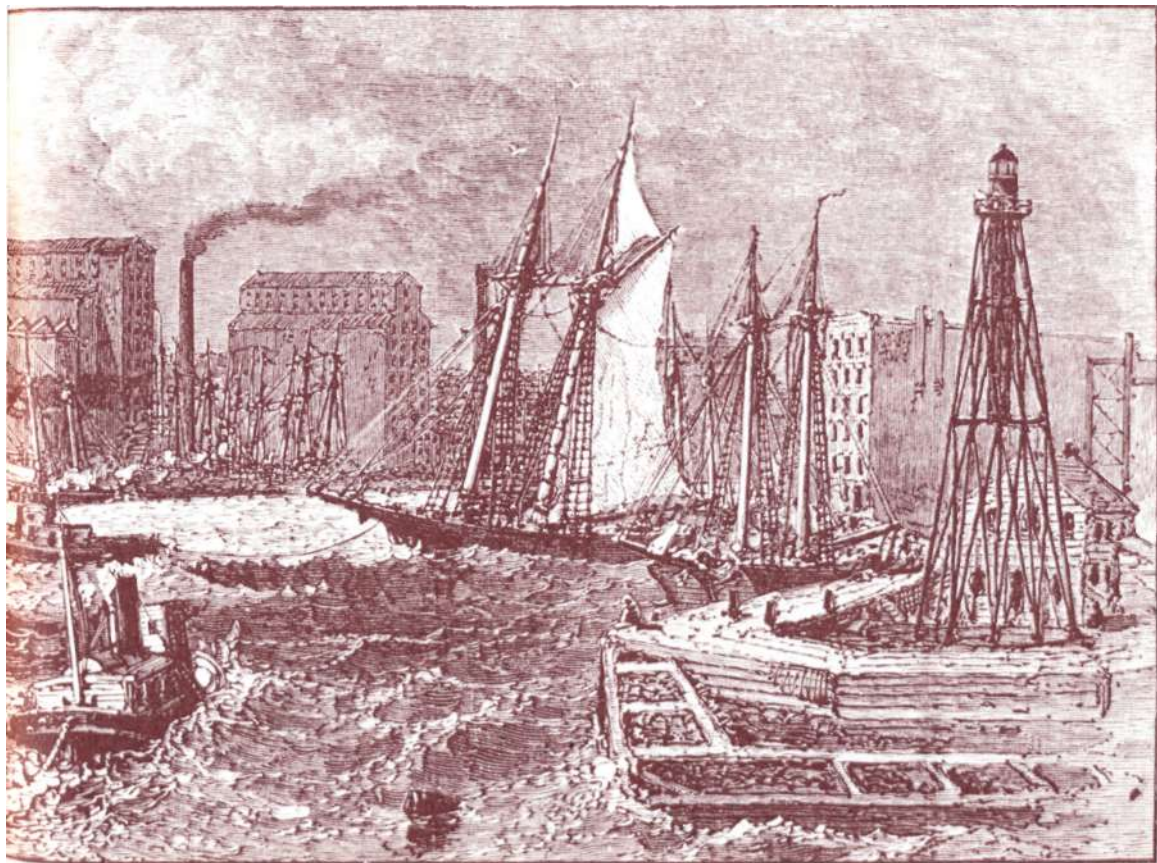
отделанный пестрым мрамором и переполненный людьми, которые говорили о деньгах и плевали во все углы. Одни варвары врывались туда с улицы с письмами и телеграммами в руках, другие выбегали из этого ада, третьи кричали друг на друга. Какой-то человек, принявший достаточную дозу, подсказал мне, что все это, вместе взятое, — «самый лучший отель в самом лучшем на земле Всевышнего городе». Кстати сказать, когда американец желает упомянуть соседнее графство или штат, он называет их «землей Всевышнего». Это снимает все вопросы и удовлетворяет его тщеславию.

Затем я бродил по бесконечно длинным и ровным улицам. Что ни говори, жизнь на Востоке, сколько бы ни продолжалась, не приводит к добру. В результате здесь, в Чикаго, ваши идеи неизбежно сталкиваются

со взглядами каждого белого, который оказывается правым во всем.

Я всматривался в перспективу улиц, стиснутых девяти-, десяти-, пятнадцатизэтажными зданиями, которые были заполнены до отказа мужчинами и женщинами, и ужасался. За исключением Лондона (я успел забыть, как он выглядит), я нигде не встречал столько белокожих людей разом и такого скопления несчастных. Здесь не было ни красок, ни изящества — лишь путаница проводов над головой и грязная каменная мостовая под ногами.

Кэбмен вызвался за один час раскрыть мне все великолепие города, и я отправился с ним. По его представлению, весь этот шум и суета были достойны восхищения. Он считал, что ставить людей друг на дружку в пятнадцать слоев или рыть норы для офисов — просто





здорово. Он сказал, что Чикаго — очень оживленный город и все существа, снующие взад и вперед, занимаются бизнесом. Это значит, что они пытаются делать деньги, чтобы не умереть от пустоты в желудках. Кэбмен отвез меня на каналы, черные как чернила и наполненные какой-то мерзостью, не имеющей названия, а затем попросил обратить внимание на потоки транспорта на мостах. Потом он проводил меня в салун и, пока я утолял жажду, указал на пол, покрытый монетами, утопленными в цементе. Даже готтентоты * не способны на подобное варварство. Монеты действительно производили некоторый эффект, но человек, который положил их туда, вовсе не думал о красоте и потому был дикарем. Затем мой провожатый показал деловые кварталы, расцветившие

броскими вывесками и фантастически нелепыми рекламами. Когда я глядел вдоль затейливо украшенных улиц, мне казалось, будто сами торговцы стояли у дверей своих магазинов, выкрикивая: «Экономьте деньги! Пользуйтесь только моими услугами, покупайте только у меня, и только у меня!» Вам приходилось наблюдать за толпой на наших пунктах раздачи помощи голодающим? Тогда вы представляете себе, как люди выпрыгивают над головами других, простирая руки в надежде, что их заметят, как горестно хнычут женщины, похлопывая детей по животикам. Скорее я предпочту любоваться процедурой раздачи пищи голодающим, чем смотреть на белых людей, занятых, как они сами это называют, свободным предпринимательством. Первое я понимаю. От второго



тошнит. Кэбмен сказал, что это — доказательство прогресса, и я догадался, что он читает газеты, как каждый разумный американец. На языке, доступном пониманию читателей, те неустанно твердят, что паутина телеграфных проводов, нагромождение зданий и выколачивание денег и есть прогресс. Я провел десять часов в этой необъятной дикой местности, пробираясь по ужасным

многомильным улицам, распахивая локтями сотни тысяч ужасных людей, которые гнусли через нос о деньгах. Кэбмен покинул меня, однако вскоре я набрел на человека, которого буквально распирало от цифр, и он швырял их мне в уши в подходящий момент, когда на виду оказывалась какая-нибудь Н-ская фабрика. Здесь они вырабатывали такие-то ткани и такие-то изделия на столько-

то сотен тысяч долларов, там — миллионы других вещей. Одно здание стоило столько-то миллионов долларов, другое — тоже миллионы (больше или меньше). Это напоминало лепет ребенка над кладом ракушек или игру дурака в пуговицы. Но от меня ожидалось большее, чем простое созерцание. Провожатый требовал, чтобы я восхищался. Но я сумел лишь произнести: «Неужели? В таком случае мне жаль вас». Он рассердился и заметил, что таким неотзывчивым меня делает зависть, присущая всем островитянам. Как видите, он ничего не понял.

Примерно через четыре с половиной часа после того, как Адама выставили из Эдема, он проголодался и тогда, приказав Еве остерегаться падающих плодов, вскарабкался на кокосовую пальму. При этом он изранил ноги, исцарапал грудь и с трудом переводил дыхание. Ева чуть было не умерла со страху, опасаясь, как бы ее господин не сорвался вниз, завершив таким образом земную трагедию, над которой едва успели поднять занавес. Повстречай я тогда Адама, то пожалел бы его. Сегодня я нахожу, что миллион с лишним его сыновей не уступают отцу в искусстве добывания хлеба насущного, но стоят неизмеримо ниже его в том отношении, что полагают, будто их пальмы ведут прямо на небеса. Соответственно мне жаль каждого из них по-своему. На нашем Востоке даже самый последний нищий перебивается кое-как; кроме того, с ним могут поделиться крохами друзья, которые не настолько бедны. В менее благословенных странах о нем могут просто забыть. Затем я отправился в постель. Это было в субботу вечером.

Воскресенье принесло мне необычное испытание — познать откровение совершеннейшего варварства. Я наткнулся на некое заведение, которое официально значилось церковью. На самом деле это был цирк, однако верующие не подозревали об этом. Здание утопало в цветах, было отделано плюшем, мореным дубом и прочей роскошью, включая витые бронзовые канделябры в истинно готическом стиле. К этим вещам и сборищу дикарей внезапно вышел удивительный человек, пользовавшийся полным доверием у их бога, с которым он обращался запанибрата и эксплуатировал, словно газетчик — высокую персону. Однако в отличие от репортера он не позволял слушателям забывать, что именно он, а не бог является центром внимания.

Прямо-таки серебряным голосом, прибегая к образным выражениям, заимствованным на аукционах, он выстроил для слушателей небеса по подобию «Палмер-хауса» (правда, позолота обратилась у него в чистое золото, а обыкновенные стекла — в алмазы), затем поместил в центре своего сооружения громогласное, любящее поспорить и очень хитрое создание, которое обозвал богом. На этом месте его речи мой восхищенный слух поймал такую фразу (αργος Судного дня): «Нет! Говорю вам, Господь делает бизнес иначе». Он предьявлял слушателю доступное им божество, которое восседало на небесах из золота и драгоценностей, что могло вызвать у них естественный интерес. Он насыщал свою речь выражениями улицы, прилавка, биржи, а затем заявил, что религия должна войти в повседневную жизнь каждого. Полагаю, он представлял себе повседневную жизнь такой, какую вел со своими приятелями.

Я вышел вон, не дождавшись благословения, не желая получать его от такой личности, но люди, которые внимали этой личности, казалось, испытывали наслаждение. Тогда я понял, что встретил популярного проповедника. Позднее, читая поучения некоего джентльмена по имени Тэлмадж* и некоторых прочих, я догадался, что тогда мне попался сравнительно кроткий экземпляр. Однако этот человек, который носился со своими грубыми золотыми и серебряными идолами, словно засунув руки в карманы и не вынимая сигары изо рта, в разухабистой манере обращавшийся со святыми сосудами, наверняка считал себя духовно подготовленным к миссии обращения индейцев. Все воскресенье я слушал людей, которые заявляли, что прикрепить полосы железа к деревяшке и пустить по ним парового и железного зверя — это прогресс. Телефон и паутина проводов над головой — тоже прогресс. Они повторяли это снова и снова. Кто-то пригласил меня в Сити-Холл, где помещалось управление общественных работ, и с гордостью показал его. Холл был безобразный, но очень вместительный, а улицы напротив — узкие и грязные. Когда я увидел лица людей, которые занимались бизнесом в этом здании, то понял, что они получили ордер на постой по ошибке.

Кстати сказать, я утешаю себя тем, что пишу не для читателей в Англии. Иначе мне пришлось бы удариться в притворный экстаз

по поводу чудо-прогресса в Чикаго, которого там достигли после великого пожара*, а время от времени сытаться на возвышение (в футах) городских построек над уровнем озера, лежащего перед ним, и вообще пресмыкаться перед золотым тельцом. Но вы сами отчаянные бедняки, а потому не в счет и, следовательно, поймете, что я имею в виду, когда пишу, как им удалось собрать вместе на плоской равнине свыше миллиона народа, основная масса которого по своему развитию стоит, по-видимому, ниже, чем mahajans*, и отличается меньшей общительностью, чем пенджабский джат* после жатвы. Однако не думаю, чтобы суетливость этих людей, их жаргон или ужасное невежество относительно всего на свете, что не касается дел насущных, вызвали во мне большее неудовольствие, чем их пресса. Во-первых, между Нью-Йорком и Чикаго разгорелась чуть ли не война за право организовать у себя промышленную выставку, и вот самые влиятельные журналы в том и другом городе принялись хулить и поносить соперников, словно конкурирующие мальчишки-газетчики. Это называлось юмором, но звучало иначе. Но это еще не все. Второе — тоны этой издательской продукции. Передовые статьи, где встречались перлы наподобие: «Зад такой-то и такой-то местности», «Мы отметили, вторник, такое событие» или «Не» вместо «Нет» — это еще куда ни шло. Нечто иное вызвало во мне желание залиться горячими слезами: газеты добросовестно воспроизводили воинственные крики и пошлости, почерпнутые в Палмерхаусе, слэнг парикмахерских, демонстрировали интеллектуальный уровень и моральную чистоплотность проводника пульмановского вагона, достоинство экспонатов рыночного балагана и объективность возбужденной рыбной торговли. Мне строго-настрого запретили думать, будто газета призвана заниматься воспитанием публики. В таком случае должен ли я поверить, что прессу воспитывает публика?

Когда меня охватило уныние и ощущение нереальности, и я очень нуждался в поддержке, появился какой-то человек и завел разговор о том, что он называл политикой. Мне пришлось заплатить около шести шиллингов за дорожное кепи ценой не больше восемнадцати пенсов, а он сделал из этого факта текст, достойный проповеди, заявив, что Америка — богатая страна и ее гражданам

нравится переплачивать за вещи вдвое. Они могут себе это позволить. Он сказал, что правительство обложило покровительственной пошлиной (от десяти до семидесяти процентов) иностранные изделия и поэтому американские предприниматели выручают за свои товары приличные суммы. Таким образом импортная шляпа, обложенная пошлиной, стоит две гиней. Американский промышленник продает шляпу стоимостью в семнадцать шиллингов за один фунт пятнадцать шиллингов. Далее собеседник сказал, что в этом и заключается секрет величия Америки и упадка Англии. Конкуренция между фабриками помогает удерживать цены на американском уровне, но не следует забывать, что американцы богаты (не то что нищие — жители старого континента) и поэтому с удовольствием оплачивают пошлины. Моему слабому интеллекту это казалось жонглированием счетами. Все, что я до сих пор приобрел здесь, стоило вдвое дороже, чем в Англии, а качество местной продукции было значительно ниже.

Более того (поскольку прежде обдумал эти строки), я нанес визит владельцу одной из фабрик. Та была закрыта, но он все же владел ею; там не было ни души, но хозяин умудрялся извлекать приличный доход, потому что получал от синдиката фирм определенные суммы в награду за то, что закрыл свою фабрику, то есть за то, что она ничего не производила. Этот человек сказал, что стоит отменить покровительственную пошлину, как страна наводнится дешевой рабочей силой. Я смотрел на его фабрику и думал, что лучше вообще лишиться рабочей силы, чем видеть такое ужасное будущее. Между тем, как вы, наверно, помните, население этой своеобразной страны наслаждается тем, что оплачивает непроеизводимые ценности. Я иностранец, но не в силах понять, почему за восемнадцатипенсовую шляпу необходимо платить шесть шиллингов или восемь шиллингов за коробку сигар стоимостью в полкроны. Когда эта страна обретет достаточное количество населения, то несколько миллионов (отнюдь не иностранцев) будут поражены подобной же слепотой.

Однако утверждения моего друга все же полностью соответствовали гротескной жестокости Чикаго. Судите сами! В деревушке Иссер-Джанг (по дороге в Монтгомери) живут четыре работающие женщины, которые просеивают в год около семидесяти бушелей зерна.

По соседству с ними живет ростовщик Пуран Дасс, который под хорошие проценты ссужает до пяти тысяч рупий в год. Джовала Сингх, кузнец, за триста шестьдесят пять дней в году ремонтирует для всей деревни сошники плугов (около тридцати). Хукм Чанд — писец и глава небольшого местного клуба под деревом путников — обычно снабжает деревню новостями, которые парикмахер и повивальная бабка не успели сделать всеобщим достоянием. Чикаго очищает от шелухи и просеивает пшеницу миллионами бушелей; сотни банков ссужают миллионы долларов в год; десятки заводов производят плуги и машины; десятки дневных газет ежедневно выполняют работу, которую продельвают Хукм Чанд, парикмахер и повивальная бабка в деревне Иссер-Джанг (с должным учетом общественного мнения). Таким образом, Чикаго отличается от Иссер-Джанга лишь интенсивностью производства, но не его качеством. В повседневной жизни Иссер-Джанг, несмотря на эпизодические эпидемии холеры, все же превосходит Чикаго. Джовала Сингх старается обходить стороной три-четыре поля на краю деревни, которые посещаются вурдалаками. Однако миллионы дьяволов не заставляют его бегать день-деньской под лучами раскаленного солнца и кричать, что его лемеха лучшие в Пенджабе. Пуран Дасс выезжает на своей телеге не чаще двух раз в году, но, если надо, сумеет воспользоваться телеграфом и железной дорогой не хуже сынов Израиля из Чикаго. Конечно, все это вздор. Восток — не Запад, и здешнему люду все равно придется иметь дело с механической жизнью, называя это прогрессом. Даже проповедники не смеют упрекать их. Они лишь наводят глянec на этот прогресс, утверждая, что погоня за деньгами — это проклятие, которое вдвое горше Адамова, — наделяет человека широким кругозором и высокими помыслами. Они не говорят: «Освободитесь от собственного рабства», а скорее призывают: «Если вам кое-что удастся в этой жизни, все же не придавайте слишком большого значения мирским делам». Да знают ли они сами, что такое мирские дела? Я отправился взглянуть, как забивают скот на чикагских бойнях. Я хотел немного проветриться, так как моя голова (вы, наверно, догадываетесь) шла кругом. Говорят, что все заезжие англичане обязательно посещают бойни, которые находятся примерно в шести

милях за городом. Это зрелище невозможно забыть. Куда ни посмотри, раскинулись загоны, разбитые на блоки так хитроумно, что из любого животного легко сгоняются к наклонному деревянному переходу, ведущему в крытый коридор, который возвышается над этим городом. Коридоры похожи на двухъярусные виадуки: по верхней галерее обреченно бредет крупный рогатый скот; по нижней — постукивая острыми копытцами и оглушительно взвизгивая, бегут свиньи. Всем им уготована одна участь. Толпы скота дожидаются своей очереди (иногда сутками), и нельзя допустить, чтобы их беспокоил вид сородичей, бегущих в предчувствии смерти. Они видят только, как какой-то человек верхом на лошади подгоняет кнутом их соседей в другом загоне. Отодвигаются какие-то ворота, засовы, и не успеешь оглянуться, как очередная толпа подступает к разверстой пасти наклонного туннеля, чтобы исчезнуть в нем навсегда. Свиньи — иное дело. Они визгом предупреждают своих друзей об исходе, и сотни загонов отвечают, словно звуками волюнок. Сначала я занялся свиньями. Выбрав виадук, переполненный животными (это легко определить на слух), я заметил, что он вел к мрачному зданию, и направился туда, старательно избегая прилюдных животных, которые умудрились не попасть по назначению. Приятный запах соленого раствора предупредил о том, что мне предстояло увидеть.

Я вошел в помещение фабрики и обнаружил, что оно переполнено бочонками со свиной. На другом этаже была свинина, еще не рассортированная по бочкам; в огромном зале висели половинки свиных туш, а у окна были сложены огромные плиты льда. Это помещение служило покойницей, где свиньи отлеживались, словно над ними свершался акт гражданской панихиды, прежде чем отправиться в путь сквозь такие проходы, какими порой путешествуют даже короли. Завернув за угол, я не заметил устройства, которое состояло из густо смазанного рельса, колеса и блока, и оказался в объятиях четырех потрошенных трупов, белых как снег и похожих на человеческие, которые подталкивала личность, облаченная в пурпур. Отпрянув в сторону, я чуть было не поскользнулся. В ноздрях стоял аромат фермы, в ушах — многоголосые крики. В них не было радости. Двенадцать человек стояли в две шеренги —

по шесть в каждой. Между ними, поверх голов, проходила железная дорога смерти, которая чуть было не выбросила меня из окна. Рабочие держали в руках ножи (рукава их рубаш были обрезаны по локоть), и с головы до пят каждый был залит кровью. Благодаря обилию испарений и множеству тел стояла духота, словно у нас в Индии удушливой ночью в период дождей. Я добрался до начала балки, примостившись на узенькой балке, объял одним взглядом всех свиней, вскормленных в штате Висконсин. Их только что выплюнула пасть виадука, и они толпились в большом загоне. Оттуда с помощью хлыста их побуждали перейти в меньшую камеру (по несколько за один прием), и там какой-то человек прикреплял строп к их задним ногам и подвешивал к железной дороге смерти. О! Только тогда они начинали вопить, призывая матерей и обещая исправиться. Затем человек подталкивал их в спину, и они скользили вниз головой по проходу, выложенному кирпичом, который напоминал огромную кроваво-красную кухонную раковину. Там их ожидал красный человек с ножом, которым проворно циркал по горлу каждую прибывшую свинью. Звонкий визг переходил в бессвязное лопотание, которое сменялось затем шумом тропического ливня.

Красный человек стоял прислонившись спиной к стене коридора, стараясь держаться подальше от неистово бьющих по воздуху копыт, и прикрывал глаза рукой, но отнюдь не из сострадания. Брызжащая кровь била ему в лицо, и он едва успевал поразить ножом очередную жертву. Зарезанная, но все еще дрыгающая ногами свинья окуналась в чан с кипящей водой и больше не произносила ни звука. Она послушно барахталась там по прихоти какой-то машины, а затем появлялась на поверхности в дальнем конце чана, попадая на лезвие грубого механизма, который напоминал гребное колесо парохода и со звуком «Хо! Хо! Хо!» срезал щетину. Она оставалась лишь на небольших участках кожи, с которыми расправлялись с помощью ножей двое работников. Затем тело свиньи снова стропилось за ноги к упомянутой железной дороге и пропускалось сквозь строй двенадцати (тоже с ножами в руках), оставляя каждому из них какую-нибудь часть своей индивидуальности. Эти части немедленно куда-то увозились на колесных тачках. Когда свинья добиралась до последнего человека, на

нее было приятно посмотреть, хотя она оказывалась липкой и полой внутри. Индивидуальность всегда служила препятствием для поездки за границу. Хавронья никогда не сумела бы посетить Индию, не расстанясь она с некоторыми дорогими ее сердцу убеждениями.

Разделка туш не произвела на меня такого сильного впечатления, как убой. Эти свиньи, они были такие живые, а потом — совершенно мертвые, а человек в хлопчатом, липком и душном коридоре, казалось, не обращал на это никакого внимания. Едва кровь очередной свиньи переставала пениться на полу, как следующая и еще четыре подруги вскрикивали в последний раз и умолкали навек. Однако свинья — всего лишь нечистое животное, проклятое Пророком.

Мне довелось сделать еще одно любопытное открытие, когда я наблюдал за убоем крупного рогатого скота. Там все было крупнее и не раздавалось тревожных звуков, но я учуял запах соленого кровавого ручья прежде, чем моя нога ступила под своды фабрики. Быки и коровы попадали туда иначе, чем свиньи. Они выходили словно из ущелья на широкий двор. Сотни рыжих, крупных, упитанных животных. В самом центре двора стоял рыжий техасский бычок с недоуздом на своей буйной голове. Никто не управлял им. Он как бы ковырял в зубах и насвистывал в собственном хлеву, когда прибывал скот. Как только первое животное, озираясь с опаской, появилось из виадука, этот рыжий дьявол словно закладывал руки в карманы и, ссутулившись, без всякого понукания шел навстречу. Затем он мычал нечто по поводу того, что он постоянно назначенный гид этого заведения и охотно проведет экскурсию. Они были деревенскими жителями, но умели вести себя прилично. Итак, сотня сильных терпеливых созданий следовала за Иудой, и на их физиономиях было написано немое удивление. Я видел, как впереди всех колыхалась его спина, когда животные поднимались побеленным известкой наклонным коридором, куда мне запретили пройти. Закрывалась дверь, и через минуту Иуда появлялся снова и с видом добродетельного тяглового бычка занимал свое место в загоне. Кто-то рассмеялся, но я не слышал, чтобы какие-либо звуки доносились из здания, куда скрылся скот. Только Иуда злорадно жевал свою жвачку, и я догадался, что случилось несчастье. Обезав

фронтальную часть здания, я вошел внутрь и застыл от отвращения.

Кто подсчитывал количество предрассудков, которые мы впитываем порами кожи от окружающих? Но не сам спектакль произвел на меня впечатление. Я чуть было не произнес вслух первое, что пришло мне в голову: «Ведь они убивают священных животных!» Это было подобно шоку. Свиньи — не в счет, но крупный рогатый скот — братья Кау, священной Кау, — совсем другое дело. В следующий раз, когда какой-нибудь член парламента скажет мне, что Индия либо «султанизирует», либо «браминизирует» Человека, я поверю ему только наполовину. Неприятно наблюдать, как убивают коров, когда в течение нескольких лет мысль об этом могла вызвать только смех. Мне не удалось по-настоящему рассмотреть, что происходило сначала, потому что стойла, где они лежали, были отделены от меня пятьюдесятью непроходимыми футами мясников и подвешенных туш. Все, что мне известно, — в нужный момент люди распахивают двери стойла, где уже лежат два оглушенных и тяжело дышащих бычка. Этим убивали резакон, приподняв стропом и перерезая горло. Двое рабочих сдирали шкуру, кто-то отделял голову, и через полминуты рельс, проходящий над головами, уносил обе половинки туши по назначению. В помещении, где производили эту операцию, было довольно шумно, но со стороны ожидавших животных, невидимых по другую сторону загона, не исходило ни звука. Они отправлялись на смерть, беспрекословно доверившись Иуде. В минуту убивали пятерых, и если люди, которые занимались свиньями, были обрызганы кровью, то тут рабочие купались в ней. Кровь с журчанием стекала по сточным желобам. Куда бы ни ступила нога, к чему бы ни прикоснулась рука — все было покрыто толстым слоем запекшейся крови. Зловоние всеяло ужас.

И тогда милосердное Провидение, которое сеяло добро на моем пути, послало мне олицетворение города Чикаго, чтобы я смог запомнить его навсегда. Женщины иногда приходят взглянуть на это убийство, впрочем, как и на людскую бойню. И вот в зал, окрашенный киноварью, вошла рослая молодая женщина с блестящими алыми губами, густыми бровями и копной темных волос, которые были уложены на лбу «вдовой волной». Женщина дышала здоровьем, богат-

ством и была одета в пламенеющее красное и черное, а на ее ногах (знаете ли вы, что ноги американок можно сравнить разве что с ножками фей?), уверяю вас, красовались алые кожаные туфельки. На нее падал сноп солнечных лучей, кровь струилась у нее под ногами, вокруг висели яркие, багровые туши. Бык истекал кровью в каких-то шести футах поодаль. Фабрика смерти грохотала. Дама смотрела вокруг с любопытством смелым немигающим взглядом и не думала смущаться.

Тогда я сказал себе: «Это особое знамение. Теперь я действительно увидел город Чикаго». И я покинул эти края, чтобы обрести мир и покой.

Как я обрел мир и покой в Маск-веше на реке Мононгахила

Принц, с западным бризом пришел твой успех —
Суда с ценным грузом уже на стоянке.
Мы шлем их тебе, но лучше их всех
Свободная юная девушка-янки.

Скверно «делать» континент пятисотмильными прыжками, однако после свиней и быков Чикаго я почувствовал, что глоток свежего воздуха пойдет мне на пользу. В наши дни вся жизнь Соединенных Штатов, словно дверь, подвешенная на петлях, вращается вокруг Чикаго. Уж будьте уверены, в крохотных штатах Новой Англии поездку в Пенсильванию назовут «путешествием на Запад», но граждане с широким кругозором, кажется, начинают отсчитывать западную долготу от Чикаго. Говорят, что лет через двадцать центр населенности (заштрихованное пятнышко на карте переписи) подвинется еще дальше, а еще через двадцать окажется на Тихоокеанском побережье. Еще столько же — Америке будет угрожать перенаселение, и тогда ждите неприятностей. Ведь люди, которым придется потесниться, потребуют промышленных товаров по самым низким ценам, и голоса в защиту покровительственной пошлины, которую ввели, как утверждают, благодаря земному изобилию, внезапно замолчат. В настоящее время именно фермеру приходится платить за такую роскошь, как дороговизна. В стародавние времена, когда кругом расстилались девственные земли, которые плодоносили, словно сады Эдема, он платил и не жаловался. Теперь же свободной земли осталось немного, возделанные акры требуют дорогостоящих удобрений, и фермер начинает задавать вопросы. К тому же великая американская нация, то есть ее граждане, не отказывают себе ни в чем и очень редко возвращают в кладовые природы то, что взяли у нее взаймы. Американцы хватают все, что подворачивается под руку, и идут дальше. Однако продвижение почти завершилось, и грабеж неминуемо прекратится, а федеральному правительству придется

учреждать невиданный доселе департамент по охране лесов. Тогда те, которые привыкли беспрепятственно размахивать топором, жечь и калечить леса, начнут шумно, с выстрелами, протестовать против покушения на их права. Вырастет негритянское население — и с ним придется считаться. Промышленникам придется удовлетвориться меньшими барышами — и с ними тоже придется считаться. Железные дороги перестанут хозяйничать на отхваченных ими территориях — и с ними опять же придется считаться. Такое положение дел вряд ли встретит всеобщее одобрение. Да, то будет спектакль, достойный внимания: многочисленная, рубящая с плеча нация, словно жеребенок, который стартовал по свежему скаковому кругу, будет снята с дистанции грубой рукой жокея — Необходимости. Америке не миновать волнений, когда несколько десятков миллионов «повелителей» узнают, что в результате деятельности их собственного правительства быстро иссякает изобилие природы страны. Чтобы продлить благоденствие, американцам придется взяться за скрупулезное разрешение каждой отдельной проблемы, начиная с организации труда и кончая финансами, и переделывать все терпеливо и без бахвальства. Однако сейчас они думают, что «завтра будет таким же, как и сегодня», а если поспорить с ними, то ответят, что сама Идея Демократии не допустит застоя. Они верят в это, а личности, наименее осведомленные, подкрепляют свою убежденность любопытными ссылками на деспотизм, который якобы господствует в Англии. Конечно, это чистой воды провинциализм. Однако выслушивать все это довольно забавно, особенно когда сравниваешь теорию с практикой (главным образом пистолетной), как о ней пишут американские газеты.

Я старался изо всех сил выяснить, откуда все-таки управляют страной. Во всяком случае — не из Вашингтона, потому что федеральное правительство никак не может привести к повиновению штаты и занимается лишь организацией почтовой службы и сбором одного-двух федеральных налогов.

Штаты тут тоже ни при чем, так как городские общины ведут себя как им заблагорассудится. И города не имеют к этому отношения, потому что там хозяйничают избиратели-иностранцы либо тесный кружок патриотов — коренных жителей.

И опять же дело не в горожанах, потому что руководит и помыкает ими деспотическое общественное мнение, которое навязывается им их же газетами, проповедниками и самим местным обществом. Некто сказал, что, если в этом огромном обществе повелителей что-нибудь пойдет не так, то есть случится раскол, возмущение или банкротство, каждый гражданин в отдельности сохранит верность идее единого повелителя — народной массы. Это пережиток гражданской войны, когда, как вы помните, вооруженное большинство убивало и калечило людей в отдельности, и напоминает благоговение дикаря перед незаряженным ружьем, которое висит на стене.

Однако мужчины и женщины Америки являют нам пример патриотизма. Они верят в будущее, честь и славу своей страны и не стесняются заявлять об этом. Гордая, страстная убежденность исходит как от сильных, так и от слабых, и за это я снимаю перед ними шляпу.

В понимании обывателя государство в Англии — это нечто абстрактное, которое служит для обеспечения населения полицией и пожарными командами. Кокни даже не понимает значения слова «государство». Препуспевающие джентльмены знают, что такое законность и армия, которая разыгрывает для их развлечения спектакли в парках. Однако эти люди рассмеются вам прямо в лицо, если им намекнуть, что существует такое понятие, как чувство долга перед страной. Но возьмите любого американца второго поколения (кого угодно — в ранге кэбмена, носильщика, особенно американца «от сохи»), и тот в пять минут растолкует вам, что значит для него Республика. Он может презирать закон, который его не устраивает, способен обвести вас вокруг пальца при заключении сделки, аплодировать остроте, венчающей свершение обмана, однако стоит посмотреть на него, когда он встает и заводит:

О ты, страна моя,
Земля свободная,
Тебя пою.

Мне приходилось слышать, как несколько тысяч американцев предаются этому занятию, и я уважаю их.

Что касается нашего Национального гимна, там слишком крупный Ромео действует на тесном балконе. У американцев — сплошной

балкон. Кстати сказать, пора бы родиться поэту, который подарит англичанам их песню, песню об их стране, которая занимает чуть ли не полмира, и уж тем более придется сочинить величайшую песнь — Сагу об англосаксах всего мира, пазн*, в котором ужасающе мерный ритм «Боевого гимна Республики» (если вы не знакомы с ним, вам тут же его напоют) и «Британии чужды преграды», звуки волюнок в «Британских гренадерах» и совершенство квикстепа «Маршируя по Джорджии» сочетаются с завываниями «Марша мертвых». Потому что даже Мы, коснись каждого из нас в отдельности, Мы, что поделили землю между собой так, как это не удавалось богам, тоже смертны. Кто-нибудь желает попробовать?

Вот с какими бессвязными мыслями я окунулся в мирную атмосферу городка Масквеш на реке Мононгахила. Суета и грохот Чикаго принадлежали иному миру. Вообразите раскинувшийся под самым что ни на есть безмятежным голубым небом холмистый английский ландшафт, где с интервалами в три мили расположились деревеньки или небольшие, но агрессивные городки, которые почти не обнаруживают себя, потому что их милостиво укрывают деревья и складки холмов.

На пастбищах золотые шары сверкали среди зелени коровяка, и коровы пробирались домой по тропинкам, петлявшим между кустами куманики. Лето заполонило сады, и яблоки (о каких мы можем только мечтать, когда вкушаем их волокнистую имитацию из Кашмира) уже созрели. До чего приятно нежиться, лежа с полужакрытыми глазами в гамаке, и слушать, как падают на землю плоды и звенят колокольчики на шеях у коров, когда те величаво плывут по главной улице.

Казалось, что каждый обитатель этого мирного местечка имел все, что только душе угодно: удобный дом с верандой (крохотной или просторной, где можно провести хоть целый день), аккуратный приусадебный участок с роскошными цветами, фруктовый сад и несколько коров. Жители городка знали друг о дружке все, а то, что было им неизвестно, ежедневно представлялось местной газетой. Подумать только — дневная газета на тысячу двести жителей! Здесь есть здание суда, где вершится правосудие, тюрьма, где живут преступники (которым можно только позави-

довать), четыре или пять церквей для прихожан каждого вероисповедания.

Кстати сказать, в этом райке почти невозможно приобрести спиртное. Но (и это очень серьезное «но») его разрешается выписать в аптеке, предъявив особый медицинский сертификат. Таковы недочеты сухого закона, которые заставляют любителя выпить изворачиваться и плутовать, а это дурно влияет на человеческую душу, особенно если страждущий молод, и вынуждает уверовать в принцип: семь бед — один ответ. Такому молодому человеку не позавидуешь. Ведь только оглушительное падение способно убедить жеребенка в том, что забор поставлен не для того, чтобы через него перепрыгивать. Выгоните его в открытое поле, и он научится вести себя благоразумно. В Масквеше понаслышаны об ужасах, которые несет с собой пьянство, и даже девушки, кажется, разбираются, какие последствия оно сулит падшим юношам. Итак, уж не лучше ли хоть однажды позволить юнцу напиться в лоск, и тогда он не избежит отвратительного, тепловатого бренди с содовой, которые ему подsunут под нос похмельным утром. Может быть, тогда он осознает всю пагубность избранного пути? По местным канонам даже потребление пива — грех, хотя (*experto crede*) от этого напитка скорее слегка захмелеешь, чем напиться пьяным. Но кто может поручиться за самого себя? Кроме того, все это не мое дело. Небольшая община Масквеша, казалось, замкнулась в себе, словно индийская деревня. Случись хоть всемирный потоп, и даже тогда здесь продолжат посылать сыновей в школу, чтобы воспитать из них «добрых граждан». Именно о последнем неустанно молятся истинно американские папаша — граждане, которые сами планируют строительство дорог, определяют размеры местного налога, учреждают свои третейские суды и органы самоуправления. Они проделывают все это с помощью избирательного бюллетеня или открытым голосованием (обязательно учитывая при этом мнение своих вождей, на чем вообще зиждется избирательная система). И так течет их жизнь, пока они не займут подобающего их вероисповеданию места на кладбище. Вот каковы американцы (а не какие-то иностранцы) в состоянии мира и соблюдении добропорядочности. Они сами управляют собой ради самих же себя, своих жен и детей.

Однако вот что брало за сердце: большинство жителей Масквеша, хотя они сами и не подозревали об этом, были типичными методистами *, подобными тем, что бродят вересковыми пустошами Йоркшира или посещают по воскресным дням церковь в горных районах Англии. Здесь тоже читают проповеди и накладываются епитимьи *, с помощью которых души праведников (иногда к их вящему раздражению) приводятся к послушанию на этой земле, с тем чтобы они могли выправить пути свои и жить и умереть в добром звании. Если вы незнакомы с методистским укладом, то не поймете, о чем идет речь. Епитимья — не шутка, и степень ее воздействия на того или иного члена конгрегации зависит от руководителя братства, его человечности и чувства такта. Если он знает, куда направлены чаяния юности, то сумеет, не прибегая к насилию, обратить молодые души к добру, иначе те отшатнутся в страхе. У методистской дисциплины, так сказать, длинные руки. Одна девушка привела мне необычный и очень интересный для иностранца пример. Она рассказала о своей подруге, которая однажды (это случилось в другом городе) получила выговор от старших за то, что была на танцах. Те сочли это тяжким преступлением. Могло ли такое понравиться девушке?

Подумайте сами: к какому иному результату мог привести такой формальный нагоняй, исходивший от моложавого, но сурового старейшины, который считал для себя невозможным попустительствовать танцевальным инстинктам молодого человеческого существа? Каленое железо, извлекаемое только для того, чтобы напугать грешника, нередко опалает его душу. Это может засвидетельствовать каждый, кому довелось ходить под рукой этой веры.

Однако все это было чрезвычайно интересно: чистая, цельная жизнь, в которой отдавалось должное заботам иного мира и в то же время не забывалось об игре в теннис прохладными вечерами. Здесь одинаково честно и серьезно относились к трудам земным и заботились о спасении души. Я имел честь встретить здесь во плоти Мэг, Джо, Бэт, Эйми (какими их обрисовала мисс Луиза Элкотт), которых вы, должно быть, тоже знаете. Они не жеманились, не скрытничали, потому что им было нечего скрывать. Здесь немало «маленьких женщин» *, потому что, как и в Англии, парни

разъехались в поисках заработка. Некоторые трудились в грохочущих городах, другие канули в безбрежные просторы Запада, иные оказались на томном, ленивом Юге. Девушки ожидали их возвращения по традиции всех девушек мира.

В один из солнечных дней празднично одетые парни приедут погостить, и не единое дурное слово не сорвется с их языков, а девушки в белых платьях, как призраки, замаячат на верандах, встречая каждого по достоинству. Мама не станет ни во что вмешиваться, папа тоже, потому что в тот день отправится в город, чтобы вправить мозги землемеру. Застучат калитки (тихо или громко в зависимости от настроения гостя), раздастся веселый смех там, где соберутся трое-четверо, чтобы обсудить пикник или прогулку в коляске. Затем все разредится парочками, пока для парней не наступит время (в зависимости от расписания поездов) уехать. Тогда все вместе, и парни, и девушки, веселой гурьбой отправятся на станцию, и никого из родителей это не будет тревожить.

Действительно, стоит ли беспокоиться? С пятнадцати лет девушка-американка общается с мальчиками словно сестра с братьями. Это слуги, которые катают ее в коляске, дарят ей цветы и сладости. Последние довольно дороги, и это обстоятельство недурно сказывается на поведении молодых людей, приучая их ценить дружбу, ради которой, экономя на сигарах, приходится жертвовать наличными. Что касается самой девушки, ее учат уважать себя и понимать, что ее судьба зависит от нее самой, и она тем более дорожит, не злоупотребляя, той свободой, которая ей предоставлена. Вот почему, по ее собственным словам, «она чудесно проводит время» в обществе парней, которые тоже имеют сестер.

Девушки знают, что, если они окажутся недостойными доверия парней, те попросту лишат их возможности выйти замуж. Так течет время, и девушка знакомится с другой «половиной дома». Она узнаёт, что мужчина не полубог или таинственное чудовище, а обыкновенная — эгоистичная, тщеславная, прожорливая, однако в целом общительная — личность, которую нужно утешать, кормить и направлять в жизни. Она обретает знания, доступные ее сестрам в Англии только после нескольких лет замужества. Затем она сама делает выбор. Золотистая поволока подерги-

вает кое-что повидавшие глаза (и тем не менее пелена позолочена), и девушка делает такой же милый ее сердцу иррациональный выбор, как и англичанка. Однако с очевидным преимуществом: она знает больше, умеет развлекаться, разбирается в бизнесе, понимает, что значат служба и хобби в жизни мужчины. Все это ей удастся почерпнуть в результате общения с мальчиками, из бесед с подругами, которые на своих таинственных совещаниях всегда успевают обсудить, что подельвают Том, Тэд, Стюк или Джек. Таким образом получается, что она в полном смысле этого слова настоящий товарищ того, за кого выходит замуж. Она живет интересами фирмы, с ней советуются в трудное время, к ее помощи и сочувствию взывают в минуту опасности. Приятно сознавать, что чье-то сердце бьется ради вас. Но еще лучше, когда над этим сердцем возвышается головка, которая думает вместе с вами, а губы, которые приятно целовать, могут изречь мудрый совет.

Когда молодая американка (я говорю о рядовых этой благородной армии) однажды выходит замуж, все удовольствия для нее кончаются, и тут уж ничего не поделаешь. Что было, то было. Время, отведенное для развлечений, может длиться пять, семь, даже десять лет в зависимости от обстоятельств. Она отрекается от общества, и уж никто не видит ее иначе, как вместе с мужем. Королева умерла или занята семьей. Обыкновенная домашняя работа (кажется, как и везде) старит американку. Правда, ей «помогает» какая-нибудь ирландка или негритянка. Это не совсем честно по отношению к хозяйке, ведь она выполняет три четверти домашней работы сама, потому что в этом нудном, изматывающем нервы деле приходящая прислуга — одна морока.

О люди, будьте благодарны Мауз Бакш, Кадир Бакш и прочим туземкам, пока они с вами. Они вдвое проворнее нечесаных грязнуль из меблированных комнат, куда вам приходится возвращаться, будь вы самим особым уполномоченным, и в пять раз умнее какой-нибудь Амелии Араминты Ребелии Сецессии Джексон (цветной), от неумения и дерзости которой стонет американская домашняя хозяйка.

Однако все это не имеет отношения к мирному, банальному Масквешу с его безграничной сердечностью, истинным гостеприим-

ством и—как бы это сказать по-французски?—*grac... gracieusness*.

О, где бы вы ни встретились с американцем, отнеситесь к нему с уважением. Пригласите его в клуб, и он займет вас разговорами до утра. Угостите его красным испанским вином и лучшей бараниной. Я никогда не смогу отплатить ему за хлеб-соль. Умоляю вас вернуть мой долг по частям любому представителю этой нации. Запишите все на мой счет до тех пор, пока наши пути не сойдутся вновь. Американец пьет такую же воду со льдом, но ему не по вкусу наши сигары.

Как же завершить мой рассказ? Интересно ли вам услышать о пикниках под сенью душевных, словно застывших, лесов, нависающих над Мононгахилой; о дурацких двухместных колясках, которые застревают в кустах куманики, едва не опрокидываясь; о прогулках вниз по реке на лодках под лучами раскаленного солнца, по реке, которая совсем недавно выбрасывала к ногам потрясенных жителей Масквеша трупы джонстаунской трагедии? * Я видел только одного человека, который пережил катастрофу. Он был священником. За одну кошмарную ночь его дом, церковь, прихожане, жена и дети исчезли с лица земли. Он уже не занимался ничем, он имел право бездельничать, но господь бог был милостив. Священник сидел на солнцепеке и слабо улыбался. Его бедное, затуманенное сознание подсказывало: что-то действительно произошло. Он не сознавал, что же именно, но одно было бесспорно: что-то все-таки было. Оставалось только молиться, чтобы свет сознания больше не снизошел на него.

Но моя память сохранила и другие картины: огромный промышленный город (на триста тысяч душ), который освещался и обогревался природным газом, и просторная долина, полная огнедышащих труб, не отравляющих чистое небо гирляндами дыма; сам Масквеш, освещаемый тем же таинственным агентством—на углах его улиц денно и ночью режут языки газового пламени; флот плоскодонных угольных барж, влекомых на буксире, которые непрерывным потоком движутся вниз по реке в Сен-Луис; фабрики, которые гнездятся по лесам и производят все существующие на земле рукоятки для топоров и лопат; наконец, странная, всеми забытая немецкая община—Братство Вечной Разлуки, основанное в те годы, когда штаты были молоды, а земля дешева. Община вымирает,

потому что ее членам запрещено вступать в брак, а рекруты очень немногочисленны. Рост цен на землю почти задушил этих несчастных стариков наплывом богатства, которого они не желали вовсе. Они живут в крохотной деревеньке, застроенной голландскими домиками, которые развернуты дверями прочь от дороги. По сравнению с безмолвием, которое царит в этой деревеньке, монастырская тишина Масквеша—настоящий разгул метрополии. И здесь, среди этих цветов, тоже кроется история любви. Повесть о ней заняла семьдесят долгих лет, потому что брат и сестра, как бы ни любили друг друга, все же превыше всего почитали долг перед братством. Так они жили и продолжают жить, встречаясь ежедневно, пребывая в вечной разлуке. Их подетски невинные лица уже не выражают волнения. Для непосвященных эти верные сердца—обыкновенные глубокие старики в нелепой одежде. Но они любят друг друга, и это заставляет вспомнить мальчишек и девочек Масквеша.

Да, эти отличные ребята, конечно, выпускники Йеля (здесь не следует вспоминать о Гарварде)*, но тем не менее вполне умелые в деле: на бирже, в бурении нефтяных скважин, продаже всего на свете, что только может переходить от одного грешного к другому. Это искушенные в бейсболе парни с квадратными подбородками и крутыми плечами, открытым взглядом. Впрочем, они совсем не против эпизодических развлечений и легких оргий. Да, из них получатся добрые граждане и хозяева земли, а время от времени они будут жениться на той или иной обладательнице белого муслинового платья.

В этом мире существуют вещи похуже, чем быть одним из мальчишек Масквеша.

Глава тридцать шестая

Интервью с Марком Твенем

Эй, вы, презренные! Среди вас есть верховные комиссары и губернаторы провинций, кавалеры креста Виктории, а некоторые даже удостоены чести прогуливаться по Мэлл * рука об руку с самим вице-королем. Зато я этим золотистым утром виделся с Марком Твенем, пожимал ему руку, выкурил в его обществе сигару, нет, две сигары, и мы разговаривали более двух часов кряду! Поймите меня правильно, я не презираю вас вовсе. Мне просто жаль всех вас, начиная с вице-короля и ниже. Для того чтобы хоть чем-то излечить вашу зависть и доказать, что я продолжаю считать вас ровней, придется все рассказать.

В Буффало мне объяснили, что Марк Твен находится в Хартфорде, штат Коннектикут, потом добавили: «Возможно, он уехал в Портленд». Толстый высокий коммивояжер поклялся, что знает великого человека лично и в настоящее время Марк проводит время в Европе. Это сообщение настолько нарушило мое душевное равновесие, что я сел не на свой поезд и вскоре был выдворен из вагона кондуктором в трех четвертях мили от станции посреди джунглей железнодорожных путей. Приходилось ли вам, обремененным неуклюжим пальто и чемоданом, увертываться от встречных локомотивов, когда солнце светит прямо в глаза? Да, я совсем забыл: ведь вы никогда не встречались с Марком Твенем. Эх вы, людишки!

Едва я спасся от челюстей скотосбрасывателя, как на меня, заблудшего, налетел незнакомец.

«Элмайра, вот точный адрес. Та, что находится в штате Нью-Йорк, то есть в этом штате, в каких-то двухстах милях отсюда. Затем он добавил совершенно уже не кстати: — Катись-ка ты, Келли, подальше отсюда!»

И я покатился по Западноречной линии, катился до самой полуночи, пока меня не выгрузили в Элмайре перед парадной дверью задрипанного отеля. Да, все слышали об этом «парне Клеменсе», но были уверены, что его нет в городе — подался куда-то на Восток.

Мне предлагалось запастись терпением до утра, чтобы затем откопать шурина «парня Клеменса». У шурина была доля в каком-то угольном предприятии.

Мысль о необходимости гоняться по городу с тридцатитысячным населением за полдюжиной родственников Марка Твена, не считая его самого, не позволила мне уснуть. Утро распахнуло передо мной Элмайру. Ее улицы были оккупированы железнодорожными линиями, а окраины предоставлены в распоряжение мастерских, которые изготавливали дверные рамы и оконные переплеты. Городок окружали невысокие, пологие холмы, обрамленные строевым лесом и увенчанные сельскохозяйственными культурами. Река Чемунг, которая петляла по городу, накануне завершила затопление нескольких главных улиц.

Служитель отеля и телефонист постарались уверить меня, что шурина, которого я жаждал увидеть, находится в отъезде и, по-видимому, никто другой не располагает сведениями о местонахождении «парня Клеменса». Позднее мне удалось установить, что вот уже девятнадцать сезонов подряд тот не проводит летнюю пору в местечке и, следовательно, не может считаться его старожилом.

Дружелюбный полисмен сообщил по собственному почину, что видел на днях, как Марк Твен либо «кто-то очень похожий на него» проезжал по улице в коляске. Новость наполнила меня восхитительным ощущением близости цели. Подумать только — проживать в городе, где можно увидеть, как автор «Тома Сойера» или кто-то сильно смахивающий на него трясется по мостовой в коляске!

— Он живет вон там, в Ист-Хилле, — пояснил полисмен, — в трех милях отсюда.

Началась погоня в наемном экипаже вверх по склону ужасного холма, где вдоль дороги цвели подсолнечники, приветливо кивали зерновые и мычали коровы, которые словно сошли со страниц «Харперс мэгэзин» и, стоя в картинных, внушительных позах по колено в клевере, казалось, снова напрашивались на фотографию. Должно быть, великий человек не впервые подвергался преследованию со стороны визитеров и поэтому укрылся на вершине холма.

Вскоре извозчик остановил экипаж перед жалкой белой лачугой и потребовал «мистера Клеменса».

— Я знаю, он — большая шишка и все прочее, — пояснил он, — но развеобразишь, что может взбрести в голову по части местожительства человеку такого сорта.

Молодая леди поднялась нам навстречу из густых зарослей, где она занималась рисованием цветов чертополоха и золотых шаров. Она наставила пилигрима на путь истины.

— Милый домик в готическом стиле по левую руку от дороги. Это совсем рядом.

— В готическом... — отозвался возчик. — Редкие экипажи пользуются этой дорогой, если приходится забираться сюда. — И он дико взглянул на меня.

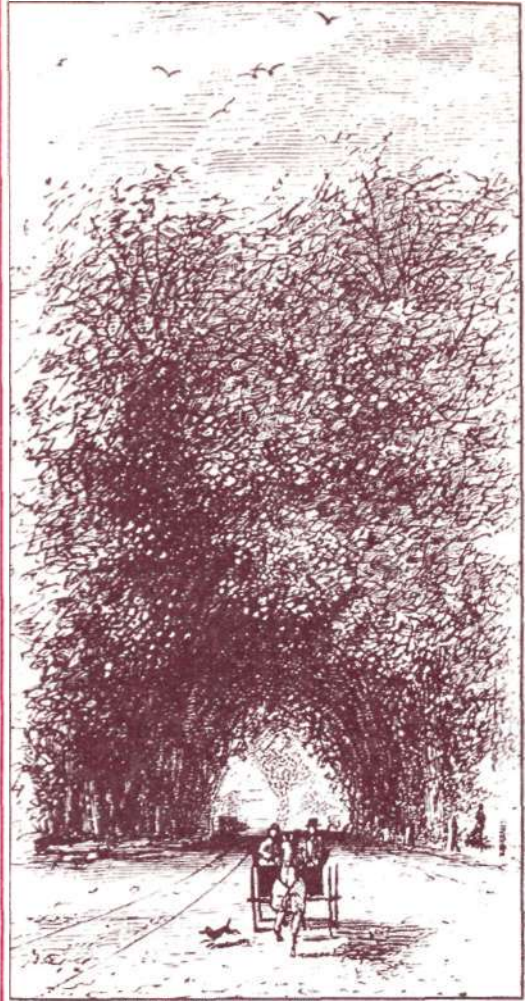
Действительно, домишко выглядел очень мило, хотя ничего готического в нем не было. Одетый вьюном, он стоял посреди обширного участка и выходил на дорогу верандой, загроможденной стульями и гамаками. Крышей веранде служила решетка, сплетенная ползучими растениями, и солнечные лучи, просачиваясь сквозь нее, играли на сверкающих досках пола.

Решительно, это уединенное место подходило для работы идеально, если только человек обладал способностью трудиться посреди всех этих ветерков и шелеста длинных колосьев.

Леди, которая появилась внезапно, очевидно, привыкла к расправе с неистовыми чудаками: «Мистер Клеменс только что отправился в город. Вы найдете его в гостях у шурина».

Теперь, когда Марк Твен оказался в пределах слышимости обыкновенного окрика, стало ясно, что погоня велась не напрасно. Я тронулся в путь как можно скорее, и мой возница, звучно ругаясь, без особых приключений спустился на тормозах к подножию холма. В те несколько мгновений, которые истекли между звонком в дверь шурина и ее открыванием, я впервые подумал о том, что Марк Твен, может быть, занят сейчас другими делами, более важными, чем пустая трата времени в обществе лунатиков, сбжавших из Индии, даже если те преисполнены восторгом и преклоняются перед его персоной. Так или иначе, что я собирался делать и говорить в чужом доме? Вдруг гостиня окажется полной народа; может быть, там болен ребенок — как объяснить в таком случае, что я хотел всего-навсего обменяться рукопожатием с писателем?

Вот как разворачивались события. Представьте просторную полутемную гостиную,



огромное кресло, в кресле сидел человек — одни глаза — с гривой седых волос, темными усами, которые нависали над тонко очерченным, словно у женщины, ртом. Затем сильная ладонь квадратной формы сжала мою руку, и я услышал самый тихий, спокойный и ровный голосе мире:

— Итак, вы говорите, что считаете себя должником и пришли сказать мне об этом. Вы не смогли бы вернуть долг с большей щедростью.

«Пуф!» — из кукурузной трубки. Я всегда считал, что трубка с берегов Миссури доставляет курильщику наивысшее наслаждение.

Только взгляните! Сам Марк Твен развалился передо мной в громадном кресле, в то время как я курил с почтительным видом, как это подобает в присутствии старшего.

Прежде всего меня поразило, что он оказался пожилым человеком. Однако после минутного размышления я сообразил, что дело обстоит иначе, а еще через пять минут, причем глаза наблюдали за мной неотступно, заметил, что седина — всего лишь случайность самого обыденного свойства. Он был абсолютно молод. Я тряс ему руку, раскуривал его сигару и слушал, как он говорит, этот человек, которого я полюбил, находясь от него на расстоянии четырнадцати тысяч миль. Читая его книги, я старался составить свое представление об авторе, но предугадывания оказались неверными и не превзошли действительности. Счастливы тот, кто не испытал разочарования, оказавшись лицом к лицу с обожаемым писателем. Такое достойно запоминания. Буксирование к берегу двенадцати-фунтового лосося не идет с этим ни в какое сравнение. Я подцепил самого Марка Твена, и он обращался со мной так, будто при некоторых обстоятельствах я мог бы оказать ся равным ему.

Примерно к этому времени до меня дошло, что Марк Твен говорит об авторском праве. Вот, насколько помню, что он сказал. (Прислушайтесь к словам оракула при всем несовершенстве медиума.) Вы не можете вообразить величавые, словно волны, раскаты медлительной речи; убийственное спокойствие, которое было написано на лице говорящего; странное, но довольно удобное положение тела — одна нога была переброшена через подлокотник кресла; желтую трубку, крепко сжатую уголок рта; правую руку, которая время от времени поглаживала квадратный подбородок.

«Авторское право? У некоторых людей есть моральные принципы, у других — нечто иное. Я считаю издателя человеком. Издателем не рождаются. Его создают обстоятельства. Некоторые издатели придерживаются моральных принципов. Например, мой. По крайней мере английские издания моих книг оплачиваются. Если вы услышите разговоры о том, что с работами Брета Гарта, моими или чьими-то еще произведениями обращаются по-пиратски, попросите привести доказательства. Обнаружится, что эти книги оплачены. Так было всегда.

Я вспоминаю одного беспринципного и отвратительного издателя. Возможно, его уже нет в живых. Так вот, он имел обыкновение пользоваться моими короткими рассказами. Я не могу назвать его действия пиратством или воровством. Это лежало за пределами того и другого. Он брал сразу несколько рассказов и делал книгу. Если мной было написано эссе о зубоочечении или по теологии либо что-нибудь в этом роде — обыкновенное эссе, вот такое (Марк Твен отмерил полдюйма на своем пальце), этот издатель бывало обязательно подправит и улучшит его.

Он поручал кому-нибудь другому дописать или вычеркнуть что-нибудь, как это устраивало его самого. Затем публиковалась книга под названием «Зубоочечение по Марку Твену», которая включала то небольшое эссе и другие вещи, мне не принадлежащие. Из теологии он сооружал следующую книгу, и так далее. Я считаю это нечестным. Это оскорбление. Надеюсь, он уже умер, но я не убивал его.

Чего только не болтают о международном авторском праве. Но вернее всего было бы обращаться с ним как с недвижимостью. Это подвело бы под авторское право следующие условия. Если бы конгресс захотел утвердить закон, запрещающий людям жить дольше шестидесяти лет, это вызвало бы смех. Закон не коснулся бы никого. Люди оказались бы вне его юрисдикции. Продолжительность жизни применительно к авторскому праву приходит к тому же. Никакой закон не в состоянии заставить книгу жить или умереть до определенно назначенного срока.

Тотлтаун в Калифорнии был новым городом с трехтысячным населением. Там были банки, пожарная команда, каменные здания и прочие нововведения. Город жил, процветал и исчез. Сегодня никто в Калифорнии не в состоянии ступить ногой даже на останки Тотлтауна. Город вымер. Лондон продолжает существовать. Билл Смит — автор книги, которую будут читать год-другой, — недвижимость Тотлтауна. Вильям Шекспир, которого читают все, — недвижимость, принадлежащая Лондону. Так пусть же Билл Смит вместе с ныне покойным мистером Шекспиром осуществляют такой же полный контроль над своим авторским правом, как над собственной недвижимостью: проигрывают его в карты, пропивают, приносят в дар церкви. Пускай их наследники и правопреемники поступают с ним точно так же.

Время от времени я еду в Вашингтон, чтобы позаседать в палате и довести эту точку зрения до конгресса. Тот вооружается аргументами против международного авторского права, стоит представить его в готовом виде. Конгресс не слишком силен. Однажды я изложил свое заключение одному из сенаторов.

Он сказал: «Предположим, человек написал книгу, которая будет жить вечно».

Я сказал: «Ни вы, ни я не доживем до такого, однако предположим. Что же из этого?»

Он сказал: «Я хочу защитить человечество от наследников и правопреемников подобного автора, которые постараются работать под прикрытием вашей теории».

Я сказал: «Вы полагаете, что люди утратят чувство коммерции? Книга, которая проживет века, не может распространяться по искусственно вздутым ценам. Все равно будут появляться как очень дорогие, так и дешевые издания».

Посмотрите, что произошло с романами Вальтера Скотта, — продолжал Марк Твен, повернувшись ко мне. — Когда авторская лицензия защищала их, я приобретал самые дорогие издания, какие только позволяли средства, потому что они мне нравились. Одновременно издательская фирма распродала публикации, доступные по цене даже кошке. Они распоряжались своей недвижимостью и, не будучи дураками, сообразили, что одну треть участка можно разрабатывать словно золотосную жилу, другую — как огород, а оставшуюся — на манер мраморного карьера. Вы меня понимаете?»

Тогда я осознал, что Марк Твен был вынужден сражаться за разрешение простой проблемы — за право человека (подумать только о такой ереси!) на творения своего мозга наравне с правом на создания рук. Когда ворчат пожилые львы, молодежь лишь повизгивает. Я пропищал что-то в знак согласия, и разговор перескочил с книг вообще на его собственные.

Набравшись смелости, чувствуя за спиной поддержку нескольких сот тысяч читателей, я спросил, женился ли Том Сойер на дочери судьи Тэчера и будем ли мы иметь удовольствие слышать о Томе — уже взрослом человеке.

— Я еще не решил, — промолвил Марк Твен, вставая с места, и, набив трубку,

принялся расхаживать в своих домашних туфлях по комнате. — Продолжение «Тома Сойера» представляется мне в двух направлениях: в первом случае я удостоил бы его великих почестей и привел бы в конгресс, во втором — его бы повесили. Тогда и друзья и враги книги смогли бы сделать выбор.

Тут я окончательно утратил почтительность и начал открыто протестовать как против первой, так и против второй версии, поскольку, по крайней мере для меня, Том Сойер был живым человеком.

— Да, он реален, — сказал Марк Твен. — В нем собраны воедино все мальчишки, которых я когда-то знал и сумел припомнить. Однако это было бы достойным окончанием книги. — Затем, повернувшись кругом, продолжил: — Потому что, если хорошенько подумать, ни религия, ни образование, ни воспитание не располагают действенными средствами против силы обстоятельств. Давайте перетасуем обстоятельства последующих двадцати четырех лет жизни Тома. Тогда по логике вещей в соответствии с перетасовкой он обернется либо ангелом, либо станет головорезом.

— Вы верите этому?

— Я так думаю. Не это ли зовется в ваших краях кисмет *?

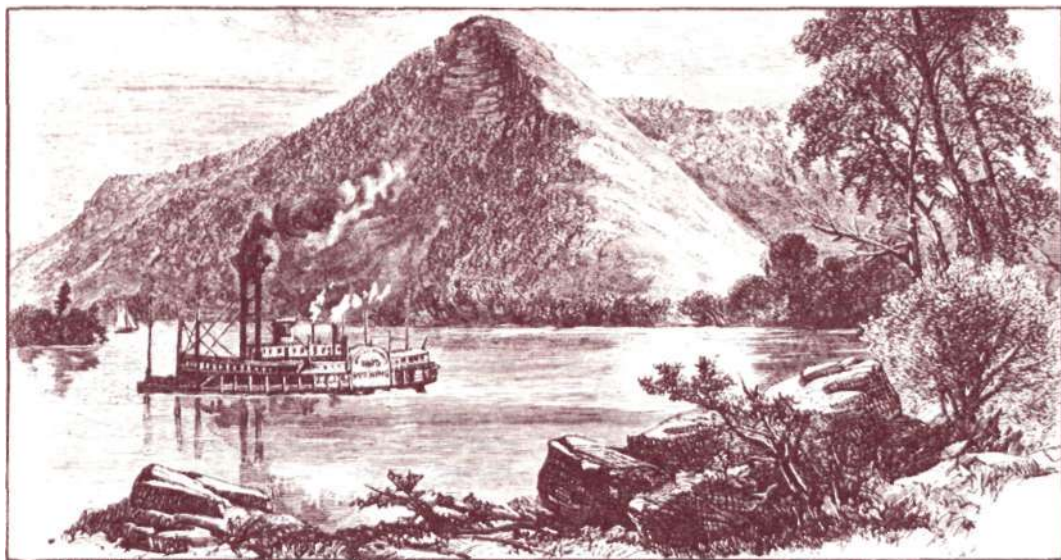
— Да. Однако не надо выворачивать Тома наизнанку дважды и главное — покажите результат. Ведь он уже не является вашей собственностью, а принадлежит нам.

Марк Твен разразился звучным, открытым смехом и начал читать диссертацию на тему о праве человека делать со своими творениями все что угодно. Поскольку это представляет интерес только для профессионалов, я мило-ствожно опускаю ее.

Вернувшись в свое большое кресло, рассуждая при этом о правдивости и прочем подобном в литературе, Марк Твен сказал, что автобиография — это труд такого сорта, в котором писатель вопреки своей воле и страстному стремлению к противоположному представляется миру в истинном свете.

— Ваша книга о Миссисипи автобиографична, не правда ли? — спросил я.

— Настолько близко к этому, насколько возможно ее написать автору, который работает одновременно над книгой и над собой. Однако, по-моему, в истинной автобиографии не удастся рассказать правду о себе или



избежать того, чтобы не произвести на читателей истинного впечатления о собственной персоне.

Однажды я проделал эксперимент: пригласил своего приятеля, человека правдивого до мелочей при любых обстоятельствах, человека, которому даже во сне не приснится, что он солгал, и уговорил написать собственную биографию ради нашего обоюдного развлечения. Он согласился. Из рукописи мог бы получиться внушительный том в одну восьмую листа. Но каким бы благонамеренным и честным человеком ни был автор во всех мельчайших подробностях своей жизни, о которых мне было известно, на бумаге он оказался чудовищным лжецом. Ему не оставалось делать ничего другого. Иначе он не написал бы ничего.

Человеку вообще несвойственно рассказывать правду о себе. Тем не менее, познакомившись с чьей-то автобиографией, читатель все же получает общее представление о том, был ли автор обманщиком или порядочной личностью. В этом случае читатель походит на человека, которого поразила красота женщины, хотя сам он не запомнил ни цвета ее волос, ни очертаний рта или фигуры. И все же впечатление читателя единственно правильное.

— Собираетесь ли вы написать автобиографию?

— Если и собираюсь, она будет создана по подобию других — с самым серьезным намерением обрисовать себя гораздо лучшим человеком в каждой мелочи, которая могла бы меня дискредитировать. Как и других авторов, меня также ожидает неудача. Я не могу заставить читателя поверить во что-либо, кроме правды.

Естественно, это привело к обсуждению вопроса о совести. Вот что сказал Марк Твен, и его могучие слова достойны того, чтобы их увековечить:

«Совесь — это помеха и подобна ребенку. Лелейте ее, забавляйтесь с ней, потакайте прихотям — она станет испорченной и начнет вторгаться во все ваши радости и печали. Обращайтесь с совестью так же, как со многим другим. Когда она возмущается, отшлепайте ее, будьте строги, не уступайте ей, не позволяйте приходить поиграть с вами, когда это ей заблагорассудится, — и вы воспитаете хорошую, я хочу сказать, хорошо воспитанную совесть. Иначе она испортит всю вашу жизнь. Надеюсь, что сумел призвать собственную совесть к порядку. По крайней мере, она давно не напоминает мне о себе. Пожалуй, я укротил ее чрезмерной строгостью. Убить ребенка — это жестокость, но, несмотря на все то, что я сказал, совесть отличается от дитя многим. Возможно и лучше, когда она мертва».

Затем Марк Твен рассказал немного о своей ранней молодости (то, что считал возможным доверить незнакомцу), воспитании, а также о вечном влиянии на него примера родителей. Он словно говорил глазами — их светом, который лучился из-под густых бровей. Иногда он пересекал комнату легкими, словно у девушки, шагами, для того чтобы показать мне ту или иную книгу, или просто расхаживал, попыхивая кукурузной трубкой. Я отдал бы многое за то, чтобы набраться смелости и попросить в дар эту трубку прилавочной стоимостью в каких-то пять центов. Я понял, почему дикари так страстно домогаются печени храбрецов, убитых в бою. Возможно, эта трубка смогла бы наделить меня хоть крохотной долей его способности читать в сердцах людей. Однако он ни разу не отложил ее в сторону на расстояние, удобное для совершения кражи.

Однажды писатель положил руку на мое плечо. Это действительно случилось. Так жалуют Звездой Индии — голубой шелк, трубы, сверкание алмазов и все прочее. Если в будущем, подчиняясь обстоятельствам и случайностям, которые порой подстерегают нас в этой брэнной жизни, мне суждено безнадежно пасть, я скажу надзирателю работного дома, что однажды сам Марк Твен возложил руку на мое плечо, и тот немедленно предоставит мне отдельную комнату, снабдив двойной табачной порцией для бедных.

— Я не читаю романов, — продолжал Марк Твен, — но иногда всеобщее любопытство заставляет сделать это, когда люди начинают преследовать меня, желая узнать мнение о последней нашумевшей книге.

— Какое впечатление произвело на вас последнее преследование?

— Роберт? — спросил он.

Я кивнул.

— Конечно, я прочитал — для того чтобы поучиться мастерству. Это заставило задуматься над тем, что я слишком давно не читал романов. Среди книг, застрявших на полках, может оказаться немало таких, которые написаны с большим вкусом. Итак, я начал курс чтения романов, однако прекратил это занятие, потому что не получил удовольствия. Что касается Роберта, то я изумился, изумился, словно уличный певец, которого привлекла восхитительная музыка, исполняемая на церковном органе. Правда, я не остановился, для того чтобы спросить, была

ли это всеми признанная или самая заурядная музыка. Просто мне нравилось то, что я слышу. Я говорю об изяществе стиля.

Видите ли, — продолжал он, — каждый оценивает книги по-своему. Я выразил свое мнение. Если бы я жил во время начала всех начал, то и тогда осмотрелся бы вокруг, стараясь узнать, что говорят в приходе об убийстве Авеля, прежде чем открыто осудить Каина. Конечно, у меня была бы своя точка зрения, но я не высказал бы ее до тех пор, пока не нащупал почву. Итак, вы слышали, что я думаю об этой книге. Каково мое мнение для публики? Право, не знаю. Оно не перевернет мир.

Он устроился в кресле поудобнее и заговорил о другом.

— Девять месяцев в году я провожу в Хартфорде. Я давно уже смирился с тем, что в течение этих месяцев нет никакой надежды работать по-настоящему. Кто-нибудь обязательно потревожит. Люди заходят в любое время и с чем угодно. Однажды я решил вести дневник подобных вторжений. Он начинался так:

«Входит некто и заявляет, что не желает видеть никого, кроме мистера Клеменса. Это оказался агент по распространению фоторепродукций картин из Салона, но я очень редко использую салонные картины в своих книгах...

Появляется другой человек, который тоже отказывается видеть кого бы то ни было, кроме мистера Клеменса. Этот пришел уговорить меня написать в Вашингтон о чем-то очень важном. Я принял его, затем третьего, четвертого... Наступил полдень. Я устал вести дневник и захотел отдохнуть».

Однако пятый посетитель оказался единственным, у кого нашлась визитная карточка, и он прислал ее: «Бен Кунц. Ханнибал. Миссури». Я вырос в Ханнибале. Бен был моим старым школьным приятелем. Соответственно я распахнул настежь двери моего дома и кинулся с распростертыми объятиями к огромному, тучному джентльмену, который не был Беном, каким я знал его, — он совсем не походил на него. «Но все-таки это ты, Бен? — спросил я. — Сильно же ты изменился за последнюю тысячу лет». Толстяк проямил: «Мм, по правде говоря, я не Кунц, но я встретился с ним в Миссури, и он попросил обязательно зайти к вам и дал свою карточку». Тут он разыграл сценку, приготовленную

для меня: «Одну минуточку, я сейчас достану проспекты. Хотя я и не совсем Кунц, однако путешествую с полным набором громоотводов, каких вы никогда не видели».

— И что же произошло? — спросил я почти шепотом.

— Я захлопнул дверь. Он не был Кунцем, совершенно точно, не был моим старым школьным товарищем, но я пожал обе его руки с любовью и... В моем собственном доме меня атаковал коммивояжер по продаже громоотводов.

Как я уже сказал, мне почти не удается писать в Хартфорде. И вот каждый год я приезжаю на три месяца сюда и работаю по четыре-пять часов ежедневно в кабинете, который устроил в саду того домика на холме. Конечно, я не против двух-трех заминок. Когда дело спорится, такие мелочи не мешают. Однако восемь или десять перерывов задерживают развитие композиции.

Я сгорал от нетерпения задать целую кучу дерзких вопросов: каким собственным работам он отдает предпочтение и так далее, но, замороженный глазами собеседника, так и не осмелился. Он продолжал говорить, и я внимал ему, распростершись ниц. Речь шла об оснащении мозга, и я до сих пор изумляюсь, действительно ли он имел в виду то, что сказал.

— Я не интересуюсь беллетристикой. Больше всего на свете меня привлекают факты и всякого рода статистика. Даже если речь идет о выращивании редиски, это занимает меня. Например, только что, прежде чем вы вошли, — он указал на тома энциклопедии, стоявшие на полке, — я прочитал статью о математике, абсолютно чистой математике.

Двенадцать на двенадцать — вот чем заканчиваются мои познания этой науки, но я наслаждался статьей, хотя не понял из нее ни слова, но сами факты, то есть то, во что человек верит как в факты, всегда восхитительны. Писавший о математике верил в свои. Вот так и со мной. Сначала предоставьте факты, — голос замирает до едва слышимого гудения, — а тогда можете исказить их как вам угодно.

Унося в голове этот драгоценный совет, я распрощался. Великий человек с мягкой добротой в голосе уверил меня, что я ничуть не потревожил его. Оказавшись за дверью, я почувствовал сильное желание вернуться, чтобы задать еще больше вопросов. Теперь

обдумывать их стало легко, но время Марка Твена принадлежало ему, хотя его книги были моими.

Позднее у меня было достаточно времени, чтобы мысленно возвращаться к нашей встрече через кладбище дней. Однако я всегда сожалел о том, о чем он не успел сказать.

В Сан-Франциско сотрудники «Призыва» поведали мне множество легенд об ученичестве Марка Твена в их газете двадцать пять лет назад, о том, как из него получился репортер, изумительно неспособный писать на злобу дня. Рассказывали, что Марк Твен имел обыкновение забиваться куда-нибудь в угол и там, свернувшись калачиком, погружаться в размышления до самой последней минуты. Затем он производил нечто не имеющее никакого отношения к заданной теме — материал, который заставлял редактора скверно ругаться, а читателей «Призыва» просить еще и еще.

Мне бы очень хотелось услышать это от самого Марка Твена, а также многое другое из его счастливого и пестрого прошлого. Он был подмастерьем наборщика (в те дни странствуя от берегов Миссури до Филадельфии), «щенком» — учеником лощмана и вполне законченным лощманом, солдатом Юга (всего три недели), личным секретарем помощника губернатора Невады (это пришлось ему не по вкусу), шахтером, редактором, специальным корреспондентом на Сандвичевых островах и еще бог знает кем.

Как было бы здорово напоить такого бывшего человека, напоить допьяна, накачав смешанными напитками и, выражаясь языком его Родины, заставить «ретроспектировать». Однако мои глаза никогда не увидят подобную оргию, достойную богов!

Примечания



Глава I

с. 19

...«семь лет» — Киплинг прослужил в Индии семь лет.

Глоб-троттер — букв. тот, кто «путешествует рысью по земному шару»; здесь — турист-обыватель. Кроме того, глоб-троттерами англичанцы за глаза называли чиновников Министерства колоний, которые приезжали в Индию из Англии в инспекторские командировки. Англичанцы ревниво относились к замечаниям и указаниям глоб-троттеров, так как считали, что только они сами, так сказать находясь на месте событий, знали, как надо вести дела и управлять Индией.

Контора Кука — бюро путешествий в Лондоне.

Англо-Индия — понятие, означавшее в прошлом «мир», то есть сферу жизнедеятельности англичан, хозяйничавших в Индии: их самих, их службу, быт, вкусы, привычки и пр.

Сердце Мира — Лондон как средоточие мировой политики.

с. 20

«На афганской границе было неспокойно» — в течение XIX и начала XX столетия Англия стремилась захватить территорию Афганистана. С этой целью были развязаны три войны (так называемые англо-афганские войны): 1-я (1838—1842) окончилась поражением Англии; 2-я (1878—1880) — установлением английского контроля над афганской внешней политикой; после 3-й (1919) Англия признала независимость Афганистана.

В период пребывания Киплинга в Индии произошли такие события: в 1880 г. английские войска покинули Афганистан; но английские власти в Индии провокационно толкали эмира Абдурахмана на столкновение с русскими, что вызвало в 1885 г. пограничный конфликт; однако в 1886—1887 гг. русское и афганское правительства пришли к мирному соглашению о пограничной линии.

Укрепив центральную власть и создав армию, Абдурахман стал готовиться к воссоединению с Афганистаном независимых племен, населяющих пограничную полосу между Индией и Афганистаном, что встретило решительный отпор со стороны англичан.

Армагедон (библейск.) — решающая битва, которой предстоит разыгаться между силами Добра и Зла.

с. 21

Хаура — пригород Калькутты.

Исход (библейск.) — уход евреев из Египта под предводительством Моисея; в переносном смысле — любая великая миграция.

Симла — отдаленная деревушка на севере Индии в предгорьях Гималаев, которая была превращена англичанами как бы во временную столицу Индии. В период засушливой погоды на равнине Симла служила резиденцией вице-короля, административным центром, местом отдыха.

лак — 100 тыс. рупий.

с. 23

Вест-Бромптон — город в Англии.

Ранигандж — город на востоке Индии, в Бихаре, на месте угольного месторождения, сравнительно недалеко от Калькутты.

Пенджаб — во времена Киплинга северо-западная провинция Индии. После 1947 г. часть Пенджаба отошла к Пакистану.

Хугли — западный судоходный рукав в дельте реки Ганг.

затмевающиеся огни — характеристика огней маяков, когда «световой» период значительно превосходит период «темноты».

Chotahazri (англо-инд.) — легкий утренний завтрак.

Профессор — С. А. Хилл, метеоролог, преподаватель естественных дисциплин в колледже Аллахабада. Он и его жена путешествовали с Киплингом до Сан-Франциско.

с. 24

Аллахабад (ныне Илахабад) — город в Северной Индии, у места слияния Ганга и Джамны.

«*Пионер*» — всеиндийская газета англичан, вышедшая во времена Киплинга в Аллахабаде.

Глава II

с. 24

Шви-Дагон — знаменитая дагоба (храм-хранитель реликвий) в Рангуне.

с. 26

Сундарбан — один из географических подрайонов реки Ганг.

Иравади — река в Бирме.

колония короны — колония, не имеющая самоуправления.

Videlicet (лат.) — а именно.

черут — сорт сигар с обрезанными концами.

с. 27

путсо (саронг, дхоти) — одежда, кусок ткани, которым обертывают нижнюю часть тела; распространена в юго-восточной Азии.

с. 28

Утакаманд — город в штате Мадрас, где у англичан было форелевое хозяйство.

Савой — лондонский театр.

«*Микадо*» — оперетта Гильберта и Сулливана из японской жизни.

с. 29

Суйнберн Алджернон Чарлз (1837—1909) — видный английский поэт.

физиогномика — учение о проявлении характера человека в чертах лица и формах тела.

Пешавар — город в Пакистане, вблизи Хайберского прохода, на шоссе, ведущем в Афганистан.

с. 30

Кветта — административный центр Белуджистана, нынешней провинции Пакистана в юго-восточной части Иранского нагорья.

...«*третий бирманский бал*» — третья колониальная война англичан в Бирме в 1885 г. Англия вела захватнические войны в этой стране также в 1824—1825 и 1853 гг.

Глава III

с. 31

Икике — порт в Чили.

Пинанг — остров у восточного побережья полуострова Малакка.

Моулмейн (ныне Моламыян) — морской порт в Бирме.

трампы-джорди — морские суда-«угольщики».

с. 32

Ниббан — нирвана.

с. 33

Томми — прозвище английских солдат. Также — Том Аткинс.

87° по Фаренгейту примерно соответствуют 31° по Цельсию.

Лушай — горы в Индии (Ассам) на границе с Бирмой.

с. 34

Nuda est veritas et prevalebit (лат.) — Нагота — истина, и она преобладает.

Глава IV

с. 34

Поль и Виргиния — имена героев одноименного произведения французского писателя Бернардина де Сент-Пьера (1737—1819); трогательная повесть о любви юных сердец разворачивается на фоне южной природы.

Безант, Уолтер (1836—1901) — английский писатель.

Провинция Уэлсли — территория англичан на полуострове Малакка.

с. 35

сикхи — религиозная секта в Пенджабе.

Лакхор — город в Пакистане. Во времена Киплинга был главным городом Пенджаба, штаб-квартирой вице-короля.

джинрикия — легкая двухколесная коляска, в которую впрягается человек (рикша).

тамилы — народность в Южной Индии.

кротон — тропическое растение (кустарник или дерево).

с. 36

лотофаги (миф. Одиссея) — народ, обитавший на средиземноморском берегу Северной Африки; лотофаги питались плодами лотоса, которым приписывалось свойство давать забвение прошлого.

Глава V

с. 38

Джозеф — сам Киплинг (Редьярд Джозеф).

Батавия — название Голландии; голландское название Джакарты.

с. 39

Парнелл Чарлз Стюарт (1846—1891) — лидер движения за гомруль (самоуправление) Ирландии.

Кеда — бывшее княжество на северо-западе полуострова Малакка, на границе с Таиландом.

Сиам — нынешний Таиланд.

Джохор — ныне не существующее государство на полуострове Малакка.

Кольхаун, Арчибальд Росс (1848—1894) — английский исследователь, военный корреспондент, автор книг о путешествиях.

с. 40

Бихар — восточная провинция Индии.

Конкан — северная часть узкой приморской низменности на западе Индии.

Ассам — северо-восточная провинция Индии.

Глава VI

с. 41

Кью — пригород Лондона.*Сирса* — город в Пенджабе.*Лакхнау* — город на севере Индии, в нынешнем штате Уттар-Прадеш.*Мемсаиб* — форма почтительного обращения к европейской женщине в Индии.

с. 43

Нааман (библейск.) — сирийский капитан, которого излечил от проказы Елисей.*Миан-Мир* — военное поселение англичан в Лакхоре.*кэрри* — острая восточная приправа к пище.*«Пи энд Оу»* — сокращенное название пароходной компании.

с. 44

тиффин (англо-инд.) — завтрак.

с. 45

идиосинкразия — своеобразное патологическое состояние повышенной чувствительности человеческого организма к некоторым веществам.

Глава VII

с. 45

теософия — религиозно-мистическое учение, признающее источником познания мистическую интуицию, откровение.*chela* — посвящаемый (ученик, последователь) в таинства буддизма.*«Си.Эм.Эс.»* (С.М.S.) — церковное миссионерское общество.

с. 47

сэр Фредерик Робертс — английский фельдмаршал, главнокомандующий английскими войсками в Индии во времена Киплинга.

с. 48

Джон Брайт — английский государственный деятель.*Кроаты* (хорваты) — народность на Балканском полуострове.

с. 49

парсы — индийская религиозная община.

Глава VIII

с. 50

Обидикут — бог похоти; упоминается в «Короле Лире» Шекспира.

с. 51

«Том и Джерри, или жизнь в Лондоне» — роман английского писателя-юмориста Пирса Эгана (1772—1849).*джиг* (жига) — английский старинный народный танец.

с. 52

ама (вост.) — няня, кормилица.*Альма Тадема* (1836—1912) — английский художник, писавший на античные сюжеты.

Глава IX

с. 53

брокер — маклер-посредник.

с. 54

Золотые Ворота — пролив, соединяющий бухту Сан-Франциско с океаном.

с. 55

Далхузи — небольшая база англичан под Симлой.*дэнди* — разновидность паланкина.

с. 56

Массури — небольшая база англичан под Симлой.*Портсмут-Хард* — припортовый район Портсмута — военно-морской базы Англии на берегу пролива Ла-Манш (Английского канала).*Хайленд* — горные районы Шотландии.*Аргайл* — графство в Западной Шотландии.*Сузерлендишпир* — графство на севере Шотландии....«*килт и кожаная сумка*» — речь идет об атрибутах шотландской национальной мужской одежды.*Hodie mihi, eras tibi* (лат.) — Сегодня мне, завтра тебе.

с. 58

Абердин — порт в Шотландии, а также поселок на острове Сянган (Гонконг).*Лохабер* — округ в горной Шотландии.*Джеганхир* (1605—1627) — падишах из династии Великих Моголов.

с. 59

ласкар — индиец-военнослужащий.
Виктория — ныне г. Сянган, административный центр Сянгана (Гонконга).

Глава X

с. 60

Первая конституция в Японии была принята в 1889 г.

с. 61

оби (яп.) — широкий шелковый пояс.

с. 63

базилик — священное растение, из семян которого изготавливают четки.

...«человек невысокого роста» — Киплинг имеет в виду себя.

с. 64

Моулсворт, Мэри (1839—1921) — шотландская писательница, автор книг для детей.

с. 65

тори — ворота синтоистского храма: синтоизм — религия, сложившаяся в Японии наряду с буддизмом.

с. 66

«*травяные подковы*» — чулки или башмаки, сплетенные из стеблей травы и пр., которые привязывали к нижней части ноги животного.

такэнома — ниша в японском доме.

с. 68

bien entendu (фр.) — само собой разумеется.

Глава XI

с. 69

Нанин-Таль — небольшое живописное озеро на севере Индии.

с. 70

Гадес (миф.) — подземное царство, царство теней.
 «*Пелити*» — отель в Симле.

vin ordinaire (фр.) — «столовое вино».

compris (фр.) — «понятно».

даймё (яп. ист.) — титул феодального или военного вождя.

джайны — религиозная община в Индии.

Рабле, Франсуа (1494—1553) — великий французский писатель, ученый-гуманист. Характерными чертами стиля Рабле являются пародия, гипербола, гротеск.

Глава XII

с. 72

Ирвинг Генри (1838—1905) — известный английский драматический актер.

Винсент Краммлз — персонаж романа Диккенса «Николас Никльби», эксцентричный директор театра в Портсмуте.

колосники — решетчатый настил над сценой, предназначенный для подъема, опускания и крепления декораций и пр.

с. 75

...«вы поймете, почему романо-католическая церковь однажды процветала в этой стране...» — в 1542 г. в Японии появились португальцы, а в 1584 г. — испанцы. Европейцы принесли с собой и свою культуру, миссионеры-иезуиты начали распространять католичество. Южные князья давали им разрешение на проповедь, на открытие школ и типографий. Более того, они сами начали принимать христианство, преследуя в общем-то политические цели. В 1639 г. страна была закрыта для внешних сношений, испанцы и португальцы изгнаны, и только голландцам разрешалось иметь свою факторию в Нагасаки.

Кришна — один из героев древнеиндийского эпоса; по преданию, в молодости был пастухом; в индуизме стал одним из воплощений бога Вишну.

Кали — в индуизме богиня-мать, жена Шивы, олицетворяющая рождение и смерть всего живого.

Глава XIII

с. 76

Теннил Джон (1840—1914) — английский карикатурист и иллюстратор «Алисы в стране чудес».

с. 78

entrepot (фр.) — склад, хранилище.

a deux (фр.) — вдвоем.

Паддингтон — район Лондона.

леди Годива — героиня древней английской баллады; ради избавления народа от притеснений своего мужа-феодала проехала обнаженной по улицам города.

Актеон (миф.) — охотник, увидевший Диану обнаженной во время купания и обращенный ею в оленя, которого затравили собаки.

с. 79

Акбар (1542—1605) — могущественный император из династии Великих Моголов.

гурки — племя в северной Индии; туземные солдаты индийской армии англичан.

с. 80

Легро Пьер (и отец, и сын) — французские скульпторы XVII—XVIII вв.

Девкалион (миф.) — сын Прометея и Климены, царь Тессалии; вместе со своей женой Пиррой переживал девятидневный потоп, посланный на землю Зевсом, ковчег Девкалиона в конце концов пристал к вершине горы Парнас, для того чтобы снова заселить землю, оракул приказал Девкалиону и его жене швырять через плечо камни (кости матери-земли); из тех, что бросал Девкалион, получались мужчины, камни Пирры обращались в женщин.

с. 82

сегун (яп. ист.) — военачальник.

бабу (англо-инд.) — ироническое прозвище индуса, старающегося походить на англичанина.

раджпуты — воинская каста в Северной Индии.

хатри — член воинской касты.

с. 83

Раджпутана (до 1950 г.) — Раджстхан, северо-западная провинция Индии.

Сивалик — южные предгорья Гималаев в Индии и Непале.

Глава XIV

с. 84

десятая заповедь (библейск.) — «не пожелай дома ближнего».

с. 85

камтрадор — туземец-управляющий.

с. 87

Пали — один из видов древнеиндийского языка и письма; стал церковным языком буддизма.

с. 88

Арандель — городок в графстве Суссекс (Англия).

Браунинг, Роберт (1812—1889) — английский поэт.

с. 89

Дакка — столица Бенгалии, в наши дни — государства Бангладеш.

Патна — город в индийской провинции Бихар.

с. 90

Рави — река в Индии и Пакистане, приток Инда.

Глава XV

с. 91

сямисэн — японский щипковый инструмент.

с. 92

клуазонне (фр.) — перегородчатая эмаль.

сатсума — японская глазурованная посуда.

Берлем — город в Англии, где в 1762 г. была основана фабрика керамических изделий.

Глава XVI

с. 95

(И.Ай.А.) (E.I.R.) — Восточно-Индийская железная дорога.

pro re nata (лат.) — «согласно возникшим обстоятельствам».

Нанси — город во Франции.

с. 96

Канченджанга — вершина в Непальских Гималаях (8585 м).

денудация — совокупность процессов сноса продуктов выветривания горных пород, в результате чего происходит выравнивание рельефа и общее понижение земной поверхности.

с. 97

казуар — крупная птица (до 1,8 м высотой) с трехпальными ногами, водится в Австралии и на Новой Гвинее.

с. 98

«Мейфлауер» — название корабля, на котором в 1620 г. прибыли в Америку первые переселенцы из Англии.

с. 99

Брайтон — известный курорт в Англии на берегу Ла-Манша (Английского канала).

Глава XVII

с. 101

эпикурейцы — последователи греческого философа-материалиста Эпикура; в переносном смысле — жизнелюбцы, видящие смысл жизни в удовольствиях, чувственных наслаждениях.

с. 102

сир — индийская мера веса; в различных областях страны колеблется от трех фунтов до восьми унций; также мера жидкости, равная одному литру.

с. 104

Никко — по-японски «солнечное сияние», один из живописнейших городов Японии; поговорка гласит: «Не говорите «изумительно», пока не увидите Никко».

ети (фр.) — «взволнованный», «растроганный».

с. 105

Хокусай, Кацусика (1760—1849) — выдающийся японский художник-реалист.

Глава XVIII

с. 105

криттомерия — вечнозеленое дерево, достигающее 40—60 м в высоту и 1—2 м в диаметре ствола.

с. 106

Эблис — в мусульманской мифологии главный дух зла.

с. 107

Аравалли — горы в Раджастанханае.

санскрит — язык древней и средневековой индийской религиозной, философской, художественной и научной литературы.

молельное колесо — цилиндр или вертикальный барабан — предмет культурной утвари в буддизме.

Глава XIX

с. 110

«*Сивил энд Милитари Газетт*» (Гражданская и военная газета) — английская газета, выходившая во времена Киплинга в Лахоре, где писатель служил заместителем редактора.

с. 111

мартингалы — ремни, не позволяющие лошади вскидывать голову вверх.

подперся — нагрудные ремни, не позволяющие седлу сползть вниз.

мундштук — металлический прибор (дополнительно к удилам) для управления лошастью. Характерен для армейской кавалерии.

трэнзель — металлические удила, служащие для управления лошастью путем давления на язык, челюсть и углы рта.

с. 113

«*Американский договор*» — Под угрозой применения оружия (посылка эскадры коммодора Перри) США в 1854 г. добились открытия японских портов Симода и Хакодате для иностранных кораблей. Ряд договоров (Ансэйские договоры) (1854—1858), навязанные США и европейскими державами, насильственно включали Японию в мировой товарообмен. США уже тогда добились исключительных привилегий в Японии: экстерриториальности граждан США, посредничества США в спорных вопросах между Японией и другими государствами, лишили Японию права самостоятельно устанавливать таможенные пошлины, навязали Японии право приобретать военное снаряжение в США и приглашать американских военных инструкторов. Ни в один из договоров, заключенных Японией в 1858 г. с Англией, Францией, Россией и др., указанные выше пункты не были включены.

Гладстон, Уильям Юарт (1809—1898) — премьер-министр Великобритании в 1868—1874, 1880—1886, 1892—1894 гг., лидер либеральной партии с 1868 г.

Сморлторк — персонаж «Пиквикского клуба» Диккенса.

с. 114

Раннимед — поляна на южном берегу Темзы, где в 1215 г. была подписана Великая хартия Вольностей; король Джон — английский король Иоанн Безземельный (1199—1216).

Глава XX

с. 115

макарун — небольшой кекс.

...«*об осле, который фигурирует у Стерна*» — имеется в виду эпизод из «Сентиментального путешествия по Франции и Италии» английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768).

с. 116

Chatterjee (англо-инд.) — «говорун».

с. 117

ронин (яп. ист.) («изгой») — самурай, по каким-либо причинам не имеющий сюзерена.

Шива — один из трех верховных богов (наряду с Брахмой и Вишну) в брахманизме и индуизме.

«*Ом*», «*Шри*» — магические восклицания в индуизме.

с. 118

полковник Олкотт — см. ниже.

мадам Блаватская (1820—1891) — подвижница оккультных наук, одно время подвизавшаяся в Симле; полковник Олкотт — сторонник Блаватской.

Кейн Холл (1853—1931) — член парламента острова Уайт, английский писатель, автор фантастических, квазиисторических романов.

Глава XXI

с. 121

Вискберг — город в штате Миссисипи (США); в 1863 г. во время гражданской войны осаждался армией северян.

Шилоа — поле сражения (штат Теннесси) между войсками северян и южан в 1862 г.

милиция — милиционная армия, формирование которой и прохождение службы в которой (кратковременные учебные сборы) осуществляется по административно-территориальному принципу.

Мидленд — название железной дороги.

с. 122

шпигат — отверстие в палубном настиле или в фальшборте судна, снабженное приемной решеткой и отводной трубой, служащее для удаления воды, попавшей на палубу.

с. 124

«*Роберт Эльсмер*» — роман английской писательницы Гэмфри Уорд (1851—1920).

Союзный Джек — флаг Великобритании.

Глава XXII

с. 130

Уйтейкер — энциклопедический справочник.

Биканир — индийская пустыня.

с. 131

Синд — низовья реки Инд.

Холмс, Оливер Вендель (1841—1935) — американский юрист.

с. 133

«*Клуб Диких*» — имеется в виду артистический клуб «Сэвиль» в Лондоне.

с. 134

реата — мексиканское лассо.

Глава XXIII

с. 135

cumshaw (кит.) — «подачка», «чаевые».

с. 136

караколь — круговой поворот на месте лошади под всадником.

Глава XXIV

с. 140

Дизраэли, Бенджамин, граф Биконсфилд (1804—1881) — премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874—1880 гг., лидер консервативной партии.

с. 141

Готье, Теофиль (1811—1872) — французский писатель.

Клаудленд — «заоблачная страна».

с. 143

Друри Лейн — один из ведущих драматических театров в Англии.

с. 144

Седрах, *Мисах*, *Авденаго* (библейск.) — три отрока, которые были брошены в печь и спасены из пламени ангелом.

...«*в стране свободы и доме храбрых*» — слова из американской патриотической песни «Звездное знамя».

с. 145

патан — афганец.

Глава XXV

с. 147

Виктория, *Ванкувер* — порты на тихоокеанском побережье Канады.

с. 148

Здесь и далее Кипплингом упоминаются герои и персонажи рассказов Брета Гарта.

с. 149

горы Сискию — хребет на севере штата Калифорния.

с. 152

wickiup — тип индейского жилища, грубо сплетенного из веток.

Глава XXVI

с. 157

Файтервилль — «город бойцов».

с. 158

багадур — почетный титул, принятый в Индии.
...«*взгляды сестры Анны*» — в сказке Перро о Синей Бороде прекрасная Изора, седьмая жена последнего, узнав об угрожающей ей смерти, посылает за двумя своими братьями, а сестру Анну, которая высматривает их с башни, ежеминутно спрашивает, не видит ли она кого-нибудь на дороге.

с. 159

Пюджет-Саунд — залив Тихого океана.
Армия Спасения — религиозная организация, основанная в 1865 г. в Лондоне методистским священником Бутсом; копирует в своей структуре армию; имеет ряд учреждений: ночлежные дома, столовые, приюты для проституток и др.

с. 161

Иов (библейск.) — чтобы испытать праведность Иова, бог заставил его перенести всевозможные напасти, лишил имущества, семьи и здоровья.
Англиканская церковь — протестантская, в Великобритании — государственная.

Глава XXVII

с. 161

Йеллоустонский национальный парк — заповедник (с 1872 г.) в США площадью 9 тыс. кв. км, главная достопримечательность — обилие гейзеров.

с. 162

«*Кунард*» — известная английская пароходная (пассажирская) компания.

с. 164

Монтгомери — ныне город Сахивал в Пакистане.
Чалд Роланд — герой древней шотландской баллады.

Глава XXVIII

с. 167

4 июля — день провозглашения независимости английских колоний в Америке (1776 г.).

с. 168

Ананий (библейск.) — муж Сапфиры, будучи уличенным во лжи Павлом, умер; разг. — любой лжец.

с. 170

Декларация Независимости — принята 4 июля 1776 г. в период Войны за независимость в Северной Америке (1775—1783); провозглашала отделение колоний от метрополии и образование самостоятельного государства — США.

Глава XXIX

с. 171

Мазендеран — остан (область) на севере Ирана.
...«*розовых и белых террас, которые были недавно разрушены землетрясением в Новой Зеландии*» — террасы розового кремнистого туфа у озера Ротомогана в Новой Зеландии были уничтожены в 1886 г. излияниями лавы вулкана Таравера.

с. 172

кони — лондонец из низов.
бронко — необъезженные лошадки на американском Западе.

с. 175

Тофет (библейск.) — часть Еномской долины близ Иерусалима, где некогда стоял идол Молоха, которому приносились человеческие жертвы; позднее это место было превращено в свалку, куда свозили отбросы и тела тех, кто не был удостоен погребения; стал синонимом мучений человека в «будущей» жизни.

Лета (миф.) — река забвения в подземном царстве.
Нирвана — согласно религиозным догмам буддизма, совершенное, высшее состояние человеческой души, достигаемое в результате полного прекращения процесса «перевоплощения» и избавления от страданий, составляющих сущность жизни.
Мак-Клеллан — седло военного образца в армии США.

с. 177

Хайберский проход — горный перевал на границе Пакистана с Афганистаном.

Глава XXX

с. 180

Бетезда (библейск.) — водоем в Иерусалиме.

с. 181

Кракатау — вулкан в Зондском проливе; в 1883 г. произошло извержение Кракатау, причинившее сильные разрушения на островах Суматра и Ява: погибло более 36 тыс. человек.

с. 182

Якко — гора в районе Симлы.

с. 184

Буффало Билл (псевдоним Уильяма Коди) (1846—1917) — американский ковбой, который прославился своими подвигами на Диком Западе, где служил в кавалерии; позднее стал хозяином циркового ревию из ковбойской жизни, с успехом гастролировавшего в Европе и Америке.

с. 185

Джеймс Генри (1843—1916) — американский писатель.*Йосемит* — национальный парк в штате Калифорния (США).*Кейбл*, Джордж (1844—1925) — американский писатель.*Гэррис*, Джоэл Чандлер (1848—1908) — американский писатель.

с. 186

Боланский проход — узкое ущелье на границе между Пакистаном и Афганистаном (на пути в Кандагар).*«Дельмонико»* — известный ресторан в Нью-Йорке (по имени владельца).

с. 188

хуфу (ам. зап.) — одна из группы колоссальных каменных колонн, образовавшихся в результате вулканической деятельности и эрозии; синоним таинственных, колдовских сил.

Глава XXXI

с. 189

мормоны — религиозная секта, распространенная в США, характерная особенность членов секты — многоженство.*Вест-Пойнт* — военная академия США.*Мольтке (старший)* (1800—1891) — прусский фельдмаршал, сподвижник Бисмарка, начальник имперского генерального штаба Германии, военный писатель и теоретик.*округ Колумбия* — федеральный (столичный) округ США, большую часть округа занимает город Вашингтон.

с. 190

Логан — город в штате Юта (США).

с. 191

Дезерет — прозвище штата Юта; официальное мормонское название территории этого штата.*Бригам Янг* (1801—1877) — мормонский вождь.

с. 192

Смит, Джозеф (1805—1844) — основатель секты мормонов, был убит своими противниками.

Глава XXXII

с. 199

Хоуэлс Уильям Дин (1837—1920) — американский писатель.

Глава XXXIII

с. 201

Амбер, *Читор* — древние заброшенные города Индии.*Элидж Пограм* — персонаж романа Диккенса «Мартин Чезлвит» — американский конгрессмен, настроенный антианглийски.

с. 203

Поллак Роберт (1799—1827) — шотландский поэт.

Глава XXXIV

с. 206

готтентоты — самоназвание кой-коин; народ в Намибии и ЮАР, древнейшие обитатели Южной Африки.

с. 208

Тэлмадж, Томас (1839—1902) — американский религиозный деятель, пребистерианец.

с. 209

«великий пожар» — 8—10 октября 1871 г. треть города Чикаго была уничтожена огнем, погибло 18 тыс. зданий.

mahajans — ростовщики.

джат (англо-инд.) — крестьянин-земледелец.

Глава XXXV

с. 214

паэн (миф.) — лирическая песня; мастером паэна был Аполлон.

с. 215

методисты — протестантская церковь, гл. обр. в США и Великобритании. Возникла в XVIII в., отделившись от англиканской.

епитимья — наказание в христианской церкви в виде поста, длительных молитв и пр.; налагается исповедующим священником.

«Маленькие женщины или Мэг, Джо, Бет и Эйми» — книга американской писательницы Луизы Мей Олкотт (1832—1888).

с. 217

«джонстаунская трагедия» — в 1889 г. город Джонстаун в штате Пенсильвания был уничтожен наводнением.

Гарвард, Йель — известные университеты в США; здесь имеется в виду соперничество между студентами и выпускниками этих университетов.

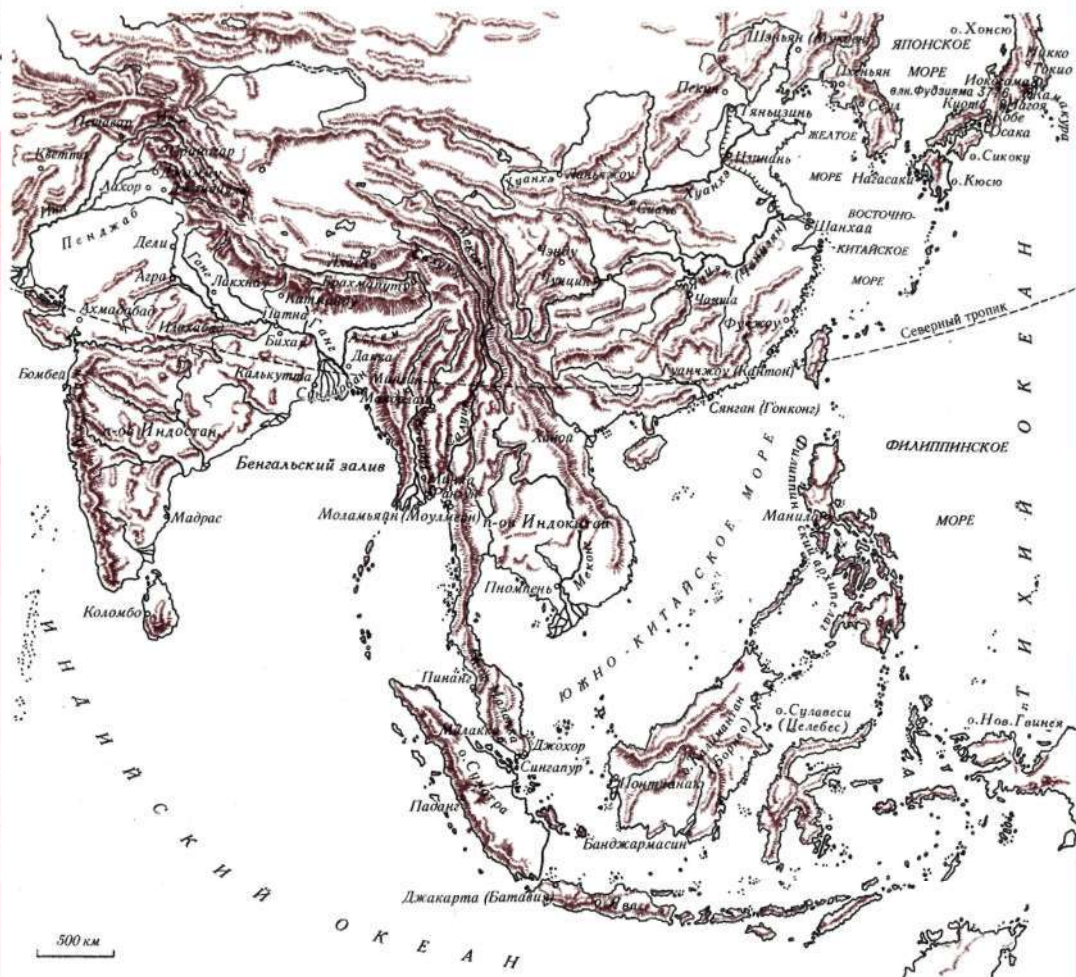
Глава XXXVI

с. 216

Мэлл — широкий бульвар в Лахоре, соединявший европейское поселение со старым городом.

с. 221

кисмет (араб.) — «рок», «судьба».



Дальние странствия Маленького Пилигрима
5

Глава I

О свободе и необходимости ее использования;
побуждение и проект, которые ни к чему не
приведут; изыскание на тему об отчужденности от
окружающего и муках проклятого
19

Глава II

Река Сгинувших Душ и золотая тайна, покоящаяся
на ее берегу; зло Иордана; глава рассказывает, как

можно пойти в пагоду Шви-Дагон и ничего не
увидеть, а затем отправиться в клуб «Пегу» и чего
только не наслышаться; диссертация на тему о
смешанных напитках
24

Глава III

Город слонов, которым управляет великое боже-
ство Лениости, живущее на вершине горы; история
трех великих открытий и непослушных детей Иики
31

Глава IV

рассказывает о том, как я прибыл на остров хиромантов — резиденцию Поля и Виргинии и уснул в саду
34

Глава V

На пороге Дальнего Востока; обитатели этих мест; рассуждение о том, где можно использовать британского льва
38

Глава VI

О хорошо одетых островитянах Сингапура и их развлечениях; автор доказывает, что все английские поселения как две капли воды похожи друг на друга; рассказывает, как чикагский еврей и американский ребенок могут отравить самое безоблачное настроение
41

Глава VII

рассказывает о том, как я прибыл в Китай
45

Глава VIII

О Дженни — «прости господи» и ее товарках; рассказывает о том, как можно отправиться на поиски настоящей Жизни, а повстречаться со смертью; о блаженстве кутилы Кэт; о женщине и холере
50

Глава IX

Разговор с тайпаном и генералом; глава раскрывает секрет успеха морского пикника
53

Глава X

Япония за десять часов; полный отчет о манерах и обычаях местных жителей; история их конституции; о промышленности, искусстве и цивилизации; кроме того, глава рассказывает о тиффине в чайном домике, где была и О Тойо
60

Глава XI

Дальнейшее исследование Японии; Внутреннее Японское море и превосходная кухня; таинство с паспортами, консульством и прочее
69

Глава XII

Японский театр и «История Кота Громовержца»; глава повествует о местах уединения и покойнике на улице
72

Глава XIII

объясняет, как меня отвезли под дождем в Венецию; как я вскарабкался на форт Дьявола;

рассказывает о выставке скобяных изделий и бане; о девушке и незапертой двери; о земледельце и его полях; о производстве этнографических теорий в мчащемся поезде; заканчивается в Киото
76

Глава XIV

Киото; как я влюбился в первую «красавицу» города после беседы с купцами, торговавшими китайским чаем; глава объясняет далее, как в Великом храме я пятьдесят три раза нарушил десятую заповедь и преклонялся перед Кано и плотником; затем глава уводит в Арашиму
84

Глава XV

Игры в гостинной; полная история современного японского искусства — обозрение прошлого и предсказания на будущее, сочиненные в киотских мастерских и аранжированные для читателей
90

Глава XVI

О природе Токайдо и строительстве железных дорог; о том, как некий путешественник объяснил суть жизни саиба-чурбана, а другой — происхождение игры в кости; рассказывает о ребятишках в лохани и человеке в белой горячке
95

Глава XVII

касается крана с горячей водой; разговор вообще
100

Глава XVIII

Легенда о ручье в Никко; история отвращения несчастья
105

Глава XIX

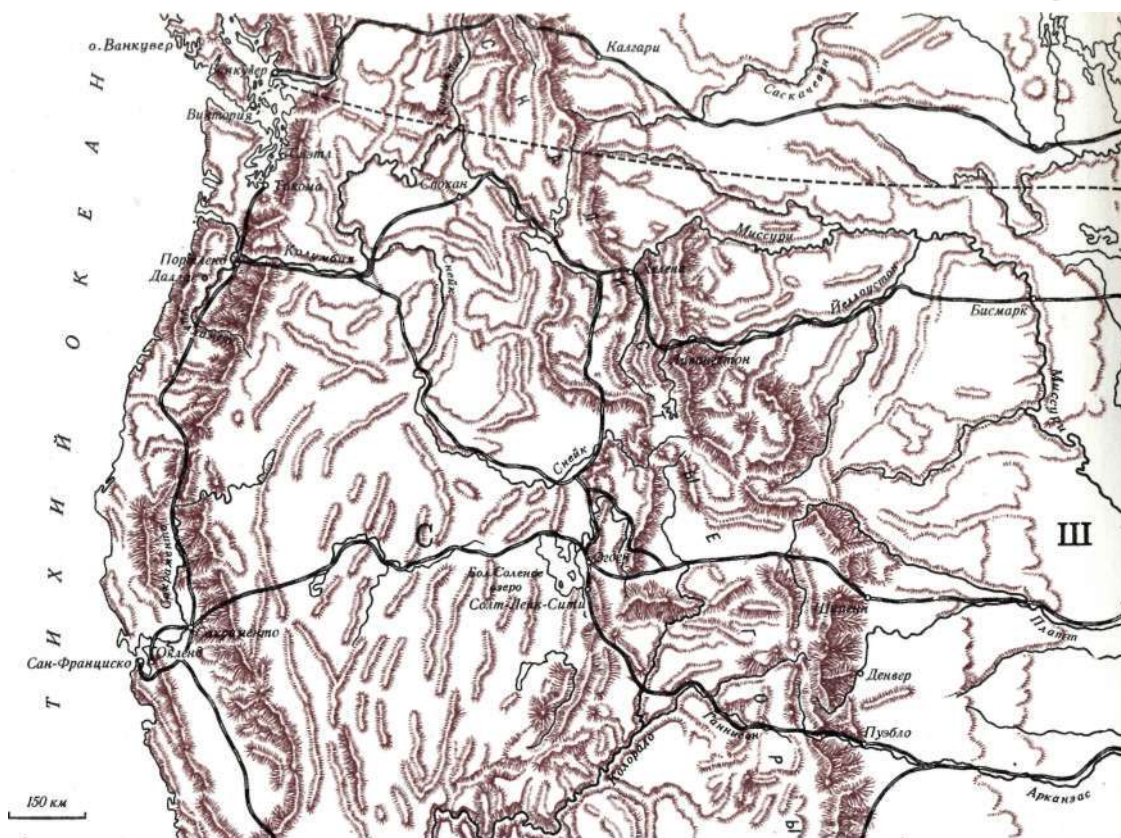
рассказывает, как я грубо оклеветал японскую армию и редактировал «Сивил энд милитари Газетт», которая ни в коей мере не заслуживает доверия
110

Глава XX

показывает, в чем сходство между бабу и японцем; содержит крик души неверующего и объяснения мистера Смита из Калифорнии; приводит на борт корабля после соответствующего предупреждения всем, кто следует по моим стопам
115

Глава XXI

рассказывает о том, как я прибыл в Америку раньше назначенного срока и был потрясен душой и телом
121



Глава XXII

Как я очутился в Сан-Франциско и распивал чай с местными жителями
127

Глава XXIII

Как из-за собственной глупости я присутствовал при совершении убийства и до смерти испугался; правление демократии и деспотизм чужестранцев
135

Глава XXIV

рассказывает о том, как я окупился в политику и куда более нежные чувства; содержит рассуждение о морали американских девиц и этнологический трактат о неграх; завершается банкетом и пирушкой машинкой
140

Глава XXV

уводит в путь по земле Брета Гарта и далее, до Портленда, в сопровождении старины Калифор-

нии; объясняет, отчего, увидев, как живут другие люди, двое бродяг затосковали по дому
147

Глава XXVI

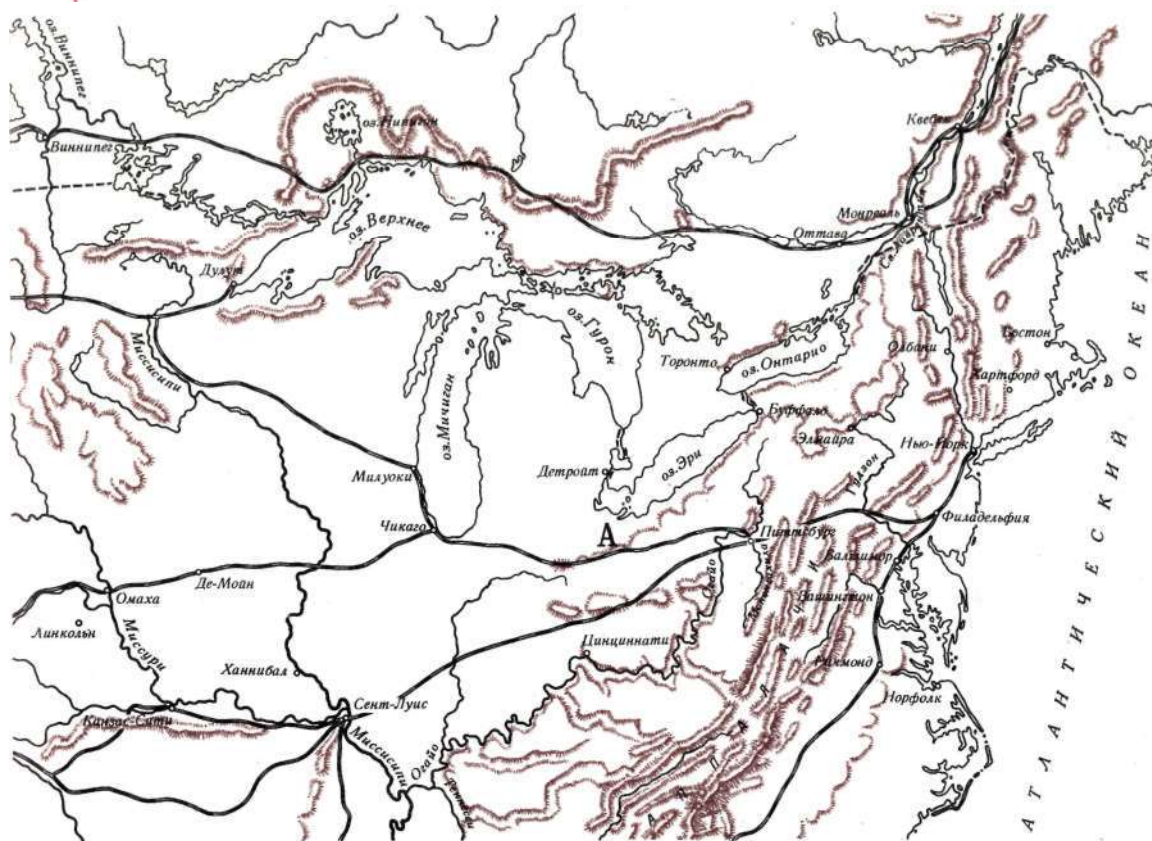
рассказывает о том, как я поймал лосося в реке Клакамас
153

Глава XXVII

уводит из Ванкувера в Йеллоустонский национальный парк
161

Глава XXVIII

рассказывает, как на берегу реки Йеллоустон Янки Джим представил меня Диане из Кроссвейза; как немецкий еврей заявил, что я не являюсь истинным гражданином; заканчивается описанием празднования 4 июля и извлеченных из него уроков
167

**Глава XXIX**

рассказывает о том, как я вошел в Мазендеран персов и встретил там разноцветных дьяволов и нескольких кавалеристов; об Аде и престарелой леди из Чикаго; о капитане и лейтенанте

171

Глава XXX

подводит итог каньону Йеллоустоун; девица из Нью-Гэмпшира; Подожди Хвост; Том; престарелая леди из Чикаго; некоторые явления природы, включая одного британца

179

Глава XXXI

Об американской армии и городе святых; храм, Книга мормонов и девушка из Дорсета; восточная точка зрения на многоженство

189

Глава XXXII

Как я познакомился с важными персонами по дороге из Солт-Лейк-Сити в Омаху

197

Глава XXXIII

Через Великий перевал; как человек по имени Гринг показывал мне одеяния для покойниц

200

Глава XXXIV

Как я поразил Чикаго и как Чикаго поразил меня; о религии, политике, охоте с копьем на кабана и олицетворении города, которое явилось мне после битвы

204

Глава XXXV

Как я обрел мир и покой в Масквеше на реке Мононгахила

213

Глава XXXVI

Интервью с Марком Твенем

218

Примечания

225

Киплинг Р.
К42 От моря до моря / Пер. с англ. В. Н. Кондракова; Поэтич. переводы Н. В. Димчевского. — М.: Мысль, 1983. — 239 с., ил., карт.

В пер.: 3 р. 50 к.

Книга известного английского писателя Р. Киплинга (1865—1936) состоит из очерков о путевых впечатлениях автора от его путешествия в 1889 г. из Индии в Англию через страны Юго-Восточной Азии и Северную Америку. Книга написана живым и ярким языком. Читателя заинтересуют описания природы, наблюдения автора за бытом и культурой различных народов, его встреча с М. Твенном.

Книга хорошо иллюстрирована и рассчитана на широкий круг читателей.

К $\frac{1905020000-115}{004(01)-83}$ 141-82

ББК 26.8г
91п

Редьярд Киплинг

От моря до моря

Заведующий редакцией

О. Д. Катагощин

Редактор

Ю. О. Гнатовский

Младший редактор

Ю. С. Макаревич

Редактор карт

О. В. Трифонова

Художественный редактор

Е. М. Омеляновская

Технический редактор

В. Н. Корнилова

Корректор

Ч. А. Скруль

ИБ № 2075

Сдано в набор 15.03.82. Подписано в печать 18.01.83.
Формат 70х90¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «таймс». Офсетная печать. Усл. печатных листов 17,55. Учетно-издательских листов 24,02. Усл. кр.-отг. 68,15. Тираж. 50 000 экз. Заказ № 75. Цена 3 р. 50 к.

Издательство «Мысль».

117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.